ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 1* | *2015*

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 1* | *2015*

В номере

ДиН память

Андрей Лазарчук
3 Не прощаясь…

Алексей Козловский
5 Слово о Михаиле Успенском

Иван Данилов
7 Звезда моя — беженка…

ДиН ревю

Анатолий Кобенков
4 Уже не уйду никуда

Владимир Костров
6 Пока ещё…

Натан Солодухо
21 Укус шершня

Иван Шепета
94 Стихи как оправданье жизни

Антология
121 45: параллельная реальность

Светлана Корнюхина
129 Я — другое дерево

Владислав Артёмов
169 Избранная лирика

Павел Рыков
173 Излом

Евгений Чигрин
183 Неспящая бухта

ДиН диалог

Юрий Беликов, Виктор Милосердов
10 Соло на виолончели для расстроенной гитары

ДиН мемуары

Анатолий Базун
14 Юрка

ДиН пародия

Евгений Минин
18 Мозги, читатель, береги!
186 Конь под неврозом

ДиН лит

Дни и ночи Литературного института имени А. М. Горького

Наталья Мамлина
19 Под Солнцем восхода

Тамара Сафарова
20 В ярко-жёлтом большом фонаре…

Дмитрий Иващенко
22 Родина, я здесь тебя нашёл…

Екатерина Вучина
24 Карась

ДиН дебют

Дзерасса Биазарти
26 Белый всадник

ДиН стихи

Николай Алешков
33 В четыре строки

Николай Ерёмин
34 Третий глаз

Владимир Скиф
37 Танцующие змеи

Игнатий Рождественский
39 Время весны

Вадим Ковда
40 Загулы

Сергей Сутулов-Катеринич
122 Осень сердца

Ирлан Хугаев
124 Царское наклонение

Вячеслав Тюрин
126 Автопилот

Светлана Хромова
128 На берегах Москвы

Лео Бутнару
130 На расстоянии вытянутой руки

Владислав Пеньков
132 Всё путём

Вадим Молодый
134 Посвящения

«Южное сияние»

Дружба журналов

Екатерина Янишевская
42 Сквозняки и маяки

Сергей Главацкий
44 Все башни

Ксения Александрова
46 Имя на ладони

ДиН проза

Александр Астраханцев
48 Возьми меня с собой

Александр Матвеичев
95 Куба. Русский День Победы

Клуб читателей

Станислав Минаков
136 «Что может действенная вера
и мысли неизменный строй…»

Нина Гейдэ
141 В батискафе стихотворения

Библиотека современного рассказа

Янис Грантс
143 Луи с грабаркой

Сергей Гордиевский
165 Охота

Константин Струков
168 Pro

Сергей Петров
170 Было и будет

Иса Айтукаев
174 Сублимация

Юлия Матушанская
184 Лена из Гейдельберга

ДиН юмор

Вера Зубарева
187 Собакиада

ДиН дети

189 Синяя тетрадь

194 ДиН авторы

Андрей Лазарчук

Не прощаясь...

Памяти Михаила Успенского

Миша ушёл не прощаясь — уснул и не проснулся. Он вообще не любил прощаться, зато очень любил встречаться и встречать...

Спал он громоподобно. Но иногда вдруг переставал храпеть и начинал стонать, очень тонко и очень жалобно. Разбудить его в эти минуты было невозможно, и что ему снилось, он не помнил — ну, или не рассказывал. Но два раза он во сне замолкал, и вот это было самое страшное. Один раз это случилось в поезде, не помню уже, куда мы ехали, а второй — у кого-то на квартире, где заночевали среди шумных домашних животных (наверное, у Быкова среди его шиншилл). Оба раза меня подбрасывало, и я начинал тормошить Мишку, который не дышал — минуту, а может, уже две или три... я уже начинал лихорадочно выбирать между искусственным дыханием и трахеотомией, когда он наконец делал глубокий-глубокий вдох...

Вот тут оба раза он много видел, всё запомнил и дальше использовал в работе. Первый раз это было понимание того, что покинутый Эдем и Ирем многоколонный — одно и то же место и что древних богов сожрали какие-то лавкрафтовские чудовища, напялившие их шкуры и маски и велевшие теперь верить не в тех, древних, а в себя. Из этого вскоре родился «Марш экклезиастов» — роман, так и не нашедший своего читателя. Второй раз это была увиденная почти полностью, с начала до конца, «Райская машина» — правда, с другим финалом, при написании Миша финал упростил, «социально заострил», а жаль, первоначальный мне нравился куда больше: Химэй был настоящим Химэем, местом спасения, местом новой жизни, а химэяне больше всего изумлялись способности людей не верить в хорошее, придумывать себе страшные сказки и по этим сказкам жить...

Наверное, сейчас он увидел что-то совсем грандиозное, засмотрелся — и забыл вдохнуть.

Кстати, зародыш «Посмотри в глаза чудовищ» тоже возник из подобного Мишиного видения. Он как-то подошёл ко мне и сказал: увидел картину, классный роман из неё можно сделать, но чувствую, что один не потяну, давай вместе. Картина была такая: после войны к скульптору Вучетичу свозят трофейные скульптуры, чтобы он их приспособил для отечественных нужд. Скульптуры сгружают в подвал, и там в ожидании денацификации они живут своей тайной жизнью — поскольку сделаны из магического сплава... Правда, от этой картины в романе в процессе написания остался только викинг Олаф, маленький, но железный, да «Баллада о пепле». Но такова судьба многих первоначальных замыслов.

Пишут, что был он весельчак и балагур, всегда остроумный и весёлый. Да нет, Миша по большей части времени был угрюм, мрачен, пессимистичен, временами даже мизантропичен. Чувствовалось, что ему из жалости хочется утопить в ведре неразумное слепое человечество. Но поскольку этот идеальный результат был труднодостижим, он делал что умел: просвещал и веселил. Он был университетски образован — в старом смысле; он много, быстро и с удовольствием читал, причём запоминал всё — и если был не ходячей научной библиотекой, то ходячим каталогом-то уж точно. Вся его «жихариада» — это сладкий мёд для филологов; но и простой школьник находил там много интересного для себя. Юмор Миши многослоен, глубок и, главное, тщательно проработан. Он был почти неспособен к импровизации и питал глубокое отвращение к плоским остротам; все свои шутки он вынашивал долго, складывал их в какой-то ящичек памяти и время от времени доставал: не испортились ли? Точно так же долго — годами — в уме он сочинял свои романы, прокручивал ситуации, что-то рассказывал друзьям, иногда прислушивался к советам. Потом садился и очень быстро — за месяц, за два — писал текст, к которому после почти не прикасался. Запас шуток истощался, Миша становился угрюм и начинал придумывать новые...

Работать с ним было и мучительно, и здорово. Мучительно потому, что каждый эпизод сначала с негодованием отвергался, сочинялось что-то другое, третье, седьмое, восемнадцатое... В конце, как правило, мы возвращались к первоначальному варианту, Миша говорил: «Во!» — и можно было писать дальше. Здорово — потому что при любом затыке, при любом намёке на тупик он тут же находил выход — как правило, нетривиальный...

А главное, конечно,—наслаждением было писать диалоги. Поэтому их так много.

Из придуманного, но не написанного—пьеса для Табакова и Броневого: сильно после войны Шелленберг и Мюллер встречаются где-то в Аргентине и пытаются разобраться—кто же такой был Штирлиц? Мы придумали много смешного, но я всё отговаривал Мишу садиться писать по-настоящему: вот мы напишем, и тут же кто-то из стариков помрёт. Миша, в общем, соглашался, но, по-моему, продолжал придумывать. И затормозившаяся из-за невнятной позиции издательства последняя книга «Джакча»: план готов, герои замерли на стартовых позициях, дайте отмашку… Не дают отмашки. Октябрь, ноябрь, дека…

Такие дела.

И про политику. Много раз спрашивали: как вы при такой разнице в политических взглядах остаётесь друзьями? Отвечаю: у нас нет расхождения в аксиоматике. Я как-то спросил, почему Миша так яростно не любит начальство, хотя, по моему мнению, оно заслуживает всего лишь равнодушия. Он ответил: «А вот случись что, ты пойдёшь в военкомат и я пойду, а они—нет…»

ДиН ревю

Анатолий Кобенков

Уже не уйду никуда

Москва: «Арт Хаус медиа», 2014

Книгой А. Н. Кобенкова «Уже не уйду никуда» издательство «Арт Хаус медиа» открывает серию книг ушедших поэтов—«По праву памяти».

…и когда он молвит «да»—
вопреки желанью Бога
отрывается звезда
от созвездья Козерога.

…и вспотык поэтов слог,
и болталка—через ложку,
и меж ними козий рог
оголяет козью ножку.

…и куда ни кинешь взгляд—
на любом отрезке взгляда
всякий всякому не рад,
и судьба судьбе не рада…

Только маленький поэт,
с чашкой маленького кофе,
пришепётывает «нет»
предстоящей катастрофе…

«Он был, как все настоящие поэты, доверчив и, поступив в Литинститут, был исключён оттуда за то, что оставил ключ от комнаты не заслуживавшим этого соученикам, и его учение там растянулось надолго, пока он подрабатывал как слесарь, коллектор у геологов, редактор заводского радио, а потом как газетчик иркутской «молодёжки».

Но годы застоя не прошлись утюгом по его непричёсанным под общую гребёнку, но всегда тёплым мыслям, и, не очень умея помогать сам себе, он всегда помогал литературной поросли. Во время раскола иркутских писателей, после путча, Кобенков не отвечал злобой на оскорбительные нападки другой стороны, став главой Иркутского отделения Союза российских писателей, хотя его иногда даже именовали «Лейбой Троцким». Эти глубокие раны чувствуются в трагическом стихотворении «Иркутску».

Особенно больно для Толи было то, что никак не удавалось наладить дружеского взаимопонимания во имя общего дела с В. Распутиным, которого он безмерно уважал как писателя. Тем не менее, Кобенков организовал первый в истории Сибири международный поэтический фестиваль, когда американский, польский поэты, парижская пара, повенчанная музой, и одна очаровательная никарагуанка читали стихи на своих языках вместе с петербуржцами, москвичами, уральцами и сахалинцами в переполненных залах и на Братской гэс, и на станции Зима. Где это всё сейчас, когда не стало Кобенкова?

Что важнее в поэзии—периодически выплёскивающий через край чуть ли не вулканический темперамент, но потом, после мощного выброса раскалённой лавы, оставляющий холодный пепел, либо не обжигающая, но постоянная, не перестающая согревать человеческая теплота?»

Евгений Евтушенко

Алексей Козловский

Слово о Михаиле Успенском

«В Красноярске скончался писатель-фантаст Михаил Успенский» — из новостной строки телеканала РБК.

Сообщение шло долго-долго, неоднократно повторяясь, перемежаясь с другими новостными сообщениями, в основном политическими и экономическими. Я лихорадочно защёлкал пультом, перескакивая с канала на канал, — нет, только РБК.

Позвонил в Красноярск, сначала своему сыну. Он живёт в Академе, а Успенский — в Студенческом городке, и Ладимир часто встречал его, когда ходил по делам к тёще, их дома там рядом. Не слышал ещё. Тогда набрал номер своего давнего друга и нашего с Михаилом общего знакомого Сергея Кузнечихина. Усталым и грустным голосом (а каким же ещё?) тот подтвердил: «Да, умер. Во вторник похороны… — и как-то невесело пошутил: — Мины рвутся всё ближе и ближе». Мы с Сергеем почти одногодки, и Миша далеко не ушёл, он родился в 1950-м. По нынешним меркам не скажешь, что стар, но под среднестатистический возраст ухода уже подходим все трое… И я вспомнил его молодого, на семинаре поэзии в Красноярске. Тогда в альманахе «День поэзии-67» про Успенского было написано: «Ученик десятого класса Красноярской школы. Стихи публиковались в газете „Красноярский комсомолец“, передавались по краевому радио». Упомянут он был Р. Солнцевым и В. Назаровым и в предисловии, а стихи — об испанском поэте Лорке, о модной тогда теме физики и литературы:

А в голове моей колышется
Всё — от Адама до ядра,
Но эта слабость — на минуты,
И вот когда она минует
(О, эти долгие мгновенья!) —
К Эйнштейну и Хемингуэю…

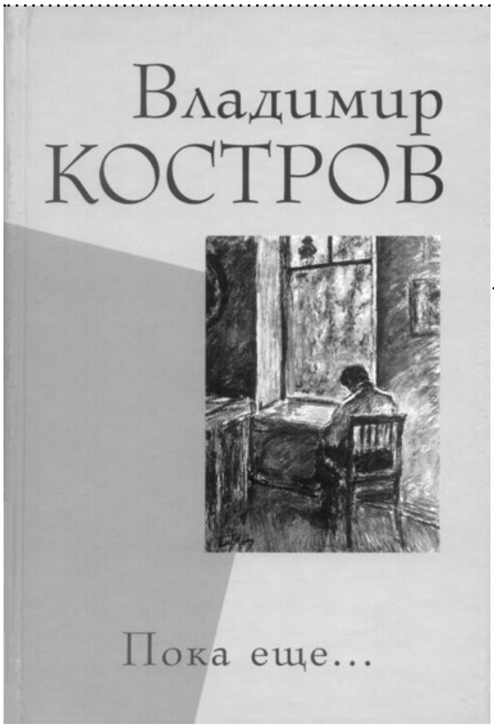
От стихов он позднее перешёл к прозе и хорошо писал. Когда я бывал наездами в Красноярске, мы встречались с ним. «Я один из немногих красноярских литераторов, — не то просто констатировал, не то похвастал Михаил, — которые живут литературным трудом». Правда, недавно, когда мы с сыном встретили чету Успенских на Красноярской книжной ярмарке, его жена Нелли, словно припоминая давнишний разговор, заметила: чтобы получить гонорар, нужно книгу написать, а с ней года три провозишься. И добавила: мол, тяжёл этот труд. Я тогда не очень-то обратил внимание на её сетование, ярмарка проходила в начале ноября, а вот сегодня — эта беспощадная новостная строка в телевизоре…

И опять вспомнилось: когда я попал под следствие по совершенно надуманным «следаками» предлогам и они мотали меня с тюрьмы на тюрьму, в конце концов отказавшись от своих инсинуаций, Миша Успенский вместе с другими литераторами горячо взялся меня выручать, а встретив вскоре после моего освобождения на очередном литературном семинаре, затащил к себе, как-то совсем по-дружески, по-человечески предложил: «Приходи сегодня к нам с Ладимиром (сын тогда везде сопровождал меня, словно бы оберегая от чего-то неожиданного), бери коньячок, а я манты сооружу».

Вечером мы пришли к Успенским, да и проговорили допоздна. Тогда-то он и предложил, чтобы его друг Дима Быков, известный московский литератор и корреспондент «Собеседника», написал обо мне большой очерк; статью в мою защиту Дмитрий уже опубликовал в центральной прессе. Позднее прислал телеграмму с предложением встретиться у Миши Успенского в Красноярске, он прилетит из Москвы, а я из Хакасии. Надо сказать, что здоровьишко моё слегка расшаталось, и я угодил в больницу, так и не встретившись с Быковым. Но с Михаилом связи не терял. Встречаясь, разговаривали больше о делах литературных, благо в Красноярске всегда находилась тема для разговора. Был он в беседах всегда остроумен, наблюдателен, точен и бодр. Никак не укладывается в голове этот его скорый уход. Вот и на книжной ярмарке (КРЯКК-2014) под эгидой Ирины и Михаила Прохоровых мы тоже побродили среди книжных развалов, перекидываясь редкими фразами, да и суета вокруг книг, людей, флэшмобов, инсталляций как-то не настраивала на серьёзный лад. Я там со многими давними друзьями встречался и даже успел подарить свою книгу самому Прохорову. Кстати, и тот, и другой Михаилы — довольно-таки простые и незазнаистые люди. Только, в отличие от куратора выставки, бодрого, ростом с Петра Первого гиганта, Успенский выглядел слегка

усталым. Я тогда не обратил на это внимание, не верилось, что вижу своего давнего товарища в последний раз, и даже сфотографировались вместе, не предполагая, что, возможно, это была последняя наша совместная фотография.

Смотрю теперь и на снимок, и на книги, которые он мне дарил,—в частности, на ту, которая написана в соавторстве с Андреем Лазарчуком, её Михаил подписал с известной долей юмора, так ему присущего: «Лёше Козловскому с радостью от встречи, ½ автора. Михаил Успенский». Что можно добавить к этому? Наверное, и Андрею горько узнать о том, что на красноярской земле одним хорошим человеком стало меньше.



Владимир Костров

Пока ещё...

Москва: «Азбуковник», 2014

Лира

Мне так приснилось: я не вру,
На грани города и мира
Над Волгой в вековом бору
Лежит некрасовская лира.
Над ней шумит другая жизнь,
И мы поднять её пытались,
Иные даже ей клялись,
Но малодушно отказались.
Да, не гремит она, как встарь,
В эпоху нашу озорную,
Не украшает наш букварь,
Не возвещает «Речь родную».
Не очищают наших дней
Её высокие заветы.
Мы все, пожалуй, перед ней
Почти паркетные поэты.
Но жалит в сердце, как пчела,
И песням требует размаха.
Да гибким шеям тяжела
Она, как шапка Мономаха.

• • •

Терпенье, люди русские, терпенье:
Рассеется духовный полумрак,
Врачуются сердечные раненья...
Но это не рубцуется никак.
Никак не зарастает свежей плотью...
Летаю я на запад и восток,
А надо бы почаще ездить в Тотьму,
Чтоб положить к ногам его цветок.
Он жил вне быта, только русским словом.
Скитания, бездомье, нищета.
Он сладко пел. Но холодом медовым
Суровый век замкнул его уста.
Сумейте, люди добрые, сумейте
Запомнить реку, памятник над ней.
В кашне, в пальто, на каменной скамейке
Зовёт поэт звезду родных полей.
И потому, как видно, навсегда,
Но в памяти, чего ты с ней ни делай,
Она восходит, Колина звезда:
Звезда полей во мгле заледенелой.

• • •

Видно, кровь у меня остывает...
Полыхают бульвары Москвы.
Верно, осень моя отступает,
За собою сжигая мосты.
Но душа ничего не боится,
Принимает порядок такой,
Может, в зимней морозной больнице
Ей обещаны мир и покой.
Ей не жалко болящего тела,
Жалко сущность утратить, семью.
Ей хотелось, чтоб маменька спела
Колыбельную песню свою.

Иван Данилов

Звезда моя—беженка…

Поэт Иван Данилов родился в 1941 году в Чистополе. Большую часть жизни прожил в Казани. Окончил историко-филологический факультет Казанского педагогического института. Работал газетным и телевизионным журналистом. Первая и единственная книжка стихов «Завязь» вышла в 1966 году в «Таткнигоиздате» (рецензии во всесоюзных журналах «Волга» и «Смена» как об одном из самых талантливых молодых поэтов казанского поколения «шестидесятников»). Победитель Всесоюзного конкурса молодых поэтов «Чтоб к штыку приравняли перо» (1967). Попытки издать вторую книгу («Птица долгой зимы») продолжались до конца жизни поэта. Умер в 2010 году.

Эдуард Учаров

● ● ●

Где пряник—там попозже кнут:
Законы фарта.
Строку, где ты солгал,—сотрут
Рубцы инфарктов.

Стереть иудино пятно
Лжи и корысти—
Так то лишь тем рубцам дано
Во имя истин,

Во имя солнца и весны
Бушуйте, травы!—
Мечты во имя, рвущей сны,
Во имя правды…

Так сбейте влёт—к сырой земле,
Когда в зените,
И даже память обо мне
Похороните.

● ● ●

Я в мир пришёл. Никто меня не встретил.
Я сам зажёг, как мог, свою свечу.
Не всякому молчанье по плечу.
Это во-первых. Во-вторых и третьих—
И в главных!—знал всегда, чем я плачу́
За всю длину немых десятилетий.

● ● ●

На речке детства тёплая вода.
Она уже теперь совсем забылась.
А вспомнишь—вот уже опять забилась,
Журча, процеживаясь сквозь года.
На речке детства светлая вода,
Светлей теперь не будет никогда.
И острой будет, и нежданной будет,
А та была—как ток сквозь провода.
Ни всплеска рыбы, ни звезды со дна—
На речке детства грустная вода.
Да, впрочем, к ней приходят не с весельем,
Пройдя свой август, то есть не весенним—
Тропой тридцатилетнего следа.
И в памяти—в вечернем захолустье—
Размытость обязательной межи:
Всегда забыты этих речек устья,
А вот истоки—нет.
Они свежи.

● ● ●

Раз не уснуть никак,
Пока не рассвело,
Попыхивай, табак,
Поскрипывай, перо.

Дымы—слоистый пласт,
Но первородно чист
Рисковеннейший наст—
Скрипучий белый лист.

Не выйти за порог,
Не оторвать лица—
Так тянет от листа
Тревожный холодок.

Ночь переходит в день,
И, схожа всё ж с земной,
Покачивается тень,
Бывающая мной.

Ан к лучшему, коль так,
И за окном бело—
Попыхивай, табак,
Поскрипывай, перо…

* * *

Была гроза.
В слепящих вспышках белых
Шатали эхо дымные лога.
И небо электричеством хрустело,
Как соснами крещенская тайга.
И любопытно хоть на миг побыть
Мне в первобытной власти суеверий,
И самовары вынести за двери,
И полотенцем зеркало прикрыть.
Чтоб ходуном ходила табуретка
И чтоб во мне, тревогу сохраня,
Гудела кровь неведомого предка,
Но будто кровь не предка, а моя.
А утром солнце алое, парное
Ко мне взойдёт на ветхое крыльцо —
И как-то зримей станет всё былое
И родословной древнее лицо…

Волга

Там, где ночью чудачат совы,
В озорстве всполошивши сны,
Есть в лесной глухомани часовня,
Ладно сбитая из сосны.

Полонённая бездорожьем,
Тишиной, но и тем горда,
Что с неё на Руси безбожной
Начинаются города —

Белокаменные, златоглавые,
Словно в небыли, будто сны,
Вековой осияны славою,
Взмыты к небу, как звон косы,

Что с неё, от соснового кряжа,
И, как прялка древней стены,
Началась голубая пряжа
Многотысячевёрстной длины.

Нитка-ниточка. Тонко — не рвётся.
Лишь позванивает под рукой,
Потому как уже зовётся
Волгой-матушкою рекой.

А потом, чуть взметнув рубахою,
Да в такие ли да в бега —
Только охают, только ахают
Изумлённые берега!

А ночами совсем не верится,
В ней такое — не разберёшь:
По соседству с Большой Медведицей
Пучеглазый елозит ёрш.

И от века в ладонях Волги
Круто смешивает волна
Пароходы и хворост молний,
Звёзды, судьбы и времена.

Простые мысли

Мне ни слов, ни клятв не надо.
Мне нужнее всяких слов
Откровенность снегопада
И нелживость облаков.
Сквозь уколы диких терний
(Как бы ни были страшны!)
Мне пробиться б в подмастерья
У звезды, у тишины.
Заколдован, заморочен
Звонкой песней вдалеке —
Мне б забыться тихой ночью
У планеты на щеке.
Ни рублями и ни саном
Не кичиться — честно жить,
А потом об этом самом
Песню честную сложить.

* * *

Принимаю влюблённо
В преклоненье колен
Государство озона
И берёзовый плен.
Отдаюсь всплескам шалым
Белых птиц в высоте
И объятой пожаром
Предзакатной воде.
О, как ливни косые
Опадают, рябя!
…Подскажи же, Россия:
Как понять мне тебя?
Ухожу до рассвета,
Где исконно, века
Источает планета
Синий звук родника.
И круги в зыбкой сини —
Как касанье орбит.
Как постичь мне те силы,
От которых знобит?!
Солнце сыплет веселье
Из зелёных прорех.
Приворотное зелье
Ослепительных рек.
И прильну — как причастье! —
Я к тебе, как к ручью.
Это, может, и счастье,
Только я промолчу.
Бродит ветер травою.
Тропы входят в село.
Промолчу. Не раскрою,
Что во мне проросло.
Первозданно и чисто.
И не спится волне.

Постиженье Отчизны
Происходит во мне…

Начало

Я стою на земле. Облака белой вьюгой клубятся.
Мои ноги, как корни, пропадают в дремучей траве…
Подо мною озёра, как кержацкие древние святцы,
Неохватным туманом подымаются к голове.

Сколько минуло бед и веков пламенеющей крови,
Сколько тысяч восходов и закатов в ней ярко горят—
Над моей родословной то ль варяжские, скифские ль брови…
Табуны, ледоходы и славянские реки шумят.

Гордый месяц сквозь мглу к тропе соболиной выходит,
То ли сабли кривой предзакатный багровый всплеск,
Печенеги качаются на ремённых стеблях поводий,
Храп коней сотрясает даже птицей покинутый лес…

И не с той ли поры, с тех ночей жутковатых и длинных,
Где плясали костры на испытанных кровью мечах,
Дремлют в пашнях, снегах очень медленные былины,
Что, сложившись, текли, словно реки, в сырых ночах?

Не оттуда ль восходят курганов лобастые сказы,
Неистлевшая мудрость поистлевшей уже бересты?
Вещий взгляд замерцал: о, тревожная кисть богомаза!—
И дымы прорастают из огня—голубые кусты.

Сколько лет утекло—не сочтёшь, да и нету им счёта,
Сколько высохло рек и оттаяло горных вершин,
Но мне шепчут века про своё сокровенное что-то—
В русле памяти нам никаких не воздвигнуть плотин!

О мой пращур лесной, подари мне тугие ладони,
Что, как сёдла, крепки и смуглее крылатой зари,
Пусть вся мудрость твоя сединою виски мои тронет,
Своей доброю мыслью, нежным сердцем меня одари!

О вы, земли России!—где мои простодушные предки
Так склонялись к сохе, так точили в золе топоры,
Что сквозь срубы, пожары, через битвы и пятилетки,
Как ядро из пращи, вырывались в иные миры.

От кольчуг и икон, обветшалых избушек саманных,
От певучей стрелы и зазубренного топора
Шли сквозь пепел и гул в анфилады галактик туманных,
Где до вас—ничего, уж и впрямь—«ни кола ни двора».
. . . .
Я стою на земле. Облака надо мною клубятся.
Нынче снова в соседях у меня тишина и трава.
Подо мной—городов белокаменные вариации,
И от дали сквозной шалеет чуть-чуть голова.

Но когда в наших днях второпях перепутаю тропы,
Словно звёздную карту, воскрешу эхо дальних времён—
И дорога ясна, если верю, как в лучшие строфы,
Что Непрядва журчит, что град Китеж ещё силён…

● ● ●

Нет полёта, вишу я цепко
в жизни ветреной, пустой,
как забытая прищепка
на верёвке бельевой.

Юрий Беликов, Виктор Милосердов

Соло на виолончели для расстроенной гитары

Он — феноменальный виолончелист, выступавший с гастролями во многих городах мира, в том числе — в России. Он — русский. Но выучил немецкий, потому что с 1988 года живёт в Австрии. Он — профессор Венской консерватории. Он — йог, мастер перехода в отрешённость и хладнокровие. Но при этом — горячий, эмоциональный человек, ниспровергатель авторитетов, который может вызвать на дуэль.

Собственно, он это и сделал: невзирая на возможные заполошные санкции, которые могут последовать против него самого, публично бросил перчатку лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу, когда тот во время своего турне по Украине извинился (а получилось — расшаркался?) за якобы сбитый Россией малайзийский «Боинг».

Внешне — он как будто вышел из XIX века: длинные развевающиеся волосы, учтивые манеры, граничащие со старомодной романтической порывистостью.

Он — Милосердов. Или всё-таки Немилосердов?

— Виктор, в последнее время, во всяком случае — в русском мире, вновь всплыло полузабытое пылкое словечко — «дуэль». Милосердов и Макаревич, Плотницкий и Порошенко… Можно и дальше называть возникающие дуэльные пары. Конечно, эти дуэли носят преимущественно виртуальный характер. И всё-таки, на ваш взгляд, почему человек выбирает такую экстремально-возвышенную форму спора?

— Что касается меня, то мною правила эмоция. Мало того, я давно размышлял на тему: что такое искусство в России? Искусство на Западе — это, безусловно, не одно и то же. И я по-своему счастлив, что мог в силу известных причин наблюдать эти две стороны Луны. И тут случайно наткнулся в СМИ, что, оказывается, Андрей Макаревич извиняется перед украинцами за русский народ. Дескать, русские такие нехорошие — сбили малайзийский «Боинг». Я, конечно, мог бы ему ответить его же строчками, перерастающими в эффект бумеранга:

> Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
> Пусть лучше он прогнётся под нас…

Но мне этого показалось мало. И захлестнувшая меня на тот момент эмоциональная волна подтолкнула к единственно возможной, как мне представляется, форме отклика — дуэли. Однако Макаревич в этом смысле не одинок.

По австрийскому телевидению было показано интервью нашего нового министра иностранных дел Себастиана Курца, который тоже обмолвился, что ему понятно, кто сбил самолёт. Почему понятно? На сей счёт создана компетентная комиссия, которая ещё не дала однозначного и исчерпывающего ответа на этот больной вопрос.

Значит, если человек заявляет на официальном уровне о том, что, по его мнению, в небе над Донбассом произошло то-то и то-то, он произносит заведомую ложь?

Вот и Макаревич — из того же ряда. Посему — к барьеру, господин Макаревич! Вы — опасный человек!

— «Опасный»? Это прозвучало почти как комплимент! Не кажется ли вам, что вольно или невольно вы повысили лидера «Машины времени» в его собственных глазах? А также — в глазах окружающих? А ведь он… как бы это поточнее выразиться?.. всего лишь средний представитель московской музыкальной тусовки с достаточно скромными вокальными данными…

— Может быть, слово «опасный» я хотел бы ещё раз употребить, уж если мы подошли к этой теме. Она ведь соприкасается с темой большой политической конфронтации, которая имеет место быть в последнее время в результате событий на Украине. И как некий итог этого политического противостояния, обостряется и момент духовного противоборства. И здесь всплывают такие казусы, как, например, появление на «Евровидении» Кончиты Вурст. Даже австрийские газеты формулировали сей казус как чисто политическую победу. Так вот, я вам скажу: Кончита — это часть тех же тенденций, что и Макаревич!

Сейчас объясню, что я имею в виду. Обама, конечно, у нас «большой демократ». А Путин… Он — в представлениях западного обывателя — то этих бедных девочек из группы «Pussy Riot» за решётку упекает (зря: никто бы их и не заметил!), то не поддерживает (как бы это поинтеллигентней

выразиться?), когда мужчина любит другого мужчину. А у нас на Западе, в отличие от России,—толерантность и человек человеку…

—…человек?

— Спасибо: хорошая формулировка! И вот в Европе признают эту (или этого?) Кончиту. И только в Австрии власти единственной земли—Зальцбурга (по сути, это музыкальный центр страны)—недвусмысленно заявляют: «У нас Кончита выступать не будет!» Кстати, Зальцбург в переводе на русский—«соляная крепость». Но это, скорее, исключение из правил.

Начиная с двадцатого века, западное, а потом и российское искусство стало частью бизнеса. То искусство, которое в нынешней Европе якобы стоит высоко на олимпе, идеологически и политически сориентировано. Миром управляют неглупые люди. Им нужны—бюргеры, податливые граждане. Для этого они умело задействуют все пласты социума—в том числе и искусство. Искусство превращается в машину манипуляций.

В этом смысле весьма показательна история с операми, претендующими на так называемый новодел типа «Носферату», продемонстрированный на сцене Пермского театра оперы и балета. Юрий Темирканов среагировал по сходному поводу следующим образом: «Я стар для таких компромиссов, когда бояре выходят на сцену в красноармейских шинелях, а Хозе восседает на мотоцикле…» И здесь, в принципе, практикующий в Перми Теодор Курентзис ничего нового-то не придумывает. Потому что эта тенденция на Западе существует очень давно. Мне пришлось лет десять назад в этом убедиться лично.

Я оказался в Италии. Там, в Вероне, есть потрясающий амфитеатр, ещё древними римлянами построенный, с великолепной акустикой. Я смотрел «Травиату» Верди. Сидел на самом верху. Поразительно: были слышны каждая нота из оркестра, каждое слово. Как это? Ведь микрофонов-то не было. Но при этом Виолетта, если её сфотографировать, выглядела как какая-нибудь эстрадная суперзвезда. Пели и играли хорошо. Но вот подходит сцена бала. Являются придворные дамы. Значит, предполагаются соответствующие одежды. Но девушки, понятно, были одеты как проститутки. Под музыку Верди они прыгали как на дискотеке. А апофеоз второго действия—мужской стриптиз!

Рядом со мной сидели немцы. Кричали, свистели, топали ногами. Я подумал: что это означает—нравится или не нравится? Спросил. Воскликнули: «Здóрово!»

Что я хочу сказать? Люди, доведённые таким образом до экстаза, становятся не только лёгкой наживой для тех, кто их сюда завлёк. Они будут готовы на всё. Запросто сядут в танк и двинутся на Дом профсоюзов в Одессе, если их позовёт Кончита вкупе с Макаревичем. С единственной разницей: на Западе подобное происходит уже на протяжении столетий, а в России—последние двадцать лет…

— Вот вы сказали об эмоциональном моменте, когда вам захотелось вызвать на дуэль Макаревича. То есть политика занимает в вашей жизни некое пространство? Какое? Может, в этом проглядывает дефицит самореализации?

— Кто такой художник? Во время дискуссий по поводу того же Макаревича некоторые уважаемые и профессиональные господа спрашивали: «Если он музыкант, почему он не имеет права свободы высказывания? Наделён он свободой творчества или нет?»

Теперь—мой вопрос: может ли большой художник таковым оставаться, если он в своём творчестве не отражает всю полноту жизни? Не какой-то один слой прекрасного, когда, предположим, Гайдн писал свои сто четыре симфонии, исходя из некой эстетики. Так и видится: вот сидят они до сего дня, богатые, кушают и слушают те самые творения, которые, в свою очередь, не должны быть слишком трагичными. Потому что слишком трагичные переживания—удел крестьян. А у аристократов если и есть лёгкая грусть, то оттого, что солнышко за тучку зашло,—но так ведь опять будет к вечеру хорошая погода!.. У Гайдна выбора не было—он находился в рамках существовавшей эстетики. Но за счёт своей гениальности создал те произведения, которые мы сейчас знаем.

Однако если внимательно посмотреть на весь двадцатый век и начало двадцать первого, мы не можем не заметить: гармония мира разверзлась, и искусство, может, тем и сильно, что оно стало отражать жизнь во всех её проявлениях. И право на существование может и должно иметь только то искусство, которое в состоянии всю эту нашу жизнь отразить. Не какой-то узкий её пласт. И здесь мы без политики не обойдёмся.

Вспомните француза Жан-Поля Сартра, основоположника экзистенциализма. Он все свои труды писал в ресторанчике. Пил пиво и творил. Он говорил: «Что такое политика? Вот сейчас мы с вами разговариваем—это тоже политика. Политика—вся наша ежедневная жизнь». Роль настоящего художника—не только в том, чтобы отразить жизнь, но, если хотите, в том, чтобы вести за собой человечество.

Кто такой, по большому счёту, композитор, писатель или живописец? Это не просто профессор в очочках, который пишет свои симфонии или полотна. Это, может быть, человек, которому дано познать тайны нашего мироздания… Причём не исключено, что очень глубоко.

Например, известно, что в тридцатые годы прошлого века русского сатирика Михаила Зощенко приглашали на конгрессы учёных-психологов,

потому что считалось, что благодаря своему писательскому дару ему удалось познать те глубины человеческой психологии, до которых не могли добраться наши доктора наук. Большое искусство должно открывать людям глаза. Мой любимый поэт Владимир Маяковский вряд ли мог бы подняться до высот своего таланта, если бы он не был ориентирован и политически. И может ли любой другой художник, будучи над схваткой, достичь настоящих высот, а его исполнение тронуть нас? Впрочем, это одна сторона…

Обратимся к жизни виолончелистов. Я не знаю, если б Мстислав Ростропович не был другом трёх американских президентов, не выступал бы против Фурцевой и Брежнева, если бы он, бедный (кстати, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, возглавлявший жюри конкурса имени Чайковского), не плакал бы горькими слезами по поводу того, что его ни за что лишили советского гражданства,—кто знает, может быть, он не стал бы главным дирижёром Вашингтонского оркестра? А вдруг это была главная цель его жизни? И когда он превратился в политика, он Америке сделался безумно интересен. И вот здесь я бы с вами согласился: подобное приветствовать нельзя!

—А когда во время августовского путча тысяча девятьсот девяносто первого года Ростропович появился рядом с Ельциным в Доме Советов, сменив виолончель на автомат, это было для него совершенно естественным шагом или за этим проглядывалось нереализованное желание себя героизировать?

—Вот в этом я его не могу осуждать, хотя, повторяю, не приветствую как личность в целом. Потому что Ростропович не может быть неким эталоном, как, скажем, выдающийся испанский виолончелист Пабло Казальс. Он тоже выступал против. В частности, против диктатуры Франко. Покинул Испанию. Жил недалеко от испанской границы. Что касается Ростроповича с автоматом… Скорей всего, он просто до конца жизни набирал политические баллы. Казальс, я думаю, нет. Он искренне был против Франко. Это была позиция большого художника, имеющего политическую ориентацию.

—Зато Ростропович Солженицына на даче прятал! Может, его за это и лишили гражданства?

—Ну, молодец! Достоин продолжительных аплодисментов…

—Это—Ростропович. А вы? Вы тоже не ладили с системой?

—В тысяча девятьсот шестьдесят четвёртом году, когда я ещё учился в музыкальном училище и мне было шестнадцать лет, приключилась одна история, по тогдашним временам почти непредставимая. У нас была любимая учительница—Любовь Алексеевна Швер. И комитет комсомола весь подписался в её аморальности и аполитичности. Об этом было заявлено в письме к директору училища. Аморальность заключалась в том, что Любовь Алексеевна нам действительно поведала о воспоминаниях баронессы фон Мекк о Чайковском. Аполитичность же виделась в том, что у неё имелись какие-то первоисточники о приезде в Москву Фиделя и Рауля Кастро. Они посетили одно из наших предприятий. Вдруг смотрят: Рауль погрустнел. И не понимают, в чём дело. Переводчик догадывается: на предприятии Фиделю подарили какую-то циновку, которая у них чёрт-те что означает, а Раулю не подарили. Ринулись за Раулем—подарили и ему. Человек сразу заулыбался! В этом рассказе усмотрели ни больше ни меньше—подрыв авторитета партийных деятелей. Плюс были собраны ещё какие-то факты такого же типа. Создали партийную комиссию из Ленинградской консерватории. И директор училища сказал, что если эти факты подтвердятся, Любовь Алексеевна будет изгнана по статье.

В те годы чтобы учительница истории была уволена по статье—это уже приговор. Но мы за свою учительницу встали на баррикады! Я пошёл в редакцию газеты «Известия», поговорил с корреспондентом, и он сказал, что обязательно придёт на собрание. Я не был комсомольцем—ну не вступил. Но ходил на комсомольские собрания и что-то предлагал. Таким образом, деятельность комитета комсомола признали неудовлетворительной. По тем временам это было неслабо. Конечно, райком комсомола не утвердил решение собрания. В том числе—об исключении из рядов ВЛКСМ «сверхбдительных подписантов». В большинстве своём они были дети высокопоставленных родителей. Но история была громкой. И свою учительницу мы отстояли. Это была первая эмоциональная волна, которая меня захлестнула в борьбе за справедливость. В дальнейшем, разумеется, были и другие волны…

—Но вам не приходила мысль, что эмоции важнее для искусства? Зачем их тратить на политику?

—Моя мысль другая: всё должно быть едино. А когда это единство нарушается, к художнику может подступить творческая немота. Лучшее, что оставил людям Рахманинов, он создал в России. А уехал в Америку—и там не мог творить. Да, он продолжал играть на рояле, но не более…

—Тогда возникает вопрос: всё-таки Австрия или Россия?

—Мой отъезд в Австрию в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году был связан исключительно с женитьбой. Я был вполне легальный гражданин Советского Союза, а потом—вполне легальный гражданин Австрии. В этом же году мы

с Сюзанной сыграли свадьбу. Она к тому времени закончила уже в Москве учёбу, стала магистром по специальности «русский язык и литература» и один год преподавала в Московском университете. Она действительно здорово говорит по-русски! И сразу нашла работу по специальности. При этом пишет по-русски без ошибок. Я, бывает, пишу с ошибками. По-немецки — тем паче…

А на ваш вопрос я бы ответил так: в Австрии появились иные возможности. Здесь, в Москве, у меня были только концерты с роялем, иногда — с оркестром. В Вене, пожалуйста, я играл и с орга́ном, и с восемью виолончелями, и в сопровождении гитар. Вообще, родина — это то, где человек может прорасти, как зерно, и зацвести красивым цветом. Это не обязательно должно быть место, где он родился. А вот где он может развиваться, жить и дышать полной грудью, там и родина.

— Говорят, вам «дышать полной грудью» помогают занятия йогой? И даже на вашем персональном сайте можно обнаружить потрясающее фото, где вы сидите в позе лотоса и играете на виолончели?

— Конечно, было бы наивным считать, что это я практикую на сцене. Но… Готовясь к концерту, любой артист или дирижёр должен находиться в соответствующей физической форме. Поэтому я йогой занимался лет пятнадцать. У меня были два хороших мастера. Йога помогает погрузиться в необходимое состояние. И я не удивился, что недавно в одной из венских консерваторий появилось объявление: «Йога для струнных инструментов».

— В последние годы складывается впечатление, что Европа сошла с ума со своей писаной толерантностью. А на самом-то деле?

— Вы же видите: Европа натравливает украинцев на русских, да так, что уже и в посольство не зайди. В Вену из Донбасса приехала одна моя хорошая знакомая. И ей нужно было зайти в украинское посольство. Она — украинка, но говорит по-русски. Обратилась — и увидела, как там все напряглись и поджали губы. Каким образом политикам удалось выстроить мир, где национальный вопрос стал настолько острым, что приводит к противостоянию и войнам? Но толерантность на Западе всплывает только тогда, когда касается каких-то странных сущностей типа Кончиты. Получается, что от России они требуют толерантности, но если копнуть западный мир, то там никакой толерантностью не пахнет! Западный мир — очень жёсткий во всех смыслах. О нас же, чуть что, они говорят: «Это как в Советском Союзе!» Но если разобраться, может, это и не упрёк?

Я слышал по телевидению, как президент России размышлял об особой духовности русского народа. Он так и сказал: «Ну хорошо — заработал я миллион. Ну хорошо — заработал миллиард. Но всё-таки у русских можно предположить: а что дальше? А у тех — миллиард, два миллиарда, десять миллиардов. То есть — больше ничего, финита ля комедиа».

Представление в Европе о русских, о русском искусстве и вообще о русской жизни весьма минимальное, и люди, как правило, информированы на сей счёт преимущественно со стороны Запада. Увы, людям свойственно верить — в том числе и тем правителям, которым и верить-то небезопасно.

Ко мне в Вену приезжали знакомые из Новороссии — я возил их на озеро в горах. Идём, и я вижу потрясающую картинку: склон, а там овечки пасутся. И вдруг я не то зашуршал, не то оступился — в общем, как-то себя обозначил. Гляжу: один баран в мою сторону голову поднял. И вы не можете себе представить: вся отара одинаково головы повернула, как тот самый, главный баран!

Я подумал: «Господи, как же это интересно! Ведь и люди так же делают!.. И виноваты-то именно те главные бараны, которые на любое шуршание поворачивают головы, а не те, что следуют за своими вожаками».

Ну, допустим, я не считаю, что каждый гомо сапиенс должен родиться борцом и быть сильным и самостоятельным. Человек имеет право явиться на белый свет слабым, но у него есть другое право — на счастье. Но бывает обидно, что вот этих слабых, имеющих право на счастье людей порой ведут за собой самые настоящие бараны. Однако нельзя не замечать и другого.

Был такой немец — профессор-экономист Вильгельм Хакель, которому я очень доверяю. Он умер год назад — в январе две тысячи четырнадцатого. Я слушал его лекцию в Вене. Он за двенадцать месяцев предсказал кризис две тысячи восьмого года, который охватил тогда Европу, да и весь мир. За это своё предсказание Хакель получил известность в Европе. Идея его проста: одна валюта в двадцати восьми странах не может не вести к кризису. И пожалуйста: кризисы идут друг за другом. Предлагаются рецепты спасения: давайте, мол, пару миллиардов выделим на помощь Греции. Но почему, когда Меркель туда приезжает, люди выходят на улицы с плакатами «Уезжай — только не помогай нам!»?

Европейский союз скоро развалится. Он напоминает расстроенную гитару Макаревича. Например, в Австрии сейчас сформировалась партия, которая активно выступает за выход из Евросоюза. За то, чтобы соблюдать нейтралитет. И её позиция всё укрепляется. И это звучит как соло на виолончели.

Анатолий Базун

Юрка

Молоденького младшего лейтенанта везли уже в третий по счёту госпиталь. Прошло шесть дней с тех пор, как 6 февраля 1942 года он был тяжело ранен в бою. В Волоколамск, в 875-й ппг (полевой подвижный госпиталь), его смогли отправить, когда 1-я гвардейская стрелковая дивизия, в которой он служил командиром взвода 1-го гвардейского батальона связи, была выведена из боёв для пополнения и кратковременного отдыха. Младший лейтенант лежал в кузове полуторки вместе с другими ранеными красноармейцами, замотанными кое-как бинтами, побуревшими от крови.

Старый солдат, седоусый, обросший седой щетиной, с иссечённой осколками ногой, после каждой рытвины поправлял шинелку на младшем лейтенантике, который стонал, когда его худенькое безжизненное тело бросало из стороны в сторону, да изредка открывал глаза. Когда полуторку загружали ранеными, санитары эвакопункта эп114 пожалели юного младшего лейтенанта, совсем мальчика, не стали забирать из-под него носилки. Хоть и знали, что старшина не похвалит за это. Вот и трясся раненый младший лейтенант в полуторке на февральском морозе на носилках, хоть чуть-чуть сглаживавших толчки от рытвин на дорогах.

Наконец-то закончилась эта казавшаяся бесконечной дорога, каждая колдобина которой отзывалась нестерпимой болью в раненом теле. Скрипнули петли, и борта полуторки откинулись с характерным стуком, обнажая содержимое кузова. Те из раненых, кто был в силах, подхватывали свои забинтованные и загипсованные руки, спуская с помощью санитаров израненные ноги, матеря водилу, Гитлера и его родственников по материнской линии, выбирались из осточертевшего кузова. Лежачих осторожно снимали санитары и помогавшая им команда из выздоравливающих красноармейцев.

875-й ппг расположился в здании школы, где во время недавней кратковременной оккупации Волоколамска был немецкий госпиталь. Фашисты выбросили из классов деревянные парты (потом ими топили печи) и завезли металлические кровати. Когда в результате контрнаступления наших войск 20 декабря 1941 года фашисты были выбиты из Волоколамска, они не успели вывезти из госпиталя своё имущество. На немецких кроватях сейчас лежали красноармейцы.

Принимавший раненых усталый дежурный фельдшер командовал, определяя, куда кого направить. Помогавшие ему красноармейцы забирали у вновь прибывших документы, прикрепляя к ногам, обутым в грязные ботинки и кое-как закрученные обмотки, картонную или фанерную бирку с написанной обмусоленным химическим карандашом фамилией раненого. По этой бирке солдатика заносили в госпитальные документы, если удавалось его спасти. По ней же определяли, кого вносить в списки погребённых в братских могилах и куда писать похоронки. Младшему лейтенанту тоже привязали бирку с надписью «Мл. л-т Ю. В. Собкевич»… С носилок его сняли: не на чем было носить раненых.

Проще всего было с солдатами, у которых были оторваны или безнадёжно изуродованы руки или ноги. Их отправляли в распоряжение отдельной «ампутационной» бригады: раз, два — и недавний человек, а ныне обрубок человека отправлялся в палату. Остальных надо было тщательно сортировать. В счёт шло всё. Легкораненые, которые могли терпеть боль, долго ждали, пока освободится врач или фельдшер. Раненных в грудь или в живот старались скорее отправить на операционный стол. Хуже было тем, кто был ранен так, что сразу было видно: не жилец. Эти лежали в коридорах госпиталя, пока не появлялось «окно» в многотрудных делах военных врачей. Многие умирали, не дождавшись, другие умирали на операционном столе или вскоре после операции. Стоны, запах крови и человеческих испражнений заполняли коридоры госпиталя, кое-как освещённые керосиновыми лампами. В операционные попадали в первую очередь те красноармейцы, которых можно было быстро вернуть в строй.

Младшему лейтенанту становилось всё хуже. От ранения у него парализовало ноги. Он всё реже приходил в себя, лишь иногда открывая глаза и шевеля запёкшимися губами.

На полу госпиталя, где лежал младший лейтенант, было тепло, несмотря на сквозняки из-за постоянно открывающихся дверей. Окоченевшее тело согревалось. И вместе с теплом возвращались сознание и боль. Боль, иногда отступая, позволяла

видеть картины недавнего прошлого. Когда становилась нестерпимой, отключала сознание… Видения были скоротечны и отрывисты.

Виделось что-то из детства. Небогатого, не всегда сытого, но мирного. Виделось и недавнее. Вот перекошенные от крика лица красноармейцев его взвода, поднявшихся из окопа в атаку, которая для многих станет последней. Виделся бревенчатый, без палисадника, начавший врастать в землю дом в родных Чеповичах, глядящий прямо на улицу своим единственным окошком. Скамейка перед домом с растрескавшейся доской и мама, Анна Семёновна, повязавшая свою начавшую седеть голову ситцевым платком. Трава на песке перед домом, за́росли рогоза за дорогой, который мама с детьми каждое лето резала для набивки матрацев.

Сёстры… За старшую, Тамару, он беспокоился меньше. Она вышла замуж за заезжего ветеринара Семёна Бебика, мужика вроде бы надёжного… Беспокоила Октябрина, которой к началу войны было всего шестнадцать лет…

Что-то заставило проходящего мимо немолодого, обросшего многодневной щетиной хирурга в застиранном халате со следами крови после недавней операции взглянуть на безусое и безбородое, белое от боли и потери крови лицо мальчика, укрытого шинелью с петлицами младшего лейтенанта. «В операционную»,—сказал он санитарам.

…Последняя атака, в которую младший лейтенант поднялся с остатками своего взвода, была уже третьей за день. Первые две захлебнулись под шквальным пулемётным и миномётным огнём. Поступил приказ вернуться в свои окопы. Ползком и короткими перебежками от воронки к воронке красноармейцы возвращались, тяжело переваливаясь через бруствер окопа. На заснеженном поле, вспаханном взрывами мин и артиллерийских снарядов, лежали солдаты, для которых война закончилась. Наверное, среди мёртвых были живые, но вытащить их с простреливаемого поля было невозможно.

Командир батальона собрал всех уцелевших красноармейцев, всех, кто был способен держать оружие. Залегли в траншее рядом со своим командиром оставшиеся в живых после нескольких дней боёв красноармейцы взвода связи, которым командовал младший лейтенант Юрий Собкевич. Артиллерийские наблюдатели засекли пулемёты и миномётную батарею противника. После десятиминутной обработки артиллерией дивизии обнаруженных огневых точек фашистов рота вновь поднялась в атаку. Почти без потерь преодолели поле и ворвались во вражескую траншею. Успевали расстрелять по одной обойме. Перезарядить карабин не было никакой возможности. Действовали штыками и прикладами, валили фашистов на дно траншеи и душили голыми руками.

Немцы сопротивлялись отчаянно. Немало наших бойцов полегло во вражеском окопе под огнём их «шмайссеров». Вот перед младшим лейтенантом на мгновение возникло дымящееся отверстие ствола автомата, а его рука ещё не закончила передёргивать затвор карабина. Немецкая пуля пробила навылет грудь юного командира.

Он не видел, как красноармейцы его взвода добили последних фашистов (пленных не брали). Не видел, как оставшиеся в живых солдаты собирались кучками, шаря по вещмешкам—своим и погибших товарищей—в поисках фляжек с водой, затягиваясь терпким махорочным дымом.

…Почему же не видно отца? Почему мама запрещала говорить о нём после его гибели под поездом в 1932-м? Неужели была правда в тех шепотках, когда говорили, что отца столкнули под поезд чекисты за его якобы причастность к националистическому движению на Украине? Но ведь он был всего лишь учителем в сельской школе. Где его могила?..

Гимнастёрку и рубашку, присохшие к бинтам на груди и спине, с младшего лейтенанта снимать не стали. Их просто разрезали ножницами от шеи вниз. Пожилая медсестра резко, но осторожно отделила от сочащихся кровью ран почерневшие бинты. Её лицо ничего не выражало: она слишком устала от обилия крови, истерзанных железом обнажённых мужиков и мальчиков. Лица молоденьких медсестёр передёргивало при каждом резком движении рук старшей.

Он не знал, что его сёстры с Семёном и детьми успели эвакуироваться. Октябринка помогала Тамаре присматривать и ухаживать за детьми. На одной из станций она побежала на перрон налить в чайник кипятку и купить что-нибудь поесть. Когда она возвращалась с чайником в одной руке и газетным кулёчком с дымящейся картошкой в мундире в другой, на первый путь въехал военный эшелон с товарными вагонами и зачехлённой техникой, отрезав перрон от гражданского поезда. Тем временем состав с эвакуированными тронулся и ушёл, набирая скорость.

Октябрина осталась на перроне с чайником, картошкой и несколькими смятыми рублями, зажатыми в руке. Испугаться она не успела. Ей и раньше казалось, что надо ехать на фронт, а не в эвакуацию. Она ходила вдоль воинского эшелона, только что отделившего её от родных, от прежней жизни, и размышляла, как попасть в него. Солдаты из теплушек уже протягивали руки, отпуская шуточки, как тут офицер из этого военного эшелона одёрнул шутников, остановил Октябрину, выслушал её сбивчивый рассказ и сказал: «Девочка, нечего тебе здесь делать». Он взял Октябрину за руку и отвёл к коменданту вокзала. Комендант спустя час-полтора посадил черноглазую, с длинной косой девчонку в эшелон

с эвакуированными, направлявшийся на Урал, в Челябинск…

…Обезболивающий укол превратил забытьё младшего лейтенанта в долгожданный сон. Снилась школа, которую окончил два года назад. Выпускной вечер, проведённый с товарищами и подругами. Участие в драматическом кружке. Была среди девушек та, которая очень нравилась. Но она об этом так и не узнала. Надо было работать, чтобы помочь выбивающейся из сил маме, с 1932 года без отца поднимающей троих детей, чтобы всех накормить, одеть, особенно девочек. А Юрка мог обойтись малым… На него, единственного мужчину в семье, надеялась мать. Даже Октябринка, закончив только восемь классов, пятнадцатилетняя, пошла работать учителем начальных классов в школу соседнего села. На работу приняли потому, что мама, Анна Семёновна, была учителем и отца, оставившего о себе тёплую память, ещё помнили.

На полу госпиталя лежат те, кто ждёт своей очереди и кто своей очереди никогда не дождётся — сил у персонала не хватало. На верёвках, натянутых во всех незанятых ранеными закуточках, сушились стираные бинты. Они были нужны тем, у кого оставалась надежда вернуться в строй или хотя бы выжить…

…Хирург обходился минимумом слов и жестов. Во-первых, вся операционная бригада безмерно устала; во-вторых, все понимали друг друга без слов. Хирург ушил повреждённое пулей лёгкое. Обследовав далее пулевой канал, обнаружил серьёзное повреждение позвоночника и спинного мозга. Надежд на выздоровление у лежащего перед ним мальчика не было никаких. И на жизнь было немного шансов: налицо были следы воспаления и начавшегося заражения крови…

А младший лейтенант тихо лежал на операционном столе. Боли не было. Был поверхностный сон с проскальзывающими видениями…

…Повестка в Чеповичский РВК о мобилизации в Красную Армию пришла 24 июня. Скорое прощание с мамой Анной Семёновной, сёстрами Тамарой и Октябриной… Анна Семёновна, пережившая Гражданскую войну, понимала, что больше никогда не увидит сына. Но она, повидавшая горя на своём веку, не плакала. А он, её Юрка, балагурил, стараясь успокоить родных.

Ему сразу было присвоено звание «старший сержант»: учли, что он успел закончить школу. Эшелон, состоящий из теплушек и товарняков с такими же мобилизованными, двинулся на восток. Несколько раз состав обстреливали из пулемётов фашистские «юнкерсы», возвращающиеся с бомбёжки Киевского укрепрайона, но их бомболюки были пусты, поэтому обошлось малой кровью. На ближайших остановках выносили из теплушек тех, кому не повезло, для кого война закончилась, не начавшись.

Ехали с редкими остановками. Иногда, когда меняли паровоз, стоянка была подольше. Тут удавалось разжиться горячей кашей, которую готовили на походных кухнях в последнем товарном вагоне. Но чаще успевали только добежать до белой будки с надписью «Кипяток», протянуть руку с котелком через головы таких же пацанов к струе горячей воды и бежать обратно к своему вагону. Паровоз свистком извещал об окончании стоянки, выпускал облако пара, пробуксовывал на месте своими огромными стальными колёсами, и состав медленно начинал движение. Не успевшие добежать до своих теплушек подавали котелки с горячей водой в протянутые руки мальчишек ближайшего вагона и под шутливые возгласы втягивались внутрь. С гостем делились припасами, наспех, но заботливо собранными дома плачущими матерями. Котелок шёл по кругу и почти пустой возвращался к своему хозяину с чуть тёплой водичкой, не достойной нести высокое звание «кипяток».

Эшелон остановился в Челябинске…

…Волоколамск. Волоком, что ли, тащили?.. Волоком по снегу тащили его, Юрку… обмороженные руки, которые с трудом оторвали от карабина вместе с кожей… здесь тепло… Пить… Так хочется пить… Но сестра в белом халатике лишь промокнула Юркины губы влажной салфеткой и предупредила ходячих раненых, что поить новенького после операции нельзя…

…В Чеповичах фашисты… Письма писать некуда. Как там мама?..

Сестричка милосердия похожа на Октябринку, такая же черноглазая и темноволосая. Зачем сестра имя сменила? Чем Инна лучше? Успела ли эвакуироваться? Где она сейчас?.. Тамаре легче, Семён рядом. Увидеть бы их всех…

…Неужели показалось? В Челябинске, шагая в строю по пути в баню, он боковым зрением увидел маленькую девчонку, так похожую на Октябринку. Пока сообразил, пока подумал, возможно ли такое, взвод прошагал далеко вперёд… Остаток дня стояла перед глазами тонкая девичья фигурка с длинной косой…

В минуты просветления памяти — боль. Юрка начинал чувствовать своё тело. Но не было сил повернуться, чтобы освободить онемевшую придавленную руку… Запах крови и преющей человеческой плоти, мочи и откровенного дерьма…

Очнулся Юрка от громкого стона… Ну что, боец, потерпеть не можешь?.. Тут же понял, что это его собственный стон…

Он открыл глаза. Наступило облегчение. Боль ушла, исчезли гром недалёкой канонады и все звуки госпиталя… Только всё так же хотелось пить. Стало тепло, почудились цветущая вишня возле о́тчего дома и мама, протягивающая старую оловянную кружку с водой. Но почему дотянуться до кружки никак не удаётся? Ещё чуть-чуть…

Анна Семёновна Собкевич
Фото около 1970 г.

Юрка вытянулся и затих. Навсегда.

Утром санитары обнаружили его среди умерших за ночь, сняли с окоченевшей ноги бирку. Её вместе с другими такими же, снятыми с не доживших до утра красноармейцев, отнесли в каморку к госпитальному писарю—выздоравливающей после ранения девушке-зенитчице. Она, поправив накинутую на плечи шинель с чужого плеча, привычным движением пошелестела страницами и сделала запись под номером 50: «Собкевич Юрий Владимирович». Проставила сразу, как положено, место захоронения: могила №8, ряд 2, 6-й слева. Грустно подумала, что вряд ли похоронная команда будет соблюдать порядок укладки тел солдат. Что уж там? Эти 1986 бойцов в одном из нескольких волоколамских братских захоронений хоть преданы земле по-человечески, и матери получат похоронки. Не всем так повезло… Заплакала? Нет, не было сил. Закончив заполнять журнал, взяла бланк из пачки похоронок и сделала последнюю запись в жизни девятнадцатилетнего младшего лейтенанта…

Санитары вынесли остывшее тело во двор, на февральский мороз. Через два дня, когда набралось достаточно таких же, одетых только в окровавленные солдатские рубашки и кальсоны, погрузили окоченевших на морозе мальчиков в кузов полуторки и отвезли к вырытой в мёрзлой земле братской могиле, которую слой за слоем укрывали своими телами защитники русской земли…

…Через много лет поэт Андрей Дементьев написал строки—как будто про Юрку и его маму, Анну Семёновну, которая пережила своего сына на тридцать шесть лет. Она умерла в 1978 году. И все эти годы мать ждала сына…

Дома всё ей чудилось кино,
Всё ждала: вот-вот сейчас в окно
Посреди тревожной тишины
Постучится сын её с войны.

Зеленогорск, февраль 2014

Послесловие

Поиски своего брата, Собкевича Юрия Владимировича, начала моя мама, Инна (Октябрина) Владимировна Базун (Собкевич). Стало известно, что умер он от ран в волоколамском госпитале 14 февраля 1942 года, в возрасте девятнадцати лет. Похоронен в братской могиле 16 февраля 1942 года. Адрес захоронения, указание, как добраться… И всё.

С наступлением эры Интернета, когда многие замечательные люди стали выкладывать в сеть документы, сканированные страницы журналов, в том числе и рукописных военных, появилась возможность узнать о моём дяде больше, чем мы знали раньше.

Из Интернета узнаю, что Собкевич Ю. В. числится в мемориальной книге памяти Челябинской (?) области. В разных документах он значится то как старший сержант, то как младший лейтенант. Могу предположить, что Ю. В. Собкевич после мобилизации оказался в какой-то школе (на курсах, в училище) младшего комсостава, после окончания которой (которых) был направлен в действующую армию на оборону Москвы. Впрочем, Л. П. Люднев утверждает, что звание «младший лейтенант» могли присвоить старшему сержанту в ходе боёв, без курсов.

Переписка с военкоматом Челябинска и другими организациями ситуацию не прояснила (переписка и другие документы приложены только к двум экземплярам рассказа: посланному брату Александру и собственному, авторскому). Более полезной оказалась справка, присланная Архивом военно-медицинских документов Санкт-Петербурга. Из неё стало известно о воинской должности Ю. В. Собкевича (командир взвода батальона связи), дате и характере его ранения, а также перемещений Юрия Владимировича после ранения: 653-й ппг, эп114, 875-й ппг.

Я вставил в этот очерк несколько строк о своей маме, которая тоже была в Челябинске, работала на военном заводе №549. И если версия об учёбе Юрия в Челябинске верна, брат с сестрой могли встретиться. Я пересказал также рассказ мамы о том, как она отстала от поезда. Этот факт описан мною так, как сохранила его моя память.

С бабушкой своей, Анной Семёновной Собкевич, матерью Юрия Владимировича, я последний раз виделся летом 1965 года, когда гостил на Украине, в Чеповичах. Отсюда воспоминания о родном доме Юры, даже оловянную кружку помню. Перед старым, вросшим в землю домом была вкопана в землю заржавевшая немецкая солдатская каска, в которую бабушка наливала воду для кур.

Сюжет о девушке-зенитчице, заполняющей похоронки и другие документы на умерших в госпитале красноармейцев, взят из рассказов моей

тёщи, ветерана войны Юшканцевой Валентины Григорьевны, которой пришлось заниматься этим скорбным делом, когда она находилась на излечении в госпитале после перенесённой малярии.

Рассказ, который ты, мой читатель, только что прочёл, основан на моём представлении о войне и на большом уважении к памяти о мальчиках, положивших жизнь за свою и нашу с вами Родину.

Боевые действия 1-й гвардейской стрелковой бригады, в которой воевал Юрий Владимирович в период, предшествовавший его ранению и смерти, не представляется возможным привести в коротком рассказе. Пришлось оформить отдельную брошюру.

В 2013–2014 годах Центральное телевидение начало кампанию по установлению всех погибших в ВОВ. Я послал анкету.

В ходе работы над рассказом я показал имеющиеся у меня материалы и наброски ветерану Великой Отечественной войны Людневу Леониду Попиловичу и члену Союза российских писателей Кузнецовой Зинаиде Никифоровне. Они, ознакомившись, сделали ряд существенных замечаний, которые я с благодарностью принял и учёл при оформлении окончательного варианта своего повествования.

ДиН пародия

Евгений Минин

Мозги, читатель, береги!

Стихозачаточное

Встретились в Питере: здравствуй, подруга,
что ж твой живот округлился упруго?
Будто в нём зреют новые строчки —
чёрные деньги и белые ночьги.
Александр Кабанов

Встретил подругу средь питерских готик,
а у неё такой круглый животиг!
Ночью стихов я читал ей немало,
надо же, как на живот повлияло!
Вижу внутри стихотворные строки —
значит, рожать приближаются сроки.
Вот чем кончаются эксперименты,
скиньтесь, ребята, мне на алименты!

Хотельное

Я нынче расхочу тебя на треть,
а через день уже наполовину…
Инна Кабыш

Печально повернулось нынче дело,
прости, что прибегаю я к дробям!
Ах, милый мой, тебя я расхотела
практически уже напополам.

Но на одну десятую, возможно,
тебя хотеть я буду между тем,
ведь по природе очень-очень сложно —
быть женщиной и не хотеть совсем…

Предупредительное

Я сам себя не понимаю
(мозги, как видно, набекрень)…
Сергей Казначеев

Со мной уже неделю кряду
такая происходит хрень:
лишь только сочинять присяду —
мозги мгновенно набекрень.
Отсюда истина простая,
такие, в общем, пироги:
всегда, стихи мои читая,
мозги, читатель, береги.

Мечта поэта

К утру тускнеют бриллианты,
Её в столовую тащи!
И с прямотой официанта
Заставь есть щи, заставь есть щи.
Виталий Пуханов

Нет радости от книжек ныне,
Совсем заелся наш народ.
Разложишь книги на витрине —
Никто их в руки не берёт.
Так хочется поймать ханыгу,
Без уговорной чепухи
Уткнуть в распахнутую книгу:
«Читай стихи! Читай стихи!»

Наталья Мамлина

Под Солнцем восхода

● ● ●

Над столицей сияет бесстрастное Солнце восхода.
Ни дождя, ни сыпучих снежинок, похожих на соду.
И ни друга с гранёными: вот, мол, давай осушать,—
Ничего, что мешало бы сердцу себя осуждать.

Над столицей сияет бесстрастное Солнце восхода.
Добрых дел я не помню, а злые—являются с ходу.
В этот век второсортный, похожий на кофе спитой,
Даже трезвость моя начинает граничить с бедой.

Над столицей сияет бесстрастное Солнце восхода,
И Его не закрыть ни одной из московских высоток.
И себя не сокрыть перед Ним, и лишь в Нём обретать
То благое прощенье, которым спасается тать.

● ● ●

Подобно ивам прятали вершины,
Но никакие прятки не спасут.
Мы жили так, как будто бы вершили
Какой-то бесконечный самосуд,

Позволив всё себе. А чем-то бо́льшим
Не озаряя жизни вечный сруб.
Остановился самый главный поршень.
Святая радость выпала из рук,

Но в поисках утраченной не каждый
Захлёбывался собственной душой,
Вообразив наброском карандашным
Весь *этот* мир пред живописью *той*.

● ● ●

Прекрасное соседствует с трухой,
И жизнь идёт, и боль не отпускает.
Вселенная засветится строкой
И вновь погаснет, веки опуская.

На каждую строку есть свой погром
И свой погромщик во главе артели.
Но так ведётся веку испокон,
Что каждый жив и каждый на пределе—

Готовится начать иную жизнь,
Покинув землю и артель покинув.
На небесах, строка моя, сложись,
Здесь, на земле, измучившись и сгинув.

● ● ●

Неправильность на уровне души,
испорченное сердце в перикарде.
Закрой на ключ, забудь—и потуши
всё то, что было дорого на старте,

когда ещё хвалился сам собой,
себя помимо никого не видя,
жизнь превращая в бесконечный сбой,
не *«схватывая нить судеб, событий»*,

не понимая, отчего таков,
каков он есть, твой путь под небесами.
Покинь уже своих страстей альков
и оглядись нездешними глазами—

ведь невозможно разглядеть посю-
сторонним взглядом, прячущимся в осень,
как сердце откликается вовсю,
на что не стоит откликаться вовсе.

● ● ●

Потому что я очень боюсь,
Говори мне, чтоб я не боялась.
И сегодня рифмуется Русь,
С чем столетья назад рифмовалась.

И проходят всё те же дожди,
И земля их приемлет покорно,
Потому что—пощады не жди,
Поколенье страстей и попкорна,

Поколение добрых на час,
Никому уступать не хотящих.
Жизнь не позавчера началась,
Чтобы мы горевали о тяжбах.

И сегодня рифмуется Русь,
С чем столетья назад рифмовалась.
Потому что я очень боюсь,
Говори мне, чтоб я не боялась.

Тамара Сафарова

В ярко-жёлтом большом фонаре…

● ● ●

То ли кто-то вмешаться захочет
В нашу жизнь, то ли сон нехорош,
Но внезапно поднимешься ночью
И зачем-то к окну подойдёшь.

И, теряясь в заснеженном свете,
В ледяной заоконной тоске,
Вдруг поймёшь, что мгновением этим
Поделиться не сможешь ни с кем,

Что бессмертью никто не угоден.
Только есть этот снег, этот свет,
Чтоб не думать, что в нашем уходе
Ничего справедливого нет.

● ● ●

Давно утихли споры—
Словесная пальба.
Мы не из тех, которых
Преследует судьба.

И всё же бродим снова
По лесу—ни о чём,
Слегка один другого
Касаемся плечом.

Уже бы и расстаться,
Да вдохновенья нет
В итоге дегустаций
Необратимых лет.

Нам всё давно известно:
И то, что ловит слух,
И запах снега пресный,
И листьев бражный дух,

Что у осинок тонких
В предчувствии весны,
Как провода под током,
Стволы напряжены,

Как открывает поры
Набухшая земля…
…Всё это—только повод,
Всего лишь повод для…

● ● ●

Из восточной экзотики пышной,
Что туристам дана на разбой,
Нам достались застенчивый рикша
И его фаэтон с бахромой.

Мы помчались, повозку кидало,
В переулках жгло солнце огнём.
Но крутил наш возница педали,
И рубаха темнела на нём.

Только ветер, горяч и засушлив,
Бахрому задувая в окно,
Вдруг взметнул наши руки и души,
Как в мелодраматичном кино.

И вскипевшее в кожных пределах,
И сжигавшее кожу извне
Горячило и плавило тело
В азиатском недобром огне.

И в каком-то сознанье непрочном
Мы летели, рискуя сгореть,
Трепеща, словно бабочки ночью
В ярко-жёлтом большом фонаре.

● ● ●

Вот наступит зима. Воевать мы с тобой перестанем.
Ты же сам говорил, что мы будто бы древние греки.
Видно, легче с ума посходить, чем свести с пьедестала.
Успокоимся. Раны залечим. Зима не навеки.

Ты представить не можешь, какое придёт беспечальное время.
Стану я вечерами читать или шить—я умею,
И захаживать в гости на чай с голубичным вареньем,
И припомню рецепты блинов и сибирских пельменей.

Да и ты наконец-то займёшься своими делами,
Их так много: работа, семья, застарелая язва…
И покажется нам, будто всё это было не с нами.
И поноет слегка. И отпустит. И всё станет ясным.

Если только однажды негромкий послышится оклик…
Это вряд ли, конечно… Но всё-таки… Всё в нашей власти…
Вот и сердце дурит: то забьётся взахлёб, то замолкнет…
Но и это пройдёт. Да и правда—не всё ж ему счастье.

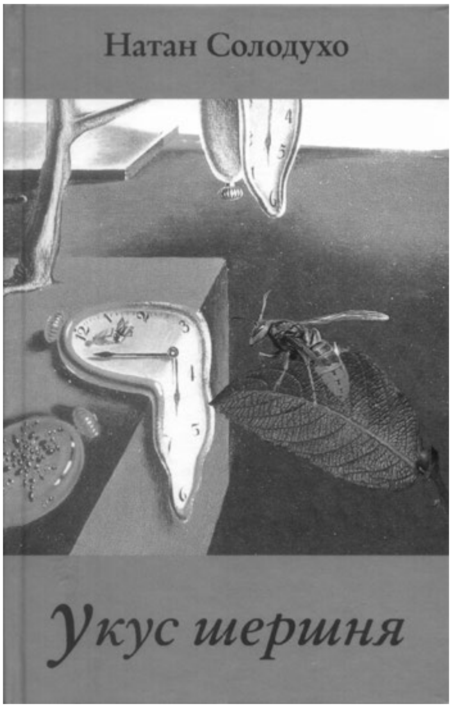
• • •

О том, что лес, роняя свой убор,
Был всё ещё янтарным полон светом,
О том, как нам понравилось с тобой
Из ярких листьев составлять букеты,
О том, как вдруг открылась нам река,
Как рыба, серебрясь между стволами,
О долгом трепетанье мотылька,
О том, что день по следу шёл за нами,
О том, о чём молчалось нам, когда
Мы пили чай в прохладе тёмных комнат,
О том, что забываешь без труда,
Чтоб через много лет однажды вспомнить,
О том, что жизнь и вправду хороша
Со всею старомодностью устоев,
Когда не так взыскательна душа
В отзывчивости на совсем простое…

• • •

Обветшало, стопталось крылечко.
Мелко дряблые окна дрожат,
Но исправная топится печка,
И дрова под навесом лежат.
На верёвках белья полыханье
Подтверждает неумерший быт.
Отлетает деревни дыханье
Вместе с дымом из тёплой трубы.
Только держится всё же, упрямо
Выживает, надеется дом,
Что к весне будут новые рамы
И посадят цветы под окном,
Будто кто-то сюда возвратится,
Всё вокруг оживёт в суете,
Будто жизнь хоть на миг усомнится
В беспредельной своей правоте.

ДиН ревю



Натан Солодухо

Укус шершня

Москва: Союз писателей Москвы, «Academia», 2014

«Хочу отметить две примечательные особенности творчества автора—это пристальное, обострённое чувство природы вплоть до мельчайших проявлений живого, взыскательный ум и богатое ассоциативное мышление, сочетающее непосредственное эмоциональное восприятие с отражениями основательной книжной культуры. Особенного успеха на этом творческом пути он достиг в жёстком и ярком рассказе«Подробности смерти стрекозы».

Мне кажется, читателю будет интересен этот сборник—художественное свидетельство интеллектуально напряжённой жизни автора—нашего современника».

Кирилл Ковальджи,
поэт, прозаик и литературный критик

Дмитрий Иващенко

Родина, я здесь тебя нашёл…

● ● ●

Зажгла позёмка плясовую,
и мой Пегас копытит снег.
Зима!.. я тоже торжествую,
зарифмовав со снегом свет.
Сурова жизнь земли бурятской,
где баргузин гудит в степях,
где оползни в горах таятся,
а лес пожарищем пропах,
где с проницательностью зека
сумеют сразу же понять
по взгляду—душу человека,
по бегу—норов у коня.
Мороз привычно жмёт за тридцать,
оплавив солнечную медь,
и вышибает на ресницы
слезу, начавшую звенеть.
Рванём и наметём сугробы,
дорогу занесём—а там
я отпущу поводья, чтобы
скопытиться ко всем чертям.
Давай неси меня, крылатый,
по насту хрупкого листа!..
А наши гиблые места
мы оттепелью строк оплатим.

● ● ●

Сгорели на кострах бадана
твои сомненья и хандра…
По склонам—
стелются ветра
и снег искрится первозданный.
Где в расстоянии на выстрел
пестрят альпийские луга,
по горловине каменистой
стекает каплей кабарга.
До Селенги от Култука,
над хлябью скалами ощерясь,
хамар-дабанские ущелья
засасывают облака.
Поток воздушный перламутров.
Мир на ладони распростёрт:
в лиловых чашах лесотундры
застыло
золото
озёр.

● ● ●

В тот день, когда
от Ангары дул ветер хлёсткий
и тополиный пух каймил твою причёску.
Когда иркутский мост застыл, немой свидетель.
Когда сказала: мол, звони.
Я не ответил.
А через час я проводил тебя на поезд.
Потом по городу бродил.
Такая повесть.
И скверы вымокли луной до самой нитки.
И охромели фонари в рассвете зыбком.
И тротуары под ногой покрылись пеплом.
И наше лето в ночь одну вконец ослепло.
Где встанет солнце над рекой, как и вставало.
Где проплывёт речной трамвай, как то бывало.
Где мир предстанет без прикрас и глянет строже.
Где друг без друга проживём.
А жить—не сможем.

● ● ●

Мой сентябрь, золото пера!..
Прель булыжника и травостоя.
Хорошо пройтись по вечерам
в пойме обмелевшего Китоя—
где гоняют мячик пацаны,
где с ветвей вороны раскричались,
а на пику медную сосны
туча наплывает величаво.
Восемьсот далёких лет назад
здесь, уставшие в походах рьяных,
в синеве обветренный закат
выпивали кони Чингисхана.
Хорошо вдыхать прохлады шёлк
и внимать берёзе в белых джинсах.
Родина,
я здесь тебя нашёл
и к твоей печали приложился.
И в дыму оранжевой листвы,
и в хандру дождей с вороньим граем—
ты руками веток шелести,
за собой желая увести,
чётки вечеров перебирая.

● ● ●

Рискуя сгинуть метр за метром,
пригнувшись под напором ветра,
кедровый стланик—альпинист—
ползёт, упрямый и живучий,
ползёт на самую на кручу
и не боится глянуть вниз.

А горный кряж вокруг—как волны.
И к пику нет путей окольных.
И хлещет снежная крупа.
И холод—как в воде по шею.
И валуны на дне белеют,
похожие на черепа.

Но тот, кому тесны долины
и полусонные равнины,
тропу пробить способен сам.
Закоченелыми руками
он вновь цепляется за камни
и тянется под небеса.

● ● ●

Разве забыть смогли бы
буйный разлив Бабхи
на крутолобых глыбах
водоросли да мхи?..
Дрогнули берега—
и, берега раздвинув,
хлынули, как лавина,
стаявшие снега.
Скальникам одиноким
некуда убежать
и в ледяном потоке
не удержать скрижаль.
Мёртвый несло валежник.
Шум по реке и гул.
Да красотой мятежной
на пятаках прибрежных
травы поджёг багул.

● ● ●

Это наши с тобою земли—
воля Божья да стук топоров.
Я—Сибири хохляцкое семя
и Поволжья немецкая кровь.
Безрассудно любя, ненавидя—
я себя по стране растерял
от острога Илимского и до
Соловецкого монастыря.
Век сегодняшний,
век мой давний,
что за песни в пригоршне держу?
Это наши скорбят Ярославны.
Это наши кикиморы ржут.
Ветер в лоб да рубаху полощет.
Я—покорный и подлый народ—
выходил на Сенатскую площадь
да со Стенькой топил воевод.
Наши спины крестили нагайкой
при Владимире и при Петре,
я жевал магаданскую пайку
и в избе с Аввакумом горел.
И «Дубинушку» ухнет река мне,
а потом надерусь в кабаке.
Рассеки грудь—
и выпадет камень,
не вмещающийся в кулаке.
Неба просинь,
берёзы проседь,
чёрным флагом ворона висит…
Снова снегом дорогу заносит.
Снова снег под ногами хрустит.

Екатерина Вучина

Карась

— Да лан? Правда твой трактор?
— Да мой, мой…
— И что, не врёшь? Прям твой?
— Чё ты примотался-то? Говорю — мой! Поди спроси кого хошь.
— И как же ты его купил? Деньги где взял? И что, милиция тебя в тюрьму не посадит?
— Батя мне подарил! А чего милиция? Менты меня не видят. Трактор-то высокий, как же они меня увидят? Дурак, что ли?

Мальчик закинул голову, раскрыл пухлый ротик и уставился огромными глазами на кабину.
— А ты чего всё расспрашиваешь тут? Вертисся и вертисся у моего трактора? Знаю я вас, городских… — Сашка прищурился и цыкнул. — Беда с вами, понимаешь? Понаедете и нос суёте.
— А зачем тебе собака? — не унимался мальчик.
— Да от таких, как ты! Ща вот привяжу её под днище — ни одна сволочь не сунется, — Сашка хмыкнул и весело на него покосился.

Никто, в общем-то, не сунулся. Только вот отец Сашки, по прозвищу Хитрый, весь вечер пил, а когда всё выпил, пошёл к Варюхе за самогонкой. В долг просить. Варюха, сухая и вредная бабка, в форточку пожелала ему «упиться поскорее, чёрту проклятому». Ну и пошёл тогда он в трактор за мелочью. Шёл, как увязший в тине, разгребая руками темень.

Муха, рыжая, глупая и кусачая псина, выскочила из-под днища, сверкнув белка́ми и мокрой пастью. Хитрый закричал на всю деревню. Грохнулся на сухую землю и протрезвел.

Собака в ужасе забилась обратно. Бешено застучало в груди у Хитрого, несчастной Мухи и Сашки. Услышав крик, он вскочил на похолодевшие ноги и пустился наутёк. Отец вбежал на двор, размахивая резиновым сапогом:
— Сто-о-ой, сучонок!!! Стой, я тебе говорю!!! У-у-у, гадёныш. Тьфу.

Сашка пробежал в темноте босиком огород, нырнул в бурьян, вытер пот с горячих висков и заплакал. Плакал тяжело, задыхаясь. Вспомнил про собаку. Представил, как она сейчас тоже боится. Стыдно стало и жалко бедную Муху. Вспомнилось, как она прижимает уши, выпучивает глаза, как дёргается влажный нос и колыхается скользкий длинный язык. Сашка рассмешился.

Вздохнул и пошёл огородами на конец деревни, к своей тётке. Он всегда приходил к ней, когда убегал. Сашка боялся и недолюбливал отца за то, что тот частенько порол. Мать его уехала с каким-то мужиком в Тулу, он её не помнил и знал только, что она «подлая, на шею отцу его посадила». Вообще, слухи разные ходили, Сашка совсем не походил на него. Хитрый — смуглый, как турок, скуластый, остроносый, курчавый, весь волосатый. А Сашка — русый, широконосый, и глаза — серые, спрятанные под белёсыми бровями.

У тётки он любил жить. У неё детей много, варенья, игрушек, дед смешной живёт, солью даёт пострелять.

Сам отец за ним туда никогда не приходил. Как-то раз сунулся, говорит: «Пошли, Сашка, домой», — и косится, как бы золовка не выскочила. Та его увидела, прибежала, всех собак спустила, так взбесилась, что Хитрый задом попятился. И ушёл, матерясь себе под нос. А тётка потом весь день сетовала на свою долю, нахлебников, жаловалась на сестру и плакала.

Проснулся Сашка к обеду. За тарелкой макарон с сахаром решил домой не возвращаться, ловить рыбу и платить тётке за своё жильё. Выпросил у деда удочку и пошёл к речке. По дороге увязался за ним тот самый городской мальчишка.
— А куда ты идёшь? Рыбу ловить? На червяков? Можно мне посмотреть?
— Не, на хлеб, — усмехнулся Сашка, — червей накопать надо. У тебя есть лопата?
— Нет, нету.
— Толку от тебя никого. В кого ты бестолковый-то такой?
— У меня все умные, — мальчик остановился, нахмурился и покраснел.
— Ну а ты бестолковый. Ну, бывает… чего теперь? Пошли! — Сашка опять хитро заулыбался.

Пробравшись сквозь молодые лозинки, мальчики уселись на брошенную шину. Сашка скинул сандалии. Опустил ноги в прохладный ил. Поднялись мутные клубы. Стайки мальков сорвались в разные стороны.

На другом обрывистом берегу звенели девчонки. Среди них и Ленка Краснова. С первого дня лета все мальчишки терзались ожиданием, когда же к дому бабки Зины подъедет вишнёвая «пятёрка»,

а из неё выскочит Ленка в красных лосинах, с торчащими, ещё не успевшими загореть круглыми беленькими щиколотками.

Сашка катал клейкие комочки хлеба, жевал, наблюдал и хмурился. Шикал на городского мальчика и винил его в неудачном поклёве.

На мосту показалась тучная фигура Анны Михайловны, бабушки приставучего спутника. Она бежала, переваливаясь, тяжело выдыхала через нос и звала своего родного Коленьку. Запыхавшаяся, как в горячке ухватила его большими руками и потащила из кустов. Сашка слушал удаляющееся ворчание:
— Он тебя заведёт! Заведёт! Утопнешь! И не сыщем! Удумали!

Провожал их взглядом. Стало ему как-то грустно. Тошно. Он уставился на рябую серо-синюю реку. Представил, как вот он утоп, как унесло его быстрое течение, как все его ищут, как батя бежит к рыбакам, которые нашли холодного Сашку. Как приедет когда-то мамка и спросит: «А где Саша?» — а батя схватится за голову и зарыдает. Как все будут говорить: «Не ходите к реке, там течение, там Сашка Хитрый утоп». А может, его никто никогда не найдёт; а может, никто и не будет искать, может, все обрадуются, что не сидит он больше на шее. И так ему стало жаль себя! Сашка тихо заплакал.

На обрывистом берегу все уже разошлись. Солнце не шпарило, река потемнела, по кустам расселись рыбаки.

Сашка измучился сидеть на одном месте. Лениво наблюдал за качающимся поплавком.

Вдруг поплавок медленно повело в сторону. Задёргался... резко ушёл под воду. Сашка потянул удочку, и в воздухе затрепыхалась блестящая рыба.
— Поймал! Поймал! Карась! Это карась! Большущий карась! — закричал Сашка и засмеялся.

Сунул скользкую мягкую рыбу в пакет и радостно побежал к деревне.

Под бугром, на завалившемся трансформаторном столбе, собирались ребята к костру. Сашка пошёл похвастаться. Все заглядывали в тяжело дышащий пакет, и от каждого «ух ты» он довольно щурился и всё шире улыбался.

С бугра спускались девчонки.
— Гляньте, Ленка идёт. В ласи-и-инах. Ух, она лютая... — Костик, самый старший, пригладил белобрысые волосы.

Сашке очень захотелось подарить Ленке карася. Он подошёл и протянул пакет:
— На. Я поймал.

Рыба затрепыхалась. Ленка взвизгнула и пискляво протянула:
— Фу-у-у-у. Зачем это мне?
— Как? Есть.
— Сырым? Убери, она воняет.
— Ну и дура... — Сашка развернулся и пошёл дальше.

Рядом с Хитрым жил Батоша, пьющий, но работящий усатый мужик. Всей душой он ненавидел соседа за то, что тот как-то по пьяни отвязал и увёл Бог знает куда его козу. Батоша, как ошалелый, повсюду её искал, чуть не плакал. С тех пор только и ждал случая.

В этот вечер он дремал в терраске, когда услышал дикий визг. Вскочил, рванул на крыльцо. В ужасе выкатил глаза. Высокий стог сена вспыхнул как спичка, трещал и дымил.

К пожару сбегались люди, среди них нёсся Хитрый с ведром. Батоша махом перескочил через забор. С пульсирующей веной на лбу, в ярости, с хрипом он бросился на Хитрого:
— Убью, падла!

Тот кинул ведро, пустился бежать. Батоша сшиб его с ног, сел сверху и стал лупить по лицу. Голова Хитрого беспомощно моталась из стороны в сторону. Мужики еле оттащили.

Пожар кончился. Всё сено сгорело.

Поздно вечером Батоша сидел с бутылкой и холодной картошкой, спрятав красное лицо в ладонях.

На улице залаяла собака, хлопнула дверь. На пороге комнаты стоял с дрожащими коленками Сашка. Стоял, крепко сжимая кулаки, стиснув челюсть, сдвинув белые брови. Все мышцы лица дёргались, а из широко раскрытых глаз катились огромные круглые слёзы:
— Батя... не жёг. Это я... карася жарил.

Дзерасса Биазарти

Белый всадник

Предчувствие

Днём, когда солнце чуть склонилось к горам, а стрекотание кузнечиков расплылось в жарком мареве, Мури Джиоты услышал, как на старом дереве возле дома заговорили две вороны. Они неторопливо и громко перекатывали своё «*каракар*» из клюва в клюв, а потом заспорили, сцепились двумя сварливыми голосами.

Мальчик видел, как шевелятся ветви и дрожат листья, но в густых клубах зелени самих птиц было не разглядеть…

Мури осторожно подполз к дереву в густой траве. Теперь вороны спорили прямо над его головой, каждая настаивая на своём и не обращая на мальчика никакого внимания.

Вслушиваясь и даже будто улавливая редкие знакомые слова в чужой речи, Мури замер: птицы были не с добрыми вестями, и спор был злой.

Вороны кричали в тишине, и карканье их разносилось по всей долине Стыр Леуахи… Над берегами реки, над склонами, поросшими лесом, над одной дорогой, которая уходила ввысь, в горы, над другой, что шла в Столицу, всюду, от земли до неба, стояла мёртвая тишина, и лишь остро и страшно спорили две вороны.

Был август. Земля и воздух просохли за три месяца ясного неба и сухого тепла. Всё вокруг мерцало светом, солнцем, зеленью, но Мури стало холодно, словно скверная ночь накрыла в пути маленького беззаботного птицелова.

Что-то огромное и незримое выросло вмиг, нависло над ним, и весь огромный мир сжался до маленького жухлого комка травы, а сам он потерялся в этой траве, словно муравей…

Старик Илас появился под древом внезапно. Он умел неожиданно подниматься во весь свой могучий рост, словно из-под земли, вытягиваясь к самому солнцу.

— Ацæут ардыгæй! — повысил он голос на птиц. — Тут не о чем спорить…

Вороны замолкли. Илас замахнулся на них палкой, и они с шумом улетели, в небе гудело их карканье, как отзвук набата.

— Пойдём в дом, лæппу, — позвал Мури Илас, — птицы принесли бурю…

Мури взглянул в небеса — они были бездонными и чистыми, где-то в лесу над деревней закричала кукушка. Илас крепко держал внука за плечо, холод отступил, но будто недалеко. Словно затаилось где-то неподалёку, словно у северной стены дома замерло что-то, ожидая своего часа, засело, прилипло чуть заметной тенью.

У порога Илас, чуть помедлив, глянул на запад, после зашёл в дом и крепко прикрыл за собой дверь. Когда дверь за стариком и ребёнком закрылась, снаружи почти мгновенно потемнело. Внезапная темень накрыла всю долину, да, казалось, и весь мир.

На деревню обрушился ливень, раскаты грома словно драли куски скал и с грохотом швыряли оземь. Сделалось так жутко, что дети попрятались, а женщины кинулись молиться.

В большом дедовском хадзаре готовились к куывду.

Двое сыновей Иласа — Мате и Бури — уходили на войну.

Война только-только началась, она была там, далеко, за горами и перевалами…

В иной солнечный и беспечный день в неё и вовсе не верилось… Но уже второй месяц из деревни уходили мужчины. Уходили целыми семьями, оставляя в домах матерей и сестёр, жён и детей. Уходили сами, не дожидаясь призыва.

Вот и Мате с Бури спешили уйти добровольцами, не дождавшись повесток. В этом было проявление какой-то особой отваги и чести. Уйти раньше, чем позовут. Отдать долг прежде, чем спросят…

Илас объявил по этому случаю куывд и велел зарезать быка, чем вызвал удивление родных и соседей. Вполне хватило бы бычка или барана, считали они… Но Илас сказал: резать быка, огромного, страшного быка, которого Мури побаивался, — и спорить никто не стал, да и не смел.

В женской части дома было суетливо, приехали родственницы, тётки и сёстры Мури из других деревень. Они уже сварили пиво, оценили его вкус, собрали сыры на начинку для пирогов, нацедили аракъ, сравнили, чей лучше, насмеялись, наговорились, но внезапная гроза оторвала их от предпраздничных хлопот и загнала в дом.

Здесь, притихшие и настороженные, одни приникли к окнам, вглядываясь во внезапный мрак,

другие шептали слова молитвы, вспоминая святых и мёртвых…

Старухи спорили громким шёпотом, на чьей памяти случилась гроза страшнее. Предрекали град размером с кулак, что был однажды, когда они были ещё девочками. Тот град то ли крыши домов пробил, убивая наповал людей, спящих в своих постелях, то ли крыши курятников, сбивая кур с насестов,— точно старухи уже и не помнили…

Побродив среди женщин, наслушавшись их вздохов и надышавшись их запаха, Мури перешёл на мужскую сторону…

Здесь было тихо. Дед сидел в полумраке в своём резном деревянном кресле, с прямой спиной, опершись на посох — могучий нарт из сказаний. Из глубины и темноты комнаты он смотрел на сполохи, вспыхивающие в окнах, слушал гром, ломающий хрупкий мир на куски…

Тихий, как мышь, Мури юркнул в уголок и, устроившись на тахте, смотрел то на деда, то в окна, пытаясь увидеть в разразившейся грозе то, что открылось Иласу…

Илас был провидцем. Ему открывалось будущее, да и прошлое он помнил дольше других людей. А ещё он понимал язык птиц…

— Мури,— позвал Илас,— подойди.

Мальчик подошёл, и дед посадил его на одно колено.

— Дада, что там за окном? Что-то страшное?

— Это просто гроза, она пройдёт…— мягко отвечал Илас.

— Дада, это о ней говорили птицы на дереве?

— О… ты слышишь отдельные слова, Мури,— улыбнулся дед,— но их смысл тебе пока неведом, и слава Богу. Вороны о другой грозе говорили…

— А о чём они спорили?

— О судьбе… О том, можно ли её избежать…

Мури ещё много о чём хотел спросить Иласа — например, о том, можно ли изменить судьбу,— но не успел, потому что прижался к деду и как-то внезапно заснул…

И во сне гремел гром, и камни летели с гор, пробивая крыши деревенских домов. Испуганные кони неслись, обезумев, к обрыву над бушующей рекой, и страшный бык, которого завтра принесут в жертву, ревел в загоне.

Но, было в том сне что-то ещё, не облечённое в образ, не наделённое способностью говорить, неуловимое, неясное… Оно не давало стряхнуть кошмар и убедить себя в том, что тот останется за щеколдою сна, за закрытыми створками дверей мира видений, не просочившись в реальность.

Мури проснулся. Гроза всё ещё гремела, но уже поодаль, зато шум дождя стал монотонным и колыбельным. Мальчик лежал на тахте, заботливо прикрытый овчиной. Он тихо позвал в темноту:

— Дада…— но никто ему не ответил…

Утро было ясным.

Мужчины закололи быка. Горели костры, кипела вода в огромных котлах, и поднимался густой пар.

Печи вынесли во дворы, растопили дровами, и женщины уже месили тесто, лепили круглые тонкие уæливыхтæ.

Над деревней витал тонкий аромат праздника.

На лошадях, на арбах, запряжённых волами, спустились с гор родственники. Животные и повозки их выглядели так, словно проплыли сквозь реки грязи, да и мужчины были по колено в земляной жиже. Они рассказывали, что в горах из-за страшного дождя накануне сошли сели и размыло дороги.

Приехали и родственники из Столицы. Прибывший с ними один учитель истории рассказывал:

— Тучи, накрывшие вчера Сталинир, были похожи на огромных птиц Рох, что сбрасывали валуны на корабли Синдбада! Иссиня-чёрные, они налетели мгновенно, закрыв небо и солнце своими крыльями! Прилетели птицы, кстати, с вашей стороны!— говорил он обступившим его деревенским ребятишкам и, строго заглядывая в глаза, вопрошал:— Не вы ли согнали их с веток священного огромного дерева?

Другие дети смеялись в ответ белому учёному, городскому старику, но не Мури.

Он вспомнил ворон, и аж дыхание перехватило… То, что притаилось маленькой тенью вчера на северной стороне дома, колыхнулось, обрело силу и выросло. И Мури снова стало холодно и захотелось коснуться дедовской руки…

И он побежал, петляя между взрослыми, минуя детей, подлезая, огибая… Но уже накрыли длинные бесконечные столы, которые тянулись через траву, под деревьями, вдоль домов… Мури перехватывали и давали поручения, исполняя которые, он надеялся встретить деда, но тот словно сквозь землю провалился. А когда все поручения были выполнены, старшие уже сели за главный, самый первый стол, мужчины расселись по старшинству, а молодёжь заняла места за их спинами — ухаживать.

В тишине зазвучали слова первой молитвы:

— О Хуцау, Стыр Хуцау, Иунæг Хуцау!

Молодые парни, по двое, понесли дымящееся мясо страшного быка, заколотого по случаю праздника, на больших круглых деревянных подносах с маленькими отверстиями по центру, из которых на зелёную августовскую траву капал, стекал мясной золотистый бульон…

Голова быка уже стояла напротив хистартæ.

В сердцевинах пирогов плавилось и таяло топлёное масло…

И лёгкий утренний аромат праздника стал полнокровным, дневным, растекающимся над деревней густым запахом.

В разгар праздника молодёжь затеяла танцы…

Бури — младший сын Иласа — прекрасно танцевал. Когда он выходил в круг, от него сложно было отвести глаза. Девушки, что пекли пироги, теперь смыли муку с рук, сняли фартуки и, развязав косынки, стояли, потупив глаза. Среди них была Эльда, голубоглазая светловолосая красавица. Она даже не взглянула в сторону Бури, а он и головы не повернул в сторону Эльды, но оба знали, что хонгæ они будут танцевать вдвоём.

Так и случилось. Бури, пройдя в танце круг, остановился напротив Эльды и склонил голову. Девушка вышла, не поднимая глаз… Так и танцевали они, не смея взглянуть друг другу в глаза. Юные, прекрасные, стройные…

В круг ворвались дети — сообщить, что приехала военная машина. И вправду в деревню заехала полуторка, и братья ушли в дом, за вещами. Собравшись, уже с дорожными мешками, Бури и Мате подошли к старшим. И те молились, чтобы братья Джиоты были на войне равными самому Уастырджи достоинством, храбростью и смелостью.

— Не посрамите вашего дома, вашей фамилии и нашей земли! — коротко сказал им Илас.

Уже у полуторки к ним подошли женщины — тётки, сёстры, благословляя и обнимая…

Мури тоже был здесь. Мате потрепал племянника по голове, а Бури обнял.

— Гыццыл, — обратился он к мальчику, — помогай во всём отцу и Иласу, ты теперь за меня, младший мужчина в доме.

Мури послушно кивнул, а потом кинулся и крепко-крепко обнял дядю.

Братья запрыгнули в кузов, где уже сидели вдоль бортов другие новобранцы, машина тронулась. Мури ещё долго бежал за грузовиком, когда другие дети отстали. А потом стоял на дороге и смотрел вслед…

Солнце склонилось к горам, долину Стыр Леуахи заливало нежным предвечерним светом…

За спиной его были слышны голоса людей, а впереди, там, куда, переехав через мост, отправилась «военная машина», висела тишина. И мальчик уловил, как далеко в лесу, где-то по-над дорогой, каркают две вороны…

Когда машина скрылась из виду, женщины в деревне вытерли глаза, вновь зазвучала гармошка, а молодёжь потянулась в круг…

Но Илас попросил старших не расходиться, а младших повременить с танцами.

Мужчины вернулись к столам, а молодёжь остановилась поодаль.

Взяв в руки нуазæн, Илас, как и предполагалось случаем, произнёс тост Касар Уастырджи, помолившись, чтобы переступившие порог и отправившиеся в путь были под его благословением. А после обратился к людям вокруг себя:

— Я не на куывд звал вас, а на хист. Мои сыновья не вернутся с войны. Мы не увидим их больше ни живыми, ни мёртвыми…

Повисла тишина…

Мури Джиоты стоял, широко раскрыв глаза. Он видел, как маленькая тень, притаившаяся накануне у северной стены дома, теперь, разрастаясь, накрывала людей, столы, деревья и дома…

Она залегла морщинами на лицах мужчин, покрыла головы женщин и девушек тёмным, набросила на плечи детей сиротские лохмотья. Она расползалась и сжирала зелёную траву вместе со стрекотом кузнечиков, воздух с запахом праздника… Превращала пироги в куски соевого хлеба, а воду — в вино… или не в вино, но что-то красное… полевые цветы — в венки, а фрукты на деревьях — в гниль…

И тут, словно отвечая на немой вопрос всех, кто застыл вокруг, Илас предрёк:

— Да, война будет страшной, война будет тяжёлой. Многие погибнут… но Сталин победит.

И старик произнёс свой последний тост:

— За победу!

— Оммен, — громким хором отозвались присутствующие…

Полуторка медленно тряслась по узкой дороге над пропастью, братья ехали молча, каждый о чём-то думал.

— А знаешь, — тихо обратился Бури к Мате, — Эльда плакала, украдкой слёзы вытирала, я видел, когда с сёстрами и тётками прощался! Эх, если бы не война, отправил бы теперь в дом Багаты минавардтæ, в сентябре бы свадьбу сыграли… — и совсем уж мечтательно, рассматривая заходящее солнце, добавил: — Следующим летом у меня сын родился бы…

Мате рассмеялся громко и снисходительно и, отвесив Бури подзатыльник, сказал:

— Гыццыл, во-первых, я ещё не женат, а во-вторых, куда торопишься? Вся жизнь впереди!

Ночь была тёплая и ясная, звёзды рассыпались над деревней.

Илас сидел перед домом, вокруг него вспыхивали и гасли светлячки. Мури тихо подошёл к деду.

— Илас, неужели они не могут избежать смерти?

— Могут, если станут дезертирами, — спокойно ответил старик.

— А что значит стать дезертирами?

— Стать дезертиром — это значит умереть. Для меня, для тебя, для нашей фамилии…

— Дада, неужели им не уйти от судьбы?

— От судьбы исполнения долга, мой мальчик, не уйти никому. Теперь ты знаешь, о чём спорили

вороны. Вытри глаза и не плачь больше, ты уже мужчина.

Белый всадник

В 1941 году белый всадник пришпорил своего коня…

………………………………………………………………….

Есть две войны.

Одна — с громкими подвигами и наградами. Славой осетинских генералов, полковников. Приказами генералиссимуса, в которых осетинские фамилии гремели голосом Левитана на всю Советскую страну.

А есть война другая, где было тихое терпение, стиснутые зубы, сжатые руки, повседневные подвиги преодоления и вечного ожидания… Безмолвная, безымянная, скромная война-жизнь. Женщин, стариков и детей…

Накануне 9-го мая, не чувствуя времени, жадно, взахлёб, часами смотрю военную хронику. И плачу, всегда плачу.

— Мама, не плачь, ведь эту войну мы уже выиграли, — утешает мой старший сын.

— Да, мой мальчик, выиграли, — спешно вытираю глаза, — но если бы ты знал, какой ценой, какой ценой…

Ему не понять, если не рассказать, и я рассказываю…

………………………………………………………………….

Мария

Моей бабушке, Марии Джиоты, было двадцать восемь лет.

В то утро, заплетая косу, она увидела первые седые волосы — длинные, серебристые… На секунду дольше, чем обычно, она всматривалась в собственное отражение в круглом зеркале. А потом быстро закрутила косу «дулькой» и заколола шпильками. Только она одна теперь и знала, что таит каштановая копна её волос.

Мария уже проводила на войну четырёх родных братьев: Степана, Вано, Ленто, Тараса.

Теперь на фронт уходил её муж — Кужи Биазарты.

— Слушайся мать, — сказал Кужи старшему сыну так ровно, как говорил каждое утро, перед тем как уйти на работу, а младшего, любимого Кокору, потрепал по голове.

Мария вышла за ворота вместе с сыновьями. Она смотрела вслед мужу, уходящему по тихой, залитой солнцем улочке, пока он не скрылся за поворотом.

Наши липы тогда были ещё крохотными саженцами, а сладкую туту у ворот ещё даже не посадили.

— Сумасшедший, — сказала Мария подоспевшей соседке, — у него порок сердца, он мог дома остаться…

Но в голосе её звучала гордость, она знала, что такое даже представить невозможно.

Детей на лето Мария отправила в деревню Котанто, где легче было пережить тяжёлое, голодное военное время.

Что за деревня была Котанто! Там звёзды ходили по небосводу, словно жирные коровы на горных пастбищах. Можно было протянуть руки и доить их ночь напролёт. А белое млеко текло за рукава, заливая глаза и склеивая веки сном.

Днём сияло солнце, и облака плыли между домов…

Здесь ничего не должно было напоминать о войне… Ничего и не напоминало. Только в деревне не было мужчин. Ни одного, лишь древние старики.

Козиан

Родной брат Кужи, Руха, тоже ушёл на фронт. Здесь, в Котанто, осталась его жена — Козиан, одна осталась, с пятью детьми, в ожидании шестого.

Про неё говорили, что она «читает по звёздам»…

Маленький Кокора часто видел жену своего дяди безмолвно глядящей в ночное небо.

Стоит Козиан, глядит в небеса, а звёзд так много, что бездонная тьма делается от их сияния светлее, и вечная ночь словно отступает. Худая, молчаливая, работящая невестка лишних слов никогда не говорила, ко всем детям была одинаково строга. Но как-то, заметив племянника, глазеющего в небо, приласкав, рассказала ему:

— Есть старинное осетинское поверье. На лунной поверхности можно увидеть двух всадников: Белого и Чёрного. Один настигает другого. Погоня эта может длиться вечно, но если Белый всадник всё же настигнет Чёрного, то быть беде.

И беда случилась. Однажды, «читая небо», Козиан увидела, как Белый настиг Чёрного.

Поутру Козиан была в трауре. Вся в чёрном, сидела она, положив худые мозолистые руки на круглый живот.

— Руха погиб, — сказала она родственникам, — он не вернётся с войны.

О судьбе Руха Биазарты долго не было никаких вестей. Лишь когда с фронта вернулись односельчане, кто-то рассказал, что Руха погиб во время фашистской атаки, выходя из окружения…

Хоть о его гибели Козиан рассказали и небо, и люди, до самой смерти своей она ждала мужа домой.

Копа

Был у Кужи и Руха старший брат — Копа. Он был уже стариком и призыву не подлежал. Копа был из раскулаченных, бесстрашный, дерзкий, невероятной физической силы. Говорят, он был абреком и превосходно знал дорогу через перевал. Мог провести по ней стадо при любой погоде с закрытыми глазами.

Кто-то из местных указал на него русским офицерам, которые искали проводника в тяжёлых зимних условиях.

Под Владикавказом шли ожесточённые бои, подкрепление из Закавказья, очевидно, должно было прийти на помощь Северо-Кавказскому фронту.

Узнав, что ему предстоит провести военных, Копа отказался показывать дорогу.

— Я каждый день молюсь, чтобы освободители пришли и мои земли мне вернули,— заявил он офицерам.

Взбешённые, те арестовали старика и, завязав ему глаза, имитировали расстрел.

— Зачем глаза завязали? Я что, пулю не видел?— с презрением бросил им Копа.

Когда раздалась команда: «Огонь!»— он даже не дрогнул.

Почему военные оставили его в живых, история умалчивает.

У этого «ненавистника» советской власти был один-единственный сын— Ибрагим. И этот единственный сын был на войне. В рядах Советской Армии. По семейному преданию, именно это обстоятельство произвело неизгладимое впечатление на русских.

Братья

Братья Марии Джиоты писали с фронта письма. Жёнам, детям и, конечно, сестре. Мария особо любила Тараса, он сбежал на фронт мальчишкой, подделав возраст в метрике…

«Вернусь, как только добьём фашистскую гадину!»— выводил он в «образцово-бравых» письмах сестре…

Плакала она или улыбалась? Теперь никто и не скажет…

Зимой сорок третьего где-то посреди бескрайней России, на безымянном полустанке, остановились два военных эшелона. Остановились на считанные мгновения…

В вечерних сумерках красноармеец Тарас выскочил на перрон набрать кипятка. Из поезда, что стоял напротив, выскочил такой же солдат. Учана с кипятком они посмотрели друг на друга. Два родных брата— Вано и Тарас Джиоты. Сколько времени у них было? Минута, две… Набрали кипятка и разошлись. Составы тронулись и разъехались в разные стороны… по разным фронтам…

Больше они никогда не виделись. Никогда.

В сорок четвёртом Вано пропал без вести.

Эта странная встреча на заснеженном полустанке, затерянном во времени и пространстве, словно Богом была им дарована. В последний раз.

Тарас в пехоте дошёл до Берлина. Без единой царапины, с высшими военными наградами. Пройдя путь от рядового до майора. Но 14 мая 45 года это везение закончилось, словно срок вышел. В Берлине его ранило шальной пулей. По семейному преданию, от этой раны двадцать лет спустя он и скончался.

Руха Биазарты погиб на фронте. Девочку, которая родилась у Козиан, гадавшей по звёздам, уже после его ухода на войну, он так никогда и не увидел.

Ленто Джиоты попал в плен. Вано Джиоты пропал без вести.

Кужи Биазарты вернулся домой.

Чем встретила его Родина?

Тихим вымиранием. Вокруг не было ни одной семьи, где не погибли бы мужчины, не было ни одной женщины, которая не носила бы траур.

И очередным этапом геноцида.

В 1944-м, воспользовавшись «моментом», пока мужское население Южной Осетии героически гибло на фронте, руководство Грузии ликвидировало осетинские школы на территории ЮО и на всей территории ГССР.

Мария Джиоты— учительница осетинского языка— осталась без работы. Теперь её профессия была никому не нужна. К концу войны она заплетала и заворачивала в «дульку» целиком седую косу.

Война… Победа…

Ценой какого-то непомерного одиночества, сиротства, вселенского вдовства и общенационального траура.

Ценой неутолимого горя и такой нечеловеческой боли, что она передаётся из поколения в поколение, с кровью, с молоком и образом мысли.

«Сæрибар у, Ирыстон»[1]

Старик Джерджи провёл ночь в подвале.

Город трясло и рвало на куски до самого утра. Он не зажигал свечи, лежал, заложив руки за голову, и смотрел в темноту.

Война вернулась.

Шёл артобстрел, но Джерджи понимал, что это слово не передаёт того, что творилось за стенами его старого дома.

Всё гремело, взрывалось и пылало.

Лёжа на матрасе в самом углу, он пытался подобрать это слово…

И оно нашлось— и было непривычным и совершенно ему не знакомым…

Жуть.

Часа в три он узнал, что горит Дом правительства, и вышел на улицу. Огонь был повсюду. Казалось, горел весь город.

«Мы в кольце ада»,— очень спокойно подумал старик и вернулся в дом.

В четыре часа грузинская радиостанция сообщила, что Цхинвал захвачен.

Не было ни надежды, ни паники, лишь состояние обречённости и безысходности. Кажется, впервые в жизни.

1. «Осетия— свободна!» *(осет.)*

Всю ночь из подвала в подвал ползли мрачные слухи: «Очагов сопротивления больше нет, Цхинвал пал».

Во время затишья, часов в шесть утра, соседка-старуха закричала ему через забор:

— Самолёты прилетели! Наши, русские, прилетели!

Он выбежал в сад… Над всей этой зеленью, над деревьями и горами, в безоблачном, ещё не раскалённом летнем небе летели самолёты.

Джерджи засмотрелся на них, задрав голову… И тут на город посыпались бомбы.

— Гуырдзиаг…— прошептал Джерджи.

И вернулся в подвал.

Это и подвалом-то нельзя было назвать. Так, полуэтаж старого каменного дома. Когда-то, в другой жизни, здесь была кухня, стояла печь. Здесь грели воду в огромных кастрюлях, купали детей, готовили и стирали.

Единственное окно выглядывало из полумрака в самый угол двора. Сверху громоздилась терраса, сбоку—забор. Потому здесь всегда было сумрачно и сыро. И лишь его мать свободно ориентировалась в полумраке среди тазов, кастрюль, дров, в клубах вечного пара…

Творила, мыла, варила…

Матери давно нет, кухня стала подвалом, сюда снесли всякий хлам со всего дома…

А запах, сладковатый запах так и не ушёл. Да на стене всё ещё висело мучное сито. Праздничный круг, покрытый паутиной.

«Наверняка сито хранит частички белой мучной пыли,—подумалось ему,—да и следы её рук. Никто другой к нему не прикасался, сколько лет оно висит…»

Рвануло совсем рядом.

Джерджи вышел на улицу—на месте углового дома стояло облако пыли, пахло гарью…

Он побежал в ту сторону. Из другого двора осторожно вышла соседка и молча пошла за ним.

Дом был разрушен, крыша горела, огромная, обычно злющая собака сидела во дворе и смотрела на них, ожидая помощи, участия и милости.

Старик позвал хозяев, но никто не отзывался. Тогда он погладил собаку, а та прижалась к нему, словно щенок.

— Дом пуст, их здесь нет, слава Богу,—сказала соседка.—Уйдём отсюда.

Они вышли. Собака пошла за ними, кроткая, как овечка.

Горячим августовским днём старуха Фати выползла из тьмы сырого подвала навстречу танкам, въехавшим в её старый пыльный город.

Она провела в подвале безумную ночь и страшное утро…

Ближе к полудню, заслышав монотонный нарастающий шум, Фати залезла на кучу хлама и прильнула подслеповатыми глазами к подвальной решётке: по улице прямо над её головой шли танки.

Гусеницы вспарывали асфальт и поднимали пыль.

Сердце старухи зашлось радостью.

— Вара, урыс, урыссœгтае, урыс œрбацыдысты!—прохрипела она сиплым, надломленным голосом своей подруге.—Пойдём встречать их!

Поддерживая друг друга под руки, две измождённые, растрёпанные вороны старого Цхинвала выползли на свет.

Солнце слепило их старые глаза, жгло белые волосы, перекрашенные басмой в цвет траура.

Прикрывая глаза ладонью, неуверенно сделали они несколько шагов в сторону дороги…

И тут поняли, что ошиблись: на танках, ползущих по улице, были грузинские флаги.

— Гуырдзиаг…— выдохнула старая Фати и остановилась.

Руки её, с широкими ладонями, с узловатыми пальцами, исковерканными артритом, безвольно опустились вдоль туловища.

А пустынная, словно мёртвая в этой безлюдной тишине улица чёрными прорезями подвальных окошек пялилась на двух старух, застывших перед колонной.

А эти две несчастные, грязные, но всё ещё не сломленные, выудили из-под морщин холодных зим и долгих страданий цепкие злые взгляды и, впившись насмерть глазами в танки, шептали и шипели проклятия—злые, мрачные, первозданные…

Танки медленно прошли мимо.

Следом ехала машина с открытым верхом, в ней, развалившись на заднем сиденье, вальяжно щёлкал кастаньетами молодой грузин в военной форме.

Завидев старух, он остановил автомобиль, на глазах его блестели солнцезащитные очки, а рот склабился крупными зубами. «Крррек-крррек-крррек…»—трещали кастаньеты.

— Эй, старухи, вы знаете, что это я играю?—спросил он, смачно пережёвывая жвачку.

Любопытство победило, и Фати сделала шаг вперёд:

— Нет, не знаем. А что ты играешь?

— Я исполняю марш осетинских и русских свиней!—заржал грузин и, сплюнув жвачку старухам под ноги, крикнул:—Поехали!

Машина тронулась и продолжила свой путь…

— А-а-а… что же теперь будет?..—тихо запричитала Вара за спиной у Фати.

— Они сдохнут, трёх дней не пройдёт—все до единого сдохнут,—сказала хриплым надтреснутым голосом Фати.

Обе старухи развернулись к солнцу спинами и вернулись в сырой подвал ждать конца.

Джерджи решил проверить, жива ли его сестра-старуха, и отправился в город.

Он шёл спокойно, пересекая улицу за улицей, и ему везло.

Вокруг тарахтело, взрывалось, но его путь был свободным.

На улице Сталина он неожиданно встретил дочь своего старого школьного учителя русского языка и литературы. Женщина стояла, растерянно глядя по сторонам. Калитка в воротах отцовского дома была открыта, но она словно забыла, откуда вышла и куда теперь ей надо возвращаться.

Она узнала белобородого Джерджи и рассказала:
— Мой брат забежал домой, еду взял и ушёл в отряд. А из отряда его спрашивают, говорят, он так и не пришёл к ним. Я переживаю…

Джерджи её успокоил как мог, проводил в дом и пошёл дальше…

Не прошёл он и двадцати шагов, как его позвал незнакомый мужчина. Тот разглядывал что-то на перекрёстке.
— Посмотри,—сказал он старику.

На асфальте стояли мужские кроссовки. Кроссовки с остатками ступней.

Джерджи молча покачал головой и посмотрел на ворота, которые только что закрылись за женщиной. «Вот почему парень так и не пришёл в отряд…»—подумал он.
— Это было прямое попадание,—сказал незнакомый мужчина.—Танк, наверное, в него выстрелил…
— Да,—сказал старик.—Они увидели, что он в форме, он же в форме был… он возвращался в отряд…

Старик продолжил путь и свернул на улицу Исака. Безопаснее было идти по левой стороне, вдоль домов.

Но в тот момент, когда он решил перейти дорогу, вдали показался грузинский танк. Тяжёлый, страшный, он полз со стороны хлебозавода.

Джерджи знал, что его уже увидели, знал, что достаточно одного выстрела: бу-ум…

Он прикрыл глаза—ему так хотелось скрыться, убежать, поддаться этому первому безотчётному порыву. Но он замер, запретив ногам двигаться, а сердцу колотиться.
— Куда это годится?—спросил он сам себя.—Не-е-ет, не дождётесь!

Танк приближался. Грузины на броне смотрели на него, он смотрел на них.

«Вот она, судьба, вот и всё»,—думал старик, и не было ни страха, ни дерзости—только мрак и смирение.

И тут радостный, сочувственный смех вывел его из оцепенения. Ребята на танке смеялись и переговаривались. Перед ним был трофейный танк, захваченный осетинскими бойцами.

Столько всего смешалось…

Джерджи радовался и удивлялся, ребята смотрели с сочувствием и смеялись…

И ему показалось, что они немного гордятся им. А они почувствовали удивительный момент единения с этими белым, застывшим на обочине стариком.

Его старуха-сестра была жива.

На третий день, когда русские танки вошли в Цхинвал, на улице Исака, прямо у дороги, одна, на обломках пустого, растерзанного города, на осколках выбитых взрывами стёкол сидела Фати и, обхватив себя руками, плакала.

И танки, и военные машины останавливались, молодые ребята спускались к ней и угощали кто конфетой, кто пирожным в вакуумной блестящей упаковке с долгим сроком хранения.

А старуха плакала и благодарила…

И ей казалось, она сидит на краю мира, и ноги её, старые, больные ноги болтаются над пропастью, над бездной, в которую осыпался и падал эти три дня Цхинвал.

А Джерджи, осматривая на третий день свой город, радовался… Распластавшиеся на асфальте в чёрных вонючих лужах смертельно раненные грузинские танки напоминали обезумевших от страха и обделавшихся перед смертью животных…
— Каждый подбитый танк был подписан: имя, фамилия… Это означало: я сам буду сдавать этот металлолом,—рассказывал потом старик.

Да, так и рассказывал.

Когда проклятие старухи Фати сбылось и в Цхинвале, да и во всей Южной Осетии не осталось ни одного живого захватчика, тёплым августовским вечером дома у старика Джерджи собрались друзья.

Накрыли стол перед домом. Зажгли свечу, порезали хлеб, откупорили огромную бутыль вина.

В сумерках в саду шумели деревья. Вдали чернел Прис-Хох…

А за их спинами в открытом подвальном окне мерцало мучное сито, праздничный круг, покрытый паутиной.

И Джерджи, как самый старший, подняв в руке стакан, сказал:
— Я запомнил на всю жизнь: когда в нашем доме собирались друзья моего отца, они, мечтая о свободе, говорили нам, детям: «Когда нас уже не будет, а Осетия освободится от Грузии, посмотрите с победным бокалом в руке в сторону кладбища и крикните: „Сæрибар Ирыстон!“—мы услышим!» И вот наконец наши предки, наши родители услышат это сегодня,—и, повернувшись лицом на восток, к Згудерскому кладбищу над Цхинвалом, старик Джерджи крикнул во весь голос:—*Сæрибар у, Ирыстон!*

Николай Алешков

В четыре строки

Берёзы

По закамским лугам проскакал я верхом,
зрячим сердцем увидел (что может быть проще?):
два десятка подружек взбежали на холм
и остались там бело-зелёною рощей…

Приватизация

С молотка всю страну продают под овации.
Я ж, как русский, не вижу иного пути:
иль на старости лет прозябать в эмиграции,
иль до срока в родимую землю уйти.

Вместо рецензии

Слишком много в стихах отражённого света:
Пастернак и Цветаева, Блок и Бодлер…
Самому обжигаться дыханием сфер—
быть не может другого пути у поэта.

● ● ●

Стихов не стыжусь. В круговерти любой—
не гордость, не злоба, не зависти жжение—
пером моим двигала только любовь
к родине, к матери, к женщине.

● ● ●

Звёздной пылью проносится Млечный—
в даль какую зовёт заглянуть?
Нету истины—есть бесконечный
и взыскующий к истине Путь…

Авторский вечер

Вино на банкет выгружали канистрами.
Учителя не было. Был «высший свет»…
Поэт, окруживший себя министрами,
уже не поэт.

● ● ●

— Ах, Вернадский! Это мой кумир!—
и упёрлась в небо взором жадным.
— Ах, мадам! Не лезьте в тонкий мир,
а не то он станет плотоядным.

● ● ●

Сердцем в сердце нацелюсь без промаха,
буду дерзок: и ласков, и груб,
запах рано созревшей черёмухи
поцелуем сорву с твоих губ.

● ● ●

Звезда мелькнула вспышкой робкой.
Мы след её не отыскали.
Была любовь, как вздох, короткой.
Как долго боль не отпускает!

Сентябрь

Последнее—тревожное—тепло.
Душе созвучна му́ка листопада.
Как будто душу музыкой свело,
и ничего разгадывать не надо.

● ● ●

Учись не морщиться от боли.
Живи. Судьбе не прекословь.
Душа болит? Не оттого ли,
что жизнь длиннее, чем любовь?

● ● ●

При коммунистах мне, ребята,
жилось, конечно, хреновато.
В демократической стране
ещё хреновей стало мне.

● ● ●

Поэт с трагической судьбой:
всю жизнь воюет сам с собой,
а в плен идёт к жене сдаваться…
И это будет издаваться.

● ● ●

Гонясь за призраком свободы,
поэт прошёл огни и воды,
а медных труб не одолел—
от фимиама околел.

Николай Ерёмин

Третий глаз

Песня

Погрусти со мной, моя родная,
Руку дружбы нежно протяни…
Посидим с тобою, вспоминая
Радостью окрашенные дни…

Слышишь? Видишь? Вот ведь как бывает:
Грозно, как в лихие времена,
За окном гремит и полыхает
Новая гражданская война…

Слышишь?—Слышу…—Видишь, видишь?—Вижу:
Полосы огня—за рядом ряд…
Ах, на чью—никто не знает—крышу
Смертоносный упадёт снаряд?

Погрусти со мной, моя родная,
Руку дружбы нежно протяни…
Скоро мы—от края и до края—
На земле останемся одни.

Жизнь по уму

Мой друг,
Ты наделён
Божественной судьбою!

И не спеши
Вдогон
К покончившим с собою…

Пусть этим
Занимаются другие,
Тебе и мне совсем не дорогие…

А мы
С тобой—
Посланцы высших сфер—

Совсем
Другой
Покажем всем пример…

Нам ни к чему—
В награду
Муки Ада…

Жизнь по уму—
Достойная
Награда!

Пахарь

Я всю жизнь ходил за плугом…
Не случайно, как назло,
Мне везло не по заслугам…
По заслугам—не везло.

Стать счастливым я старался…
Но, хоть плуг и не был плох,
Быстро стёрся и сломался…
А мой старый конь издох…

Напахавшийся на славу
И согнувшийся в дугу,
Без работы, на халяву,
Жить я дальше не могу…

Где моя былая сила?
И зачем всё это было?
Посреди земных забот
Тяжесть неба подкосила—
Разогнуться не даёт…

Театр

И снова наступило утро…
И вновь открыт
Театр Абсурда…

И вновь над сценой—
Знаменит—
Железный занавес гремит…

Актриса рада и актёр:
Диктует роли
Режиссёр…

Аванс, зарплата—благодать.
Им безразлично,
Что играть…

И снова наступает вечер.
И снова пьеса—
«Вольный ветер».

И музыка играет лихо…
Где для холопов—
Платный вход,
А для господ—бесплатный выход…

Третий глаз

1.

В душе и вне—томленье и тревога.
И в небе, и в реке клубятся облака,
В которых—вдруг—я вижу образ Бога,
Похожего на друга и врага…

Молчание, увы, со всех сторон…
Я трепещу и жду: что скажет Он?

2.

Боже, в каждом из нас—тварь творящая,
Чёрт-те что на земле вытворяющая
По небесному календарю…
Впрочем, что я Тебе говорю?

3.

В зеркале мелькнули два лица—
Отраженья твари и творца—
И в одно, моё, лицо слились…

И в зрачках застыли глубь и высь.
И вдали увидел третий глаз
Всё, что воплотится без прикрас…

4.

В сердце—Шамбала, в мыслях—Грааль.
Впереди—недоступная даль.
Все идут наугад сквозь года
И не знают—зачем и куда…

5.

На дворе скрипит мороз…
Лает на цепи собака…
На душе—зимы некроз
Всё обширнее, однако…
На погосте—Страшный суд,
Где молитвы не спасут…

6.

Много к жизни интересу…
Мало—к смерти… Вот беда:
Знаю я, что не воскресну
Ни за что и никогда.

А хотелось бы, хотелось
Третьим глазом подсмотреть:
Для чего так страстно пелось
И заглядывалось впредь?

И зачем—другим на диво—
Ждал с небес Благую весть,
Вопреки всему, что было,
Вопреки всему, что есть?..

7.

Боже мой!—
Не дописав одной страницы,
Довести себя не смог я до больницы…

Еле скорая успела довезти…

…Что извёл себя—помилуй и прости!—
Что увидеться с Тобою не спешу,
А надеюсь, что вернусь—и допишу…

● ● ●

Боль, наслажденье, правда, ложь—едины—
Безумие,
Рождение и смерть…

Последствия любви неотвратимы.
И нам придётся их
Преодолеть.

Образы

Образ
Возвышенных мыслей
Делает лицо прекрасным…

Образ
Низменных чувств
Делает лицо ужасным…

И я давно заметил, что, в конце концов,
Все алкоголички выглядят
На одно лицо—

Похожее на анаконду,
Ждущую
Крушения Рима и мира…

А не на Джоконду,
Улыбка которой загадочна
И неповторима…

● ● ●

Жизнь городов и сёл
Смертна…
А между тем

Время прощает всё…
Время прощает всем…

И заставляет
Меня,
Вечности миг ценя,

Молвить средь бела дня:
—Боже,
Прости меня!

Пожар

Кто много знает — тот молчит.
Кто много видел — тот незряч.
Эйси-Арт-Би

Дом горит — никто не видит,
А кто видит — тот молчит.
Народная мудрость

Молчи, поэт!
Ты слишком много знаешь.
Что там горит? Не видно ничего…

Пожар не потушить…
Ты понимаешь:
Страховку получить — важней всего…

Пусть мир сгорит!
К чему базар-вокзал?
Не ты ль: «Молчанье — золото» — сказал?..

Андеграунд

Поэт-боксёр
Прорвался в третий раунд,
Чтоб стать нокаутированным — и,

Упав,
Навеки выпасть в андеграунд…

Прочти его, читатель!
И пойми.

● ● ●

Жизнь всё лучше, лучше…
Небо —
Супротив.

Жаль, подъём всё круче,
А за ним —
Обрыв…

Дым

Вдыхая славы смертный дым,
Бессмертно-
Молодой,

Дышал я воздухом
Хмельным
Над огненной водой…

Когда
Среди земных забот,
В угоду всем седым

Перекрывали
Кислород
Поэтам молодым…

И вдруг заметил —
Стар, устал,
Что сам седым я стал…

В округе —
Тишь и благодать…
Но всё трудней дышать…

Начинающему поэту

Поэт вошёл,
Не зная брода,
В литературное болото —

Лишился разума и сил…
И омутом
Затянут был…

Ни мчс,
Ни даже Бог —
Никто поэту не помог…

Мой друг,
Болото впереди —
Его ты лучше обойди…

Владимир Скиф

Танцующие змеи

Мария

В Царствие Божие дверь отворили…
Слушайте, слушайте—в тихом раю
Ангел поёт, или «Ave Maria»
Слышится в горестном нашем краю.

Мечутся листья и ветки сырые,
В небе плывёт облаков караван.
Может, и вправду—услышит Мария,
Как безутешно рыдает орга́н.

Богу угодно, чтоб мы сотворили
Нашу молитву во имя её.
Шлёт нам с библейского неба Мария
Вместе с прощаньем—прощенье своё.

Все, кто ушёл,—остаются живые,
Все, кто живой,—помнят долю свою.
С сердцем сливается «Ave Maria»
И на земле, и у Бога в раю.

● ● ●

Какая мгла! Какая тишь!
Ты в тёмной комнате стоишь.

Лучи звезды, как будто иглы,
Летят, прокалывая мглу,
Вот тихой комнаты достигли,
Как серебро—звенят в углу.

Такая тишь, такой покой,
И до звезды подать рукой.

Свет льётся, будто из криницы,
Ты прогнала в подполье тень,
Лучи сломила, будто спицы,
И мне связала новый день.

● ● ●

И вкривь, и вкось стоят заборы
На чахлой родине моей.
Молчат тележные рессоры,
Торчат седины ковылей.

Не вижу золотого хлеба,
Что убирали в сентябре…
Лишь конопля растёт до неба
В пустом, заброшенном дворе.

Трилистник

Памяти Геннадия Сапронова

А солнце красное садилось
На «Красноярские столбы».
Знать, небо так распорядилось,
Чтоб ты ушёл за край судьбы.

Ушёл за кромку горизонта,
За край земли, за край веков.
Астафьев там, и Ромка Солнцев,
И ныне—Савва Ямщиков.

Ты—дела книжного старатель,
Дружил со словом золотым.
Ты—Божьей помощью издатель,
И ты остался таковым.

Какие книги ты старался
Издать!—Суворину под стать!
К олимпу книжному добрался,
Сумел в стране известным стать.

Но ты ушёл. И тьма спустилась,
Беда сгустилась на дворе.
И солнце красное катилось
По тёмной зябкой Ангаре.

Качались сумрачные листья,
И пахло тучей грозовой,
А мне привиделся трилистник
В библейском небе, как живой.

Казалось—высветилась крона
В том неизведанном краю:
Астафьев, Колобов, Сапронов—
Трилистник, выросший в раю.

Гнездо

После Третьей войны мировой
Всё исчезло на грешной земле.
Будто язвой смело моровой
Всех, кто в городе жил и в селе.

Сколько минуло лет? Может, сто
После Третьей войны мировой.
…И кружилось на небе гнездо.
Может, в нём кто остался
живой?

● ● ●

К родной земле любовь невыразима,
Когда царит осенняя печаль.
Моя душа, заботами теснима,
Уносится в неведомую даль.

Она свои распахивает крылья,
Летит среди небесной синевы
И обретает новые усилья
В очарованье света и листвы.

Её поля и рощи привечают,
Никто не бьёт наотмашь и под дых.
Как мягкий хло́пок, стебли иван-чая
Сулят ей отдых в кущах золотых.

Душе от счастья никуда не деться,
В родном краю смогла себя согреть.
Душе охота пасть и разреветься—
И посреди России умереть.

● ● ●

Поэтов мало, стихотворцев—рать,
И это очень грустная примета.
Ведь только Бог способен выбирать
В своей Господней милости—Поэта.

Сергей Есенин—он под Богом был
И на вопрос, который не был шуткой:
«Кто в мире вы?»—
Сказал, как отрубил:
«Кто в мире я? Я—Божья дудка!»

Курган

Над страной пролетел ураган,
И дома, и заборы порушил.
Под Ростовом насыпал курган,
Где ворочались судьбы и души.

Многих выхватил, как на войне,
В небо взвились живой
и покойник.
Ну а те, кто остался в стране,
Уцепились за русские корни.

Век носился и выл ураган,
Будто тысячи огненных грифов,
Рос и рос под Ростовом курган…
Говорят,
что в нём золото скифов.

Алтайская осень

Стучит Алтая каменное сердце,
Звенит щемящей болью тишина.
Кричит журавль на небосводе сером,
Зовёт из тёмных далей Шукшина.

Янтарным светом осеняет осень
Пространство мира и провалы сна.
У неба осень дней погожих просит
И возвращенья в Сростки—Шукшина.

Но в спящих Сростках
чёрный ветер дует,
С горы Пикет срывается луна.
В родном краю на берегах Катуни
Шальные ветры ищут Шукшина.

Идут дожди в краю необозримом,
Печаль застыла посреди окна…
В лесу горит калина нестерпимо
Над бугорком, где нету Шукшина.

Танцующие змеи

Я видел змей, танцующих под небом
Среди песка и тёсаных камней.
Их танец тайной для природы не был,
Он был изъяном красоты скорей.

А змеи танцевали, обнимались,
Шипели, поднимались над песком,
То распадались, то опять свивались
Живым узлом, клубящимся клубком.

Мы—матросня—тяжёлыми ломами
С лица земли срывали старый дот,
А змеи дот японский обнимали
И людям загораживали вход.

Но вот мы смертный круг образовали
Над ними, танцевавшими в кругу…
О, как мы их ломами убивали,
Крошили на пустынном берегу!

Потом купались и орали громко
У океана Тихого в горсти…
И только Мишка Яковлев из Ровно
Сказал змее растерзанной:—Прости!

Игнатий Рождественский

Время весны

● ● ●

Если много детей — значит, много затей,
Значит, из дому в лес убегай поскорей.
Значит, стены тесны, значит, время весны,
Значит, снятся чудесные, добрые сны.

Если много детей — значит, много забот,
Значит, шишка на лбу неизбежно растёт,
Значит, ночью не спать, у кровати стоять,
Одевать, раздевать, утешать, понимать.

Поднимать и гулять, умывать и кормить,
Утром в школу водить, и ругать, и хвалить.
Вот заплакал один, засмеялся другой,
Тянет третий на горку, четвёртый — домой.

Если много детей — значит, Бог одарил,
Не богатством и славой — любовью укрыл,
Сделал дальнее близким и судьбы связал,
Чтобы мир не распался, а существовал.

● ● ●

Как славно быть игрушкой
На новогодней ёлке,
Когда тебя достанут
С далёкой пыльной полки.

Пускай теперь любуются
И взрослые, и дети.
За этот миг готова я
Отдать вам всё на свете.

Вокруг меня блестящие
Сосульки, и шары,
И свечи настоящие,
И радость детворы.

Я неизменно радую
Вас много, много лет,
Но — ах… случайно падаю,
И всё, меня уж нет.

● ● ●

Перенеси меня, как пёрышко, туда,
Где птицы зиму долгую пережидают,
Где снег на землю не ложится и не тает,
Где на холмах волнуются овечьи стада.

Перенеси меня, как зёрнышко, туда,
Где колоски пшеничные не сжаты,
Где в тихой речке отражаются закаты,
Где повстречался я с тобою навсегда.

Ещё дорога не видна была,
Ещё дожди не плакали о лете,
Ещё я ничего не мог заметить,
А ты меня из дали позвала.

Ещё листву не опалил пожар
И ветер душу не лишил покоя,
Когда я принял драгоценный дар,
Таинственный, как небо голубое.

Суздаль

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
А. С. Пушкин

Здесь, где церквей не сорок сороков,
А только сорок,
Где ходится и дышится легко
Среди просторов,

Где над полями колокольный звон,
Туман над пашней,
Когда-нибудь и в мир иной —
Совсем не страшно.

Когда поверю, что покой
Ценней, чем удаль,
Вернусь ли в город над рекой,
Старинный Суздаль?

Вадим Ковда

Загулы

* * *

К. Д.

Из мельтешенья улиц окружающих,
из блеска фар, и лязга, и мороза
приблизилось ко мне лицо дрожащее
из звяканья холодного хаоса.

Возникло, и придвинулось из тьмы,
и, скорбное, склонилось безголосо…
Два хрупких глаза, пряди седины—
из звяканья холодного хаоса…

И я не знал: любовь то или жалость
меня свербила, ввинчиваясь тонко.
Её душа к моей душе прижалась,
как в январе в подъезде собачонка…

А дальше что? Шесть лет неразберихи.
И если всё собрать—неделя счастья.
Потом она забыла эти миги,
ушла в хаос, чтоб больше не встречаться…

И я не знаю, как теперь отделаться
от памяти, в которой тот мороз,
в которой та немолодая девочка—
два хрупких глаза, брошенных в хаос.

Внутренний диалог

—Ну куда ты, драный, полупьяный?
Старый пень, что у тебя в мозгу?
—Я без этой женщины туманной,
как без сердца, выжить не могу.

—Это ты-то? Плут непостоянный!
Идиот, о чём ты говоришь?
Стал облезлой мрачной обезьяной…
До золы, до тлена прогоришь!

Безнадёжней будь и откровенней.
Выбрось всё, все узы разорви!..
—Но без этой женщины осенней
нет мне в жизни счастья и любви.

Всё пропало… Кувыркаясь, в бездну,
словно птица сбитая, лечу…
Я без этой женщины небесной
выжить не могу и не хочу.

Загулы

В голове мельтешенье и гул.
Рук дрожанье, дрожание скул.
Тьма и скука сей жизни недлинной…
И ныряешь в кромешный загул,
чтоб потом возвратиться с повинной.

Так обрыднет питьё, и бабьё,
и дружки… От тоски не избавлен,
возвращаешься в стойло своё,
полусогнут, разбит и раздавлен.

А в башке—полудурь, полусон…
Ничего не достичь полумерой…
И скребётся в ночи Паркинсон,
и Альцгеймер стоит за портьерой.

Блесна

Вот тела твоего блесна
в последний раз блеснула ночью.
Теперь мне суждено познать
страшнейшее из одиночеств.

Теперь дорогами пойду
искри́вленными и порожними,
пойду вышагивать в поту,
из будущего делать прошлое…

И рухну… Руки протяну.
И прокляну дороги длинные,
прокрикивая тишину
твоим полуушедшим именем.

Северные леса

Подниму от дороги глаза:
вот стоят, озабоченно-хмурые,
бесконечные зелено-бурые,
чуть в подпалинах серых, леса.

Никуда не умеют стремиться.
Им неведомы спешка и страх.
Далеко, далеко от столицы
постоят и умрут на ветрах…

Распростёртые чёрные птицы
равнодушно парят в небесах.

Сельское кладбище

Из голубой и белой круговерти,
где поле, и река, и снежный наст,
я прикоснулся к смерти…
Уже в который раз.

Я долго шёл, часа четыре кряду.
На лыжах по-над речкою бродил.
Вдруг увидал печальные ограды
и скопище могил.

Кресты, кресты сварные
из ржавых, чёрных труб.
Букеты жестяные
стучат на ветру…

За кладбищем, на белизне напевной,
сходящей в бесконечности на нет,
я увидал какую-то деревню
и церкви силуэт.

И я уж знал: мне скоро станет легче—
забудет слух, потом забудет глаз.
Каких природа мыслей не нашепчет,
каких природа мыслей не подаст!

И мне знаком негромкий привкус счастья.
Я знал его, он был в моей судьбе.
Но с каждым годом чаще всё и чаще
смерть напоминает о себе.

Вот кладбище. Всё ясно, ясно, ясно.
Кто не видал могил в родном краю?
Я подхожу, наверное, напрасно.
И вот стою.

Кресты, кресты сварные
из ржавых, чёрных труб.
Букеты жестяные
стучат на ветру…

● ● ●

Метель меня лишь ласково обвеет,
противник мой отринется—убит.
И смерть меня коснуться не посмеет.
И ругань, не коснувшись, отлетит.

И вновь пойду, пойду своей дорогой,
стихи писать и барышень любить,
на мир смотреть и слушать, слушать Бога,
но даже Богу правду говорить.

Метисы

Незримая есть биссектриса,
не нужная миру межа…
Ну как вам живётся, метисы?
Раздвоена кровь и душа.

Спешат головами поникнуть—
изгои!—проклятья не снять.
К чужим не желают приникнуть!
Своих не желают признать!

Велит и насилует время.
Зовёт осознать и решить.
И выбрать полкрови и племя…
А кровь неугодную—слить.

Гармония мира

Вот пенье застенчивой птицы,
вот сморщенный робкий лесок,
вода, чтоб напиться, умыться,
и ветер, студящий висок.

Поверьте: я очень серьёзен,
когда продолжаю любить
и зиму, и позднюю осень.
О лете—чего ж говорить!

И мне одинаково бли́зки
земля и небесная твердь,
живые и палые листья,
рожденье и честная смерть.

Во чреве убогой квартиры
я помню восторг этих слёз,
когда я гармонию мира
впервые воспринял всерьёз.

И понял: неправ я вчистую,
когда я проклятия шлю
и жизнь, хоть какую плохую,
в безумье своём не люблю.

Екатерина Янишевская

Сквозняки и маяки

● ● ●

я поняла, что такое жизнь. это долгий, протяжный взгляд
взгляд в себя, опустевшего, неглубокого, неживого
выяснение, кто кому должен, кто кому братский брат
реже — в небе, закопчённом смогом, полоска безумного голубого

жизнь — это лишь расстояния от пункта «а» к пункту «б»
где ты меня уже ждёшь — с пирогами и земляникой
и всё самое выдающееся и любимое мной в тебе
по моим чертежам прорисовано лёгким бликом

жизнь — это лодка, которую надо раскачивать, иначе не поплывёт
упорно работать веслом, пока не снесёт течением
жить — значит выйти лихим фигуристом на сильно подтаявший лёд
и скользить по нему вплоть до точки финального назначения

● ● ●

в принципе, некуда, незачем отступать
чайник кем-то поставлен и знай себе сам сипит
кроме окон, найдёшь в этой комнате только расстеленную кровать
хочешь — выпей немного, а хочешь — ложись и спи

но к утру ты поймёшь, что подъедены натрием провода
телефон никогда-никогда больше не зазвонит
нет ни дома, ни комнаты — сплошь леденеющая вода
моряки тебе машут платками с большой земли

ночью всё разломалось на мелкие части: кровать тебе как корма
и берет набекрень, и вестей не дождется твой Бог
ведь на мокрой бумаге нельзя написать письма:
правда больно стекает чернилами между строк

● ● ●

коль теряешь себя — не звони по ночам знакомым
коли кличут козлом — не спеши отрастить рога
и запомни одно: чтобы дом оставался домом
никогда не зови на порог своего врага

не ходи под стрелой, избегай витиеватых лестниц
и не ешь сахарок из тебе не знакомых рук
и запомни одно: если друг тебя кормит лестью
то он с этого дня совершенно тебе не друг

стерегись тех, кто может тебе за бесценок продать оружие
не пей воду с лица, не точи понапрасну нож
не держи нелюбимых рядом, борись за нужных
ежедневно борись, чтобы знать, для чего живёшь

• • •

не важно, куда ты,—на свете ещё достаточно городов
где разводят костры, ненавидя свой внутренний снежный полюс
и не то чтобы я сплоховал, но, прости, не готов
ещё раз провожать с тихой грустью твой вдаль уходящий поезд

и твои калачи мне с недавних пор приходятся не к столу
и посылки-повестки на добрую память не к месту, не впрок, не к спеху
я в гостиной собрал самых близких подруг: тишину и осеннюю мглу
но при виде тебя захожусь не то кашлем, не то истерическим смехом

ты привозишь обрезки волос, фотографии гор, фотографии без меня
фотографии окон в мороз, осиротевших спортивных площадок
но навряд ли ты помнишь, кто первый кричал тебе: «западня»
когда здесь воцарился ад—непосильный и беспощадный

ты до сих пор остерегаешься взрослых, впадаешь в зимний анабиоз
здесь нет способных тебя сломать. в какой-то степени это круто
вот потому и не помнишь, как много пережито шквальных ветров и гроз
как боялась, малышка, как байковым пледом тебя укутывал

ладно, чего это я. дороги рассерженной памяти редко куда ведут
говорят, в море судеб осталось не так уж и мало доверчивой мелкой рыбы
но если бы наш Охранитель дал шанс, я бы резко сменил маршрут
и дорог, что ведут в твои города, никогда, ни за что не выбрал бы

потому что всё можно стерпеть, если есть для чего терпеть
я стерпел и боязнь оступиться, и желание свести всё к полюсам
но не горечь пустых обещаний. полужизнь, полусон, полусмерть
но не своё же безвольное «стой» в дань уходящему поезду

• • •

Леонард, здесь опять пахнет снегом, ревут тюлени
за арктическим кругом растёт последнее поколение
стало совсем спокойно, к горшку примерзает каша
расскажи, расскажи мне ещё о своём бесстрашии

как надежда всегда достаётся тем, кто едва не умер
как смотрели юнцами по видику «брат» и «бумер»
как рвались ещё в 18 усыпить этот древний голод
им достался пожар, мы смогли подобрать лишь холод

ты красив, ты красив, ты красив, ты ведь знаешь сам-то
ты бы мог на ходу взять любую, любую самку
а теперь мы катаем детей поутру на санках
даже если вставать чуть свет

Леонард, позвони там на базу, пускай нас спишут
я хочу до скончания века смотреть, как спишь, и
ну побалуй меня, ущипни, пожури: мол, ишь ты
и нам сразу же станет как будто бы меньше лет

Сергей Главацкий

Все башни

Перекати-поле

Пусть вначале был Жест,
А потом уже—Слово.
На твоём этаже—
Ни того, ни другого.

Мир деяний, не—слов,
Мир пространства, не—звука,
Словно шар-змеелов,
Словно жестов порука,

Нам с тобой незнаком.
Мы идём, как бродяги,
От всего, что—потом,
Разбегаемся в страхе.

Сколько лет босиком
Мы обследуем темень,
Не умея в наш дом
Превратить это время!

Сколько жизней подряд
Мы бредём, будто дремлем,
Не умея в наш сад
Превратить эту землю!

Нас сорвала Луна,
Как траву—буреломы.
Эта вдовья страна
Вся исходит истомой—

Слишком ветрена мгла,
Пахнет ликантропией,
Моя дрожь приплыла
За тобою—мессией.

Моя смерть принеслась
За тобою—стоп-кадром,
Как непрошеный князь
За своим императором,

И теперь я могу
Целовать твои губы,
Сам себя душегуб—
Храмом звать звёздный купол.

И мы снова идём,
Окаянные двое,
Под жемчужным дождём,
Вдаль, в—своё, в—неживое.

Троица

Плоть—наказанье нам за то, что тянемся мы к свету.
Мы—наказанье Господу за то, что—собственник.
Нам больно оттого, что твари мы—с иной планеты,
Что мы друг другу более, чем чёрту—родственны.

Нам дух—расплата: вышли мы из замкнутого круга.
Чёрт—Богу: дань за то, что мы друг другом колемся.
Нам стыдно оттого, что брезгуем мы все друг другом,
Что мы друг другу более, чем Богу—…

Здесь, в инкубаторе «Земля», всем нам дано смиренье,
Но в зорких снах мы все равны и одинаковы,
И взыщем каждый с каждого, и наши сновиденья
Нас защитят от Бога, чёрта и от всякого.

● ● ●

Генофонд, геноцид, геномор, геноцирк…
Золотые тельцы нас берут под уздцы.
Кто был ночью убит, тот сто лет уже спит.
За Садовым кольцом обретается спирт,
Под Садовым кольцом пьют коллекторы СПИД,
И за крепкое здравие пьёт инвалид,
И скорбят по нам—Киев, Одесса и Минск…
Поминать уже некого—чёрный помин.

Мы—обрубки без ног, мы—культяпки без рук
(Девятнадцатый год в наших генах—хоругвь),
Ходим в чёрном—сто лет и не знаем, что так—
Поминаем царя, что мы всё ещё—там,
И морально мы—трупы—уже—навсегда
(С девяностых душа наша стынет во льдах),
И нам снится, что вместо царя мы лежим
На постели его, что—постельный режим.

Это княжество катится в тартарары—
В состоянье искусственной чёрной икры,
И никто никогда не поможет ему,
И на нём—нефтяной чёрной метки хомут,
И славяне ему, будто валенки, жмут,
Все замкадыши молча шагают в тюрьму,
Под замкад, под замок, под кладбищ телеса…
Улетайте, славяне, в свои небеса!

Самое время

И башни все, вся эта эволюция камней
Земных (чертог воздушный, пылевая буря,
Песочный замок) в самом деле—лишь реторты фурий,
И наши души—лишь взрывные волны вырожденных дней…

Здесь Вавилон во всём, не в генах он, а—ген,
Почти гено́м, создателя поделка роковая…
Он жив, Мардук, Судья богов, эпох абориген,
Гнилое тело Тиамат он заново сшивает…

И он, кочующий из дома в дом, из града в град,
Все города, все ойкумены перерыщет,
Он—на охоте, в поисках духовной пищи,
Съедобной, то есть нас…
Он—словно праздничный парад—
Идёт, шагает по земле (по трупу Тиамат)—
С особым трепетом к растущим на семи холмах
Селеньям (Иерусалим и Рим, Москва и Киев…),
Прильнув, согласно их таблицам судеб…
Избеги их!—
Все города семи холмов—его обитель, дом…
И раз не в прошлом, не сейчас, то—в будущем, потом…
Он там царил, он будет там царить—в грядущем,

И время самое считать холмы и кряжи
Всех мёртвых городов и всех растущих,
Ведь семь холмов—семь вавилонских башен,
Осунувшихся, и разрушенных когда-то,
И погребённых под золою, грязью, пеплом…
Ты не оглядывайся, этого не надо…

И пусть остолбенела ты, оглохла и ослепла—
Столпы-то соляные—тоже башни, это так.
Седьмое небо сплющено до плоскости листа,
И это верный знак—Мардук поблизости, он прибыл,
И время самое всем говорить «спасибо»,
Раскланиваться и бежать отсюда восвояси,
Куда глаза глядят, куда уносят ноги,
Всех башен падающих—мимо, без дороги,
По пеплу, по золе, по грязи…

Антропология

Глянь, в этих башнях больных,
В башнях цинготных озоновых,
В сполохах неба неоновых,
Будто цыганские сны,

Кружатся, кружатся над
Мегалополиса навями,
Став кислорода забавами,
Первенцы всех буффонад—

Армия лёгких мессий,
Тех, что на небо возносятся
(перьями—оптом и в розницу)
По недосмотру ветров

(не сверхискусственных сил),
Просто от собственной лёгкости…
(Лёгкость—существенней ловкости,
ветреность—вещней костров…)

И потому мы хотим
Быть—как они, чтоб без зауми
Нам—обойти все шлагбаумы,
Чтоб всем богам—по пути.

Лестницы в небо—мираж,
Есть только—чересполосица
И геркулесовых гроз массаж.
Небо, входящее в раж…

Каждый здесь ляжет под нож.
С неба на нас уже косятся.
Все-то мы ходим под космосом.
Что же с него ты возьмёшь?

Каждый судьбою взбешён.
А я оставляю кровавую полосу,
Такой себе адский крюшон,
Стерильный, как мир,
впавший в кому от голоса
Моего
Чистоты.

Форс-минор

Все роды одинаково древние.
Питекантропы появились на свет в один день с австралопитеками.
Лилит и Ева в одну и ту же ночь стали царевнами,
Каин и Авель в один миг—калеками.
Создавший этот цирк и нас по своему же подобию,
Дабы познать, что сам не совершенен и
Обречён на самоуничтожение, на безымянное надгробие,—
Видел, как легли под ковчег доисторические Каренины.
Выжидающий конца эксперимента, нет—опыта
По познанию своей природы (и только лишь),—
Знает, сколько помпей поднялось из копоти,
Как при каждой мутации внутри себя дарвины ойкали.
Но и гомункулусы теперь уже от себя не увиливают,
Познав, кто есть кто, кому—похвала и слава…
Кто-то сидит там, на завалинке, и методично выпиливает
Из глины сам не знает что. Это дьявол.

Ксения Александрова

Имя на ладони

● ● ●

Вдруг понимаешь, что хочешь быть не исполнителем, а творцом,
Не журавлём, не синицей, а ласточкой и скворцом,
Что каким же отчаянным всё-таки нужно быть храбрецом,
Чтоб каждый день, не таясь, выходить из дома.

А потом понимаешь, что, кроме любви, ничего и нет,
Ни сомнений, ни радости, ни сладкой печали на самом дне,
Что останется рядом лишь тот, с кем не страшно ни в горе, ни в тишине,—
Тот, чьё имя у тебя записано на ладони.

● ● ●

Сколько прекрасного происходит, страшного происходит сколько.
Сердце под пяткой танцует польку,
Пока я смеюсь до колик,
Заливаю рыдания алкоголем,
Засыпаю голой, просыпаюсь голой,
Жду, когда остальные проснутся голыми,
Становлюсь будто роботом, будто големом,
Думаю о страхе, но не хочу говорить об этом,
Спрашиваю саму себя, зачем тогда быть поэтом,
Если не говорить о том, на что не хватает молитв,
О том, что на самом деле болит.

Из крана святая вода течёт—все мы привычно моемся ею вечером,
Не веря, что от этого станем вечными,
Не веря, что от этого станет кому-то легче,
Выключаем компьютеры и зажигаем свечи,
Хвалимся друг другу шрамами, ранами и увечьями,
Делаем вид, что становимся чуть добрее и человечнее,
Капельку вежливей и приличнее,
Сами себя равняя и обезличивая,
Ходим по мёртвому городу парами нежно, рука в руке,
Ждём манну небесную, кашу манную варим на молоке,
Не знаем, с кем завтра проснёмся и, что важнее,—кем.

Сколько прекрасного происходит, сколько происходит страшного,
Если боишься ответов—не стоит спрашивать.
Мы каждый день на год становимся старше,
Просыпаемся голыми и уставшими,
Святыми так и не ставшие.
Я говорю о том, что внутри болит,
Что пустая надежда тлеет, но не горит,
Что под ноги течёт не грязь уже, а иприт,
Обо всём, о чём вовсе не хочется говорить,
Под конец добавляю: Аллах, Иегова, Господи, Будда, Боже,
Помилуй всех нас,—и ни о чём не говорю больше.

Урожай наших лучших мужчин уже собран кровавой жатвой,
Слишком хрупкое сердце в пальцах железных сжато.
Так чего нам теперь бояться? Куда бежать-то?

Изгибаться в красивом и страшном танце, но не сломиться,
На дрожащих ладонях линии время связало спицей.
Что ж, куда нам теперь бежать и куда стремиться?

Я уже сам не знаю, когда нужно плакать, когда смеяться,
Я готов хоть героем стать, хоть предателем, хоть паяцем.
Но куда нам стремиться? Чего нам теперь бояться?

Твоё имя святится, счастье моё горчит.
Я хочу закричать, а ты говоришь: молчи;
Превращаешь вино в вину, сотни фраз — в одну,
Крики радости — в осторожность и тишину.
Проиграй мне войну, пока я иду ко дну.

Отпусти меня вспять, мне нечего здесь терять.
Чьи-то сонные дети ластятся к матерям.
Выбивайся из сил, но взялся — так уж неси,
На земле сразу станет яко на небеси.
Ладно, я помолчу, но большего не проси.

И во веки веков аминь, и что там ещё,
Я чуть-чуть помолчу, но выставлю после счёт.
Ты сегодня ничей, и родинка на плече —
Как клеймо и как орден, знамя, позор и честь,
Станет лёд горячей от наших с тобой ночей.

Так прославь немоту, внутри разливая ртуть,
Я хочу закричать, ладони прижав ко рту.
Время — лидер продаж, и хлеб нам насущный даждь,
Наше счастье совсем простое, как карандаш…
Я молчу, прочитай мне заново «Отче наш».

Брось якоря,
Пусть разойдутся вокруг моря
Посреди слишком тёплого октября.
Эта соль убивает, эта соль лечит раненых, говорят,
Эта соль пробуждает душу,
И когда твои верные призраки станут в ряд,
Рваное сердце разбередят,
Станет лучше.

Так не бойся же, к чёрту страх,
Ты в воде всё такой же лёгкий, как в небесах,
Эта соль остаётся в коже и волосах,
С вязкой сладостью ветра споря.

Дуй на плечо,
Если вдруг станет больно и горячо —
Жадные волны возьмут тебя на крючок.
После них только соль на щеках печёт,
Только соль по щекам течёт —
Словно капли чужого моря.

Александр Астраханцев

Возьми меня с собой

Главы из повести. Начало в №6/2014.

11.

А примерно через неделю после встречи с Леной к ней заявился собственной персоной не кто иной, как «наш славный разведчик» Макс.

Заявился всё такой же — бодрый, подтянутый — и три алых гвоздики вручил. Не какие-то там особенные цветы, хотя конец августа на дворе, пора самых роскошных садовых цветов, на каждом перекрёстке их охапками продают, ярких, пышных, разнообразнейших; Маша их сама обожает и покупает чуть не каждый день, пока дешёвые, так что у неё сразу по нескольку букетов стоит, — нет, именно стандартные гвоздички для подчёркнуто делового визита; он, видимо, даже и не задумался над этим, а купил на ходу, машинально, как купил бы в ноябре или феврале. Может, даже их там, у них на службе, продают или за так дают для деловых встреч с дамами и разнообразием при этом не балуют?

А у неё всё равно сердечко запрыгало от радости при виде его с жалкими, трогательными тремя гвоздичками — после Баковых-то букетов! Радовалась, торжествовала: явился, наконец! — хотя и поняла: не так просто, ой не так просто пришёл — что-то очень нужное привело его сюда, как охотничью собаку по следу, и ёкнуло сердце: чем-то приход его связан с Баком, никак её роман с Баком гэбистов заинтересовал, — и к радости её примешалось глухое беспокойство… Но где ж ты раньше-то был? Не знала бы, куда и посадить и чем угостить — только чтоб доволен остался. Да что посадить! — ножки готова была, если честно, вымыть и слезами радости всего обрызгать. Так нет же… И упрекать бесполезно: ценит наш котик свободу, сам по себе гулять любит, всё готовит себя к чему-то, и уж такой аккуратист — следочка не оставит. А теперь жареным, видно, потянуло, и — вот он я! Да только поздно, мил человек: занято местечко, фигушки теперь что-нибудь обломится, ни в чём она не отступится теперь, ничем ни Бака, ни себя не опорочит.

— Ну, привет, мать! Давно что-то не виделись. Слыхал, слыхал, что в Америку намылилась, — безо всяких околичностей заявил он чуть не с порога, коснувшись её щеки жестяными губами, не без тожественности всучивая ей три цветочка. — И как ты умудрилась, всех подруг обскакала? — с неподдельным удивлением спросил он, кажется, впервые в жизни окидывая её заинтересованным взглядом с головы до ног; остановился на секунду на конопатеньком скуластом личике в кудряшках, таком привычном для него чёрт-те с каких пор, аж с первого курса, скользнул по коренастенькой, такой заурядной фигуре её, обёрнутой в застиранную тряпицу, бывшую некогда не то голубым, не то зелёным в розочках халатом; запнулся взглядом о щиколотки, ещё хранящие тёплый глянец загара, крепенькие, с крутыми, даже изящными, чёрт побери, линиями, но — слишком коротковатые, не в его вкусе, и чуть слышно прищёлкнул языком, не то одобрительно, не то с лёгким разочарованием — ожидал, наверное, увидеть в ней серьёзные перемены к лучшему: сумела же чем-то обворожить иностранца? — но никаких особенных перемен не нашёл.

— А что, думаешь, нам в Америку замуж слабó выскочить? — грубовато ответила она, принимая цветы и прикидывая, куда б их приткнуть — все наличные вазочки заняты. — Это вы нас списали в утиль, а мы за себя ещё сражаемся.

— Ну зачем уж так? Я тебя вполне ценю и отдаю тебе должное — ты у нас девочка на все сто! Раз берут в Америку — отдадим, не стыдно: товар добротный!

— И на том спасибо, — хмыкнула она. — Проходи, садись! Что пить будешь: чай, кофе? Али коньячок?

— Да, пожалуй, и от кофе, и от коньячка не откажусь, раз ты теперь богатая.

— Кой чёрт богатая — ещё с весны полфуфыря заначила, лечиться каплями от стрессу всякого да от тоски. Но раз уж такой редкий гость…

— Как примешь, а то редкий может стать и частым — устанешь принимать.

— Ничо, кость у нас крепкая, народная, сдюжим, усталости не боимся…

Так, пикируясь с ним, она усадила его в перевязанное верёвочкой кресло, поставила варить кофе и достала бутылку с остатками коньяка, а заодно быстро привела себя в порядок за ширмой, отделяющей гостиную часть комнаты от кухонной:

в секунду скинула халат, натянула джинсы и светлую блузку с открытыми рукавами и шеей, хорошо оттеняющую загар, расчесалась и тронула помадой губы,—так что, когда вышла, сразу постройневшая и похорошевшая, Максим оценил это: глаза его потеплели и заискрились.

И всё же «наш целеустремлённый разведчик» ни на минуту не забывался: пока варила кофе—уж что-что, а кофе варить она умела и гордилась этим: «Должен же человек хоть что-то в жизни делать хорошо?»—он целенаправленно выходил на тему разговора, ради которого, похоже, и выбрался к ней.

Начал он с подробных расспросов про *её* американца: кто он такой, отчего так в неё втюрился и чем, интересно, она его взяла? Однако она, чуя подвох и побаиваясь теперь Макса: как бы не испортил чего?—не желала с ним слишком откровенничать:

— Тебе, Максик, боюсь, не понять. Это надо прожить с его, поездить по свету да посмотреть на людей в других странах да на других материках.

— Нет, а всё же, всё же—чего тебе от меня-то увиливать?

— Ну, уж если тебе так интересно, объясняю—как он сам мне, неразумной, объяснял: «Вы,—говорит,—русские женщины, любить умеете, не требуя ничего взамен, и умеете ради другого себя забыть. Вы,—говорит,—ещё не заражены нашим индивидуализмом; в вас,—говорит,—ещё полно то ли ангельского, то ли животного терпения».

— Ну, насчёт русских женщин, он, конечно, загнул,—хмыкнул Макс.

— Может, и загнул,—отозвалась она.

— Но тебя он угадал.

— Да не угадал, Макс, а понял!—горячо возразила она.—Он не любит гадать—он просто умеет думать!—возмутилась она, подавая кофе и садясь против него на своей продавленной диван-кровати.—А вообще это что, допрос или как? Ты—по заданию?

— Помилуй, Маша, какое задание?!—изумился он очень натурально.—Я же твой друг, почти что брат!.. Да мне действительно всё про тебя интересно!

Он доверительно и мягко положил при этом ладонь на её руку, лежащую на столике, и ласково погладил запястье, локоть и предплечье, потянувшись к ней, и она спокойно выдержала его поглаживание.

— Кстати,—продолжал он, только уже мягче и вкрадчивей,—я совсем не хочу, чтобы тебя кто-нибудь облапошил. Поверь, уж я-то знаю, сколько вашей сестры уезжает сейчас за кордон, а там ими тешатся и бросают или заставляют работать в борделях, в ночных клубах. Просто больно знать про это.

— Пожалел?—усмехнулась она.—Не тот случай, Максик; твои советы—мимо денег.. Не надо,—она отодвинулась, выдернув свою руку из его навязчиво ласковой руки.

— Ну почему не надо-то?—ещё вкрадчивей сказал он, стараясь глядеть ей в глаза.—Не бойся, я щажу твои чувства, мне просто хочется побыть с тобой рядом—ведь мы же старые друзья, разве не так? Между прочим, я соскучился: каждая моя клеточка тянется к тебе, тоскует по твоим клеточкам. У них ведь своя жизнь, помимо разума, и давай не будем им мешать,—а сам снова кладёт свою руку на её и гладит, и у неё уже нет сил убрать её; его рука ползёт дальше и всё смелеет; он уже треплет её ушко, гладит шею, его пальцы находят какие-то такие точечки, от прикосновения к которым она вздрагивает, ей хочется потянуться, и уже нет сил противиться его прикосновениям: томная слабость парализует её волю…

И всё же, всё же она находит в себе силы стряхнуть с себя этот морок, это сладкое оцепенение, оттолкнуть его из последних сил и, твёрдо глядя ему в глаза, сказать почти с ненавистью:

— Уйди, Макс! Уйди, прошу!

— Да не уйду я никуда,—улыбается он, выдерживая её взгляд.—Хочешь выйти за американца—выходи, кто тебе слово скажет? Но почему при этом нужно мучить и изводить свой организм? Твой жених, думаешь, там свят? Не верю! Да в его возрасте это просто чревато для здоровья, и он это знает!.. Машенька, девочка моя, ведь я твой друг, и, скорей всего, единственный; я желаю тебе только добра!..—а сам чутко ловит её смятенное состояние, подсаживается к ней, решительно, с силой привлекает её к себе и, возбуждённо, щекотно дыша в ухо—господи, как это всё у них похоже!—шепчет и шепчет, а рукой тем временем нащупывает застёжки, и она только стонет мучительно:

— Ну зачем ты так, зачем?—колотит в отчаянии кулаками в его крепкую грудь, затем вовсе перестаёт сопротивляться и только шепчет сквозь зубы злобно:—Ох и га-ад же ты! Ох и га-ад!—и уже сама помогает его руке…

Ой, дура-дура, что она делает? В какую пропасть падает! И нет конца этому долгому, мучительному, затяжному, безмысленному, сладкому этому падению…

А потом, лёжа с нею, уже насытившийся, успокоенный и безмятежный, он, знаток всех правил любовной игры, продолжает лениво ласкать и успокаивать её, тяня и тяня тонкую нить слов и виток за витком опутывая этой нитью:

— Ну что ты, девочка моя? Вот и всё, и больше я тебя не трону. Было бы из-за чего убиваться—а то такая безделица!.. Я уважаю твои чувства, но ты действительно веришь, что он там не мог найти себе жены и ему надо было проехать полмира, чтобы отыскать тебя? Нет, конечно,—просто ему нужна такая вот неискушённая дурочка, как ты!

Потому что за женщину там надо платить, и платить дорого: они ставят свои условия, много тратят, о них нужно заботиться до конца жизни, а русская что — сама простота: её так просто заполучить и так легко обвести, а надоест — и выгнать.
— Что ты так обо мне печёшься? — перебивает она его. — Хочешь предложить что-то другое?
— Нет-нет, что ты, что ты! — он даже немного испугался. — Я только хочу предостеречь тебя. Тебе надо будет брачный контракт потребовать. Так, знаешь, ненавязчиво.
— Да плевать мне на этот контракт — я понятия не имею, что это такое!
— Это условия, на которые ты согласна. А главное в нём — чтобы он тебя обеспечил в случае развода: какую-то сумму выделил, тысяч там, ну не знаю, двести, триста. Или постоянный процент с доходов. Жильё чтоб приличное, по их стандартам.
— Знаешь, — сказала она, — ничего я требовать не собираюсь — я ему просто благодарна буду, если вытащит из этой трущобы.
— Не будь дурой! «Наивная дурочка» — нынче немодный имидж; пора знать себе цену и своё брать! Каждый человек, Маша, чего-то стоит!
— В долларах? — снасмешничала она.
— Да хоть бы и в долларах. Не будем лицемерами.

Маша промолчала. Только отрицательно покачала головой.
— Ну да ладно, — сказал он. — Раз твоё счастье там — ради Бога! Я даже помочь тебе готов: когда понадобится виза — ты за ней ещё набегаешься, замордуют они тебя. И обдерут.
— Кто обдерёт? Почему?
— Ну, ты, мать, прямо как с Луны свалилась. Обыкновенно, взятками. А я тебе визу мгновенно сделаю. Хочешь?
— Хочу.
— Только у меня маленькое условие.
— Какое?

Макс сделал паузу, прихлёбывая остывший кофе. А Маше уже не терпелось узнать его условие — она ведь понятия не имеет, как всё это делается, и страшно, что опять не хватит денег и что-нибудь сорвётся: ох, эта святая, невинная, проклятая бедность!
— Что за условие, Максик? Я смогу его выполнить?
— Сможешь.
— Так какое условие? — уже наседает она.

А он, теперь снова перебравшись в кресло, знай пригубливает кофеёк поочерёдно с коньячком — весь, с головой, ушёл в дегустацию… А Машу заело — или уж так, до нервного срыва, возбуждена была его приходом и всем тем, что из этого вышло? — только она вдруг прыгнула к нему на колени — а-а, всё равно уж! — впилась в его губы и стала гладить его волосы и глядеть в его глаза — дразнила, проверяя свою власть над ним, и всё упрашивала:
— Ну скажи, скажи своё условие, упрямец ты этакий!

А он только посмеивается:
— Куда торопишься? Успеется, торопыга моя ласковая… — а сам, увлекаемый ею, снова ласкает её, возбуждаясь и возбуждая её, так что по её телу опять побежали, заструились сладкие судороги, и она, задохнувшись от спазма в горле и забывая про всё на свете, только мучительно стонет:
— А-ах, что ты делаешь! Что ты со мной делаешь!

И они, сплетясь, снова падают на её старенькую скрипучую диван-кровать: опять он её переиграл…

И только потом уж, доведя до полного завершения процедуру акта и насытившись и ею, и кофе, и коньячком, опять перебравшийся в кресло и устало откинувшийся в нём на спинку, широко и вольно раскидав перед собою вытянутые ноги, он сосредоточенно рассматривает ногти на руках, покусывает заусенцы и неторопливо объясняет ей своё условие, предуведомляя при этом:
— Это даже не условие, Машутка, а деловое предложение — причём всё между нами! Слушай внимательно и старайся запомнить…

Говорит он теперь жёстко, делая ударение чуть ли не на каждом слове, словно гипнотизёр, манипулирующий пациенткой:
— Среди друзей твоего избранника — я ему, в общем-то, завидую хорошей завистью, — подмигнул он ей и, посерьёзнев, продолжал дальше, — а у них там, как правило, всегда широкие знакомства, — наверняка есть бизнесмены. Так вот, когда приедешь и он начнёт тебя знакомить с друзьями, найди мне среди них бизнесмена побойчее — я хочу организовать с ним совместное предприятие. Хорошо бы, чтоб он был с авантюрной жилкой, не трясся над долларами, не боялся бы завязать контакт со мной, человеком из другой системы. Я понимаю, найти будет сложно: они, вопреки всеобщему мнению, — осторожные, если не сказать «трусливые», и скупые, и когда дело касается риска, любят всё вдоль и поперёк просчитать. Но мне, Маша, нужен именно с авантюрной жилкой — чтоб не боялся поставить на предприятие со степенью риска пятьдесят на пятьдесят. С моей точки зрения, риска никакого, но им-то, я понимаю, объяснить это трудно. И всё же, Маша, найди такого, я тебя прошу. Дальше: порекомендуй ему меня как честного, делового партнёра и сообщи мне о нём всё, что знаешь.
— Зачем он тебе, Максик? — тусклым голосом спросила она; она ведь цеплялась за него, как утопающая — за протянутую руку: вдруг да вытащит на твёрдый берег, и не надо барахтаться в океане неизвестности, — а рука эта вместо помощи норовила толкнуть её подальше в океан; и, поняв это, Маша посуровела. — У тебя что, задание такое? Я не хочу связываться с КГБ и Бака впутывать не дам!

— Да никакое это не КГБ, дурочка! — возразил он. — Я сам — понимаешь ты? — сам хочу организовать совместное предприятие, и ты должна мне помочь.
— Но ты же в КГБ!
— Ну что ты заладила: КГБ да КГБ? Не клином же на нём свет сошёлся? Да, в КГБ! Но такое время сейчас — надо успеть взять своё! Понимаешь? У меня, Маша, хорошие связи с людьми с заводов, из военно-промышленного комплекса — они все хотят выхода на Америку; что угодно есть для продажи: цветные, чёрные, редкие металлы, лес, интересные технологии и много чего ещё, но я хочу, чтобы всё это было здесь через меня, а там, в их штате, — соответственно, через моего партнёра. Вот масштаб, который меня интересует, и ты мне, Маша, должна в этом помочь: мне нужно согласие партнёра на создание совместной фирмы и всего несколько тысяч долларов для разворота; эти доллары могут ему потом стократно обернуться. Остальное беру на себя. Я всё сделаю, чтобы ты улетела; я могу взять командировку в Москву и быстро провернуть там формальности, даже в самолёт посадить — только лети! О-о, Машутка, какие дела тут можно закрутить! Сотни миллионов прокручивать!

Маша продолжала слушать его с недоверием.
— Максик, но мне-то это зачем? Не кажется ли тебе, что это слишком дорогая цена за услугу? Достают же другие как-то визы. Не хочу ввязываться в это дело, не верю в твои миллионы и не хочу впутывать Бака.
— Маша, не собираюсь я никуда впутывать ни тебя, ни его! Пойми: от твоего имиджа там будут зависеть и мои дела, поэтому твой имидж должен быть безупречным! Что ж я, враг самому себе? Клянусь: комар носа не подточит, — ты же знаешь, я умею быть осторожным!
— Да уж знаю, — скривилась Маша. — А всё-таки признайся: ты ведь от КГБ?
— Тьфу ты! Да ни от какого я не от КГБ — я хочу и я буду сам по себе! — раздражённо выкрикнул он. — Кстати, ты можешь посвятить в наше дело и своего хахаля — почему бы нет?.. Он мог бы даже стать одним из учредителей! Ему что, деньги не нужны?.. Мягко, ненавязчиво расскажи про меня: институтский, мол, товарищ, обратилась, выручил. Ни про какое КГБ — ни полсловечка, слышишь? Да соври, что я какой-нибудь твой родственник — троюродный брат, например: он что, проверять будет?
— Ну и братик, на мою шею, — она сердито и пребольно ущипнула его за бедро и назло ему мстительно сказала: — А я всё-таки не верю, что ты не от КГБ!
— Да клянусь, КГБ здесь ни при чём! — теряя терпение, взмолился он. — Я хочу коммерсантом стать, вырваться из этих тисков хочу! Я помощи у тебя прошу!

Она просто не знала, что делать: и жалко-то ей его, и всё же она не верила ему до конца — ох и тёмный человек этот её «братик»! И перед Баком стыдоба: не выдержала. И злилась на Макса… Всё ещё так зыбко впереди, так туманно, а они уже лезут и лезут, и непременно через её душу!.. Сама ещё ничего не знает, ни в чём не уверена, а им уже подай Америку; всем что-то нужно, всех обуяла жадность, уже опутывают, уже заставляют хитрить, интриговать… И стыдно-то, стыдно — мочи нет: зачем она *так*?.. Ореол Максика для неё в тот вечер потускнел и облупился. Непонятный, недосягаемый Макс, их «доблестный разведчик», оказался прост и понятен. Как все… Зачем он так? Да окажись он в нищете или больным — она бы за счастье почла накормить, приютить, выходить его, а он — как все? В общей толпе, толкаясь локтями, — за миллионом? Или, может, она действительно дурочка и ничего не понимает? Неисправимая, мечтательная дурочка?

А тут ещё Вадик как-то заявился. Вообще цирк!

Нарядный пришёл, в костюмчике с белой рубашечкой, с затейливым ярким галстуком, с букетом крупных белых астр в одной руке и с большим пакетом в другой; воротничок рубашки расстёгнут, галстук съехал набок, в пакете легкомысленно позвякивает бутылочное стекло, а лицо — в пьяненькой блаженной улыбке, что на него совсем непохоже. И с порога — такой нетерпеливый! — целоваться, а сам икоты сдержать не может.
— О-о, как я рад тебя видеть! И-и-ык!
— Откуда ты такой весёлый? — отстраняясь, спросила она.

Честно говоря, первым её побуждением было выставить его, чтобы уж возместить всё, что потеряла от бесконечного ожидания: всё мямлил и мямлил несколько лет подряд пустое, как мякина: «Вот сдам, вот защищусь, тогда…»
— Ма-аш, а я только что с банкета! Поздравь!
— Защитился, что ли? — догадалась она.
— Да-а! Уже два месяца как, а тебя всё нет и нет!
— Поздравляю.
— Спаси-ибо! А сегодня вот подтверждение из ВАКа пришло, обмывал с друзьями! Поехал к тебе наугад — и, смотри-ка, повезло!

Он, совершенно не замечая её отчуждения, всучил ей букет, изловчился и чмокнул в щёку, затем прошёл в комнату, водрузил на стол пакет, вынул из него бутылку шампанского, несколько яблок и шоколадок и опять пьяно и доверчиво улыбнулся.
— Ну, Маш, гуляем — наш с тобой праздник! Знаю, тоже устала ждать! — и погрозил пальцем.

Вдруг замер с шоколадкой в руке:
— А Серёжа где? — и, сосредоточенно подумав, вяло махнул рукой: — Ах да, каникулы же ещё!..

Маша, скрестив на груди руки, смотрела, как он замедленно-пьяно шевелится; в ней всё ещё

боролись сомнения: выпроводить—или оставить? Если по-честному—выпроводить, конечно; но как такого выпроводишь? Жалко портить ему хорошее настроение, огорчать ни с того ни сего: гулит, как ребёнок, самому себе кажется ужасно лихим гулякой. А тут ещё предательски захотелось вдруг шампанского—давно не пробовала: заломило, как от куска льда, зубы, и лёгкая судорога пробежала по телу от предвкушения шипучей, иголочками покалывающей прохладной влаги на языке, в гортани, в пищеводе, так что предательский соблазн брал в ней верх. Да ещё так подкупающе заботливо спросил он о Серёженьке, резанул по сердцу… Она только вздохнула про себя и, представив себе весь вечер наперёд, сказала насмешливо:

— Ну наконец-то сбылась твоя мечта,—и стала готовить стол: постелила чистую скатерть, поставила бокалы…

Поздно ночью, когда совсем раскисший Вадик, неспособный что-либо воспринимать, всё рассказывал, ребячливо лепеча, какой он ловкий, да умный, да талантливый,—она, устав слушать, решительно остановила его, сама раздела—не выгонять же такого на улицу,—пожалела, уложила с собой, и Вадик в порыве чувств прямо в постели вдохновенно, в лучших интеллигентных традициях—в пламенных словесных выражениях, омочив Машу слезами восторга,—объяснился ей в любви, от чего долго почему-то воздерживался, сказал, что наконец-то они смогут жить вместе, и даже, выказывая практичность, стал развивать план двойного размена родительской квартиры и её комнаты, так что они могут стать обладателями двухкомнатной квартиры, которую надо будет… на этом он запнулся и уснул, утомившись и окончательно выбившись из сил.

Ещё когда сидели с ним за шампанским, она всё порывалась рассказать ему про Бака—простодушный Вадик о нём, похоже, и ведать не ведал, хотя все Машины друзья и подруги обсуждали её роман напропалую,—но попервоначалу никак не решалась одолеть его пьяного токования, а уж потом, увлёкшись его планами совместной жизни, расчувствовалась и вдруг заколебалась: а не надёжней ли синица в руках?—вот же она, рядом, не поленись, протяни руку…

Поэтому утром, перед тем как разъехаться по своим работам, когда они дружно, почти по-семейному, пили чай, она на всякий случай спросила его, уже трезвого: когда же он, интересно, планирует начать размен?

Он и так-то сидел кислый и бледный—от непривычки к алкоголю у него трещала голова, его мутило, а перед поставленным в упор вопросом он совсем сник и весь сжался, позабыв, видимо, про вчерашние пьяные замыслы, так что Маше сразу стало ясно, что ровно ничему из них сбыться не суждено, хотя он, собравшись с мыслями в плачевно гудящей голове, и мямлил полуобещание:

— Понимаешь, Машенька, мне ещё пару больших статей в журналы написать надо—шеф просил… Ну, самое большее—ещё месяца два… А уж тогда!..

Вот тут-то в ней раздражение и закипело, и выплеснулось наружу:

— Знаешь что, драгоценный мой кандидат? Считай, что эта наша ночка отходной была, и вали-ка ты отсюда, и чтобы больше я тебя здесь не видела!

Глаза его с ужасом округлились и, казалось, вот-вот выпадут из орбит; поперхнувшись чаем и состроив болезненную гримасу, он обиженно заныл:

— Маша, да ты что! Зачем так грубо? Я всё сделаю, даю тебе честное слово!—ему всегда казалось, что здесь просто счастливы от одного его появления, молятся на него и с уважением внимают каждой его фразе, каждому слову, тем более «честному».— Я знаю, что мало давал, но вот увидишь…

— Не надо мне уже ничего. Поздно, доктор, труп остыл. Я, Вадик, наверное, скоро в Америку свалю,—торжествуя над ним и упиваясь своим торжеством, выпалила она.

— З-зачем в-в Ам-мерику? Н-на стажировку, что ли?

— Нет, не на стажировку. Жить зовёт один американец.

Вадик долго молчал, подавленный.

— А как же я?—спросил он озадаченно.— То есть как же мы? Ты знаешь, я уже не смогу без тебя.

— А это твои проблемы, меня они не щекочут. Допивай чай и вали. Ты мне, честно говоря, уже действуешь на нервы.

— Машенька! Ну как ты так можешь?.. А я ещё собирался тебе бельё в прачечную снести!

— Уволь, сама снесу, не привыкать! Прощай, Вадик, и не поминай лихом. А дур на свете и без меня хватает—найдёшь ещё… Извини, мне на работу бежать!

— Но ведь мы останемся друзьями?—всё никак не верилось ему в окончательный разрыв.

— Да на хрена мне, Вадик, такие друзья, от которых ни тепло, ни холодно?

Она почти силком, напирая грудью, вытолкала его за дверь и захлопнула её; она торопилась, пользуясь моментом крайнего своего возмущения, боясь, как бы не стало ей жаль его снова, такого нерешительного, осторожненького недотёпу, не наступил бы момент мучительного стыда и ей не захотелось бы разом поломать свои планы и оставить его навсегда у себя, чтобы потом мучиться всю жизнь, таща на себе непосильную ношу—двоих мужчин сразу: подрастающего сына и этого вот взрослого ребёнка…

12.

Недели через две после того, как Маша с Леной Шидловской сочинили Баку письмо, Лена, придя

на работу, сообщила Маше, что ночью звонил Бак и она с ним очень мило поболтала.

— Представляешь? Этот твой американец — просто ненормальный какой-то: раз у них там день — так он считает, что на всём земном шаре тоже день! Никак не мог понять, что у нас два часа ночи, — такой чудак! — трещала она. — А какой добрый, мягкий голос — я прямо балдела вся!..

Маша, перебивая её, потребовала дословного воспроизведения всего, что сказал Бак. Лена же, явно поддразнивая её, воспроизводить ничего не хотела, кроме того, что успела наговорить ему сама. Из её рассказа вытекало, что, во-первых, она безудержно с Баком кокетничала, а во-вторых, сумела сорвать с него обещание, что он обязательно поговорит о ней со Стивом Николсом. Машу просто мутило от злости, пока она терпеливо выслушивала этот понос слов; и только в-третьих, тяня до последнего и закатывая глаза, та призналась, что Бак «умирает от желания» поговорить с Машей и сегодня будет звонить снова, теперь уже в девять вечера по-местному.

Надо ли говорить, с каким нетерпением ждала Маша этих девяти часов?

Она пришла к Лене загодя; они сидели за столом, поставив перед собой телефон, пили чай и болтали о всякой чепухе, убивая время, — сосредоточиться на чём-то более серьёзном обеим мешало ожидание звонка.

За несколько минут до девяти они уже и говорить ни о чём не могли: без конца поглядывали на часы и, как зачарованные, смотрели на красненький телефонный аппарат. Одна минута десятого. Напряжение в обеих дошло до предела: любой неожиданный звук мог повергнуть их в шок.

Резкий звонок заставил их вздрогнуть; Маша сорвала трубку и стала нервно кричать в неё: «Хэллоу! Хэллоу!» — но только ещё через полминуты услышала, наконец, прорвавшийся к ней из космических шорохов ясный голос Бака и заговорила плачущим, рвущимся голосом, стараясь справиться с волнением:

— Здравствуй, Бак! Бак, мой светлый, родной мой, как я устала ждать — я так соскучилась по тебе, так хочу быть с тобой, милый мой. Ну почему от тебя так долго никаких вестей?.. — понеслась, полетела она в захлёбывающемся монологе.

Лена, услышав этот рвущий сердце монолог, вытаращила свои чёрные глазищи в мохнатых, как опахала, ресницах и, приоткрыв от изумления *коробочку* да так и позабыв её закрыть, заворожённо слушала и смотрела, как Маша, эта простенькая, без затей, пигалица, вдруг преобразилась: наполнились слезами, набухли и засияли удивительным блеском её зелёные глаза, сразу украсив лицо, а голос её звенел, дрожал и переливался, точно радужным сиянием, тончайшими интонациями радости, тоски, слёз, кокетства — он манил в райские сады наслаждений, он напоминал, что в мире есть кое-что получше суеты, денег, материального довольства и грубых радостей; этот голос, казалось, и мёртвого воскресит, заставит вздрогнуть и взволноваться; такой голос не мог не войти в самое сердце мужчины, не тронуть его, не ранить сладкой болью и не высечь ответной искры... Маша не говорила — она пела свои фразы, и мелодия эта то струилась нежнейшим дивертисментом, то вспыхивала патетикой, то падала в скорбную, трагическую бездну — так гибок и глубок он был сейчас. Лена слушала, дивясь: откуда что в этой Маше берётся? — и представляла себе, как пожилой, деловой и, наверное, очень практичный американец на другом конце провода дуреет сейчас от этого голоса, зовущего в сумасбродный, зыбкий мир чувств, о котором он знает, наверное, только понаслышке или из книг, и теперь, достигши предела своей зрелости, решается робко ступить в него, как в омут.

Лена слишком уж надоедливо торчала перед Машиными глазами, ещё и делая ей знаки руками, потому что Маша, увидев, наконец, её перед собою, зажала микрофон трубки и взмолилась:

— Уйди, Ленка, дай поговорить!

Прежде чем уйти, та всё-таки напомнила назойливым шёпотом:

— Не забудь, спроси про Стива! Он обещал! — как будто весь мир должен заниматься ею одной... И ушла, нарочно оставив дверь открытой.

А Бак на том конце провода, кажется, действительно был рад слышать Машин голос и, выслушав её, в свою очередь доложил ей, как у него дела с приглашением: как он оформил бумагу и отправил в русское посольство, но её там потеряли; тогда он пригрозил судом, и бумага чудесным образом нашлась; он уже заказал авиабилет для неё от Москвы до Нью-Йорка и ещё один, уже от Нью-Йорка до самого его дома, и как только получит оформленное приглашение и билеты — тотчас вышлет ей... И это не сон, не галлюцинация слуха?

— Бак, драгоценный мой, чудо ты моё — неужели мы снова будем вместе? Я уже не верила, я отчаялась, Бак! Я кладу твои александриты перед сном на столик, и любуюсь ими, и думаю о тебе, а проснусь ночью — они горят, как огоньки уходящего поезда, и мне делается так грустно, Бак!..

Она говорила и говорила, несла какую-то чушь, а слёзы капали на стол тяжёлыми шлепками, и она их даже не замечала — она говорила, как сомнамбула, пока Бак на том конце не напомнил, что пора закругляться, сам попытался сказать что-то в подтверждение своих чувств к Маше, и голос его странно задрожал.

— Лапонька моя, Бак! Ты тоже плачешь? — крикнула она.

Он сказал ещё только, что позвонит ровно через неделю в это же самое время, и разговор прервался.

Маша тихо положила трубку и продолжала сидеть, глядя перед собой невидящими, широко открытыми, набухшими влагой глазами,—такой и застала её Лена, ворвавшаяся в комнату с возгласами восхищения:

— Ма-ашка-а! Ну ты даё-ё-ёшь! Ну тихоня ты наша—как ты говорила, как говорила! Да ты чудеса своим голосом делаешь, ты слона заговоришь, мёртвого из гроба поднимешь! Ты меня просто очаровала: я слушала тебя и завидовала твоему Баку—что я не мужчина!.. Знаешь, сколько вы болтали? Ровно тридцать четыре минуты! Это на сколько же долларов ты его расколола? Ужас!—Ленка мотала головой, схватившись за щёки.—Ты его по миру пустишь—он не станет больше с тобой говорить, а он нам ещё нужен!.. Ну что, что он сказал?

— Бумаги оформляет,—устало, еле ворочая языком, ответила Маша.—Как оформит—вышлет. И билет заказал.

— Ой, Машка-а!—возбуждённая той энергией высокого напряжения, которая только что исходила от Маши, Лена сграбастала её и закружила по комнате.—А обо мне, обо мне что он говорил?

— Извини, забыла про тебя,—призналась Маша.—В следующий раз теперь.

Лена обиделась:

— В следующий раз не спросишь—не пущу, сама буду говорить!..

Через час, уже отойдя от возбуждения после телефонного разговора, попив ещё с Ленкой чаю, она шла домой, всё ещё пребывая в каком-то странном тумане; её покачивало, как пьяную или больную, а на сердце—такая тоска, что хотелось разреветься. Что это с нею?

Она чувствовала себя так, будто скорлупа её души истончилась и лопнула и оттуда полился свет, окрашенный во все цвета спектра, от мятежного багрово-красного и брызжущего радостью солнечно-рыжего до тёмно-фиолетового мрака, будто её душа—прозрачная стеклянная призма, сквозь которую вся-вся её прошлая жизнь вместе с сиротливым одиночеством вдвоём с сыном рассыпалась на солнечные зайчики и увиделась сейчас чудо как хороша, приобрела значимость и объёмность, наполнилась символами и знаками—она всего лишь играла с Машей в замысловатую игру, испытывала её, дразнила, обжигала и остужала… Как же так? Разве она не была никогда несчастной? Это всё и была настоящая—неповторимая, полная до краёв—жизнь? А какой бессмыслицей казалась до этого!.. Странно как!.. Отчего это? Господи, неужели это и есть то, о чём каждая мечтает как о величайшей награде,—любовь эта самая?

Ещё и понасмешничала над собой: эк её растащило-то! Ой, кино-о!.. Не привыкла она относиться всерьёз к собственным чувствам. Настолько не привыкла, что и не разберёшь, где кино—а где и не кино.

13.

Ещё не раз и не два бегала Маша к Лене Шидловской говорить с Баком—на два с лишним месяца растянулась бесконечная бюрократическая и почтовая канитель с оформлением и пересылкой приглашения, которую Бак терпеливо и мужественно преодолевал шаг за шагом, и каждую неделю все эти два с лишним месяца подряд длился и длился Машин с Баком телефонный роман.

Одновременно с телефонными разговорами Маша ещё и писала ему письма, уже, разумеется, без Ленкиного участия, в которых вспоминала лето, запах степной травы и смолистого дыма костра, его руки, их прикосновения («все те места и местечки на мне, к которым ты прикасался, до сих пор горят и вздрагивают, когда вспоминаю о тебе,—честное слово, Бак!—и изнемогают от предвкушения встречи с тобой!..») и его слова и фразы, случайно оброненные им и теперь приобретающие новый смысл; всё это создавало в её письмах неуловимо трепетный колорит её душевного состояния; а он в ответных письмах рассказывал, как благотворно её письма на него действуют, вновь и вновь возвращая в прошлое лето, к ней, как они скрашивают его одиночество, как благодаря им он открывает Машу с новой стороны; он просил её писать чаще, и она писала. Так что каждый телефонный разговор и каждое её или его письмо составляли в том романе новую небольшую, но яркую главу, которая создавалась экспромтом, a la prima, сразу и набело.

Одновременно с этим романом у неё вспыхнул и роман с Максом Темных, хотя, в отличие от телефонного, платонического—с Баком, роман с Максом был для неё, скорее, дополняющим—чисто, так сказать, физиологическим. И этот роман тоже длился с еженедельной периодичностью, выверенной самим Максом,—такой срок обходиться без женщины казался ему наиболее оптимальным (по всему видно, Макс был максималист, и это не пустой каламбур—связь между характером человека и его именем подтверждается психологами): Маша за неделю, по его расчёту, не успевала от него отвыкнуть.

Отказать ему у неё не хватало сил—слишком давней и прочной привязанностью он у неё был; и что она могла поделать, кроме как с унылой регулярностью принимать его у себя, ибо это он навязал ей порядок встреч и теперь являлся к ней с точностью метронома?

Украшать их встречи маленькими сюрпризами, чтобы он привязался к ней крепче, как она проделывала это с Баком, с Максом у неё не выходило: не было у него способности ничему удивляться и радоваться—своего рода эмоциональный кастрат, он этой способности был начисто лишён. Хитрить как-то иначе? Так он разгадает любую хитрость и станет ещё осторожней—поэтому ей

оставалось подчиниться и надеяться, вдруг да проснётся в нём ревность и однажды он скажет: а давай-ка, милочка, поженимся, сколько можно резину тянуть, самим себе и друг другу головы морочить?—и она думать забудет о Баке…

Но ни о чём таком он даже и не заикнулся ни разу: наоборот, чем дальше, тем с бóльшим жаром учил, как ей уехать да как там лучше устроиться—прямо индийский гуру на её голову; она явно тяготилась этим своим романом, чувствовала себя предательницей и бегала к Ленке на телефонные переговоры с Баком как на праздники или на обряды очищения, готовилась, волновалась, а потом несколько дней ходила лёгкой, чистой, окрылённой—пока не припрётся Макс.

И вот по прошествии двух с лишним месяцев их с Баком телефонного романа и через пять после их разлуки—уже зима снегу навалила—получила она от Бака целый пакет бумаг: приглашение, авиабилет от Нью-Йорка до Бакова города, а также уведомление, что заказанный и оплаченный им для неё авиабилет от Москвы до Нью-Йорка дожидается её в московском офисе американской авиакомпании. И ещё бумагу, по которой она при наличии паспорта сможет получить в московском отделении одного из американских банков триста долларов, предусмотрительно переведённых туда Баком—ей на дорожные расходы.

Целый вечер она рассматривала и изучала эти никогда не виданные ею бумаги, вдруг превратившие её отъезд из фантазии в реальность, вплотную надвинувшуюся на неё и резко заслонившую собою всё остальное. Ну и, конечно, неоднократно перечитала, выучив чуть не наизусть, оказавшееся в пакете ещё и письмо Бака с заверениями в том, что он скучает по ней и с нетерпением ждёт, и с подробной инструкцией, что за чем делать в аэропортах во время пересадок, куда идти и ехать, к кому обращаться и что говорить,—она просто восхищалась, она умилялась им до слёз: какой он добрый, какой хлопотливый, какую уйму сил, времени, средств истратил на всё (а дурачок Макс всё твердит о контракте!), и всё-то до мельчайшей подробности им предусмотрено—даже часы и минуты, и точное описание места, где и когда он будет ждать её в местном аэропорту!

С новой силой её терзали сомнения: да достойна ли она его?—и приходила к ужасному выводу: недостойна! Ну почему она такая безалаберная размазня без царя в голове, без стержня в характере? Сколько уже наделала без него глупостей, сколько ошибок! Зачем, зачем она так?.. Если б знать!.. Как она посмотрит ему в глаза? Да он же раскусит её, разочаруется и прогонит! Может, всётаки, пока не поздно, дать обратный ход, поломать этот несусветный бред с поездкой? Ну никчёмная она, пустая—и кому какое дело?.. Ах, как не привыкла она с совестью своей дело иметь—так уютно ей было жить-поживать зверьком в норке со своими инстинктами, без этих шевелений чего-то щемящего и неудобного в душе!.. И потом, она так привыкла к своей комнате, к лежанке, на которой так приятно мечтать, нежиться и читать запоями, ни на кого не оглядываясь!.. По большому-то счёту, какая разница, где жить: в тесной ли комнате—или во дворце, есть картошку—или бананы с апельсинами, ездить в многолюдном автобусе—или в своей машине, если не иметь главного—близких людей вокруг и согласия с собой, какая ни есть? Свободная душа—она ведь способна всё обнять и перенести куда угодно: в Америку, на Луну, в иные миры,—но вот весь твой огромный мир, без которого ты только козявка,—эти твои вещи, книги, этот город с набережными, с рекой, закаты в окне—как взять с собой?.. Это козявку легко перетащить, и везде она приживётся и размножится, было бы тепло и сытно.

Из этих рассуждений неизбежно вытекало, что совсем даже и незачем ехать насовсем—разве что посмотреть на это чудо, на Америку на эту? Другой возможности не будет, жалко упускать. Как бы здорово—и здесь остаться, и Бак чтобы рядом: переманить бы его сюда—столько здесь работы археологу!..

На этом и порешила: съездит, раз есть оказия—не пропадать же билетам, такую уйму за них плачено; глянет своими глазами на эту их хвалёную Америку, встретится ещё разик с Баком, а там!.. Только к утру забылась, так и уснув с бумагами в руках.

А с утра, не теряя времени, начала готовиться.

Не сжигая за собою мостов, подала на работе заявление на месячный отпуск без содержания, с мотивировкой: «туристская поездка за рубеж»,—показав заведующей приглашение.

Собрала все нужные справки. Позвонила Максу: хочешь от меня услуг ещё и *там*, дорогой «братец»,—шестери!.. И он, словно сказочный волшебник, явился перед Машей тотчас же, как позвала, радостный и готовый. И через несколько дней действительно принёс заграничный паспорт с визой.

Купила билет до Москвы—и поехала попрощаться с сыном.

Прощание было тягостным—сподобилась наслушаться от матери, совсем потерявшей голову, отборных оскорблений: «сучка», «прости-господи», «подстилка американская»… Маша сидела за обедом как каменная; не хотелось заканчивать прощание руганью—а как иначе? Не отвечать—так мать не уймётся; ответить—навлечь на себя ещё больший поток оскорблений. И она сидела, оглохнув: а что, собственно, ей теперь до всего до этого?

В свирепости матери было что-то животно-древнее.

Маша часто вспоминала, как Скворцов рассказал однажды вечером у костра о происхождении местного русского населения — он это вычитал из старых грамот в местном архиве и выдал по какому-то поводу как курьёз, будучи в ударе вдохновения, — о том, как ватага из трёхсот казаков явилась сюда, в их края, подчинила эти обширные земли царю, возвела острог и стала нести государеву службу, а на второй год казаки отписали царю на Москве, кому-то из первых Романовых, *грамотку*, что-де «мы, батюшко-государь, твои служилые люди, низко бьём тебе челом и плачемся слёзно, потому как пообносились и оголодали, а уходу за нами нет никакого, и нести службу твою государеву стало совсем не мочно, и оттого слёзно молим тебя: не оставь ты нас милостью, пришли ты нам жёнок из Руси!..». Царь внял их воплю и повелел не оставить далёких подданных без монаршей милости. А ретивые слуги государевы свершили сию милость с чисто российским — истовым и торопливым — рвением: отловили по кабакам на Москве сотню срамных девок — найти больше по патриархальности времени, похоже, просто не могли — и отправили их страждущим казакам. Те всех до единой, и кривых, и хромых — царский подарок! — разобрали, а ещё через год шлют царю новую челобитную, теперь уже пеняя с горькой обидою: «Что же это, государь ты наш батюшко, каких ты нам жёнок прислал? — житья от них нету совсем: уже извели до смерти топорами и ино как троих наших товарищев, которые в тяжких походах выстояли, а других гла́за ино уха лишили, и бороды драли, и всяко надругались...» Так не от тех ли жёнок Машина мамочка и сама Маша родство ведут?..

Маша часто вспоминала, как мамочка, ещё молодой, взяла её однажды с собой в родную деревню на свадьбу маминого любимого братца — она иногда брала её с собой: Маша умела — папочка научил — петь под баян, особенно «Хас-Булата», да так, что женщины плакали, и мамочка говорила, что Маша у неё непременно в артистки выйдет; мальчишки со всей улицы так и дразнили её, корча рожи и оттянув себя за уши: «Артистка из погорелого театра, бе-бе-бе!..» А мамин братик на своей свадьбе отчудил тогда: разобиделся на свояков за что-то и, яростный и неудержимый, весь в крови и изодранном в клочья новом костюме, приволок со двора кол, выдрав его из городьбы, и под женский визг хрястнул им по столу так, что бутылки и стаканы сыпались по избе звонким стеклянным дождём...

А теперь вот прощалась с матерью и отцом неизвестно насколько. Да ещё из-за сына изболелась, глядя на него, дичающего; с ним вдруг истерика случилась — стал рыдать и топать ногами, когда понял, что она приехала прощаться:

— Почему ты меня всегда бросаешь? Ты плохая мать! Я хочу с тобой!

И мать не преминула плеснуть бензинчика:

— Вот до чего ребёнка довела! Какая ты мать? Готова всё бросить ради американского х..!

И Маша, силясь не разреветься, прижимая сына к груди и гладя по голове, выговаривала ей:

— Господи, ну почему ты такая злая? Почему не умеешь ни жить, ни проститься по-человечески — обязательно надо перегрызться, переругаться? Что вы за люди за такие?

— Это ты мне? Ах ты, поганка, — я ж тебя вырастила!

— И что, хорошей вырастила? — устало спросила её Маша...

Единственное, что она могла сейчас сделать для сына — это выманить его из дома, погулять напоследок вдвоём и выговориться перед ним, успокоить его, хотя на дворе уже темень и набирает к ночи мороз, а в натопленном доме манит к себе телевизор с ежевечерними мультиками. Но она всё же сумела вырвать его из дома, и они часа два гуляли по визгливому снегу, промёрзнув до косточек, — слава Богу, сын ещё откликался на её зов, и она воспользовалась этим: надо было докопаться до его сердечка и оставить в нём горящий уголёк от своей души.

Она говорила с ним доверительно, как со взрослым, торопясь внушить ему, что только он, он один — самый близкий ей на всём свете человечек, и она никогда — слышишь, сынок, никогда! — не бросит его, и что хоть она и едет в Америку, но не знает пока, что с нею и с ними обоими станет, хотя там и живёт человек, который очень-очень её полюбил и собирается на ней жениться, — он приезжал сюда летом, и они вместе работали, — только сама она ещё ничего не решила; вот поедет, встретятся они там, и всё-всё станет понятно; ведь каждому человеку на земле хочется когда-нибудь найти своё счастье — не осуждай, сы́ночка, за это маму, как осуждает бабушка — бабушке ведь тоже хочется, чтобы всем вокруг было хорошо, но только чтобы это было по-её и чтобы все были на глазах, рядом, — и чтоб ей самой было лучше всех; но если твоя мама будет хоть немножечко счастливой — честное слово, тебе от этого будет только лучше: никогда твоя мамочка не согласится быть счастливой за счёт тебя. Ты ведь позволишь попробовать ей рискнуть, поискать свой шанс? И если только всё у неё решится и она останется там, ты не должен осуждать её и обижаться, что бы тебе про неё ни сказали, даже бабушка, — верь, сыночек, маме; она будет обязательно писать тебе письма и подарочки время от времени слать, когда оказия случится. А потом, если всё у неё устроится, она приедет и заберёт тебя с собой. Помнишь, я тебе говорила: нужно уметь терпеть и уметь ждать; твоя мама, сынок, тоже долго терпела и ждала. Ну

а если у мамы ничего не получится—вполне может случиться и такое, ведь ей надо удостовериться, что её действительно любят, ждут и очень хотят, чтобы она осталась, и что любят не только её, но и её сына,—если только этого не случится, она снова вернётся, и они больше уже никогда-никогда не станут разлучаться и будут дружить, как раньше. Но в любом случае, сынок, что бы с твоей мамочкой ни случилось—запомни этот вечер: как вместе гуляли по тёмной улице и о чём говорили; запомни скрип снега и свет звёзд—давай послушаем этот скрип вместе: какой он громкий, певучий, каким эхом отзывается вокруг, так что иней сыплется с проводов; есть ли ещё место на земле, где так вкусно—морозом, дымком, хлебом, сеном—пахнет воздух, где так горят звёзды—посмотри, какие они яркие, какими гроздьями висят и сияют: будто праздничную иллюминацию зажгли для нас с тобой в небе! Посмотри, какие—в белом снегу, в инее, в серебре—стоят дома, сараи, деревья, заборы, как тяжело прогнулись от инея провода! Посмотри на этих людей, что встречаются нам; они ругаются, правда, и матерятся—но давай запомним и их тоже и будем любить…

— Зачем их любить?—спрашивал сын.

— Потому что все люди, сы́ночка,—одна родня. Может, это идёт твой братик или сестричка, только мы забыли об этом, не помним, не знаем—пусть они простят нас за это. Они же не виноваты, что такими выросли, что их не научили хорошему, что у них, наверное, так мало радости в жизни, что они всё время ругаются,—давай будем любить их такими! И бабушку нашу будем любить, хоть она и ворчит невпопад, и дедушку, хоть он и пьёт много вина, поймём и простим—и будем любить… Давай, сы́ночка, запомним всё это на всякий случай: и сегодняшний наш с тобой разговор, и вечер, и мороз, и звёзды, и всё-всё, что вокруг,—и будем носить в своём сердце и всегда любить, где бы мы ни были и что бы с нами ни сталось. Давай?..

И последнее, что успела сделать, уже в самый канун отлёта,—собрала подруг на «отвальную».

— Ну, любезные мои,—объявила она им,—извиняйте, если чо не так и чем когда обидела. Уторкалась со всем, завтра *с ранья* лечу—зовёт меня мой хахаль, мой друг сердешный. Дорога дальняя, да нам не привыкать, приключения мы любим. А случится что—не поминайте, девки, лихом. Чему быть—того не миновать… И готовьте через месяц встречу—буду докладать *впечатле*. А теперь заказывайте, кому чо привезти.

«Девки», уже знакомые со всеми перипетиями её романа, давали ей последние советы:

— Брось ты, Машка, выкаблучиваться: зовут—выходи, не ломайся, как мятный пряник; второй раз не позовут. И не будь дурой, веди себя там прилично, а то знаем: начнёшь куролесить, чтоб поскорее домой выперли! Держись давай, а то стоило огород городить; да приискивай и нам по женишку!..

— Нет, девчонки, не ломаюсь я,—ответила им Маша.—Боюсь, Баку моему поблазнилось трахнуть меня ещё и там—не верится как-то, что всерьёз это. Сделает дело, успокоится, и покачу я, подружки мои дорогие, обратно: разве мало нас, дур, лететь в любую светлую даль—только позови?.. Нам ведь какая разница, где чо подставлять, правда?—уже ёрничает она, а у самой глаза на мокром месте.—Зато хоть, в самом деле, Америку посмотрим, будет чо внукам рассказать!..

Была на той отвальной и Лена Шидловская, и когда все остальные разошлись—осталась, и был с ней у Маши отдельный «джентльменский» разговор.

Именно её Маша выбирала в наперсницы здесь в своё отсутствие. Не потому только, что Лене были доверены многие её тайны или что та ловила всё на лету и была к тому же моторной и хваткой: если уж что приплыло ей в руки—не уплывёт; этой хваткости так не хватало самой Маше. Но даже не в этом дело: главное—Ленка была у неё теперь на крепком крючке, и пока она на крючке, Маша могла из неё верёвки вить.

— Давай, Ленка, так, раз хочешь, чтобы я твоё дело со Стивом довела,—начала этот разговор Маша.—У меня к тебе тоже просьба, даже не одна. Если я там вдруг подзадержусь—съезди, Лен, прошу тебя, к моим старикам, навести их, поговори с мамой, объясни мою ситуацию как бы со стороны. Я ведь тебе уже говорила: нрав у неё ой-ой-ой! Но, я думаю, тебе этот разговор будет по зубам, тебя она послушает. В общем, подготовь её, если моё дело будет решаться, а то, боюсь, как бы её со злости *кондратий* не хватил… Но главное, Лен, с сыночком моим пообщайся—о нём у меня сердце болит сильнее всего. Может, даже на зимние каникулы заберёшь к себе? Чтоб сменил обстановку, оживился. В театр бы или в цирк захватила—дочку ведь всё равно поведёшь? А я бы с ним у тебя по телефону перекинулась. Ты красивая, а он мальчик, на это уже реагирует,—дай ему чуть-чуть живого участия, чтоб не одичал совсем, не обратился бы в зверушку… Связь с тобой буду поддерживать регулярно. В общем, остаёшься здесь моим доверенным лицом… Дальше. Может, Лен, мне оттуда потребуется какой-нибудь документик—сможешь оперативно оформить и выслать? Я, разумеется, в долгу не останусь… И ещё одна маленькая просьбочка: на кафедре о моих делах шибко не распространяйся, чтобы нашей патронессе не вздумалось перебежать мне дорогу; ты знаешь её, она на любую пакость способна. Просто так, от хорошей зависти: что вот совсем даже не её почему-то в Америку зовут, хотя вроде бы ей на роду написано взять от жизни всё. Боюсь её страшно: ведь и до Америки

достать может, через Скворцова или ещё как—у женской зависти ум такой изобретательный!.. А Стива я обещаю тебе обработать, если уже не нашлась какая-нибудь ловкачка. Но, надеюсь, он мужичок крепкий. Только от нас не уйдёт…

Вот теперь Маша сделала всё и на следующий день вылетела в Москву в сопровождении Макса, взявшего туда командировку.

14.

Ленка, привет из Америки!

Тороплюсь сообщить тебе, что первая глава авантюрной эпопеи лягушки-путешественницы, то бишь моей грешной особы, закончилась—я у Бака! Прошла неделя, как я здесь, а до сих пор не могу опомниться; живу как во сне и боюсь просыпаться.

Впечатлений—миллиард. Если моё письмо будет состоять из одних ахов, охов и восклицательных знаков—терпи; подозреваю, что впала или в идиотизм, или в детство и до конца дней, кажется, уже не выкарабкаюсь—так и останусь навсегда с разинутым ртом и распахнутыми глазами деревенской дурочки.

Но первое и устойчивое впечатление: какая всё-таки лапочка, какой внимательный, какой деликатный и воспитанный, ну просто замечательный человек—Бак! Я и не подозревала за ним такой массы достоинств. Может, просто у него не было возможности их продемонстрировать, пока он был у нас,—не располагали к этому наши, мягко говоря, экзотические условия? Рядом с таким человеком и самой хочется подтянуться.

Так, главное сказала, облегчила душу, теперь всё по порядку—тебе, думаю, будет интересно.

На московских мытарствах своих внимание заострять не буду—скучно, проехали, как говорится; всё уже далеко-далеко. Хорошо, помог ты догадываешься кто; одна бы я так и сидела там до сих пор, не в силах справиться с этими очередями, со всей оравой чиновников и просто жулья в форме и без формы, которое смотрит на тебя как пауки на очередную муху, которая никуда не денется и мимо не проскочит. Господи, сколько же их на бедную голову простого человека! Этого даже не замечаешь, пока не стронешься с места. Или, может, я всё слишком утрирую из своего далека?

Так, а теперь—о более приятном.

Сначала из Москвы—во Франкфурт: там—пересадка. Франкфуртский аэропорт—это не аэропорт, а фантастический город, в котором есть всё, что может придумать человеческая фантазия. Нет одного—очередей!

Между прочим, не обошлось без казуса: как же, Манька-сибирячка в Европу закатилась!.. Шла с самолёта вместе со всеми по переходу, затем—в какой-то стеклянный вестибюль. И тут, пока я рот разинула—надписи прочитать, попутчики мои куда-то разом схлынули, и стою я одна. Кругом стеклянные перегородки, а дверей нету; я и заметалась, как мышка в мышеловке. Полицейский за перегородкой машет рукой, кажет что-то, а я врубиться не могу—мозги отшибло напрочь от страху. Тут подходит какой-то доброхот из ихних и разжёвывает по-английски, как идти. Оказывается, они без дверей обходятся: подходишь к стеклянной перегородке, она и распахивается.

Ну, протолкалась 3 часа. Глаза—в разные стороны. Всего хочется, и всего боюсь: как бы не обчистили да как бы не обсчитали. Зашла в бар, взяла чашку кофе, высмолила сигаретку, рассиропилась маленько: вот уже и с Европой прощаюсь!.. А тут и посадка.

8 часов над океаном—это тебе не шутка. Господи, какая же она огромная, наша Земля, и одинокий самолёт над этой бескрайней пустыней, даже с его скоростью, только подчёркивает это—уже и не верится, что Земля круглая, а так и кажется, что залетели куда-то не туда, за самый край, и заблудились… А комфорту-то, комфорту в самолёте—чтобы, наверное, подобных мыслей не возникало: кресла, подушки, пледы—только утонуть и спать без просыпа; но тут-то как раз соблазны и начинаются: без конца кормят и поят, начиная с молока и кончая всеми видами алкоголя,—и всё, представь себе, на халяву!..

В туалетах—вот сдохнуть, Ленка!—немыслимое количество разных салфеток для любых частей тела—поди разберись, как бы не вытереть не то и не тем!.. Сначала показалось мне всё это сказкой про ковёр-самолёт заодно со скатертью-самобранкой, а потом так даже и раздражать стало: что-то в этом сытно-стойловое проглядывает, прямо питер-брейгелевское. Ей-богу!..

Но, в общем, долетели.

В Нью-Йорке аж 3 часа занял таможенный досмотр, потом—в другой аэропорт. Довёз наш же, русский таксист. Денег не взял, говорит: «О, землячка? Садись так!» Спрашивает, откуда, и—нет, Ленка, ты только представь себе, какие бывают совпадения!—мало того, что он из нашего города, так он ещё и учился в нашем педе и даже, кажется, меня помнит! Попёрли в своё время за какие-то шалости из комсомола и, соответственно, из института; числился в диссидентах, слинял сюда. Пожелал удачи. У самого-то, похоже, не очень… Даже, поверишь ли, голос у него дрожал, как вспомнил наш город. В общем, не перестаю удивляться. Думаю даже, что кто-то мне какие-то знаки подаёт—слишком всё неправдоподобно.

Потом ещё три часа лёта, уже над Америкой, и ещё пересадка.

Местный рейс оказался не по расписанию—и у них тоже, прикинь на минутку, сбои бывают! Прилетаю, вхожу в аэровокзал: мой голубчик Бак ходит, руки за спину, сосредоточенный—уже три

часа томится. Я к нему: «Hello!» — а он смотрит на меня с недоумением и плечами пожимает: что, дескать, этой бабе из-под него надо? Похоже, видок у меня с дороги был тот ещё: валюсь с ног, вся на взводе — а жених узнать не может; представляешь, ситуация? Комедия дель арте! А мне не до смеха — я чуть не в рёв: «Бак, — кричу, — миленький, это же я, я, Маша!» Дошло до моего жирафа — разулыба-ался!.. А теперь и думать не хочет отпускать: только заикнулась для проверки реакции — так разволновался, что больше об этом и разговор заводить боязно! Но поживём — увидим.

Боже, как они живут — слов нет, одни междометия! Бак любит меня, хотя описать это нет возможности. Я на правах гостьи отсыпаюсь, доверху полная счастья, и, сколько могу, дарю его ему.

Ну, всё, Ленка, весточку о себе дала, жди ещё и пиши детально, что новенького на кафедре, в городе, у тебя самой, — мне всё-всё жутко интересно: уже скучаю невообразимо; даже не знаю, сколько выдержу ещё.

Мария.

P. S. Моё письмо, кажется, подгадает к Новому году, поэтому поздравляю тебя с ним и желаю в следующем году счастья, кучи всяких-разных благ и, главное, больших перемен в жизни, а уж остальное приложится само собой... Сы́ночке моему я написала отдельно, но, Лена, может, ты, как договорились, всё-таки съездишь, заберёшь его на каникулы? Столько бы радости ему доставила.

О твоём деле: уже навела справки — живёт пока в автономном режиме. Думаю, никуда от нас не уйдёт. Жди информации. Пока!

Лена, родная, привет!

Вот уже месяц, как я здесь. С Баком — полное взаимопонимание. Если не сбегу, то месяца через четыре выскочу замуж — так порешили. Он уже начал бракоразводный процесс, а ему ещё надо утрясти дела с родственниками и детьми (два парня: младший — студент, старший — коммерсант). У Бака, оказывается, есть даже наследственная земля; и вообще, весь капитал его оценивается в полмиллиона долларов. Нехило, да? Хотя, по здешним меркам, он человек совсем и не богатый, а, скорее, так себе, очень даже средний американец. Во всяком случае, сам себя он считает чуть ли не бедняком.

Но дом у моего бедняка просто замечательный — в первом письме я тебе не описала, не успела как следует рассмотреть, — и всё так продумано и добротно: 2 этажа, большой холл с камином (и с белым роялем!), 4 спальни и, соответственно, 4 ванных с уборными (зачем 4 уборных, пока что в толк не возьму, а спрашивать каждый раз неудобно), участок вокруг дома с обалденными кустами роз, 3 машины в гараже и ещё одна где-то в другом штате. У меня уже есть обязанности — правда, на уровне неграмотной туземки: топлю камин, делаю уборку, ухаживаю за цветами, — но есть и прорывы: освоила кухонную технику, осваиваю компьютер, учусь водить машину, привожу в порядок зубы и весь организм по их стандартам. В общем, хлопочу по хозяйству, и хлопот этих полон рот. Бак много работает: встаёт в пять, в полшестого уже за письменным столом, потом — в университет, потом — в свой научный центр, потом — по делам, а вечером — снова за письменный стол. Я сначала удивлялась: зачем так изматывать себя? — а он смеётся и бормочет, типа: не потопаешь — не полопаешь. Но мне всё равно его жаль и немного стыдно, что я такая неорганизованная и ленивая. Но я стараюсь подтягиваться. Только боюсь: выдержу ли?

У вас там сейчас зима, морозно, много снега и солнца — благодать! А у нас тут дожди, а они на меня наводят звериную тоску. Сажусь и играю — рояль прекрасный: никогда в жизни столько не играла. Бак просто балдеет: сплошной бонтон. Заказала ноты, чуть ли не всего фортепианного Чайковского, Рахманинова, Скрябина — тянет на русское, как на капусту при авитаминозе. Ну, разве ещё Шопен, но я его держу за своего. Даже сама пытаюсь подобрать кое-что по настроению. Правда, Бак, лапочка заботливая, грустить не даёт: как только глаза мои туманятся — он считает грусть совсем ненужной эмоцией, — тотчас сажает в машину и везёт к знакомым. Или в ресторан. Посетили уже четыре, самых экзотических: мексиканский, арабский, китайский и итальянский. Итальянский — самый хороший: вкусно и как-то ближе. Так и кажется, что Италия где-то под боком у России. Как подумаю об этом — хочется пореветь.

Продолжает знакомить меня с друзьями. Уже и сами гостей принимали. Волновалась безумно, но, кажется, экзамен выдержала... А какие, Лен, люди доброжелательные: куда ни приедешь — получается, что всю жизнь только и ждали, когда ты осчастливишь их визитом.

А через неделю поедем в Мексику. Прикинь!

Ф-фу, ну вот, выговорилась, и, поверишь ли, на душе легче — прямо как побывала на нашем девишнике. Вот чего мне не хватает здесь, кроме, разумеется, сы́ночки, — так это задушевной, всё понимающей подруги. Ну да надеюсь, что со временем... Хотя нет, загадывать, чтоб не сглазить, ничего не будем... Между прочим, к исполнению твоего заказа приступила. Но объект, как и ожидала, орешек твёрдый, так что дай время... Думаю, всё устаканится — завернём и ленточкой завяжем: пожалте, Елена Семённа, пользуйтесь на здоровье!

Да, Леник, у меня к тебе огромная просьба, хотя, ради Бога, не подумай, что я затеяла письмо только из-за неё. В своё время из-за проклятого бездомья я где-то потеряла свидетельство о разводе и не могла перед отъездом найти, хотя перерыла весь

дом. Думала, обойдётся здесь без этой бумажки, но она мне сейчас очень-очень нужна. Послать официальный запрос отсюда в наш районный загс—дело, как мне представляется, дохлое. Так вот, если я попрошу тебя сходить взять копию и выслать мне—это не слишком тебя обременит? Знаю, что не любят они идти навстречу пожеланиям трудящихся масс: надо или униженно клянчить, или давать в лапу, в зависимости от вкусов благодетеля (или благодетельницы),—но сделай это, Леночка, пожалуйста, ради меня—знаю, ты сможешь, если захочешь, а уж я этого, поверь, не забуду: ты меня очень этим обяжешь и в накладе, обещаю, не останешься.

Засим целую и желаю самого-самого наилучшего! *М.К.*

Леночка, родная, здравствуй!
Бесконечно тебе признательна за Серёжу! Ты представить себе не можешь, как я за него порадовалась—что ты его взяла на каникулы и столько отдала ему времени и что вы нашли с ним общий язык! Ты просто молодец, что смогла выманить его у мамочки,—отдаю должное твоему дипломатическому искусству. Теперь верю, что ты можешь всё!

Огромнейшее тебе спасибо за свидетельство о разводе и за письмо. Это сколько ж месяцев я его ждала? Уже и со счёта сбилась; кажется, четыре, как я тебе написала о своей просьбе,—так быстро летит время! Сочувствую твоим мытарствам, которые ты выдержала ради этой бумаженции,—поверь, никогда не забуду твоей услуги, столь для меня важной.

Бак тоже свои формальности с первой супругой и детьми (не помню уж, писала или нет: они у него взрослые) закончил. Они всей гурьбой выдоили из него с помощью ушлого адвоката нехило: в общей сложности тысяч под триста, бóльшую часть его состояния. Ни фига себе, да? И, кажется, собираются судиться ещё—мало показалось. Но Бак не унывает—говорит, это нормально и ему теперь надо будет просто больше работать. А куда больше-то?—об этом как-то никто из его деток и не думает. Странно это! Вообще, самый мудрый афоризм, который придумала Америка: «Это твои проблемы». И—хоть сдохни. Неужели и мы когда-нибудь станем такими? Жуть! После этого—только встать на четвереньки и захрюкать. Но это так, между прочим…

Я по-прежнему восхищаюсь Баком, его мужеством, его работоспособностью и стараюсь дать ему больше сил и бодрости. Стараюсь ещё, чтоб он не привыкал ко мне, как к домашней вещи, а чтобы у него рядом со мной было постоянное ощущение новизны и праздника, а это трудное занятие: всегда быть начеку, шевелить всеми плавниками и извилинами, не расслабляться и не поддаваться настроению. Дай Бог мне сил на это как можно дольше. Но главное-то—с оформлением нашего брака мы выходим на финишную прямую. Скоро уже!

Ездили в Мексику на раскопки, с заездом в Денвер и Хьюстон. Оказывается, мой Бак—крупный краниолог; это что-то с черепами связанное, представляешь? Весёленькое занятьице—всю жизнь возиться с черепами! Но оно его кормит, и, в общем-то, неплохо: его всегда приглашают в экспедиции на экспертизы, если возникают споры насчёт антропологического типа останков и времени захоронения. Ездили на своей машине—это дешевле. Везли много оборудования и аппаратуры.

Поездка заняла месяц; неделю ехали туда и неделю—обратно. Машину вели по очереди. Вот уж о чём не думала, не гадала—водить машину! Сначала это восхитительно, потом просто интересно, а теперь уже—как обед готовить: скучно, но надо… Дороги, указатели, закусочные, заправочные, мотели—как я уже от них, Ленка, устала! Доберёшься до постели, бухнешься и спишь как сурок—никакого секса и на дух не надо. А настоящей-то Мексики, всех этих сомбреро и родео, по правде говоря, так и не видели, не знаю даже, есть ли такая или люди придумали. Потом, правда, взяла книжку про неё с цветными фотографиями—так хоть посмотрела: вроде бы есть. А та, что видела я, скучная. Место раскопок—в горах: жарища, сухота, солнце печёт, хоть и ранняя весна; высота 2000 м над уровнем моря, вечная усталость от недостатка кислорода. Наша родная степь казалась нам оттуда райским уголком; у Бака прямо глаза мокнут, как вспомнит: вот закатила я ему праздничек—всю жизнь икаться будет! А ещё пижонил передо мной: «Прямо как в Мексике!..»

Но меня в Мексике, Ленка, сразили полевые условия. Жили мы в туристском вагончике; вот если бы у меня в России был такой—роскошней моего дома не было бы в городе; я бы за один показ деньги брала. Прикинь: в вагончике—холодильник, газовая плита, ванная, горячая вода от солнца, электричество от генератора, ватерклозет, в котором, кстати, всегда есть вода (мы с Баком не могли без смеха вспомнить кустики в нашей степи, за которыми обязательно торчала чья-нибудь голова), всюду шкафчики, зеркала, ковровый пол, диван раскладывается в широченную кровать,—плати и живи, и дома не надо. Так перебиваются тут в экспедициях средние учёные. Господи, как это всё отличается от нас!

Сейчас готовимся лететь на археологическую конференцию в Лос-Анджелес. Меня пригласили официально, переводчиком для русских участников. Оговорили условия: платят немного—но я не капризная, согласилась; кроме того, перевела для сборника несколько статей, заработала свои первые деньги.

Ты помнишь, я рассказывала тебе про Мэгги? Такая милая, приветливая… Так вот, она, оказывается, была организатором обструкции Баку среди учёных в Штатах за то, что связался с русской. А я, дура, уши развесила: какая женщина! Нет, нас, женщин, хоть на Марсе посели — всё равно останемся собой. Слава Богу, победил разум: весть о том, что Бак привёз с собой русскую, молниеносно разнеслась по штату, и он стал даже популярен (иногда они мне кажутся тут одной большой деревней, где пукни в одном краю — будет известно в другом). А теперь эта Мэгги, главный организатор конференции в Лос-Анджелесе, чтоб загладить свою вину, прислала мне персональное приглашение. Бак — он ведь большой дипломат — просит, чтобы я поблагодарила за приглашение. Но у меня огромный соблазн вцепиться при встрече в её приятное личико ногтями и немножко попортить его за ту пакость, которую она нам с Баком устроила.

На заработанные деньги я сделала себе роскошный подарок — накупила самой лучшей косметики, о какой всю жизнь вожделела: духи, лосьоны, крема, — и теперь наслаждаюсь всем этим сколько хочу, хотя сама себе напоминаю обезьяну, дорвавшуюся до разноцветных детских кубиков.

Теперь о предмете нашего с тобой уговора. Объект стронулся с места: заинтригован твой персоной, взял адрес и обещал написать. Напоминать об обещании здесь не принято, тянет на оскорбление, поэтому сама не поленись, сообщи тотчас, как получишь от него весточку; подумаем, что предпринять дальше.

А теперь, Леник, драгоценная моя палочка-выручалочка, о самом главном: опять к тебе просьба. Ты уж меня прости, ради всех святых, за навязчивость, но заклинаю тебя, выполни ещё одну; больше уж ни о чём просить не насмелюсь, дальше сама проси что хочешь! Дело в том, что Бак собирается, когда мы поженимся, усыновить Серёжу; мне кажется, они поладят — Бак любит детей и уже мечтает с ним познакомиться. Наметили, какая комната будет Серёжиной — солнечная, с окнами на газон, а на газоне Бак собирается посадить берёзку — чтоб напоминала о России. Однако мне надо пока хлопотать о разрешениях, во-первых, на выезд его из России и, во-вторых, на въезд в Штаты, а для этого, Леночка, — я уже узнавала — нужна копия его свидетельства о рождении. Я уже написала своему папке слёзное письмо, только боюсь, как бы мать не испортила всё, не затырила бы куда это свидетельство назло мне; спрячет, а потом сама забудет куда — с ней такое бывало. Кстати, от них ни одного письма. Одно из восьми: или они теряются, или мои предки вообще вычеркнули меня из своей жизни. Просто душа изболелась о них и о сыне. Так что, добрый мой ангел, не смогла бы ты съездить к ним ещё разик и дипломатично, как ты это умеешь, поговорить, и если отец ещё не сделал копии или сделал что-нибудь не так, забрать это свидетельство, снять с него нотариально заверенную копию и выслать мне?

Но всё это — только, к сожалению, во-первых. Во-вторых же, надо ещё найти моего первого мужа Вячеслава Останина — он, кажется, теперь работает на кафедре философии в политехническом институте, а если нет — то надо, Леночка, найти его во что бы то ни стало и где бы он ни был и вытрясти из него нотариально заверенную бумагу, что у него ни ко мне, ни к моему сыну никаких материальных претензий нет и он не возражает против усыновления его гражданином США. Эту вторую мою просьбу я послала также своему знакомому Максу — я тебе рассказывала о нём. Макс — человек слова, и если я попрошу — расшибётся, но сделает; однако боюсь, как бы у них со Славкой не случилось слишком крутого «мужского» разговора, который может всё испортить. Так что ты, Леночка, прошу тебя, возьми на себя роль буфера, встреться с Максом и как-то объедините ваши усилия, чтобы из Славки такую бумагу вытрясти. Я думаю, он не будет слишком вредничать — скорее, наоборот: у него давно новая семья, и ему даже спокойнее станет, если его горячо любимый первенец будет подальше, а то ведь скоро вырастет и, чего доброго, захочет познакомиться с родным папочкой, заглянуть в его глаза да врезать разок по уху… И потом, немаловажно ещё, что Славка наконец-то свободно вздохнёт от алиментов. Правда, дело может осложниться тем, что мой философ — безалаберный человек и, пока его не возьмёшь под белые руки, никуда не пойдёт — всё ему будет некогда и некогда. И ещё такая может быть закавыка: ему — знаю я его ужасно сообразительный на всякие гадости интеллект — взбредёт в голову стрясти с меня за эту бумагу толику долларов. Но на это Макс, я надеюсь, придумает какой-нибудь ответный ход — поприжать Славку чем-нибудь, чтоб слишком в своих фантазиях не залетал.

Засим, драгоценная моя Леночка, прощевай. Целую тебя и с нетерпением жду вестей. *Твоя Маша.*

Леник, родненькая!

Душа изнылась, пока дождалась весточки. Так, значит, Стив ничегошеньки тебе не написал? Вот обормот, вот свинья! Ну погоди, я ему устрою весёлую жизнь! Я его так опозорю — совсем из ума выживает; забыть про своё обещание — это, я тебе доложу, позор, страшнее которого ничего не придумать: самый край. Впрочем, давал он мне своё честное американское слово не в совсем трезвом виде и, может, действительно запамятовал? Ну да всё равно я с него письмо для тебя стрясу как с куста!

Теперь по поводу того, что, как ты пишешь, комнату мою собираются взламывать и занимать:

господи, да фиг с ней, если кто-то, такая же, может, бедолага, как я сама когда-то, спит и видит во сне счастье обладать сим апартаментом — ладно, но к чему такой нетерпёж? Да и дверь ведь денег стоит? И я не хочу, чтоб в жилище, которое ещё числится пока за мной и за которое, между прочим, *плочено* за полгода вперёд, врывались люди с ломами. Леночка, прости меня ещё за одну просьбу, но скажи ты им: пусть немного потерпят — я, как только получила твоё письмо, тотчас отписала отцу, чтобы срочно приехал в город с грузовой машиной и забрал всё: мебель, холодильник, телевизор, мою и Серёжину одежду и прочую мелочь — они ведь не Крезы, чтобы пренебрегать моим барахлишком. И пусть это будет в твоём присутствии, поскольку ключ я отдала тебе, — чтобы ничего не выбросили из того, что мне дорого: альбомы, пластинки, книги, фотографии. Сама же ты, Леночка, забери себе мой кофейный сервиз чешский — знаю, он тебе нравился, — а также мои книги и пластинки, иначе всё пропадёт. Только если уж мне захочется несколько самых дорогих для меня книг или пластинок забрать потом с собой — ты уж не обессудь. Хотя буду ли я здесь когда-нибудь читать или слушать музыку? Ты знаешь, я думала, что одна здесь такая, которой не хватает времени ни раскрыть книжку, ни прослушать музыкальную вещицу — не ту, которой тебя пичкают по ящику, а ту, которой просит душа, — но я здесь не встречала ни одного, кто бы прочитал свежий роман или книжку стихов, а я ведь «вращаюсь» среди, можно сказать, цвета тутошней интеллигенции — что ж тогда говорить об остальных? Нету как-то у них этого в заведении. Или, может, изо всех сил молчат, стесняются признаться? И в театр как-то не заведено, и на концерты, потому как их, этих театров и концертных залов, нету на триста миль вокруг. Не в Нью-Йорк же на Бродвей пилить! Не наездишься. Ну да Бог им судья. Боюсь только сама скатиться на этот непритязательный минимум… И вообще, пора остановиться брюзжать: мне бы, дуре, быть благодарной Америке уже за то, что подарила мне Бака и отогрела сердце, а вот распыхтелась…

Жаль, что ты не успела отправить бумаги на Серёжу. А я, Лен, не могу ехать в Россию за ним, пока не получу их, потому как надо ещё продолжить оформление здесь. Чтобы наметить срок поездки, нужно *точно* знать, когда я получу Серёжины документы. Потому что до осени у нас расписан каждый день: экспедиция во Флориду, потом Аляска, из Аляски — в Японию, а уж из Японии — в Россию; так намного дешевле, вот в чём дело.

Теперь поздравь меня: я уже вовсе и не Маша Куделина, а миссис Свенсон. Поженились мы наконец-то. Устроили в ресторане маленькое торжество, были старшие Свенсоны (родители Бака), был его брат, и были сыновья, так что познакомилась со всем кланом. Ну, во-первых, сыновья: младший, студент, — совершенная лапочка, большой-большой ребёнок и душой, и умом. А старший — ужасно наглый тип; дела у него, кажется, идут неплохо — во всяком случае, держится самоуверенно, хотя фиг их поймёшь, петушиться они умеют и пуще огня боятся откровенничать даже перед близкими; впрочем, всё может быть и наоборот: чем хуже дела, тем круче кино. Такие пируэты у них в обычае.

Кстати, этот мой «пасынок» уже пытался меня соблазнить!

Или хочет меня испытать? Или скомпрометировать? Бака пока в известность не ставлю, берегу, но мне предстоят трудные деньки, если учесть, что тот — мужик молодой, здоровый и не заезженный пока… Где, Ленка, скажи, найти место на Земле, где нет грязи?

А старички Баковы — очень даже милые люди: им-то уже никому очки втирать не надо. Показала им Серёжины фото; замечательно, что они его полюбили заочно и с нетерпением ждут. Как это непохоже на нас! «Бабушка» уже пообещала свозить его следующим летом в Диснейленд, а «дедушка» — купить в подарок мотороллер и отложить на автомашину деньги, пока не исполнится 16. Я в ужасе: чтобы моего кроху раздавили где-нибудь на дороге с этим мотороллером? — а он мне: мальчик уже большой (в десять-то лет!) — пора уметь водить эту штуку и ухаживать за ней!

А как, Ленка, знала бы ты, устаёшь от круглосуточной чужой речи — до того дуреешь, что на стену бросаться хочется, и такая тоска берёт по родному языку, самому простенькому, где-нибудь в очереди или в трамвае, с руганью, с матами, с подначками — но такому родному!.. Иногда приснятся дом, родители — и не могу уснуть: встану, прокрадусь на кухню — там у Бака хороший приёмник, поймаю Москву, засмолю цигарку и слушаю, слушаю, как музыку. Бак ворчит, что курю, — бережёт моё здоровье. И хоть из Москвы сплошная политическая трескотня — а у меня слёзы из глаз капают. Хлопну рюмочку шерри — успокоюсь… Я как та рыба, которую пустили в другой водоём (где-то читала): и вода прекрасная, и простор — а выбрасывается на берег, и всё тут! Химия ей, видите ли, не та!..

Мало получаю писем, хотя сама не ленюсь, пишу нескольким адресатам. Ленивы, нет интереса. Ох, Обломовка! Пиши, Ленка, хоть ты, пиши чаще и подробней — и больше всяких мелочей, чтобы жизнь наша от меня не ускользала.

Закругляюсь. Целую тебя и благодарю за всё, что ты сделала и ещё сделаешь для меня и для нас с Серёжкой.

Твоя Мэри Свенсон.

Леночка, радость моя, не знаю, как и благодарить!

По гроб жизни обязана буду за всё, что ты для меня сделала. Серёжины документы тут же отдала на оформление, но когда будут готовы — никто

не знает. Душа изболелась уже. И во Флориду, и на Аляску слетали, работали много, а от Японии пришлось отказаться — нет смысла без документов на Серёжу, слишком накладно. Теперь уж — до следующего года: следующим летом Бака приглашают на симпозиум в Европу (или Вена, или Будапешт, точно ещё не известно), затем через Москву — в Якутию, и на обратном пути — к вам. Бак уже договаривается с Д. И. Скворцовым, чтобы поработать ещё немного в вашей степи; Бака этот район очень заинтересовал: говорит, перспективен, много загадок, мало исследован, все открытия ещё впереди, и — такие открытия, которые могут потрясти науку. Его ведь интересует древнее заселение Америки из Азии, общность палеоазиатских культур с индейскими и всё такое, да и я тихонько капаю ему на мозги, чтобы заинтересовать больше: мы выписали русские археологические журналы, информационные бюллетени и вестники, и всё, что нахожу для него интересного, перевожу и отдаю ему. Говорит, это помогает ему двигаться вперёд семимильными шагами. И вообще, Ленка, я уже, как последняя дура или семнадцатилетняя девчонка, влюбилась безоглядно, вслед за Баком, во всю эту древнюю историю и археологию — это такая прелесть, столько в ней тайн, драм, трагедий; это, пожалуй, самая романтическая из наук; да и сама жизнь археолога, Ленка, и в частности, моего Бака, — это сплошные невероятные приключения, почти сказочные, это тихий ежедневный подвиг, тем более в Америке, которой эта археология — как зайцу чепчик. Бак пытается заинтересовать Америку, но это пока плохо удаётся — он ведь ещё пишет об археологии книги и статьи в газеты, а я помогаю делать компьютерный набор…

Я отвлеклась, но, в общем, вот такой маршрут предварительно планируем на следующее лето. А вообще-то устала уже от этой жизни чертовски: дороги, машины, самолёты, мотели, закусочные. Дома тоже всё время занята: ни минуты, ни дня свободного, чтоб вот так, с самого утра, расслабиться, отдаться настроению и ничегошеньки целый день не делать, только ловить кайф от своего настроения и упиваться ленью, свободой и всякими мыслями, которые от безделья лезут в голову. Господи, сколько таких дней у меня было раньше, и как я, в сущности-то, была счастлива, свободна и беззаботна, и как я, Ленка, если честно, скучаю по тем дням!.. Вот она, хвалёная американская жизнь. Не знаешь, что и лучше… А тут ещё Бака в Боливию пригласили съездить, и он хочет, чтобы поехала и я: уже помогаю ему работать с аппаратурой, ну и, конечно, создаю ему соответствующую рабочую и бытовую ауру — он это ценит. Но я уже так устала — не знаю, как выдержу эту чёртову Боливию, пропади она пропадом… Да ещё снова осень, дожди на мою голову, и у меня — соответственно настроеньице. Хочется пореветь, как корова. Просто так, от ничего.

И вообще, знаешь, Лен, что скажу: когда после первого удивления здесь твои глаза влезают обратно в глазные орбиты и ты перестаёшь быть туристкой и глядеть на всё как на заграницу — то жить здесь очень и очень даже буднично и обыкновенно: ежедневные заботы о муже, о еде, стирка, уборка, покупки и — счета, счета, счета без конца и края: за свет, за бензин, за врачей, страховки, налоги и т. д. и т. п., только успевай плати, плати, плати, чтоб пеня не бежала, а денег, этих самых тысяч долларов, получается совсем не так уж и много, и утекают они меж пальцев, как вода в песок, — всё совсем как у нас, только разве масштаб иной. И, конечно, работа, работа, не разгибаясь, за эти самые тысячи, причём как раз это-то — совсем не как у нас. Да ежели бы мы у себя там так упахивались — ещё неизвестно, кто был бы богаче!..

В общем, Ленка, нет нигде вечных праздников — есть только вечные будни, и среди них — маленькие островки радости… Кажется, опять брюзжу? Да что это со мной?!

А мои случайные заработки меня уже не устраивают — ищу постоянную работу, но самоучкой и соваться некуда; знание английского здесь, сама понимаешь, не профессия. Без образования, причём — по их стандартам, здесь даже в няньки не возьмут, только посудомойкой, поэтому подумываю пойти подучиться в университете, получить кой-какие профессиональные навыки: печатание, расчёты на компьютерах, какой-нибудь Business Introductory Course.

Ты, наверное, уже обратила внимание на мои колкие замечания в их адрес… Но это ещё не всё — всё я просто не рискну доверить бумаге, будет слишком много и, наверное, чудовищно неблагодарно. Но думать-то себе не запретишь? Единственное, что хотелось бы ещё высказать, потому что уже невмоготу: они же ничем не интересуются, кроме самих себя, своего здоровья, своего успеха и своего заработка; сначала это восхищает, потом всего лишь удивляет, потом начинает раздражать, а потом становится невыносимо скучно.

Мы — другие. Не знаю, лучше это или нет, если мы умеем ещё многое любить, многим интересоваться, ко многому привязываться, болтать часами, чему-то умиляться, поддаваться настроению и иметь ещё массу совершенно не нужных в жизни милых привычек; в нас ужас сколько недостатков, зато какие достоинства! Мы — действительно другие. Так что тебе ещё и это предстоит выбирать.

Во всяком случае, я бы хотела быть вместе с Баком, но жить бы я хотела в России — так неуютно, так как-то стерильно, бесцветно, безвкусно мне здесь, знала бы ты! Впрочем, всё это трудно передать, это надо почувствовать в атмосфере.

Нет некой изюминки, взлохмаченности, не хватает эмоций, легкомыслия, беспорядка. Свободы, как это ни покажется странным: как, в Америке, которая провозгласила себя оплотом свободы,—нет свободы? Не зарапортовалась ли?.. Но в состоянии ли ты себе представить, как может надоесть этот заведённый не тобою порядок? Душа сопротивляется, во всяком случае—моя, а поставить себя над этим распорядком у меня, конечно же, не хватит ни характера, ни сил. Гляжу на остальных: тянет каждый свою лямку и терпит—как будто жизнь только и состоит из незыблемых правил и привычек. А на лицах—застывшие гримасы улыбок, которые поначалу, по простодушию моему, брали меня в плен. А теперь—тоска-а!..

Так что смотри... Впрочем, зачем я тебе об этом? Ты же всё равно не поверишь? Только, может, у тебя характер другой? Хотя... Может ли помочь характер инопланетянину жить среди людей?.. Боюсь я за тебя, Ленка!

И вот ещё о чём хотела тебя предупредить: что ты будешь делать со Стивом, как собираешься с ним жить? Учти разницу в возрасте. Это серьёзней, чем тебе кажется. Я по себе чувствую: Бак так устаёт, так измотан—мне его просто жаль. Лет 5 ещё продержимся, а там—не знаю, не знаю... Я-то надеюсь, что моё терпение и здесь вывезет. А потом у нас будет общий груз лет, привычек, воспоминаний. А ты? Проклянёшь ведь и Стивовы деньги, и меня заодно?

В общем, вот тебе моё последнее напутствие, а дальше—как знаешь. Потому что Стив внял, наконец, моим подсказкам и взялся оформлять для тебя приглашение, так что в самом недалёком будущем ты его получишь. Но дорогу твою оплачивать он не желает. Посмеивается: «Захочет—приедет!» Жаба давит нашего миллионера раскошелиться ради молодой женщины, жаждущей его осчастливить, пуще смерти боится быть одураченным. Для тебя это—лишний повод подумать: не дурное ли предзнаменование? Не любят они здесь расставаться с деньгами легко и изящно: у каждого в душе—по лавочнику...

Та-ак, это я сказала, об этом предупредила... А теперь, как говорится, хочешь быть счастливой—будь ею! И ломай голову, как добраться. Я, конечно, постараюсь, насколько это в моих силах, помочь: как только он отправит приглашение, попробую передать тебе с оказией немного денег, хотя мои собственные возможности, сама понимаешь, весьма и весьма... Поговорю с моей палочкой-выручалочкой, Баком,—может, войдёт в положение...

Надеюсь, до скорого уже? *Целую тебя—твоя Маша.*

15.

Почти через год после того, как Бак встречал Машу на американской земле, Бак с Машей встречали Лену Шидловскую. Только Лена, в отличие от Маши, долетела безо всяких опозданий, переживаний и чувства потери.

От аэропорта до дома было около сотни миль. Ехали в Баковой просторной машине; Бак правил, а Лена с Машей сидели на заднем сиденье, без умолку говорили и не могли наговориться. Лена при этом ещё успевала поглядывать в окно на проплывающий мимо пейзаж провинциальной Америки, удивлённо качать головой, всплёскивать руками, а то и ахать, хотя пейзаж, правду сказать, был однообразен: бесконечные одно-двухэтажные домики с зелёными, несмотря на позднюю осень, лужайками при сырой промозглой погоде, не дающей теней, казались нарисованными художником-аккуратистом декорациями без малейших признаков фантазии, да и они без конца заслонялись рекламными щитами и дорожными указателями, коими была обставлена дорога, так что Ленины ахи и охи выражали главным образом её удивление по поводу того, что она—уже здесь, так и не успев почувствовать никакой ностальгической боли по поводу прощания с родиной.

Маша смотрела немного отчуждённо на то, как Лена жадно и восторженно поедает глазами каждое цветовое пятно, каждое здание, машину, ярмарочно-пёстрый рекламный щит, и узнавала в ней саму себя год назад: такой же выглядела дурой; ей было грустно: как быстро всё проходит—всего год понадобился, чтобы её здесь уже ничем невозможно было удивить.

Заботилась она сейчас только о том, чтобы, общаясь с Леной, успевать, пока та рассыпается в восторгах, перекинуться словечком с Баком и незаметно выставить подругу перед ним дебилкой, поскольку Бак посматривал на Лену с интересом и заметно распускал перед нею пёрышки, так что Маша даже усомнилась на миг: не сделала ли она, пригласив её, величайшую глупость?

А вот и дом! Простой, скромный двухэтажный дом из красного кирпича с белыми тонкими швами, с закруглёнными углами и квадратными окнами, без всяких наружных украшений, не считая разве что белых пилястрочек у входа да козырька над стеклянной входной дверью. Как у всех, зелёная лужайка перед домом с тёмными, отцветшими уже кустами роз и низкая, чисто символическая кирпичная ограда, увитая диким виноградом и гортензией.

Как только вышли из машины, Маша, подхватив Лену, ни на шаг её от себя не отпуская, повела осматривать участок; Бак выгрузил сумки и, прежде чем поставить машину в гараж, осведомился: не надо ли позвонить Стиву и пригласить его? Маша резонно ответила, что пока не стоит: Лене надо дать выспаться, отдохнуть и привести себя в порядок.

Затем она провела Лену по дому, показала отведённую ей спальню; хвасталась она только тем

немногим, что успела изменить здесь сама: новыми шторами, комнатными цветами в горшках, полыхающими на окнах, да зимним садом, устроенным ею в холле. Утомительные, глупые Ленкины восторги она принимала молча: она-то знала, что дом её — самый заурядный американский дом с необходимым набором мебели и техники, только и всего.

Затем обедали втроём. Обед был с вином, по-русски долгим, незаметно перетекающим в ужин. Бак, устав от их болтовни, то и дело перескакивающей на русский язык, извинился и отправился было к себе в кабинет. Маша только попросила его разжечь в холле камин, который здесь никто никогда до Маши не топил — а Маше он понравился своим живым теплом в этом огромном пустом доме; с тех пор камин топился частенько: ей он напоминал костры детства. И когда Бак разжёг его и ушёл, она перебралась вместе с Ленкой из столовой в холл, придвинув поближе к жаркому огню кресла, кинув на них пледы и прикатив сервировочный столик с напитками и сладостями. Забрались с ногами в кресла, утонув в них и укутавши ноги пледами; Маша ещё укуталась в чёрную с красными маками испанскую шаль, Баков подарок. Расположились, одним словом. И начали, как бывало, «обща».

Лена, *балдея* от антуража, в нетерпеливом предвкушении, что скоро-скоро сама заживёт точно так же, принялась рассказывать о том, как за несколько дней до отъезда была у Макса: тот пригласил её к себе посекретничать и кое-что передать Маше на словах.

Маша, которой были интересны *все* до единой подробности их последнего общения, устроила Лене пристрастный допрос: сколько раз бывала она у Макса, при каких обстоятельствах они общались, и ночевала ли она у него?

Лена, уклоняясь от прямых ответов, возмутилась:

— Но, милочка, я ж решала твои проблемы — сама меня нагрузила! Что я могу, если он назначал встречи у себя?

— Да, но я же не просила тебя лезть к нему в постель!..

Потом, спохватившись — ой, дуры: готовы схватиться из-за пустяков, оставшихся где-то там, на другом краю земли! — Маша, прикрыв глаза, ясно увидела Максову комнату и вспомнила их последнюю встречу; комната к утру выстыла, из-под одеяла высовываться не хотелось, а Макс разгуливал нагишом, рисуя на запотевших оконных стёклах женские силуэты и стирая их ладонью… «Кого это ты?» — спросила она. «Тебя — кого же ещё? Хочу запомнить», — ответил он, и когда стирал пот со стёкол, видно было, как сквозь грязно-серые тучи за окном пронзительно-голубыми осколками проглядывает чистое небо и в одном из них блистает низкое холодное солнце; потом Макс включил электрокамин, прыгнул к ней в постель и был такой ледяной, что она вздрогнула, даже сейчас…

«Ах, какая ты!» — говорил он ей тогда; в его глазах она замечала нечто похожее на сожаление и печаль. «Какая?» — по-кошачьи щурясь, спросила она. «Мне показалось: можешь ночью в постели ножичком меня — кх-х!» — рассмеявшись, он чиркнул себя пальцем по горлу, затем положил ладонь на её обнажённое плечо и с силой огладил, будто хотел раздавить эту дразнящую округлость. «На чёрта ты мне сдался?» — дёрнула она плечом, стряхивая руку. «Так уж и на чёрта? — усмехнулся он; помолчал и добавил: — Давай, мать, езжай, продавайся. Что нам с тобой ещё остаётся?»

И сейчас ей, комфортно полулежащей в уютном кресле перед камином, стало вдруг до слёз обидно: сволочь! взял и едва не силком выпихнул её сюда, на край света! И сы́ночку родного не пожалела — только чтоб не видеть больше этого сукиного сына и не ждать подачек в виде редких ночей… А здесь все они — беглецы, видите ли; чтоб заполнить пустоту и заглушить боль утрат, громоздят себе миражи из машинных чудес света и домов с каминами…

А тогда ей захотелось сказать ему напоследок что-то такое, чтобы… Да взяла и сказала, глядя ему в глаза: «А ты возьми и оставь меня у себя. Прямо сейчас. И я этот заграничный паспорт — на кусочки».

Поперхнулся. Справился с собой. Процедил: «Знаю, каждый за женщину платит… Денег, мать, нет». — «Заработай. Какой же ты мужик?» Глянул холодно вприщур: укусила — вместо благодарности-то… «Что, обиделся? Ладно, давай не будем; я пошутила, — придвинулась и коснулась губами его щеки. — Мир?» — «Да, не будем», — согласился он и снова погладил её плечо, будто удивляясь тому, какое оно живое и горячее. Стряхнул с себя морок, высвободился из-под одеяла и резко поднялся: «Кофе хочу!» Оделся и ушёл на кухню.

И она тоже поднялась и стала одеваться. Игра кончилась… Впрочем, нет — когда уже уходила домой, тронула его пальчиком за нос: «Ладно, прощай и будь здоров». Взяла его руку, повернула ладонью вверх и, водя по ней пальцем, сказала: «Видишь, какие у тебя хорошие линии: жизнь предстоит долгая, и много чего в ней будет: дальняя дорога, казённый дом, свой интерес; богатый будешь, и любовью судьба не обидит. Причём — скоро уже», — она погрозила ему пальцем… «Я свою судьбу и так знаю, — выдернул он руку, не поверив ни одному её слову. «Поди, уже и невесту приглядел?» — спросила она его тогда. «Нет, но за этим дело не станет…»

Об этом она, прикрыв глаза, и вспомнила сейчас, слушая Лену…

— Знаешь, что он просил тебе передать? — сказала Лена.

— Погоди, расскажи сначала о нём самом,— потребовала Маша.— Как он? Кофе, конечно, для тебя заварил?
— Да, и кофе.
— Моя школа.
— А мужик симпатичный. Быстрый, сноровистый — прямо как заправский официант: всё в руках так и горит. «Понимаешь,— говорит он мне,— какая вещь? Я ей помог! Не знаю,— говорит,— смогла бы она без меня выбраться — или так бы и кукарекала, без связей-то и без способностей?»
— Да улетела бы и без него…
А Лена продолжала:
— «Много,— говорит,— сделал, а теперь ни ответа, ни привета, как будто меня уже не существует. А — зря: не учла,— говорит,— что ещё вернётся, хотя бы за сыном, и тогда посмотрим, сгодятся ей старые друзья — или своего сына ей не видать там, как своих ушей, пусть у неё и документы в порядке. При большом желании можно ей это удовольствие доставить».
— Вот сукин сын, а!— возмущённо сказала Маша.
— «Она,— говорит он,— что же, думает, будто старым друзьям достать её там уже и невозможно? Нет,— говорит,— при большом желании можно достать и там: скомпрометировать её перед новыми друзьями, перед мужем. Только,— говорит,— заниматься не хочется — я же,— говорит,— всё-таки джентльмен».
Это Максово джентльменство ввергло обеих в хохот. Они несколько раз повторили: «Ох и джентльме-ен!» — и каждый раз хохотали так, что едва не вываливались из кресел.
— «В общем,— говорит,— намекни ей повнушительнее,— продолжала Лена, когда насмеялись досыта,— что старые друзья так не поступают. Но если,— говорит,— не поймёт — уж и не знаю, что и делать… Придётся,— говорит,— крайние меры принимать».
— Ну не сукин ли сын, а?— качала головой Маша.
— Конечно, сукин сын,— подтвердила Елена и продолжила: — «Я же,— говорит,— просил её как человека: найди толкового фирмача, чтобы объединить усилия. Я,— говорит,— рискнул, всё поставил на кон, а от неё никаких потуг!» И представляешь, Машка,— продолжала Лена,— подводит он меня к окну и показывает в огород: там у него на грядке, ну, знаешь, где георгины растут, большой такой штабель стоит, плёнкой закрытый. Я думала, это дрова — такая поленница, метров шесть длиной и два высотой, а это алюминиевые болванки!.. «Вот,— говорит,— тридцать тонн дожидаются отправки; и сертификат, и лицензия на вывоз — всё есть. Передай,— говорит,— надо срочно найти покупателя, хотя бы за полцены. Но нужно три-четыре тысячи долларов для вывозки. Причём,— говорит,— можно организовать регулярную поставку…» Потом познакомил с художником Колей и его женой. Помнишь Колю?
— Конечно, помню!— фыркнула Маша.
— Так этот Коля собрал сто картин молодых художников — уже пообещал продать в Америке. Теперь собирает берестяные шкатулки, картинки из перьев, ещё что-то — целая комната. И это, говорит, только начало — обещает всю Америку завалить.
— Они думают,— запальчиво отозвалась Маша,— что всё здесь так просто: раз-два — и нашёлся дурачок, готовый подарить им тысячи долларов!..
— Но это не всё,— продолжала Лена.— Он ещё такую идею тебе даёт: пусть твой профессор создаст здесь, у вас в штате, комитет гуманитарной помощи русским детям, или инвалидам, или пенсионерам — неважно! — и чтобы комитет этот организовал сбор лекарств, продуктов, одежды — на ваше усмотрение, лишь бы проще и быстрее. Да ты бы и сама могла организовать — сразу бы заработала тут и авторитет, и рейтинг… А Макс там создаст комитет во главе, скажем, со Скворцовым, так что можно будет летать туда-сюда: мост будет; это модно теперь — мосты всякие. И вы с Баком сможете летать за счёт комитета и участвовать в распределении помощи; подключить газетчиков, телевидение — представляешь, какое международное шоу можно сделать? «Учёные с мировыми именами в походе против бедности!» Или: «Спасение русских детей — в руках американских учёных!» Макс говорит: последние дураки будете, если откажетесь от идеи.
Маша подумала и сказала:
— Ну, предположим… А при чём здесь он сам?
Елена рассмеялась.
— Представь себе: я его тоже об этом спросила — так он мне: «А погрузка, а перевозка — кто этим будет заниматься? Профессора, что ли? Или Марья? Им,— говорит,— как всегда, чистая работа достанется и внимание прессы, а всё будет сделано мной и моей фирмой. Мне,— говорит,— придётся с военной авиацией связываться, просить транспортные самолёты». Между прочим, Макс уже зондировал почву, и военные готовы на это: тоже люди, тоже в Америку слетать охота…
— Ах, Ленка, как это всё надоело!— вздохнула Маша.— Сто лет с тобой не виделись — и опять этот шахер-махер. Думала, хоть здесь не достанут… Давай о чём-нибудь другом, а? Я так рада, что ты здесь! Хочешь, покажу наряды?
— Ой, да конечно!..
И, несмотря на то, что Лена почти сутки не спала, они до следующего рассвета смотрели наряды, косметику и снова говорили, говорили, говорили — и не могли наговориться.

16.

Ясным августовским вечером профессор Скворцов встречал в аэропорту чету Свенсонов, прилетевшую якутским рейсом… Вместе со Свенсонами прилетел ещё один американец, высокий, одного

с Баком роста, но дородный, хорошо одетый улыбающийся господин с ёжиком рыжих волос и моложавым загорелым лицом, отрекомендованный Баком как коммерсант и его хороший знакомый. Скворцов немного растерялся, когда Бак представил его: в городе напряжёнка с гостиницами, а его не предупредили о лишнем госте, и он не заказал для него места. Но Бак, сразу поняв заботы Дмитрия Ивановича, поспешил его успокоить: Грегор — так звали коммерсанта — сам всё заказал, ещё из Якутска. Нужные пояснения добавила Маша, уже по-русски: этот Грегор навязался им в Москве, когда узнал, что они с Баком знакомы с Сибирью и как раз туда летят, — он хочет увидеть её своими глазами и, может, даже вложить куда-нибудь деньги, которых у него, похоже, как грязи, но американский Госдеп забираться своим гражданам в русскую глубинку по одному не рекомендует… А заодно и на переводчице сэкономил, добавила она ехидненько, хотя вроде бы человек и приличный. Во всяком случае, в Якутии ни в чём предосудительном замечен не был. Разве что выпить не дурак.

А Свенсон со Сворцовым встретились, как подобает старым друзьям: ведь после той степной экспедиции Дмитрий Иванович успел побывать в Штатах и заехать к Баку в Антропологический центр. Они обнялись, долго трясли друг другу руки, сердечно улыбались и были на «ты», хотя Свенсон и держался несколько сдержанней, чем многоречивый и нервно жестикулирующий хозяин.

Выдачу багажа долго задерживали, и они вчетвером ждали прямо на площади перед аэровокзалом и разговаривали. Дмитрий Иванович рассказывал о местных археологических новостях, Бак — о своих якутских впечатлениях (Скворцов прекрасно знал Якутию и своих тамошних коллег) и о Венском симпозиуме (Скворцов сетовал, что так и не смог туда поехать — не было средств…). И вслед за этим, к удивлению Бака, не ставившего Дмитрия Ивановича в известность относительно своей благотворительной деятельности, бурно развитой им в течение последней зимы вместе с Машей, Скворцов завёл с ним разговор об операции под названием «Гуманитарная помощь американских учёных детям России, пострадавшим от последствий экологического загрязнения», или, сокращённо, «Экобэби хэлп», которую организовал Бак в своём штате уже после того, как Скворцов побывал в гостях у Бака, и о создании постоянно действующего фонда под этим же названием. Поэтому, когда Скворцов спросил, когда возвратится с грузом Макс Темных, потому что к его прилёту он, Скворцов, уже успел всё подготовить, — Бак обстоятельно, хотя и несколько суховато, без увлечённости, свойственной русскому профессору, ответил, что всё, что касается его личного участия, сделано: контейнер с продуктами, витаминами и медикаментами загружен («Пока только пятитонный — всё получилось на скорую руку», — смущённо оправдывался Бак, добавляя при этом, что в будущем они смогут подготовить контейнер побольше), причём неоценимую помощь в этой операции ему оказала Маша — сам он очень занят; при этом Бак, мягко светясь, в знак благодарности обнял Машу, и она порозовела от Баковой похвалы. Что же касается подробностей операции, особенно той её части, что связана с Максом, то она их знала лучше Бака и потому переводила Дмитрию Ивановичу со своими добавлениями — переводила и удивлялась тому, какие успехи сделал Макс в отношениях со Скворцовым: господи, да никак он уже в лучших друзьях у профессора — и ему успел голову заморочить?

В общем, Бак с Машиной помощью ответил, что когда они с Машей улетали в Вену, контейнер этот ждал Макса на военном аэродроме штата — у Макса Темных, кажется, что-то не клеилось с русскими военными насчёт самолёта.

— Нет-нет, всё уже решено — самолёт отправлен! — пояснил Скворцов. — Я сам подключался, и помогла областная администрация…

Хотя Дмитрий Иванович за два последних года и продвинулся в английском — всё равно охотно прибегал к Машиной помощи, а уж когда начинал сам, как всегда, быстро и эмоционально — тотчас перескакивал с английского на русский.

Значительного прогресса достигла и любезность его по отношению к самой Маше: теперь он её не просто замечал, а ещё и церемонно поцеловал при встрече руку, отчего она покраснела до корней волос, и по фамилии больше не называл, и не «тыкал», как это было в экспедиции, воспринимая её там чем-то вроде прислуги, — а только «Машенькой» теперь и подчёркнуто на «вы», щедро рассыпая перед нею ещё и обильные комплименты:

— Ах, как вы, Машенька, прелестно выглядите! На пользу, на пользу вам замужество, и переезд в Штаты — на пользу! Я так рад за вас и за Бака!

— Вы мне это уже говорили, — сухо обрывала она его — его комплименты казались ей почему-то насмешливыми: не верила она в их искренность.

— Говорил, говорил — и ещё раз скажу! — не унимался он. — Готов повторять это тысячекратно! Тысячекратно, милая Машенька, тысячекратно!..

Кроме того, что он излишне говорлив, он был ещё и неумеренно улыбчив, суетлив и услужлив по отношению к ней с Баком, причём к ней — даже больше, чем к Баку. Что это с ним? Или он и был такой, а она не замечала? Да нет же, не был! Да он ли это?.. Для неё, как и для всех в институте, он всегда был «профессором Скворцовым»; это звание — «профессор» — произносилось с заведомым уважением; пусть он и по-смешному важненький и зазнаистый — это прощалось: единственный в городе профессор истории, должен же он чем-то

отличаться от всех? Да и Бак говорит, что Дмитрий Иванович — умница, большой учёный, со свежими интересными идеями... Конечно же, ей льстят его мягкий словесный шелест, поток комплиментов, расточаемые ей лучезарные улыбки — а с другой стороны, за него же и досадно: ну зачем он так — будто и не профессор вовсе, а жалкий студент, вымаливающий «удочку», только чтоб стипендии не лишили? Бак — чуткий, понимающе переглядывается с ней и тайком жмёт ей руку: не обращай, дескать, внимания — просто что-то у него не в порядке, вот и нервничает...

Пока стояли в ожидании багажа и Дмитрий Иванович с Баком, обменявшись беглой информацией, стали затем обсуждать план совместной работы, выплыло вдруг, что прежде всего Бак имеет твёрдое намерение нанести визит Машиным родителям в Зеледеево — это, видите ли, его наипервейший долг, пренебречь которым он не может и намеревается неукоснительно его исполнить.

Скворцов осёкся и задумался; этого намерения Бака в своих планах он не учёл: у него и сомнений не возникало, что у всякого серьёзного человека на первом месте работа, а не презренный быт, так что его ближайшие планы летели кувырком — он-то знал, насколько чревато русское гостеприимство, и готов был держать пари, что Баку из объятий своих новых свояков быстро не вырваться. Поэтому он обескураженно посмотрел на Машу, виновницу, как ему представилось, плана заманить Бака к родителям: что теперь делать-то?

Однако сама Маша не только не была в восторге от Бакова намерения, но и явно удручена, озабоченно закусив при этом губку; конкретного разговора у них с Баком на эту тему не случилось — были лишь общие прикидки; она избегала строить точные планы, надеясь, что авось всё как-нибудь разрешится без поездки к родителям. Ничего само собой не разрешилось, и чем ближе к родительскому дому, тем в большее смятение она приходила, раздумывая: как бы обойтись без поездки? Как-нибудь там, в Зеледеево, они этот неисполненный Баков долг переживут: не хватало ещё, чтобы мать устроила скандал на всю улицу или, того пуще, потасовку с новоявленным зятем — с неё станется; надо бы прежде обстановку прозондировать, съездить самой...

И вот, пользуясь тем, что по радио объявили о выдаче багажа и Бак с Грегором ринулись в багажное отделение за сумками, она, поотстав от них и придержав Дмитрия Ивановича, взмолилась к нему, чтоб придумал что-нибудь и поскорее отвёз Бака в экспедицию («Боюсь, мои предки не готовы его там принять») и что лучше, если она сама предварительно съездит и подготовит встречу.

Дмитрий Иванович, кивая и сочувственно улыбаясь, сразу всё схватил без лишних объяснений. Однако, поняв всё с полуслова и тотчас сориентировавшись, он выложил и свою контрпросьбу — будто только и ждал зацепки:

— Я вас, Машенька, прекрасно понял: вы перед трудной дилеммой, — и я, конечно же, с удовольствием готов сделать всё, чтоб вас выручить. Но я, Машенька, тоже хотел бы попросить вас об одном... н-ну, скажем так, одолжении.

— О каком? — насторожилась она.

— Да вы не бойтесь — сущая безделица! Я думаю, это не составит вам большого труда, — заворковал он. — Ну а нет — так что ж... Я бы очень хотел, дорогая Машенька, чтобы ваш муж, — он интонационно подчеркнул, усилил это «ваш муж», придав словосочетанию значительности, — пригласил меня поработать два-три года — на контрактной основе, разумеется, Машенька, на контрактной основе! — в его Антропологическом центре. Стало просто уже невозможно здесь ни работать, ни публиковать свои труды — хочется немного поправить дела... Всё это, Машенька, само собой, строго конфиденциально, между нами! Я, конечно, сам буду говорить при случае, но хотелось бы, чтоб и вы меня активно поддержали...

«Господи, и он — туда же! — тревожно отозвалось в её мозгу. — Они что тут, с катушек все съехали?..»

Она давно поняла, что Бака тянет сюда не случайно: он перенимает у Дмитрия Ивановича идеи, которые тот походя в ораторских запалах рассыпает с неимоверной щедростью, горстями, в благодарность только за то, что его выслушивают, — он будто ткёт их в экстатических экспромтах из ароматного воздуха южной степи, считывает их невидимые знаки с древних скал, улавливает их среди стрекота ночных кузнечиков... Нет, конечно, не расскажет она никому этого своего скромного наблюдения над собственным мужем, и всё же... Она представила себе, как Дмитрий Иванович, единственный здесь, в её родном городе, серьёзный учёный-археолог, уедет. И сразу — гадкая мысль: а к кому тогда будут они с Баком ездить?.. То, что Скворцов, этот гордец, называвший её когда-то только по фамилии и не иначе как на «ты», теперь униженно просит покровительства у неё, тешит её самолюбие... Но — странное дело: оттого, что он унижается перед американцем, хотя бы и её мужем, больно и унизительно ей самой...

— Я не знаю, — попыталась она как-то поделикатнее отвертеться. — Я в его дела стараюсь не вмешиваться...

— Не скромничайте, Машенька, не скромничайте! — напирал Скворцов, перебивая её лепет и льстя напропалую. — Я же вижу, как он вас любит, как вами дорожит, как слушает вас — вы сделали поистине огромный шаг в его приручении, я вами просто восхищён! Так что насчёт вашего вмешательства — излишние опасения; он же приглашает из-за рубежа специалистов, я знаю! Не дрейфьте, Машенька: что делать, вся жизнь — сплошной

компромисс! Вашу просьбу я, конечно, выполню: завтра же увезу его в поле! Ну так что: вы—мне, а я вам? Согласны? Да—или нет? Решайте скорее!

— Да, да!—не без внутреннего сопротивления, но вместе с тем и с облегчением торопливо согласилась она—навстречу уже шёл улыбающийся Бак с сумками.

А через десять минут, когда мчались в город, Скворцов уже убеждал Свенсона:

— Я, Бак, хочу сказать вот что. Поскольку и у тебя, и у меня дефицит времени, предлагаю такой план: завтра с утра мы с тобой уезжаем в поле. Все принципиальные вопросы разрешим на месте; я покажу тебе, что мы нащупали интересного,—а Машенька пусть пока навестит своих родителей. Потому что, Бак, у меня всё туго завязано: и проблема транспорта, которая вяжет мне руки, и люди—август, Бак, пора сворачивать экспедицию, скоро придут дожди и холода; я держу её там только ради тебя: думаю, у нас с тобой будет много взаимных вопросов и ответов—они должны сработать и на тебя, Бак…

Бак ничего против этого плана возразить не мог—хотя бы потому, что был гостем,—лишь виновато развёл перед Машей руками, а она, сидя с ним рядом, в знак полного согласия с планом кивала Баку, гладила его руку и успокаивала:

— Мне бы так хотелось, Бак, всегда быть рядом, но раз надо—значит, надо! Поезжай, Бак, и ни о чём не беспокойся!..

А рано утром, ещё затемно, они с Баком встали (он специально попросил Дмитрия Ивановича прислать машину, чтобы самому проводить Машу), вместе собрали сумки, упаковали подарки, и Бак проводил её на вокзал и усадил в поезд.

17.

Пятнадцать лет уже мотается она этой дорогой; последний раз ехала позапрошлой зимой, но—будто целую вечность успела прожить за эти полтора года. Странное, непривычное состояние овладело ею.

Бывало, если полгода не ездит—так соскучивалась по этой дороге, что каждая берёза, каждая изба, проплывшая за окном, корова, лохматая ли жучка, семенящая за скрюченной старухой с клюкой, скачущий ли на лошади мальчонка настолько умиляли, что готова была расцеловать каждое существо, каждую морду: господи, какое же оно родное!—всё это, перевитое быстрым движением поезда, аранжированное ритмическим пеньем колёс, взвихривало забытые видения детства, где всё цвело, звенело, искрилось и пахло так, что—задохнуться и сойти с ума… Сеном и густым лошадиным по́том пахли не только лошади, на которых приезжали родичи из деревни,—пахли сбруя, телега, овчинные кожухи возчиков; впрочем, всё пахло тогда до головокружения: мёд в облитых радужной глазурью горшках, ковриги хлеба, хрустящие на зубах золой, ивовые корзины—да сами люди, их одежда, руки, лица пропитаны были запахами дождя, ветра, сена; даже глиняные свистульки в виде барашков и собачек, которые ей совали в подарок, тоже пахли; пах даже воздух, который выдувался из свистульки, даже тёмные, влажные, исходящие из неё звуки… Где это? Куда ушло? Кануло Атлантидой, лишь плывут поверху обломки—стойким напоминанием о том, что—было, было…

Она боялась теперь ностальгических слёз—так боялась, что набрала с собой в дорогу психотропиков. Но её глаза, успевшие за полтора года увидеть столько умело налаженной жизни, трудолюбия, цинизма, нищеты, роскоши, скользили теперь по родному пейзажу за окном, оставаясь совершенно сухими, хотя за всё цеплялись, всё замечали по-прежнему: и чахлые эти берёзы, и реденькие убогие стада, и подслеповатые избы без единого яркого пятна, и пьяные заборы меж ними, грязь и лужи на дорогах, кучи мусора по деревням на пустырях,—всё вызывало теперь только смешанное с жалостью раздражение: господи, как же надо не любить себя и свою жизнь, чтобы с таким вот равнодушием жить среди этого убожества? Из года в год. Из века в век. А скажи им об этом—тут же поставят тебя на место, и мамочка—первая: ах, тебе не нравится твоя родина?—ну и езжай в свою Америку!.. А более продвинутые ещё добавят: а у нас зато Пушкин есть!.. А при чём здесь Пушкин? Он что, вашу грязь убирать будет?..

А вот уже и родной городишко за окнами плывёт, такой придавленный к земле, безлюдный, безмашинный, серенький…

На перроне, как и десять, и пятнадцать лет назад,—всё тот же выщербленный асфальт, болтающиеся без дела мужичонки, грузные оплывшие женщины в мешковатых одеждах; пообломанные на бесплатные букеты кусты сирени у здания вокзала… На площади за вокзалом—огромная лужа, которой, наверное, уже сто лет и через которую кто-то заботливо кладёт каждый год рядок кирпичей.

Благополучно перебралась на ту сторону по кирпичам, перехватила покрепче сумки и потопала к дому.

Вышла на свою улицу: ба-а! что бы это значило?—вместо привычной пыли и зелёной воды в колеях проезжая часть засыпана свежим гравием! Никак земляки улицу асфальтировать собрались? Ну, жизнь, ёлки-моталки, прямо кувырком помчалась!—ещё поиронизировала над земляками.

А вот и дом… Господи, неужели—дома? Странно как: не та комнатёнка в городе, которую так старательно обживала много лет, таща туда вещь за вещью, и не тот красного кирпича особняк среди розовых кустов на другом краю земли—а этот вот, из серых брёвен да с оконцами в ставнях,

где родилась, выросла и откуда сбежала навсегда, так и останется родным и будет сниться и рвать сердце болью?.. А это ещё что?.. Бог ты мой! На месте лужайки перед домом, где искони зеленела мурава, по которой обожала когда-то бегать босиком,—развороченная земля и кое-как натыканные чахлые, полузасохшие цветы: резеда, астры, левкои. Уж не к её ли это приезду?

И вот уже она, удивлённая, обнимает сыночка: «Ты ли это, Серёженька?»—узнавая и не узнавая его, вымахавшего за полтора года с неё ростом, с пробивающейся сквозь детский писклявый голосок ещё неустойчивой, дребезжащей, но уже заметной хрипотцой, костлявого, угловатого, с теми же жёсткими вихрами и торчащими врозь ушами, с теми же настороженными глазами,—но уже не по-детски уклоняющегося от горячих, неумеренных её объятий и поцелуев.

Затем обняла и исцеловала драгоценную свою мамочку, которая стояла деревяшкой, кажется, ещё не веря, что перед нею воочью Маша; Маше-то и весело: слава Богу, живы-здоровы, и она вот вернулась,—и досадно: родная мамочка не понимает и не слышит, говори не говори—будто за толстым стеклом стоит, безучастная, одинокая—не ворчит, не ругает уже, только поджала губы, а в глазах—укор. И так захотелось Маше опять, как раньше, заплакать от обильного контраста радости и боли—слёзы всегда очищали её и успокаивали, как лёгкий наркотик; да просто соскучилась по слезам—вот ни разочка не всплакнула на чужбине—хватилась, а слёз нет! Да что же это такое? Даже обидно: будто и не она вовсе вернулась—подменили её там!

—Ну что ты, мамочка, огорчаешься? Вернулась вот, и ничего-то со мной не случилось, кроме того, что замужем за хорошим человеком. Порадуйся за меня!

—А где ж… муж-то?—выдавила та из себя слово «муж».

—Он в экспедицию поехал—он, мама, очень занятый человек.

—Дак он чо, не приедет или как?

—Даже не знаю пока. Может, лучше вам самим съездить в город, встретиться с ним, а, мамочка?—взглянула на неё испытывающе Маша.

Мать ещё крепче поджала губы. Хорошо, как раз заявился на обед отец—вот будто чует всегда его сердце: только она в дверь—и он тут как тут, «милый папка», всё такой же кряжистый, как листвяжный сутунок, загорелый, моложавый—не берут его никакой алкоголь и никакое время!—навсегда пропахший пивом и портвейном, пришёл—и будто ворвался вместе с ним ветер.

—О-о, дочура, привет!—облапал, расцеловал, и тут же—матери:—Слушай, мать, ты Ваську знаешь?

—Какого ещё Ваську?—проворчала та.

—Ну, Ваську, Ваську—на том конце улицы жил! Я с ним ещё квасил четвёртого дня. Да должна ты его знать!

—И что этот Васька?

—Так помер!—с какой-то даже радостью сообщил отец.—Сгорел от водки! Завтра хоронить!—и сразу, без перехода:—А где, доча, твой американец?

Маша принялась объяснять, в чём дело.

—Э-эх, мать честная, добра-то сколь пропадёт!—всплеснул руками отец и, загибая пальцы, стал перечислять, сколько кур, гусей, рыбы, свинины приготовлено для встречи американского зятя—куда девать? И тут же дочери:—А цветы-то, цветы видала на улице?

—Ой! Это ты, что ли, папка?

—Да почему я-то? Мать учудила! Она же исполком на уши поставила: смету выделили для твоего американца, цветы вот насадили, дорогу асфальтировать собрались! А теперь чо же? Бросят, конечно. Жалко!..

Потом была церемония раздачи подарков—«от себя» и «от Бака». С зимы собирала один к одному: и матери с отцом, и Серёже, и сестре с братцем—боже упаси кого обидеть! А отцу сверх того ещё и бутылку заморской водки, «виски» называется, да не простого, а—«Белая лошадь»…

Отец хорохорился:

—Не такие уж мы, дочура, тёмные—и виски пили!..

Однако подарки действовали неотразимо: лица добрели—даже у матери, как заметила Маша, внимательно следя за её лицом и радуясь за неё.

Потом достала деньги, целую груду банковских упаковок, её коронный подарочек, и не без торжественности вручила ей:

—Вот, мамочка, сама заработала—мечтала, чтоб вы продали корову и не отказывали себе ни в чём. Слышишь, папка?

—Слышу, доча, слышу!..

Потом сели обедать, выпили этой самой «Белой лошади», и отец с матерью похвалили: «Прямо как наша самогонка!»—и выпила с ними Маша, а уж отец добирал полегоньку остальное, и никто его не одёргивал—за столом царило доброжелательство.

Маша расспрашивала, что у них тут нового, рассказывала сама, как ей там живётся, и тихонько радовалась миру и тишине, причиной которых, может быть, именно её подарки и деньги: наконец-то в доме поселилось согласие, о котором мечтала с детства, и родители её обретут на склоне лет тихое счастье… Может, действительно надо было привезти Бака, чтоб порадовался вместе с ней?.. Но что уж теперь! Теперь как бы уговорить их в город съездить.

Ближе к вечеру потянулись гости—взглянуть на первую американку их городка. Машу лишь удивляло: ведь ни одной души не встретила, пока

шла домой, а ведь высмотрели, идут и идут — сначала соседки, потом родная Машина тётка; потом исполкомовский мужик зашёл поинтересоваться. Отец на радостях всех тащил за стол… Женщины придирчиво осматривали Машу, любопытствовали:

— Ну и как Америка?

— Да-а, Америка как Америка. Терпимо, жить можно, — отвечала односложно; рассказывать по порядку не было охоты.

Женщины кивали, удовлетворённые тем, что Америкой их землячку не удивишь. Об остальном в её жизни они были осведомлены из её же писем, которые, как Маша догадывалась, читались всем околотком и пересказывались устно.

Уже вечером, после работы, пришла со своим мужем — оба толстые, всем довольные — старшая сестра Катерина, степенная, полная достоинства и гордая тем, что не похожа на остальных Куделиных. Маша, сдержанно поцеловавшись с ней, не удержалась, хмыкнула про себя удовлетворённо: пришла-а! Как же-с, слишком занятые люди *бухгалтерá*, чтоб, бывало, свидеться с сестрёнкой, — не та гостья Маша, ради которой можно оставить на целый вечер дом, который полная чаша: Маша ведь — *брошенка*, неудачница, того и гляди клянчить чего-нибудь станет, помогать надо — сестра как-никак, родная кровушка… А теперь вот — к американке-то — пришла и подарочки приняла…

Ещё позже Коська, младший, — и до него весть доползла! — примчался на своём разбитом мотоцикле, ввалился, как всегда, шебутной, дёрганый и — весь в папеньку! — под градусом, бухнул на стол — знай наших! — пузатую бутылку водки с иностранной этикеткой, тряхнул русыми, до плеч, кудрями, всё такой же, как в юности, красавчик, ещё не огрубевший лицом, баловень и любимец семьи, и иронически скривил капризный рот:

— Что, маманя-батяня, дождались дорогую гостью? — и — к Маше: — Ну-ка дай посмотрю, какая стала!

В большой «зале» с застольем стало сразу тесней и колготнее от ввалившегося Коськи; Маша сразу почувствовала, как устала уже от этого застолья, которое тянулось непрерывно от обеда к ужину и, похоже, грозило растянуться до ночи, и — от бессчётных вопросов и бесконечной болтовни ни о чём: отвыкла. Посмотрела с тоской на выставленную бутылку и сказала, вставая навстречу:

— Ты что, тоже пить собрался? Ты ж на мотоцикле!

— А не боись, меня ничо не берёт! — заявил он хвастливо, подошёл, чмокнул Машу в щёку и тут же, без перехода: — Слушай, сестра, а я к тебе это, с делом! Чо хочу сказать-то: ты мне это, ну, визу там, в Америку, сгоноши, а? Тоже поеду, хочу это, дело там открыть!

Маша удручённо покачала головой: господи, и он туда же! Сплошное безумие: все хотят, все жаждут этой Америки, будто Америка — огромный торт, до которого только добраться — и уж жрать, жрать до икоты, а потом ещё упасть в него мордой и вымазаться кремом, шоколадом, взбитыми сливками, или будто Америка — бездонный мешок с деньгами, за который только ухватиться, а уж там не зевай — пихай в карманы, скидывай рубаху, завязывай узлами рукава и набивай сколько можешь! О, эта бессмертная русская сказка о дармовых богатствах в тридевятом царстве за тёмным лесами, за высокими горами, среди *моря-окияна* — только бы повезло объегорить владельца богатств и успеть хапнуть!..

Но с братцем Маша привыкла объясняться без церемоний — состроила тугой кукиш и помахала им перед его глазами:

— А вот этого ты не хо-хо?..

Тот фыркнул, собрался было выругаться, но сдержал себя:

— Чего уж ты так сразу?

— А ничего! — повысила голос Маша. — Брось эти уличные замашки и научись сначала хотя бы вежливо разговаривать!

— Обиделась, что ли? Обтесали тебя там, да? Ну, извини-и! — вихляясь и насмешливо кривя рот, паясничал он.

— Хорошо, извиняю для начала, — сказала она строго. — Это во-первых. А во-вторых, научись хотя бы работать.

— А я что, не работаю? Во сестра называется — даже не знает, не интересуется братом! Да я уже сколько лет шоферю!

— Представь на минутку, что интересуюсь! И знаю, сколько у тебя аварий и кого не так давно судили по пьянке. Дело он, видите ли, решил открыть! Ты сначала здесь попробуй открой. И в-третьих, если уж тебе так свербит в Америку — выучи хотя бы английский!

— А ты на что? Ты и научи — ты же сеструха!

— Я слишком дорого беру — тебе неподъёмно.

— Во как: сестра с меня деньги брать будет? Ловко тебя американизировали!

— А какого чёрта тебя, здорового балбеса, бесплатно обрабатывать только потому, что ты бездельник?! — отрезала она, сбивая с него наглый тон.

Хотя тот ещё продолжал клокотать, призывая всех в свидетели: «Вот так сестра!.. Да я!.. Да меня!..» — она уже отвернулась и не слушала его.

А застолье всё длилось и длилось, и Маше, одуревшей от обилия пьяных лиц перед глазами, от длительных разговоров, от малых, но частых доз спиртного, которое её вынуждали пить, не бросилось поначалу в глаза, что гостей всё прибывает, появляются малознакомые, забытые и совсем незнакомые лица, с какой быстротой поедаются жареные куры, гуси и свинина и какое обилие выпивки течёт рекой, да всё в бутылках с заграничными наклейками, а когда бросилось и слишком

начал давить в уши пьяный галдёж—подумала: правильно, что не взяла Бака,—уж перемучиться одной!.. И вдруг обратила внимание на бутылку, которая стояла перед нею: то был французский коньяк, который они с Баком там, у себя, не всегда решались брать из-за дороговизны—а здесь их стояло несколько штук, уже пустых… Она отвлеклась от докучного разговора со своей старой тёткой и хотела обратиться с недоумённым вопросом к отцу—он только что сидел напротив, сияя пьяной улыбкой на багровом лице, с аккордеоном на коленях, и о чём-то толковал со склонившимся к нему Коськой; но отца на месте не было—торчал из-за стола лишь оставленный аккордеон. И тут она увидела его: он вышел из другой комнаты с толстой пачкой денег в руке, сунул её Коське, тот сделал характерный для него жест: всё, мол, батя, будет в порядке!—и моментально исчез, а спустя минуту на улице уже взревел взбесившимся быком драндулет, унося его со двора…

Маша осмыслила увиденное. Пачка, которую забрал Коська, была очень похожа на те, что она передала днём матери… Она встала, подошла к отцу и негромко, но строго спросила:

—Ты зачем ему деньги дал?

—Так ведь, доча, гостей вон сколько!—растерянно ответил отец, хлопая глазами, будто пойманный на месте преступления воришка.—Они же к тебе пришли—поить-то чем-то надо?

—Мне этого не надо!—ещё строже сказала она и повернулась к матери; та сидела, окружённая сонмом полупьяных соседок—они намеревались как раз спеть на два голоса старинную песню.

—Мама!—остановила она их.—Что ж вы делаете? Зачем пропиваете деньги, которые я дала вам на житьё?

Мать замолчала, поджала губы и начала покрываться багровыми пятнами. Гости затихли, как лес перед грозой, и в этой неприятной тишине Маша спохватилась, что совершила промашку: дала матери повод для театрального действа, которое она не упустит сейчас разыграть… Гости явно томились в ожидании каких-то событий: вечер получался слишком благодушным, не в духе Куделиных,—атмосфере не хватало напряжения.

А мать меж тем встала и при полной тишине, соблюдаемой гостями, проковыляла в соседнюю комнату, вынесла оттуда в обеих руках пачки денег, отданных Машей, и вывалила перед Машей на стол, прямо в тарелку с чесночной подливой, оставшейся после курицы,—наверное, даже нарочно в тарелку, для более полного эффекта. Однако, как заметила Маша, денег было меньше, чем она отдала днём… И только вывалив перед Машей деньги, мать разразилась тирадой:

—Возьми их! Попрекнула, да? Здесь я покуда хозяйка, и гостей в моём дому никто ещё куском не попрекал!

—Мама, что ты мелешь? Кого я попрекаю?—краснея, возразила Маша.—Просто пить меньше надо! Подумать бы вам лучше о себе!

—Купить нас хотела? А нас не купишь, мы не продажные!—продолжала между тем высокопарно выкрикивать мать.

—Ах, да ладно!—устало махнула рукой Маша.—Пейте и живите как хотите, Бог с вами.

Она встала, повернулась и пошла к двери, а вслед ей летели по полу эти самые пачки денег, кувыркаясь и рассыпаясь, словно листья в листопад на ветру, и слышался вдогонку крик матери:

—Забирай! Ты их заработала под своим американцем сраным!..

Куда можно было уйти в её городишке поздним вечером?..

Часа полтора она шаталась по спящим улицам под лай собак, разыскивая кого-нибудь из старых подруг, у которой бы ещё горел свет. Еле отыскала одну, а потом сидели с ней до утра на кухне, чтоб не тревожить мужа и детей, дуя чай и разговаривая шёпотом, и Маша высказывала ей свои обиды на родственников:

—Господи, как я от них устала! Знаю, что все мы, Куделины,—посмешище для города, да плевать, недолго уже: заберу Серёжку, и лет пять, не меньше,—вот стервой буду, клянусь!—не захочется мне видеть своих несравненных родственничков! Как я наконец-то от них отдохну!..

Вернувшись утром, она, не мешкая, стала собираться: стирала, сушила и гладила Серёжины и свои вещи и одновременно, стараясь не накликать материного гнева, осторожненько наказывала обоим, чтоб хоть не ленились писать письма. Простив матери этот её спектакль с деньгами: Бог с нею, ведь за них жизнь не проживёшь!—пыталась вырвать у матери обещание приехать в город—познакомиться с Баком…

Матери, уже, кажется, простившей Маше Америку, явно не хотелось отпускать внука, и она ворчала:

—Ну сама-то ты—ладно, а мальца-то зачем сманивать? Сегодня ты там, завтра тебе Африку подай—вам ведь, вертихвосткам, всё равно, где чего, а сыну зачем мозги пудрить, с таких пор перекати-полем жить? Ему учиться надо!

—Ты что ж, думаешь, там школ нет?—вяло возражала Маша.

—А я, баба, хочу в Америку! Я всё равно с мамой уеду!—бубнил Серёжка, боясь, как бы бабушка не настояла на своём.

—Вот оно, вот оно, твоё воспитание!—кричала мать, тыча в него пальцем.

Маша уже ни в чём не прекословила—только бы не перекалить опять атмосферы… Чтобы отключиться, думала о Баке. Вспоминала, как он, милый дурачок, восхищается её ангельским

умением терпеть невзгоды… Да в сравнении с её родным домом вкупе с её папочкой и мамочкой любое чистилище раем покажется!..

18.

У дежурной в гостинице, когда она вернулась с сыном в город, её ждало несколько записок: писали подруги. Даже те, от которых не ожидала посланий. Записки были почти одинаковы: «Маша, дорогая, хотелось бы встретиться и поболтать. Не зазнавайся, звони, заходи». Оставалось загадкой: как узнали, что она здесь?—ведь ни единой душе не докладывалась; знал один Скворцов.

Конечно, она собиралась кое с кем свидеться—но не со всеми же! Дел невпроворот, да и скучно уже стало тратить время на трёп—проехали… Но тут поняла: обложили—не отвертеться. Позвонила подруге, у которой квартира попросторней и сын—Серёжин сверстник: хотелось бы оставлять его у неё днем, пока занята, чтоб не таскать с собой.

— Слушай, мать,—предложила она ей,—мне тут отбою нет от наших. Давай, наверное, кликай у себя на завтра сбор, как бывалоче, что ли? Буду отчёт держать. Сгоноши там чего на стол—я расплачусь. Питьё беру на себя.

Сговорились: подруга вошла в положение. И насчёт Серёжки не возражала:

— Да конечно, Маш, пускай живёт сколько надо!

— Ах, девки, девки, какой вы золотой народ. Как вот без вас?—откликнулось тотчас Машино сердце…

Утром завезла к ней Серёжку, а вечером, задержавшись немного в библиотеке—Бак просил составить библиографический перечень всех местных научных работ по археологии—и даже не забежав переодеться, а как была, в джинсах и блузке, купив по дороге бутылку армянского коньяка, да две—ликёров поприличнее, да кофе банку, заявилась, когда все уже были в сборе.

— Хотели видеть? Вот она я, отдаюсь всем сразу и на весь вечер: пользуйтесь!..

Естественно, сразу же охи-ахи: какая стала, да изменилась—не изменилась?

Не теряя времени («Ну ты, Машка, прямо как на планёрке!»), перецеловалась со всеми и—к церемонии раздачи подарков.

Подарочки скромные: кремы, компактная пудра, флакончик духов,—да оно и понятно: на какие шиши, да и как притащишь?—однако всё, будьте уверены, самого высокого качества, не какое-то фуфло для отмазки… И достала коробку с яркой этикеткой. *Девки* попробовали угадать: никак угощение на всех?

— Нет,—сказала она,—это из другой оперы: французские кондомы, самые пикантные, какие нашла, скромный презент моей шефине. Очень меня обяжете, коли передадите, а то она всё дарила мне разные значки да авторучки—век ей буду благодарна за эти милости, а отдариться случая не подворачивалось.

Похихикали, но взяли и обещали передать; имто что—им даже интересно, с каким выражением будет получать и что скажет на это Машина былая начальница. Маша тоже предвкушала торжество, хоть и жалела, что сама не увидит…

— Ну что, девки,—сказала она, когда сели за стол и налили по первой,—КВН устраивать будем, вечер вопросов и ответов? Скажу сразу то, что интересует всех: замужем я, фамилия моя теперь Свенсон, Маша Свенсон. Не спрятаться хотела под чужой фамилией, если кто плохо про меня подумал,—прятаться мне не от кого; просто не могут они моей фамилии ни выговорить, ни запомнить—язык *ихний* не принимает, лексема чуждая. Гражданства *ихнего* я, правда, не взяла, не из-за патриотизму никакого, а только из меркантильного соображения—чтоб с визами не путаться: с наших ведь станет вскочить не с той ноги и не впустить потом. За сыном вот приехала. Возвращаться пока не думаю—только в гости, а там видно будет,—она торопилась миновать то, что их теперь разъединяет, и снова быть душой с ними.

Но задушевности пока не получалось. Посыпались вопросы, вопросы односложные, практические: свой дом—или квартира? сколько комнат? есть ли машина?.. Отвечала кратко: от квартиры Бог миловал, дом неплохой. Сколько комнат? Да штук десять или, может, больше, если по-нашему считать.

— А по-нашему—разучилась, что ли?..

— Да как, девки, по-нашему? Вот, например, вестибюль квадратов в двадцать, да холл—в сто, да галерея поверху, да столовая—как их считать?.. Машины у нас—четыре, у меня своя, «фордик», самая лёгкая в управлении, почти детская…

Девки, сдержанные поначалу: неужели так давит на них её благополучие, почему не радуются за неё, ведь она же—своя?—выпивши понемногу, расслабились, начали высказываться.

— А ты, Маша, похорошела!

— На какой бок?—спросила, как спросила бы раньше.

— Со всех сторон. И даже подросла. Витамины, что ль, какие принимаешь?

— Да это, девки, у неё осанка: распрямилась Машка, рясная баба стала.

— Бросьте вы ей чирикать! Ты, Машка, просто растолстела. Смотри, разбухнешь—разлюбит твой американец. Кучеряво, видно, живёшь, жрёшь сытно?

— Проблем нет,—поёжилась она от таких комментариев—поотвыкла уже! И решила подразнить для остуды:—Питание стабильное, витамины в изобилии—об этом даже говорить скучно. Но что меня сразило поначалу—там есть всё, чтобы женщина была женщиной: прекрасная косметика

со всего света, прекрасное бельё, одежда, обувь, какие хочешь дамские кабинеты—косметические, массажные, педикюрные, зубопротезные, все зовут и манят; так и кажется, что вся наука и техника работает только на женщину, и к этому привыкаешь, как к воздуху.

— Да поня-атно! Америка. За деньги всё купить можно… Чай, они там доллары не солят и не в щи кладут?

— Бросьте вы эту политэкономию—ею мне в девках плешь проели!—добивала их Маша.

— Вы как старые граммофоны всё равно,—выступила тут одна, что отмалчивалась, копя против Маши аргументы.—Прямо пластинку у вас заело: «Америка» да «Америка»! Носитесь с ней, как дурни с писаной торбой,—слушать противно!

— А ты не слушай!—попробовали заткнуть её.

— Ну да, не слушай—зудите и зудите! А что такое ваша Америка? Вспомните! Съехались уголовники со всего света, договорились: давайте будем страной! И что они, с их люмпенской фантазией, могли создать, кроме царства голимого доллара? Конечно, доллар—довод сильный, а вот само название поприличней придумать—слабó?.. Ни языка, ни музыки, ни литературы, ничего-то своего, всё—воровство и подделка! Какая-нибудь крохотная Австрия или Голландия дала миру больше культуры, чем вся ваша хвалёная Америка!.. Нет такого государства—«Америка», нет такого народа—«американцы»: это же эрзац, синтетика, подделка под страну и под народ!..

Маша напряжённо, с неприязнью слушала: чёрт бы её побрал, эту выскочку! Сама ведь в раздражении может выдать не меньше, если не больше—у самой уже счёты с Америкой, но она своё право шкурой заработала, а этой-то чего надо? Язык, известно, без костей… Но следила и за реакцией остальных гостий на этот хлёсткий монолог, который, кажется, только для того и произносился, чтоб насолить Маше,—подруга явно нарывалась… А остальные помалкивают: то ли согласны, то ли—просто посмотреть, как Машка выкручиваться будет. В такой обстановке и спорить-то—только себе навредить… Но вот одна насмелилась восстановить равновесие в Машину сторону, хоть и не ахти как уверенно:

— Ну, уж ты совсем круто. А Твен, а Джек Лондон, а Фолкнер? Вроде бы мы их пока за американцев держим—или я чего-то не понимаю?

Кто-то подкинул ещё несколько имён… Тут *девки* поднатужились и начали сыпать именами, закидывая ими *крутую*; одних Миллеров и Вулфов чуть не десяток насчитали.

— Ну и что?—не сдавалась *крутая*.—Дюжина хороших писателей—ещё не литература!

— Загни побольше!—галдели *девки*.—Иногда и один стоит целой литературы!

— Да есть у них литература, не спорю!—уже нехотя соглашалась *крутая*.—Но это мы с вами их знаем, а поговорите с вашими американцами: кого любят они? Я общалась с ними, и я вас уверяю: они их знать не знают и знать не хотят!

— А джаз?—не унимался кто-то.

— Ой, уморите!—закатывала глаза *крутая* с ужимкой, которая должна была означать жгучую иронию.—«Джаз»! Да это всё равно что по частушке судить о русской музыке! Как же надо, девки, не любить России, чтобы вот так превозносить культуру американскую!

— Да никто не превозносит, но надо же отдавать должное!.. Что, и кино американское—его тоже нет?

— Ну, если вы считаете это кино со Шварценеггерами явлением культуры—я умолкаю!—иронизировала *крутая*.

И тогда вступила в спор Маша, негромко, но как-то так, что все разом смолкли: что же скажет она?

— И всё же Америка, девки, есть,—сказала она в наступившей тишине.—И американцы есть, сама проверила. А одного так даже люблю и готова душу за него отдать. И американская культура, воля ваша, есть. А кроме литературы и кино, есть ещё масса милых, добрых, порядочных людей. А кроме людей, есть ещё прекрасные дороги, дома, машины, товары, известные во всём мире,—это их, американская культура, которой они имеют право гордиться. А мы вот, кичась тысячелетней своей культурой, так и не научились ни работать хорошо, ни жить достойно. Хотя бы такую, как они себе, жизнь устроить не можем.

И спор как-то сам собой угас.

— Маш, а говорят, ещё какой-то американец с вами приехал?—полюбопытствовала одна из подруг.

— Приехал,—ответила она, удивляясь: ну и осведомлены!

— Хоть бы познакомила!

— Я не сводническое бюро.

— Шидловскую так познакомила!

— Ленка знаете сколько для меня сделала?

— Мы тоже можем.

— Тогда и поговорим.

— Да-а, мать, ты и в самом деле изменилась,—заключили подруги.—Там, видать, тоже не медово, если *даже тебя* в такую деловую перековали…

Нет, не принимали они её, новую, в свои—уже чужая, уже отторгнута, как ни старайся и ни лезь из кожи. Не все, конечно, но—большинство, и большинство это создавало атмосферу. Это что же? Сплачивает только нищета?

А *крутая* так прямо шипела в негодовании:

— Продалась ты, Машка,—купили тебя там задёшево!..

И никто не защитил, никто гусыне этой слова поперёк сказать не нашёлся. Ну да Бог с ними,

хоть и обидно. Что ж, одной утратой больше, одной иллюзией меньше; вот им, с их злостью и завистью, куда тяжелей… Так что пришлось за себя и тут постоять, дать отповедь резонёрше:

— Ну купили, ну продалась, раз тебе так угодно! Хоть, скажем, и не задёшево. Только я бы не продалась, я бы задаром и на всю жизнь отдалась какому-нибудь нашему мужичку подходящему — да вот никто не позарился. Так пусть хоть чужой попользуется. Что ж в этом зазорного — объясни мне, бестолковой!

Разговор замяли: «Ой, да не бери, Машка, в голову! Пьяные мы уже все…» — и заверили, что любят её по-прежнему — но имеют право высказаться начистоту?

Здесь всегда все начистоту — где же им ещё-то? Или уж забыла?..

Когда вспомнили про Ленку Шидловскую, всех заинтересовало: а как она там? — и потребовали отчёта и за неё тоже.

Ответила она общо и несколько туманно:

— Живёт. Но — сложно.

Женщины ждали подробностей — покров тумана только дразнил.

Маше бы приврать — сама ведь причастна, хотя виновной себя и не считает: ведь предупреждала Ленку, что называется, на берегу. Но если упрямой бабе что втемяшилось — десять умников не переубедят. И потому врать не стала — выдала всё как есть: вот вам, — чтоб знали: судьбой-то ведь ещё дорожить надо!

— Складывалось у неё, девки, всё настолько хорошо, что лучше, кажется, и не бывает: встретили мы её там, позвонили Николсу, тот примчался. Какой ни есть мужичонко, а самостоятельный: с домом и — при деньгах… И Ленка ему с порога, можно сказать, приглянулась: так и засветился; глазки блестят, морщинки разгладились, замурлыкал. И, надо сказать, покорил он её остроумием да галантностью; я и не подозревала за ним таких талантов — его часами слушать можно: прямо этакий петушок — каждым пёрышком так и сверкает! Куда до него моему Баку — клещами из него красивого слова не вытащишь!.. Ленка, конечно, тоже артистка ещё та — кому хочешь мозги запудрит, но, смотрю, растаяла в момент, как майский снег на черёмуху: она же хорошее слово чувствует и зажигается быстро. В общем, тут же, на наших глазах, спелись, и в тот же вечер он её умыкнул… И зажила она у него, как у принца в сказке; ещё краше стала, ко мне и дорогу забыла; по телефону — всё только Стив да Стив, да какой он у неё молодец, да как не жалеет для неё ничего: и туалеты умопомрачительные, и бриллиантики разные, и знакомства интересные… Ошалел просто старичок от нашей дивы. Тютчев, девки, чистый Тютчев: всё вам тут — и блаженство, и безнадёжность!.. А я только радовалась: ну наконец-то нашла баба своё счастье, успокоилась. И за себя рада: есть подруга до скончания дней — чего ещё надо?.. Но зря я радовалась. Нет, девки, некому нас учить уму-разуму… Жили они вот так, душа в душу, месяца, наверное, четыре, а потом началось… Ох, это заполошное бабье нутро: бури ведь непременно нам всем подай, атмосферы, покой нам, видите ли, только снится!..

— Так что началось-то? Что началось? — торопили Машу, ушедшую от темы в свои мысли и, наконец, остановившуюся перевести дыхание.

— Да «началось» — это, наверное, не совсем и точно, — продолжала она. — Там это никогда и не кончалось — просто на время ошалело от неожиданности и проходило адаптацию… Ну, Ленкин язычок вы знаете, а Стиву тоже пальца в рот не клади: хоть и британских кровей, а женщине по-джентльменски ни в жизнь не уступит — не хуже наших. И вот, представьте, эти две стихии схлестнулись, и заштормило у них на все десять баллов… Заезжаю однажды — двери настежь, никого: наш университетский городишко тихий, закрываться на замки не принято, а я ещё утром ей позвонила, что заеду; прохожу в холл, слышу: ругаются молодожёны наши, пыль до потолка, причём прямо в столовой их почему-то припекло. Ну, думаю, пережду: чего в семье не бывает? Может, это у них любовь такая? Сажусь в кресло, беру журнал…

— Подслушала? — подсказали подруги.

— Ей-богу, не хотела! На что мне эти их дрязги? У меня своих забот по горло! — оправдалась Маша. — Да как-то и не принято у них там лезть в чужие проблемы, на подмогу кидаться. Даже хотела улизнуть, но уж так круто у них разговор сразу взмыл — подожду, думаю, как бы чего сгоряча не натворили, — опять остановилась она перевести дыхание.

— И что же за крутой разговор? — нетерпеливо наседали подруги.

— Да шибко уж он на неё кричал — что-то, думаю, моя Ленка успела набедокурить. «Как тебе не стыдно? — аж захлёбывается он от возмущения. — Я тебя приютил, я тебе крышу над головой дал, а ты!..» А она ему, соответственно: «Нужна мне твоя крыша, как зайцу — чепчик! Я и без твоей крыши проживу, ты мне только деньги отдай!» А он ей: «И не подумаю — я тебя как есть из дома выставлю! Ты только из-за них за меня вышла, и денег моих тебе не видать!» А она ему: «Ха-ха-ха, да я их у тебя через суд вытрясу — раскошелишься как миленький!» А он: «Ни один суд твою сторону не возьмёт — это вымогательство, это мошенничество, это издевательство над американцем!» — «Ну и сиди, — кричит она, — на своих деньгах, жмот дерьмовый! Я тебя презираю, я плюю на тебя!» — «Нет, — кричит он, — я тебе, конечно, дам денег — я расплачусь с тобой за постель!

Но я,—кричит,—дам тебе ровно столько, сколько ты заработала, тварь продажная!»—«Это я-то продажная? Я продажная?—кричит в ответ эта дура.—Сам ты дерьмо продажное—это я тебя купила вместе с твоими вонючими долларами вот за это, за это, за это!»—и только слышно, как она себя шлёпает по телу,—ей-богу, девки, играть этот спектакль ей удовольствие доставляло—просто чувствую, с каким она блеском свою роль ведёт и как заводится по ходу; даже не глядя на неё, я тащилась от её вдохновения—как взяла журнал, севши в кресло, так и замерла с ним в руках, даже не раскрывши: вот будто радиоспектакль слушаю по Эдгару По вперемешку с О. Генри. А Ленка знай орёт: «Да ты за счастье должен почитать, что с тобой живёт такая молодая, красивая женщина, ты мне ноги целовать должен, ты должен меня одевать, заботиться обо мне—а ты?! Жмот ты несчастный!» А он: «Тебе—ноги целовать? Это, может, только у вас там *такие* ноги *таким* женщинам целуют!»—прямо в сердце поразил её своим сарказмом; а у него пунктик есть—боязнь заразиться, так он её просто заколебал: без конца заставлял мыть руки, ноги, подмываться, правильно есть, правильно унитазом пользоваться. Это Ленку-то! Представляю, до какого бешенства он её доводил… Ну, тут уж она взвилась не понарошку. «Да ты ничтожество!—кричит.—Взгляни на себя в зеркало, урод ты убогий! Клоп ты, который мою кровь сосёт! Вурдалак! Писателишка несчастный! Я тебя просто пожалела!» А он ей—с таким уязвлённым чувством самомнения: «Я—несчастный писателишка? Ты, дикарка, что ты понимаешь в писательстве?! Меня вся Америка читает!» И что, вы думаете, она? Она ему: «Ну и пусть тебя твоя Америка читает—она твоих книг достойна, а я тебя не читала и читать не буду: твои книги—дешёвые поделки!» Тогда он, очень даже спокойно—взял, видно, себя в руки, переменил тактику и говорит: «Ах, так? Ну и катись—таких, как ты, я дюжину завтра куплю». А она ему: «Ты? Дюжину? Ха-ха-ха! Да ты импотент, милый мой старикашка,—на одну-то меня у тебя пороху не хватает, не то что на дюжину!» Стив тут как взорвётся с новой силой, будто ему в печку бензинчику плеснули: «Я? Импотент? Да на меня ещё ни одна женщина не жаловалась! Ты же не женщина, ты просто дикая коза—ты не умеешь быть женщиной!» Тут уж настала Ленкина очередь. «Я?—взвилась она.—Не умею? Кто бы говорил! Вот сейчас пойду, найду мужика и буду трахаться с ним под твоими окнами, а ты посмотри: умею—или нет? Пусти меня!»—«Никуда ты не уйдёшь, дрянь такая, или я тебя сейчас убью!»—рычит Стив, а она ему: «Ну и убивай! Убивай! Я всё равно пойду…» И вот они там возятся, а я чувствую, что пора вмешаться, и неловко мне, и стыдно, и пока я так колебалась и думала, что делать,—слышу: баба-ах! У меня сердце в пятки: ну, думаю, всё, конец моей Ленке—вот дура-то, накаркала на свою голову,—и боюсь туда: сейчас он и меня заодно укокошит, как Раскольников Лизавету! Надо, думаю, полицию звать—телефон прямо тут, на столике,—и ещё думаю: господи, вот влипла-то! И что я тут делаю? Поди докажи кому, что не сообщница!—а сама трясусь, как овечий хвост, пальцем шевельнуть не могу, и всё это, заметьте, в течение одной, наверное, минуты, ну двух, не больше. Потом, слышу, опять возня, опять пыхтение!.. Господи, да что же там такое? У меня волосы дыбом; в мыслях: он её там, наверное, добивает, полуживую, терзает в порыве ненависти—с него и это станется… И тут, представьте себе, из столовой вылетает Стив! И оглядывается, будто за ним гонятся, а за ним на пороге—кто бы вы думали?—Ленка! Живая и—с пистолетом в руке! Ну, думаю, и номера у них тут откалывают!.. Правда, видок у неё тот ещё: истерзанная вся, блузка разодрана, грудь наружу—а грудь у неё, девки, такая, что не стыдно и вывалить… Правда, и Стив тоже изрядно потрёпанный выскочил: глаза дикие, морда исцарапана, по щеке кровь льётся. Я ему: «Стив! Ты ранен?»—а он мне: «Иди в задницу—не до тебя мне тут!» А Ленка увидела меня и давай орать: «Машка, ты? Ты видишь? Подтверди, что он меня убить хотел!» А я ей отвечаю: «Я вижу только, что у тебя в руках пистолет!»—«А-а, это?—смотрит она на пистолет, как будто впервые его видит.—Так он им и хотел меня прикончить! Ты же тут была, слыхала?» А у меня—недоумённый вопрос в голове: если он её убить собрался—так зачем ему её раздевать? Ничего не понимаю!.. Думаю так, а сама кричу: «Ничего я, Ленка, не видела и не слышала—я журнал читала и думала, вы там меню на завтра обсуждаете!»—«Предательница!»—кричит в ответ… Вот интересно: а кто предательница-то? Ей, видите ли, фигли-мигли, а мне тут—жить! На кой чёрт, спрашивается, мне эта их грызня, терять сразу двух друзей, когда их у меня там и так раз-два и обчёлся?.. Я снова к Стиву—уж он-то поблагоразумней: «Ну зачем ты с глупой женщиной связываешься?»—а он мне: «Не знаю,—кричит,—глупая она или нет, но свирепости у неё на трёх крокодилов хватит!» И чувствую—бесполезно объяснять, что сам виноват: зачем дразнить сразу трёх крокодилов? Я ему—стараясь спокойно: «Стив, я сейчас увезу её к себе—остынете оба, тогда и поговорим».—«Увози,—кричит,—и чтобы глаза мои больше её не видели! Я её убью!..» Ладно, забрала, привезла домой, устроила прочуханку: «Какого рожна, говорю, тебе, дуре, надо? Что ты тут за кровавые спектакли устраиваешь, чего ты от него ещё хочешь, и что ты тут без него, интересно, делать будешь? Кому ты нужна? В тюрьму захотела? Это в кино у них всё просто: восемь пуль, десять дыр,

отряхнулся и пошёл,—а в жизни как загремишь годков на двадцать, и ни товарищеский суд, ни папин блат тут не помогут. Не будь дурой—всмотрись в него получше, разберись, найди себя возле него!..» Куда-а там! У неё одно на уме: «Я что, всю жизнь теперь возле него сидеть должна? Нет уж, спасибочки, я ещё молодая!»—«Ну молодая, так что? На панель теперь, раз молодая?..» А дело-то в том, что она, оказывается, успела снюхаться с одним нашим обормотом: моложе её лет на семь, свалил из Москвы в красивую жизнь, делать ни черта, конечно, не умеет,—и начал её трясти: уже и доллары, и бриллиантики из неё повытряс, и чуть ли не сговорились тряхнуть Стива покрепче, пакость какую-то уголовную задумали; а Стив, старый лис, не будь дураком, смекнул, чем пахнет, нанял частного детектива, и тот в два счёта нашу гастролёршу вместе с этим типчиком вычислил и представил Стиву чистые улики: фотографии недвусмысленные и чуть ли не запись их воркотни на любовном ложе. Ну, Стив и взбеленился... А я ведь помирила их тогда. В лепёшку разбилась, а помирила—ох, неохота было мне её терять! Да Стив любит эту стерву; втюрился в неё, как мальчишка, и все её выходки готов простить: мазохист, что ли,—или просто ему как писателю надрыва не хватает?.. Так она с него сначала стребовала новый контракт, потом опять удрала и теперь судится с ним, надеется вытрясти из него чуть ли не полмиллиона, а он, дурачок, всё надеется её вернуть и меня подбивает уговорить её... Вот вам и Ленка! Нарочно всё вам выдала как на духу—потому что она меня уже достала: можете себе представить, как она меня подставила и какое теперь мнение о нас обо всех в нашем городишке, где все знают друг друга как облупленные и где впервые в жизни видят русских женщин?!.. Вопросы есть?
— Где она сейчас?
— А чёрт её знает? Где-то в Америке... Ну и что? Позавидовали ей? А для меня она, как хотите, лишь несчастная дура, которую, будто вот листок, сорвало с дерева и носит в океане. Так что лучше пожалейте её—чтоб хоть куда-нибудь выплыла, а не захлебнулась бы в нём...

И все затихли на минуту, наверное, представив себе Лену, одну в океане,—и, может быть, в тот миг ей икнулось на другом конце мира, и она вспомнила их всех, и душу её пронзил некий свет и наполнило тепло?

Уже ночью, когда спровадили гостей, хозяйка квартиры оставила Машу ночевать у себя, и они с Машей ещё битых два часа сидели на кухне. А когда улеглись—Маша, лёжа в потёмках на чужом диване в хрустящих свежих простынях, долго ещё перебирала все детали встречи. Казалось, собою она была вполне удовлетворена; только одна деталь мешала ей успокоиться—этот её подарочек начальнице, злополучный пакет с кондомами... Она так живо предвкушала мстительное удовольствие, с каким вручит его ей: «Вот вам—за всё, что вы для меня сделали!»—а вручить-то и не смогла, струсила, и теперь, когда уже ничего не вернёшь и осталось лишь торжествовать, так вдруг стало стыдно, что она, несмотря на темноту в комнате, почувствовала, как краснеет... Нет, не изменилась она, не распрямилась, не освободилась ни от чего, а как была мелочной и злопамятной, никому ничего не прощающей затравленной зверушкой—так и осталась. И изменится ли когда-нибудь?.. От этого ей было печально и обидно.

19.

Стоя на перроне под часами, Маша отыскала глазами отца в густой толпе только что приехавших и кинулась к нему:
— Здравствуй, папка!.. А мама? Почему ты её не взял?
— Да заболела мать, эт-то... чувствует себя неважно,—отец смущённо откашливался, прятал глаза и разводил руками; в одной руке у него болталась пёстренькая матерчатая сумка.
— Врёшь ты, по глазам вижу—врёшь!—возмутилась она; вздохнула.—Ладно, пойдём. Хорошо хоть, сам приехал,—и взяла его под руку.—А это что у тебя?—обратила она внимание на сумку, подозрительно звякающую стеклом, пока они спускались по полутёмной лестнице в подземный переход; она на ходу отобрала сумку и заглянула в неё—там брякали аж три бутылки коньяка, причём одна из них уже почата и заткнута бумажной затычкой.—Ну зачем, отец? Я ж говорила: не надо, сама всё куплю!.. А ты уже успел, да?—сквозь запах дешёвого одеколона, которым был основательно полит отец, до неё донёсся ещё и запах алкоголя, густо идущий от него с дыханием.—Я ж тебя как человека просила!
— Да я чуть-чуть всего, во-от сто-олечко!—ёжась под укоряющим взглядом дочери, он показал пальцами крошечный зазор.—Я же трезвый, доча, я всё понимаю! Буду как стёклышко, даю слово! Подумаешь, американец—чести не уроним, не боись!

А выглядел он между тем совсем даже и неплохо: свежий, загорелый, румяный (не от коньяка ли?); тёмные, без единой сединки, расчёсанные его волосы лежали крупными волнами; светло-кремовая свежая рубашка, ярко-карминного цвета галстук с серо-стальной полосой наискось, серый же добротный костюм и светлый плащ нараспашку—постаралась, собрала мамочка!
— Ладно, смотри у меня!—строго сказала она.

Пройдя по подземному переходу и поднявшись затем по лестнице, они вышли через вокзал на привокзальную площадь. Маша остановилась и не очень уверенно, оценивая возможности отца, произнесла раздумчиво:

— Знаешь, что нам с тобой ещё нужно сделать? Мы с Баком решили подарить вам цветной телевизор. Сможешь потом увезти домой?
— За кого ты меня держишь? И делать нечего! — напыживаясь, заверил её отец.
— Тогда поехали, — решительно взяла она его под руку.

Через два часа с громоздким телевизором в картонной упаковке они прикатили на такси в дом, который снимал Макс, и втащили его в Максову комнату — Маша договорилась с Максовым дружком-художником Колей, что, пока Макса нет, поселит здесь на два дня родителей; там же она наметила и встречу их с Баком: дом, по её расчёту, был максимально приближен к деревенским условиям, и родители в нём должны были чувствовать себя если и не как дома, то, во всяком случае, на нейтральной территории — здесь им будет легче, — так решила Маша. Предусмотрела даже, как объяснит Баку её причастность к дому: пусть это будет дом её дальней родственницы, тётушки, которая сдала дом художнику Коле, и Маша имеет право в экстренных случаях на пару деньков Колю потеснить — и пускай, кому надо, докапывается до правды!

А время уже к обеду… Чтоб отец не болтался без дела, Маша заставила его вытащить из коробки телевизор, поставить на ножки, настроить и проверить, как он работает, а сама меж тем его матерчатую сумочку с коньяком отнесла на кухню и сунула там подальше от глаз. Затем попросила Колю съездить за Баком и Грегором в гостиницу; хоть она и дала Баку подробный адрес — но беспокоилась, как бы те что-нибудь не напутали и не заблудились в городе, а Колину жену Алёну, мечтательную и страшно медлительную молодую женщину с блуждающими где-то в потёмках души глазами, попросила помочь накрыть на стол; они с Машей начали кухонную возню с раннего утра, а когда Маша поехала на вокзал встретить отца, то наказала Алёне кое-что сделать, но та так ничего и не успела.

Отец, скорый на руку, поставил, подключил и настроил телевизор, однако смотреть его у него уже не было терпения: явно волнуясь перед встречей с заморским зятем, он не находил себе места, слонялся по дому, без конца бегал на веранду курить и, как нетерпеливый ребёнок, всё справлялся у Маши: когда же они, наконец, приедут?.. «Приедут!» — успокаивала она его, занятая хлопотами, сочувственно на него поглядывая: эх, папка, папка, заяц ты, заяц! Америка-анцев, видите ли, не боимся, че-ести не уроним!.. Ну-ну…

И тут вдруг обратила внимание, что лицо его покраснело, глазки залоснились, волосы взмокли и свалялись, галстук съехал набок, и весь он как-то сник и съёжился, а главное — у него стал заплетаться язык. Кинулась в кухню, заглянула в уголок — так и есть: матерчатой сумки с коньяком уже нет! Ну шельма, ну бедокур — нашёл, пока она бегала туда-сюда!
— Папка! — с гневом подступила она к нему, уперев руки в бока. — Как тебе не стыдно? Зачем ты так?
— А чо я? — притворно захлопал глазами отец.
— Зачем коньяк взял?
— Да, в конце концов, доча, это мой коньяк: хочу — пью, хочу — вылью! — сразу захорохорился уличённый отец. — Ты не бойся, в-всё б-будет н-нормальненько, просто о'кей! — уже заикаясь и размахивая руками, бормотал отец.
— Эх ты-ы! — только и успела она укорить его — тут как раз прибыл Коля с американцами: вся компания шумно вваливалась в двери.

Она побежала на кухню дать последние указания Алёне и сразу же вернулась знакомить Бака с отцом.

Оба американца — и Бак, и его знакомый Грегор — выглядели весьма респектабельно: оба высокие, в лёгких, отлично сшитых костюмах светлых тонов, в белых сорочках с яркими галстуками, загорелые, причёсанные, улыбающиеся, светящиеся добросердечием и открытостью лиц, — отец Машин, на голову ниже их, сутулый, с висящими почти до колен узловатыми руками, выглядел рядом с ними очень уж мешковато: добротный костюм его из толстой шерсти топорщился, кисти рук тонули в рукавах, а ботинки — в штанинах… Однако — странное дело: сверстник их по возрасту, он выглядел при этом свежее их и моложе; на их лицах сквозь ослепительные белозубые улыбки и тонкую паутину морщинок проглядывала усталость и некоторая вымученность, а лицо отца безо всякого выражения на нём было безмятежно, как у младенца.

Отец, очарованный приветливыми улыбками американцев, энергично тряс им руки, представляясь каждому: «Василий… Василий», — хлопал их по плечам и спинам и, стараясь в ответ быть на свой манер приветливым, сразу оживлённо заговорил, обращаясь к дочери:
— Не-е, ё-мое, Машка, мужики что надо, я таких люблю! Простые, видать, душевные! Во мужики! — и задирал большой палец.

Маша переводила его сбивчивую речь, сама при этом переговариваясь с Баком; Бак и Грегор кивали, смеялись и тоже говорили, уже между собой, о том, что Машин отец, «Бэзил», по всей видимости, человек душевно здоровый, непосредственный и добрый, так что вся сцена знакомства и перекрёстных разговоров превратилась в шумную, путаную, неуправляемую кутерьму. А Маше надо было ещё поторапливаться с обедом, поэтому она оставила мужчин на некоторое время одних, мирно, как ей показалось, беседующими каждый на своём языке: как-нибудь разберутся между собой и обнюхаются!

В просторной Максовой комнате, где, кроме большого стола, стоял ещё и журнальный, на низких ножках, и по бокам от него — два кресла, а рядом ещё и купленный только что телевизор, стало тесно от гостей. Между тем Машин отец, завладев американцами, на правах хозяина усадил их в кресла, включил для них телевизор, а сам, зорко высмотрев, когда дочь, совсем сбившаяся с ног, выбежала зачем-то на веранду, принёс с кухни три стакана, достал две непочатых бутылки коньяка и, объясняя американцам, внимательно следящим за его манипуляциями: «Счас, мужики, мы это… за знакомство, на троих», — присел на подлокотник Грегорова кресла, с опаской поглядывая на прикрытую дверь, на всякий случай загородил столик своей широкой спиной, затем ловко движением пальцев распечатал одну из бутылок и, опрокинув вверх донышком, быстро опорожнил её в стаканы, так что они на три четверти наполнились тёплого коричневого цвета густой влагой, и взял стакан в руку.

— Коньяк, — пояснил он. — Армянский. Специально для вас вёз. Хороший коньяк, проверено! — он опять поднял большой палец и прищёлкнул для убедительности языком.

— О-о, коньяк! — воскликнули американцы почти по-русски, взяв по стакану, осторожно понюхали содержимое и покивали головами.

— Да-да, коньяк, коньяк! — радостно закивал Василий, ласково обняв Грегора за шею, чокнулся стаканом с обоими и добавил, кратко и вдохновенно: — Ну, мужики, за знакомство! — затем шумно выдохнул и разом опрокинул стакан в себя.

Американцы с удивлением и уважением проследили за ним, сделали по глотку и, держа свои стаканы в руках, снова закивали головами и залопотали по-своему, давая понять, что коньяк хороший.

— Коньяк — ка-ра-шо, — медленно произнёс улыбающийся Бак.

— Смотри-ка ты, по-русски лопочет! — умилённо рассмеялся Василий.

Пьянея на глазах и всё елозя рукой по шее Грегора, он стал уговаривать американцев последовать его примеру:

— Раз подняли, мужики, — надо пить, нечего держать! Так у нас не полагается! Ну, подняли, подняли и — р-раз!..

Но те то ли не понимали, то ли попросту игнорировали его призывы; Василий же наседал и требовал, показывая рукой, что надо делать с коньяком; американцы поддавались, но неохотно, продолжая делать по осторожному глотку; и всё же по половине стакана успели одолеть.

— Ф-фу-у! — тяжело вздохнул Василий. — Ну немтыри проклятые! Ну нерусские …, … … … … … … …, — выплеснул он длинную нецензурную тираду, устав объясняться с ними и совершенно выбившись из сил, так что даже вспотел от напряжения и лишних движений.

Решив передохнуть, извлёк из брюк мятую пачку папирос и жестом предложил закурить. Те жестами же вежливо отказались. Василий закурил и, пуская длинную струю дыма в собеседников, продолжил с ними беседу.

— Но, в общем, всё равно вы хорошие мужики! Душевные, хоть и пить не умеете. А в тебя я так просто влюбился! — сказал он Грегору; продолжая сидеть на подлокотнике его кресла, то обнимая его, то ероша ему волосы, он теперь, расчувствовавшись, крепко притянул его к себе и расцеловал в губы.

Грегор, долго терпевший его приставания, побледнел от бешенства и резко оттолкнул Василия, а поскольку был намного крупнее и сильнее его — тот, совершенно не ожидая толчка, слетел с подлокотника и брякнулся на пол.

Бак бросился помочь ему подняться, но Василий, хоть и был пьян, по-кошачьи быстро вскочил, оттолкнул Бака и со свирепо перекошенным лицом кинулся на обидчика, изрыгая на одном дыхании неудержимую, словно селевый поток, длинную и витиеватую матерную фразу:

— Ах ты, гад, … твою …, … ты …, … тебя …, … тебе …, … на тебя … Ты — на меня? Я к тебе как человек, а ты? — рывком дотянулся до опешившего Грегора, продолжавшего сидеть в кресле, и намертво вцепился сильными, как тиски, пальцами в лацканы Грегорова пиджака, хотя Василия уже оттаскивали, держа за руки, Бак и прибежавший на шум из своей комнаты Коля.

Загремел опрокинутый со своих ножек новый телевизор, загрохотал опрокидываемый столик; звеня и рассыпаясь в осколки, полетели на пол стаканы и бутылки, и в довершение всего треснул отрываемый лацкан Грегорова прекрасного пиджака — всё это молниеносно, секундами, так что когда прибежала Маша, отец её, крепко удерживаемый Баком и Колей, уже стоял со своим трофеем — намертво зажатым в кулаке длинным куском лацкана вместе с отхваченной от пиджака полой — и всё ещё рычал и рвался, а сам Грегор удивлённо рассматривал на себе разодранный пиджак.

— Господи, опять скандал! Ну что мне с тобой за наказанье! — схватилась Маша за голову, увидев столик и телевизор вверх ножками, осколки по всему полу, запах разлитого алкоголя, истерзанного Грегора и, наконец, самого отца, рвущегося из рук, изрыгающего матерщину и потрясающего куском пиджачной ткани, словно захваченным у врага знаменем. — Какая же ты, папка, скотина, какой нелепый человек! — с безнадёжным отчаянием в голосе кричала она ему. — Ну что ты творишь?! Что ты мне обещал? Напился опять, как свинья! Неужели не можешь хоть день побыть в нормальном обличье?

Василий, кажется, даже не слыша её, мотал побычьи головой, продолжал рваться из рук Коли и Бака и изрыгать ругательства.

— Что он говорит? — с тревогой спросил Бак.

— Это непереводимо! — ответила она. — Что стряслось? Отчего он взбесился?

— Это он, твой сукин сын, дерётся — я его не трогал! — кричал Василий дочери, показывая на Грегора.

— Простите, я не хотел, но мне было крайне неприятно, — оправдывался, в свою очередь, перед Машей Грегор, снимая изодранный пиджак.

— Он весьма усердно поцеловал Грегора, — усмехаясь, пояснил Бак.

— Я те дам! Я те покажу! Руку на тестя? Ты у меня ещё попляшешь! — продолжал рычать Василий.

Вот оно что! Выяснилось, наконец: отец в кутерьме, конечно же, всё перепутал и за своего зятя принял Грегора!.. Маша, извиняясь за отца, кое-как растолковала Грегору, что когда пьяный русский мужчина целует другого мужчину — ничего в этом обидного нет, это знак дружеского расположения, не более того; затем втолковала отцу, что, во-первых, его зять — не Грегор, а Бак, а во-вторых, у них не принято целовать мужчине мужчину — это оскорбляет, и решительно потребовала прекратить ругань и извиниться.

Василий, став центром всеобщего внимания, ругаться перестал, но закуражился: потребовал водки — выпить с американцами мировую. Маша, быстро убирая с помощью совка и веника осколки и заставив мужчин поднять и поставить столик и телевизор, попыталась при этом устыдить Василия:

— Сколько можно, отец? Тебе надо упиться до поросячьего визга? Посмотри, что ты уже натворил!..

Бак же, ничего не понимавший в препирательствах Маши с отцом, но, видимо, вникая в её проблемы, осторожно выразил своё несогласие с её категоричностью:

— Если хочет — зачем его ограничивать? Он же взрослый человек!

— Ах, не тот, Бак, случай быть добрым — нельзя ему больше ничего! — в отчаянии возразила она ему.

Ей было стыдно сказать, что отец сейчас просто свалится мертвецки пьяный, а Бак никак не хотел понять: почему — нельзя, если Василий хочет? Ей казалось, что муж просто смеётся над нею и над отцом… Василий же, чуя в Баке сторонника, продолжал куражиться, уже над дочерью:

— Жалко, да? Мой коньяк разлили, а теперь жмёшься?

— Молчи! Это кто, интересно, разлил? — шипела, негодуя на него, Маша.

Однако Бак мягко, но упрямо настаивал: надо как-то исчерпать конфликт.

— Вы что, сговорились? — воскликнула она, наконец, в отчаянии. — Ах, да делайте что хотите: пейте, упивайтесь! — ушла и демонстративно принесла на подносе три наполненных рюмки. — Пожалуйста!

Бак заговорщически, сам предлагая примирение, подмигнул Василию; Василий же, взяв рюмку, чокнулся с Баком и Грегором и провозгласил:

— Ладно, мировую, мужики! Русский с американцем — друзья! Фрэнд! — вспомнил он вдруг весьма кстати одно из скольких-то выученных им давным-давно в школе английских слов, и улыбнувшиеся американцы закивали:

— Фрэнд! Фрэнд!

— Пьём! Дринк! — вспомнил он ещё одно слово, выпил сам и заставил всех мужчин выпить до дна: — А ну, давай, давай, давай!

Американцы, выпив, раскраснелись, разулыбались и уже шутливо передразнивали Василия: «давай-давай»…

Выпив и снова придя в благодушное настроение, тот скинул с себя пиджак и решительно протянул Грегору:

— Бери! Бери, не стесняйся, дарю взамен — пиджак хороший!

Грегор стал отказываться; Василий взялся было надеть его на Грегора силком; Грегор снова начал сердиться, и Василий понял, наконец, что перебирает.

— Э-эх, не твоя и не моя! — махнул он рукой, скомкал свой парадный пиджак и зашвырнул куда-то в угол. — А теперь — споём! — объявил он, обняв обоих американцев сразу. — Жаль, аккордеона нету, а то б я счас вам выдал!.. Но спеть надо! — и он, несмотря на то, что пьян, вдохновенно, сильным звонким тенором заправского запевалы затянул: «Расцветали яблони и груши…» — теперь уже подталкивая американцев локтями и дирижируя им, и те под его неудержимым напором, ей-богу, стали ему подпевать!..

А Василий был просто счастлив: он самозабвенно пел, он был в ударе; пьяное веселье, сумбурные гулянки, галдёж, песни, музыка — это была его стихия, и он в неё погружался, с восторгом захлёбываясь в ней и заражая всех вокруг неумеренным своим, буйным, всесокрушающим весельем.

Маша, прислушиваясь к их нестройному пению и беспокоясь, что отец доведёт их до белого каления, поторопилась прекратить это сомнительное веселье, решительно пригласив гостей к столу в общей гостиной. И они не заставили себя упрашивать — тотчас пошли, причём отец шёл в обнимку с американцами.

Подойдя же к столу, все разом остановились, удивлённые: он бил в глаза обилием и разнообразием блюд, бутылок с винами и напитками, яркими букетами цветов в вазах. Нет, не зря женщины сбились с ног — они постарались на славу! Маша с Алёной стояли в сторонке, глядя на реакцию мужчин.

Бак галантным движением руки пригласил Машу сесть, придвинул за нею стул и сел рядом,

и тотчас же по другую руку от Бака уселся было Василий, но Маша заставила его сесть рядом с собой. И Алёна села, и Грегор. Не было только Коли—куда-то успел убежать в суматохе. Маша, уже на грани нервного срыва, нетерпеливо крикнула в пространство дома:

— Коля, сколько можно? Давай быстрее—мы ждём!

И он появился—но в каком виде! Все невольно повернули к нему головы.

А внимание он действительно привлекал: белобрысенький, с тонким бледным личиком, с большим лбом, с залысинками на нём, несмотря на молодость, и со скошенным подбородком, невзрачный, в общем-то, парень—он, чтобы доставить удовольствие гостям-американцам, вырядился в майку, раскрашенную в цвета американского флага: по торсу—красно-белые полосы, на плечах—белые звёзды по синему полю, а на груди—белоголовый орёл с золотым клювом.

Ну и что, казалось бы, тут такого? Просто у парня, мнящего себя художником, со вкусом туговато, только и всего; тем более что маек этих нынче на юнцах по городу—видимо-невидимо!

Но Бак с Грегором удивлённо воскликнули при виде этой Колиной майки и, даже не сговариваясь, встали за столом и, осияно выпялившись на глупого Колю, как верующие—на икону, грянули ни с того ни с сего свой американский гимн, размахивая руками, дирижируя самим себе, чтобы получилось постройнее да послаженней. Ну что с них возьмёшь? Вроде бы шутливо запели—пьяненько улыбаются, смешно машут руками, будто взлететь хотят; однако никакого оживления из этого не получилось: не замечая неловкости за столом, пели они утомительно долго и нудно… Василий, имея чуткий слух, моментально поймал мелодию, попытался им подпеть, но, не понимая ни слова, махнул, в конце концов, рукой и умолк. Коля же, желавший порадовать или позабавить гостей и не ожидавший такой серьёзной реакции, стоял, сконфуженный, посреди комнаты, переминаясь и опустив руки, не зная, что делать. А у Маши на глаза навернулись слёзы: «Господи, ну что за идиоты эти мужики! Сумасшедший дом какой-то!..»

— Сядь, хватит мозолить глаза!—рявкнула она в сердцах на Колю, и когда тот, наконец, уселся, поднялась, решительно беря председательство за столом на себя, жестом остановила бесконечное пение Бака с Грегором: пусть себе обижаются!—и попросила Бака открыть шампанское и наполнить бокалы.

А когда тот открыл бутылку и её обнесли вдоль стола и наполнили бокалы—попросила поднять их и сказала по-русски и по-английски:

— Разрешите напомнить вам, ради чего мы здесь собрались. Сначала я предлагаю выпить это шампанское за родителей. Не только за моих—пусть каждый вспомнит о своих и выпьет за них… Может, у кого-то и лучше папка с мамкой, а у меня—вот такие! И мамка такая же,—безнадёжно махнула она рукой.—Может, они многое недопонимают, грубоваты и слишком просты, но они сумели дать каждому из нас по такому бесценному подарку, как жизнь. Поэтому будем бесконечно благодарны им уже за это и не будем судить их слишком строго…

20.

Как только Бак проснулся в их гостиничном номере, Маша, уже привыкшая спать у него под мышкой: закатится под бочок, свернётся калачиком и дрыхнет, как зверушка!—тоже тотчас проснулась. Бак, по своему обыкновению, хотел сразу встать, но она крепко обвила его руками; он попытался мягко высвободиться; тогда она стала его щекотать, зная, как он боится щекотки; он только беспомощно отбивался и младенчески хихикал. Подобными уловками ей удавалось удержать его в постели хоть ненадолго.

— Как ты себя чувствуешь?—спросила она.

— Голова болит,—признался он.

— Бедный,—пожалела она его, погладив по щеке.

А тот сразу насупился:

— Я не бедный!

— Милый, прости,—промурлыкала она.—В русском языке, Бак, слово «бедный» имеет массу оттенков: и жалости, и любви, и нежности,—и, чтобы совсем уж сгладить свой промах, навалилась белой мягкой грудью на его красную от загара, жёсткую и костлявую, в рыжих клочкастых волосах грудь и стала энергично массировать ему пальцами лоб, виски, шею, плечи, дурашливо при этом *заговаривая зубы*:—Сейчас прогоню твою боль! Смотри мне в глаза и слушай! Пусть сердце твоё бьётся сильно и упруго, пусть все твои кровеносные сосуды расширятся и станут гибкими и мягкими, как у ребёнка, пусть твоя кровь бежит по ним быстрым неудержимым потоком и всё чисто-чисто промоет от холестерина, от извести и всяких солей, и пусть промоет дочиста все извилинки твоего мозга, все нейрончики твоего серого вещества, всю твою корку и подкорку, все мышцы, связочки, органы, и эту вот твою славную штучку, и пусть твоя кровь вынесет из тебя все-все шлаки и алкогольные пары, и ты почувствуешь, как твоя голова снова становится ясной-преясной, умной-преумной, полной гениальных мыслей!.. Ну вот, теперь тебе легче?

— Конечно!—добродушно улыбаясь, кивал он.

— Со мной не пропадёшь: от чего хочешь излечу!.. Ты знаешь, моя деревенская бабка была колдунья—честное слово!—так я—в неё. Я её только однажды видела—маленькая была, и как зареву, увидевши её,—еле уняли: такой она мне показалась страшной. Я подозревала, что она только притворяется, будто среди людей живёт, а на самом деле—в лесу

под корягой, и что она меня когда-нибудь заговорит и с собой заберёт — такая вот в ней была одержимость дремучей силой. И, чувствую, мне от неё что-то передалось: во всяком случае, боль заговорить умею… Я ведь и любовь твою заговорить могу, — лукаво взглянула она на него.
— Хм, — недоверчиво качнул Бак головой.
— Вот тебе и «хм»! Хочешь?
— Попробуй, — заулыбался Бак.

Снова навалившись на него и продолжая растирать ему лоб и виски, она стала напряжённо смотреть ему в глаза и бормотать нарочито низким, хрипловатым голосом старухи-колдуньи, стараясь при этом тщательнее переводить на английский язык русские обороты:
— А вот пойду-ка я, раба Божья Маша, из дома — да в двери, а из дверей в чистое поле, а в том чистом поле бел-горюч камень Алатырь лежит, а на том камне сидит Тоска, плачет-рыдает, белого света дожидается, и слёзы у неё из глаз ручьём бегут, в синие озёра оборачиваются. А как увидит Тоска: красное солнышко всходит да землю румянит, — и возрадуется: как вскочит да как запляшет, ручками белыми машет, озёра расплёскивает! И поёт-то она чудно, и смеётся — яркое солнце встречает, ликует-радуется… Вот так бы и ты меня, муж мой драгоценный, дожидался, радовался и веселился, на меня глядя, и не мог бы без меня ни есть, ни пить ни на вечерней заре, ни на утренней, ни при красном солнце, ни при ясном месяце, ни при частых звёздах! Как вода в реке течёт — не иссякнет, так бы и мысли друга моего задушевного ко мне текли; как телёночек к матке тянется, так бы и сердце мужа милого к моему сердцу тянулось-прикипало; как люди смотрят в зеркало — так бы и ты на меня, муж мой дорогой, смотрел — не насмотрелся, радовался — и не нарадовался!.. Так что, дружок мой сердечный, — уже улыбаясь и целуя его, сказала она, — никуда ты от меня не денешься: мой, мой, мой!.. А ты хоть помнишь, что вы с Грегором вчера вытворяли, когда возвращались?
— Мы? С Грегором? Вытворяли? — с беспокойством спросил он.
— Здра-асьте!.. Ты что, ничего не помнишь?
— Нет.
— Ну, во-первых, вы орали на всю улицу «Катюшу». Во-вторых, вы пробовали по-русски материться. Между прочим, мне, Бак, совсем не хочется, чтобы твоими первыми русскими словами была матерщина. Ну что за человек мой отец — уже успел научить! Он тебя испортит!
— Не испортит, — уверенно возразил Бак.
— Он? Ещё как испортит! — не менее уверенно возразила она. — Сегодня же надо выпроводить его домой — представляю, как он там сейчас изводит Колю… Ты разочарован моим отцом?
— Знаешь, — сдержанно ответил Бак, — твой отец на зависть свободный человек. Это мне понравилось.

Нет, свихнулись они на этой свободе, честное слово!.. Ей-то с матерью разве легче от этой папкиной немереной свободы?..
— Какая свобода?.. — вздохнула она. — Слишком дорого она им оплачена: он ведь, Бак, спившийся человек…

Но разговоры — разговорами, а надо вставать: времени в обрез, а дел невпроворот… Поднялись вместе. Договорились, что он позавтракает один и будет ждать её, а она пока быстренько съездит за сыном, который до сих пор — у её подруги; а потом они все вместе поедут проводить на вокзал отца: ей хотелось, чтобы Серёжа обязательно простился с дедом и чтобы простился с её отцом Бак, хотя Баку ещё предстояло сегодня встретиться со Скворцовым, просмотреть новые поступления в археологический фонд музея и выступить на телестудии…

Час спустя она уже возвращалась с сыном в гостиницу: вчера ей не хотелось комкать знакомство Бака одновременно и с отцом, и с сыном.

Было ещё довольно рано, люди ехали на работу, автобус — битком набит, и они с сыном стояли, тесно прижатые в уголке. Она смотрела на него с любовью и умилением и не могла наглядеться. В приливе нежности прямо тут, в автобусной толчее, пригладила его вихры, обняла и расцеловала.
— Не надо, мама! — тихо, чтобы никто не слышал, но твёрдо шепнул он ей и легонько снял её руку со своего плеча.

«Совсем мужчина», — подумала она, продолжая глядеть на него с нежностью; взрослеет её душистый весенний цветочек, уже и замечания ей делает, и с каким достоинством держится, как мягко снисходит к её слабостям! Слава Богу, не передалась ему бабкина и дедова неистовость, их буйная кровь!.. Как она боялась этого: дети так переимчивы! Неужели её собственная любовь пересилила в его сердечке? Ах, что-то ждёт его впереди! Права ли она, увозя его, — или это её роковая ошибка? Ну да что уж теперь…
— Всё, мой мальчик, приехали, пойдём, сейчас я вас познакомлю. Я думаю, вы подружитесь. Ты ведь у меня умничка?
— Мама, я почему-то боюсь, — сказал он.
— Чего боишься?
— Что чего-то испорчу.
— Не бойся, глупыш. Я помогу, я всё сделаю, чтобы вы нашли друг друга.
— Мама, а как мне его называть?
— Ой, я не знаю, сынок… Ты сам спроси его, и он тебе скажет. Он всё поймёт и найдёт удобную форму…

Они поднялись по ступенькам, отворили массивную входную гостиничную дверь, прошли через гулкий вестибюль, поднялись на лифте и прошли по коридору — всё молча. Маша открыла дверь номера, впустила сына и вошла сама. Бак

сидел на диване, держа в руках телефон—собирался куда-то звонить.
— А вот и мы с Серёжей,—приобняв сына за плечи, представила она его Баку.
— Здравствуйте,—выдавил из себя по-русски Серёжа, насупленный и робкий, опустив голову и зачем-то держа руки по швам.

Бак глянул на него с любопытством, поднялся с дивана, прямой, высоченный, подошёл, взял его правую руку в свою, пожал и медленно выговорил:
— Серь… Се-ерь… Се-ерь-ёжа-а!—и весело, заразительно рассмеялся, довольный, что одолел такое труднопроизносимое имя.—А меня зовут Бак,—добавил он по-английски.—Будем дружить?

Маша перевела. Мальчик склонил голову ещё ниже и, смущаясь и краснея, часто-часто закивал головой.
— О’кей,—Бак взъерошил мальчику вихры и решительно положил руку ему на плечо.—Давай ко мне!—он, обняв Серёжу, решительно повёл его и усадил рядом с собой на диван.

На столике перед диваном уже стоял завтрак: бутерброды с копчёной осетриной и ветчиной, пирожные и газвода в бутылках.
— Мой новый сын Серёжа,—сказал Бак Маше, погладив Серёжу по голове.—Я мечтал о таком сыне.

И Серёжка доверчиво прильнул к нему.

В доме, где Бак познакомился с Машиным отцом, они застали только Алёну: Коля рано убежал по делам, а вот куда делся отец, Алёна понятия не имела; рассказала только, как вечером, когда Маша с американцами уехали, он долго ещё колобродил по дому, требовал выпивки, и Коля не смог отказать—достал из заначки бутылку, и они далеко за полночь сидели на кухне, пили и о чём-то громко говорили, даже ссорились, а спозаранку отец уже снова был на ногах, снова, мешая спать, шатался по дому, гремел на кухне, что-то ища, и вид у него был озабоченный и скучный, а потом он куда-то ушёл.
— Ясно!—нервничая, сказала Маша.—Пошёл искать опохмелку, и пока не найдёт—не вернётся.

Она видела, что Бак тоже нервничает. Серёжа в незнакомой обстановке робко жался к ней. Господи, что же ей делать, как разорваться между ними всеми?
— Бак, милый, может, поедешь на телестудию один? Что ж ты будешь так бездарно терять со мной время?—глядя на него с болью и переживая за него, предложила она.—Тебя там встретит Дмитрий Иванович—он ведь уже неплохо переводит, справитесь без меня. Я буду ждать отца.
— Нет,—твёрдо ответил он, расхаживая тудасюда со сложенными за спиной руками.—Я тоже подожду—у нас ещё есть время.

Но минуты шли, Машино сердце уже просто разрывалось от отчаяния, а отца всё не было. Не могла она бросить его здесь одного; она уже представляла себе, как этот простофиля непременно попадёт в какое-нибудь ужасное злачное место, снюхается со здешними пьюхами-подонками, и те ограбят, разденут и даже ни за понюшку табака убьют—он же, дуралей, в драку полезет, доказывать что-то начнёт… Нет, она не уедет отсюда, пока не найдёт его и не отправит домой!

Через полчаса она всё-таки уговорила Бака ехать одного: оставила Серёжу с Алёной и пошла усадить Бака в такси. А отправив его, вернулась—будто вот чуяло её сердце, что прежде, чем отправиться на поиски отца, стоит ещё раз проверить, вернулся он или нет. И действительно, только пришла—заявился отец, слава Богу, живой-невредимый, правда, уже навеселе, а из кармана его плаща торчало горлышко нераспечатанной бутылки водки. Маша облегчённо вздохнула, хотя мрака в её душе его появление и не погасило.
— Где ты был?—сурово спросила она.—Бак прождал тебя битый час и уехал, не попрощавшись! Как тебе не стыдно! Скорей шары залить, да?

Представши тихим и виноватым, отец—сама предупредительность!—привлёк к себе Серёжу, ухватившись за него как за спасательный круг, а перед Машей рассыпался в извинениях:
— Прости, доча, старого дурака! И мужу передай: искренне извиняюсь перед ним и его другом—вёл я себя вчера как свинья! Так что-то разволновался—устал, понимаешь, быстро запьянел, расслабился… Ей-богу, стыдно!
— Да они в сто раз больше тебя устали! Вот знала же наперёд: так всё и будет! Что за дурацкая натура: натворить чёрт-те чего, накуролесить и—каяться! Ты помнишь, что обещал мне? «Да я-я!.. Да я не подведу, чести не уроню!» Хорошо ещё, мамка не приехала… Господи, какие вы у меня нелепые!.. Извинить-то они тебя извинят—но запомнят надолго, какой у Маши папочка!.. Почему телевизор не упаковал? Мы как договаривались?
— Счас, доча! Ты не волнуйся, всё будет в ажуре!
— Он хоть работает после вчерашнего, ты проверил?
— Нет, сломался,—удручённо покачал головой отец.
— И что теперь? Выбросить?
— Зачем? У нас умельцы—лучше нового сделают!
— Знаю ваших умельцев: без бутылки пальцем не шевельнут! И лишь доломают! Называется, сделала родителям подарочек!—сокрушалась она.
— Не бери в голову,—махнул рукой отец.—Счас я это, маленько… подлечусь да начну паковать,—он неуверенно взялся рукой за горлышко, испытующе взглянув на Машу.—Может, и ты маленько? Голова чтой-то…
— Етит твою мать, папка, в конце-то концов!—не выдержав, выругалась она.—Сколько можно? Убери эту гадость, иначе я её сейчас о твою голову разобью!

— Понял, доча! Всё, завязываю. Ты только не шуми! — он сразу съёжился, став от её крика смирным. — Счас, я её только на кухню отнесу, — и засеменил туда на полусогнутых с этой злополучной бутылкой, и так горько и обидно было ей видеть его такого, и так раздражала одновременно эта его вечная зависимость от чужого окрика, его рабская лживость и увёртливость. Эх, папка, папка…

И ведь всё равно, трусливый упрямец, проскользнув на кухню, загремел там торопливо стеклом о стекло, забулькал влагой. Она глянула с тоской в сторону кухни, пошла в сени, внесла, раздражённо швырнув на пол, картонную коробку из-под телевизора и сказала сыну устало:

— Давай-ка, Серёжа, помоги мне!

Господи, и это вот — прощание с отцом перед разлукой неизвестно насколько?.. Может, и в самом деле они настолько чужие и ненужные друг другу люди, что незачем попусту тратить порох?..

И тут папаша выплыл из кухни; личико засветилось, как красное солнышко; возбуждённо потёр ладонь о ладонь и сказал:

— Да мы это счас, дочь, с Серёжкой-то! Не горюй!..

В это время пришёл Коля и сразу — к ней, затараторив скороговоркой:

— А я тороплюсь тебя застать! Вчера Макс звонил из Штатов своим предкам — сегодня должен прилететь. Просил вас с Баком найти время встретиться с ним!

— Завтра мы улетаем, — сухо ответила она. — Если хочет видеть — пусть поторопится: вечером будем в номере.

Коля фыркнул с кислой улыбочкой:

— Скажу — если только успею встретить до вашего отлёта.

Она посмотрела на него строго: удивлён, видно, что не она прибежит к Максу, как бывало? Набегалась, хватит; пусть теперь он бегает…

— Чего фыркаешь? — спросила она.

— Нет, ничего, — скромно сказал он, и улыбочка его иссякла. — Но ведь он ещё только летит. Успеет ли?

— А это его проблемы, — равнодушно ответила она. — Не успеет — пусть звонит мне в Штаты. И вся, как говорится, любовь!

Коля подобострастно закивал белобрысенькой своей головкой, и она вспомнила его вчерашнюю звёздно-полосатую маечку и его непременное желание потешить собою иностранцев…

— У меня к тебе просьба, — с достоинством обратилась она к нему. — Сходишь поймать такси? Отца я просто уже боюсь отпускать от себя.

— Да какой, Маша, разговор: друзья друзей — мои друзья! Располагай мною как хочешь!..

21.

Ну, усадили, наконец, отца вместе с телевизором в поезд.

Хотелось бы напоследок посидеть спокойно, сказать на прощание что-то тёплое, доброе, значительное: кто знает, насколько разлука? Дай Бог, чтоб не навсегда. Но полупьяный, возбуждённо-весёлый отец, кажется, даже не понимал этого: сбило с толку, что и двух лет не прошло, как вернулась, и — будто не уезжала, всё суетился, нёс вздор, спорил о чём-то с Колей — приятеля, видишь ли, нашёл — и даже не слышал, когда она пыталась вдолбить ему в последние минуты, чтоб хоть писал почаще и отвечал на её письма. Только когда уж расцеловались, и ушёл в вагон, и увидел её с Серёжей сквозь стекло стоящими на перроне — проняло: что-то торопливо закричал, зажестикулировал, а глаза — удивлённо- растерянные. Так, всклокоченный, с немо открытым ртом и пальцем, чертящим что-то на стекле, и уплыл, стоя в окне, — лишь остался, повиснув в воздухе, этот росчерк пальца. Оборвалась, лопнула нить; ей было нестерпимо грустно и горько… Распрекрасный Коля, затолкав отца в вагон, тотчас же слинял куда-то: то ли ловить новые сведения о Максе, то ли встречать его — она так и не поняла в суматохе; Серёженька не в состоянии уже ничего воспринимать — весь как в тумане…

Чтобы снять с него нервное возбуждение и заодно впечатать в его детские мозги память о родном городе, в котором родился и пусть не ахти как, но жил до сих пор, — долго гуляла с ним по городу, рассказывая и показывая напоследок всё, что знала сама; прошлись по центру, по набережным, по центральному парку, покатались на «колесе обозрения», сидели, отдыхая и перекусывая, в кафе-мороженом; Серёжа уплетал мороженое порцию за порцией, и она его не останавливала: пускай! Глядь — шесть вечера: наверное, Бак уже вернулся в номер; она сразу представила себе, как ему там одиноко — в пустой комнате, в чужом городе; она ведь была теперь верной, покорной, необходимой ему, как посох усталому путнику в дороге, и вела эту роль честно, не отлынивая. И он тоже привык. Так что она поднялась, Серёжу — за руку и чуть не бегом — в гостиницу.

Взбежав на крыльцо, прежде чем открыть тяжёлую входную дверь, оглянулась на всякий случай вокруг: не видать ли где подъехавшего Бака? — невольно пробежав заодно глазами по длинному ряду легковых машин на стоянке, среди которых почему-то затесался, словно мамонт, тяжёлый грузовик с платформой, на которой громоздился длинный угловатый щегольской контейнер белого цвета с яркими цветными надписями по-английски по бокам, — и её будто резануло что-то: споткнулась взглядом об этот контейнер, хотя смотреть было неудобно, против низкого уже солнца, — среди надписей мелькнуло название её с Баком штата. А в это время из кабины грузовика спрыгнул мужчина, и, даже ещё не различая его

лица, она вдруг поняла: это же Макс! — за пятнадцать-то лет можно изучить человека до малейшей чёрточки, до едва заметного движения?

Идёт спокойно, ни на секунду не ускорив шага, помахивая чёрной сумочкой, но она так и замерла в ожидании, как кататоничка, повернув к нему голову, держа одной рукой полураспахнутую дверь, а другую положив на плечо сыну.

— Привет! — крикнул он ещё издали. — А я вас жду!

— Привет! — окинула она его улыбающимся, облучающим взглядом.

Странно как: не виделись полтора года — а будто и не было их; всё мигом забылось, и радуется сердце неизвестно чему.

— Это что, сын твой? — спросил Макс, поднимаясь на крыльцо.

— Да.

— Какой парень вырос — прямо мужчина. Как быстро идёт время.

— Да уж, быстрей некуда, — согласилась она. — Чего не зашёл в номер?

— А у вас никого нет — я поднимался.

— Значит, Бак должен сейчас появиться. Давно ждёшь?

— Давно. Двадцать минут.

— Экий торопыга, — усмехнулась Маша.

— Я ж прямо с аэродрома — даже к предкам не заезжал! — оправдался он. — Загадал: ещё десять минут — и поеду. Тоже мне — американцы! Счастливчики, по-русски тут живёте, времени не замечаете.

— Тут хочешь не хочешь, а будешь счастливым, — скривилась она. — Бак с Дмитрием Ивановичем уехал, а тот — как банный лист: пока всё не покажет, не отцепится… Это ты уже наш контейнер везёшь?

— Нет, это мой.

— Что значит — твой?

— Мой, личный.

— Где ты его взял?

— Где взял, там его нет. Купил.

— Где?

— Ну, мать, тебе так всё и выложи. В Америке — где ж ещё?

— А наш?

— Привёз, но пока на аэродроме оставил.

— Свой роднее?

— При чём здесь «роднее»? С вашим ещё решать надо!

— Роднее, значит.

— Что ж я, пёр свой контейнер, чтоб его за ночь обчистили?

— А наш можно, да?

Посмотрел на неё внимательно.

— Ты что, Маш, тоже занудой стала? Кому он нужен, ваш «sekond hand»?

— А у тебя — золото для партии? — поиронизировала она.

— Да хоть и не золото, — с достоинством возразил он, — но товар ходовой: джинсы, кроссовки, жвачка. Надо ж его растолкать, пока рэкет не наехал!

— И оборотистый же ты, однако, стал.

— Да жизнь, Маш, научит пироги жрать. Что ж гонять самолёт полупустым? А мне ещё за металл расплачиваться.

— С кем?

— Ну ты прямо как прокурор!.. Представляешь: были б деньги — можно дюжину таких контейнеров приволочь!

— Это вот и есть твой бизнес — Россию жвачкой завалить? И в эту свою хренотень ты нас с Баком впутал?

— Зачем? Начало — оно всегда такое. Подожди маленько, раскрутимся… Ты мне лучше скажи: вы что, завтра — уже?..

— Да. Что ты хотел?

— Два вопроса обговорить.

— Говори.

— С тобой, что ли?.. Ну, во-первых, когда лететь снова? Потому что организовать с вояками рейс — это такая канитель: всё через Москву решается… А потом — представляешь? — набивается целый самолёт какой-то шушеры, на бесплатную-то прогулку, так что меня, главного организатора, норовят из списка выпихнуть, и это даже не смешно… В общем, нужен точный срок — чтоб заранее договориться.

— Ладно, пойдём ждать Бака, — Маша взяла его под руку.

— Погоди, ещё вопрос — хотел сначала с тобой. Скажи, может Бак найти время поговорить с директором одного завода?

— С директором завода? О чём?

— Хочет предложить сотрудничество.

— В археологии, что ли? — удивилась Маша.

— Да зачем?! — нетерпеливо воскликнул Макс, поглядывая на часы. — Финансовое. Мне б хотелось, чтобы они встретились. Можешь посодействовать?

— С директором какого завода? — поинтересовалась Маша — в её сознание цепко впилось слово «финансовое».

— Какая разница, какого? — устало ответил Макс.

— Ты ещё не понял, что я имею право знать, что ты затеваешь?

— Ну хорошо, хорошо. Большой, серьёзный завод, «Сибмаш» называется. Директор — Ратманов. Тебе о чём-нибудь это говорит?

— Пётр Афанасьевич, что ли?

— Откуда ты его знаешь? — удивился, в свою очередь, Макс.

— Он же депутат областной Думы — в институте с предвыборной речью выступал. Зарплаты, стипендии обещал повысить… А ему-то что надо?

— Есть идеи. Я рассказал ему о Баке, о фонде — он заинтересовался.

— Ну что ж, надо ждать Бака. Идём.

— Да некогда мне, Маша,—у меня груз! Позже подъеду.
— Позже не получится… Пошли, подождёт твой груз. Расскажешь, как тебя Америка встретила. Когда ещё увидимся!..

Макс нехотя подчинился, и они поднялись в номер.

В номере Макс первым делом завладел телефоном. Звонил он долго: сначала никак не мог разыскать по разным телефонам Ратманова, потом, разыскав, стал убеждать его приехать в гостиницу—тот, видимо, был занят.

Маша тем временем проводила сына в спальную комнату их двухкомнатного люксового номера:
— Давай, сын, располагайся пока тут: раздевайся, отдыхай. Можешь принять душ, а потом придумаем что-нибудь насчёт ужина…

Макс же, договорившись с Ратмановым, положил трубку и с удовольствием прошёлся по мягкому ковру, бегло окидывая просторную комнату с зеркалами, мягкой мебелью, хорошей фарфоровой посудой в застеклённом шкафу.
— Ничего хаза,—заметил он вышедшей от сына Маше.—Я и не знал, что тут такие есть.
— Для иностранцев с валютой всё у них есть,—сказала она.

Макс подошёл к окну, глянул вниз, на грузовик со своим контейнером, и только потом устало опустился в кресло, вытянув ноги.
— Представляешь, мать: почти полсуток перелёта, через весь Тихий. В Петропавловске-Камчатском дозаправились—и дальше. В самолёте холодище, дребезжит, как железный ящик,—думал, где-нибудь над океаном эта колымага рассыплется. Я-то ничего, а попутчики перетрухали: всю дорогу хлестали пиво для храбрости. Весь самолёт провоняли—до сих пор пивная вонь в носу стоит: они его там коробок двести урвали, все проходы завалили!
— Зачем так много?
— Ну, мать, ты меня не устаёшь удивлять. Барыш—сто процентов!
— Макс, ты так изменился! Говоришь прямо как *комок*.
— А я и есть *комок*—ещё не допёрла?..
— Максик!—умоляюще посмотрела она на него.—Но ведь ты же не такой!
— Такой, такой,—хмуро возразил он.—Знаешь, что я тебе скажу? Идеологией сыт по горло и интеллигентом притворяться устал—хочу побыть просто человеком. Имею право? И нисколько не стыдно—наконец-то можно не гнать кино, а быть самим собой! Да, я такой, и давай об этом больше не будем?.. Слушай, что скажу! Только, чур, не падай,—лицо его засветилось вдруг простодушной улыбкой.—Можешь поздравить: нашёл там, у вас в Штатах, себе невесту! Возможно, тоже перекинусь туда.

Она взглянула на него с недоверием: фанфаронишка! Знала эту его слабость—потемнить да прихвастнуть—и только головой покачала: найти там за четыре-пять дней невесту? Можно, наверное,—но не такую, которой стоит хвастаться. Сказала насмешливо:
— Ты у нас известный сексуальный разбойник… Не из-за неё так задержался?
— Нет, у меня там всё было по графику. Это наши чинодралы держали меня—им-то куда спешить? Хотя я бы, конечно, с удовольствием подзадержался—не каждый же день женишься, да ещё на директрисе банка,—Макс не без удовольствия выговорил статус невесты, внимательно следя за Машиной реакцией.
— Директриса? Банка?—переспросила она и взглянула на него ещё недоверчивее.
— А что, слабó нашему теляти волка съесть?—отвечая на её взгляд торжествующей улыбочкой, дотянулся до своей сумки, лежащей на полу у ног, неторопливо, но как-то демонстративно расстегнул молнию, достал оттуда и протянул Маше визитную карточку своей невесты, продолжая рассказывать:—Прихожу в их банк открыть счёт, а у оператора шар выпал: первый раз в жизни русского видит и не знает, можно ли мне открыть. Какое, казалось бы, твоё телячье дело? Пытаюсь убедить: «Я что, похож на марсианина? Не из того места, как и у тебя, ноги растут?» Бесполезно. Пошёл, по родимой нашей привычке, ругаться через «твою мать» к директору—у меня же время, как бикфордов шнур, горит!..—Макс помолчал, предваряя довольной улыбкой подробности.—А там—моя красавица сидит, и через полчаса мы с ней уже поняли, что друг без друга не можем… Всё настолько моментально: несколько сильных комплиментов в её адрес, и потекла, как талый снег,—я и не ожидал. Прямо посреди дня умыкнула на свою виллу; только счёт успел сподобиться открыть. Как говаривали дедушка Крылов и Чехов: «Мужик и ахнуть не успел, как на него медведь насел».
— Слушай, Макс!—удивилась Маша, глянув на визитную карточку.—Так это же тот самый банк, в котором мы с Баком счета держим! По-моему, Бак даже хорошо с ней знаком… Ну-у, Ма-аксик, поздравляю: ты у нас просто сексуальный гений!—не совсем ещё веря ему и возвращая визитку, усмехнулась она.
— Да, Бака она знает, мы с ней говорили об этом,—подтвердил Макс, аккуратно вложил визитку обратно в сумку, а затем, словно козырную карту, вынул фотографию.—А вот и она сама!

Маша с любопытством ухватилась за фотографию и, только взглянув на неё, стала вдруг неудержимо, истерически, до слёз хохотать. Макс, может быть, предугадав эту её реакцию, терпеливо ждал, пока она успокоится.

— Ой, Макс! Ой, умора! Ой, не могу! — выкрикивала она сквозь приступы неудержимого хохота, опуская фотографию, затем взглядывала опять — и у неё начинался новый приступ смеха. — Ой, держи меня, Макс, хлопнусь щас на пол, ой, сдохнуть!.. Слушай, Ма-акс, — еле выговорила она между приступами смеха, — а которая из них — твоя?

На цветной фотографии сидели, утонув в мягких широких креслах, заполняя их целиком, две белокурые женщины огромной, непомерной, болезненной толщины; слева сидела помоложе, справа — постарше, но обе — удивительно похожие между собой, а у их ног лежали на ковре две огромные и тоже толстые-претолстые, как бегемоты, собаки, два преуморительных бладхаунда: длинные уши, брылья и вся шкура на их мордах висели толстыми тяжёлыми складками, словно мокрое тряпьё, а глаза их с отвисшими наружными углами глядели до того меланхолически-грустно — будто у бесконечно несчастных, обиженных судьбой, причём собаки странно походили на этих бедных женщин, своих хозяек, но походили — как две карикатуры, как два злых шаржа на них — и оттого усиливали грустный юмор фотографии… Маша перевернула её и мельком прочла на обороте написанное от руки по-английски: «Дорогой Макс, твои девочки нежно любят тебя и ждут. Рэчел».

— Слева — это её дочь. Моя — справа, — светясь открытой улыбкой и нисколько не обижаясь, пояснил Макс.

— Господи, Макс, ты сошёл с ума! Сколько же ей лет?

— Всего сорок шесть. Женщина, как видишь, в соку.

— А как же ты с ней…

— Как сплю, хочешь спросить? — продолжал он улыбаться. — Элементарно! Если приноровиться — можно. Ощущение такое, будто плывёшь по большой-большой реке…

— Ох и циник же ты, однако! — перебила она его — ей-то бы хотелось всего лишь спросить: это что же, Максик, для этой вот коровы, или моржихи, или слонихи, которая в полтора раза старше тебя и вчетверо толще, ты и готовил своё тело, свой интеллект, тренировал волю, воздерживался?..

— Ну почему ж обязательно циник? — возразил он, словно заранее ожидая упрёков и держа наготове оправдания. — Ты знаешь, как она меня любит? Вчера расстались, я ещё добраться до дома не успел — а она уже звонит моим старикам: как я долетел? Эта дурочка не может даже представить себе масштабов планеты: она, по-моему, считает, что всё человечество расположено вокруг её штата, как лепестки в цветке… Следующим рейсом полечу жениться, пока кто-нибудь из наших шустряков не отбил. Надо торопиться — с них станется. Что ж я буду обманывать её ожидания?

— Ты что же, её любишь? — насмешливо спросила она.

— Ой, спроси что-нибудь полегче! Я не знаю, что такое любовь, но я, кажется, счастлив. Я обнимаю её, словно мешок с деньгами. Это же бизнес, дорогуша, и я совершаю очень удачную сделку: толкаю своё тело и взамен приобретаю хороший статус в большой богатой стране — куда лучше-то? Ты разве не знаешь, что всё продаётся и покупается, за какими вуальками это ни прячь? Разве ты по великой любви выскочила за своего археолога?

— А представь себе на минутку!

— Врёшь. Или мне — или самой себе.

— А пошёл ты знаешь куда! Зачем мне тебе врать? Из какого резона? И бизнеса, представь себе, из замужества не делаю!

— Ой, свежо предание… Ну да ты ведь у нас всегда была чуть-чуть того…

— С приветом?

— Ну, скажем, не от мира сего — таким почему-то везёт.

— Да уж, нашёл везучую!

— Везёт! Ленка вон на что настырна, а смотри, как пролетела!

— Потому что дура самонадеянная!

— Согласен. Но вам, девчонки, всё равно легче: товар при себе, — а нашему брату как быть? Только вот этой костью работать, — постучал он себя по лбу. — И penis'ом, если надо. Тоже ведь полезный орган — брезговать не приходится.

— Ну что ж, поздравляю с первой удачной сделкой. Далеко пойдёшь — такие идут далеко.

— А я знаю, что далеко пойду! — с вызовом ответил он.

— Смотри, penis не профукай, а то чем директрисе отрабатывать станешь?

— Ты же, мать, знаешь, я как юный ленинец: всегда в порядке и всегда готов, — спокойно-иронически ответил он на её иронию.

— Ну а как тебе Америка?

— Да ничего, жизнь себе хорошую устроили. Мы ведь, медведи косолапые, как всегда, проспали. Думаешь, они нас теперь пустят за свой стол? Как же, держи морду лопатой! У них же всё давно нахапано и поделено. И Аляску прикарманили, и всё Западное побережье, которое нашим должно было быть. Причём нас же держат за дураков!

— Да никто тебя за дурака не держит — поезжай и живи! Только законы исполняй, и никто слова не скажет!

— Держат!.. Конечно, проспали мы — чего тут обижаться! Теперь надо просто брать своё. Зато мы — молодые и сильные, выросли в стае, стаей сильны и своё возьмём. Мы противопоставим им свою молодость и посмотрим, кто сильнее! Их сытый мир, Машка, нами должен омолодиться!

— Знаешь, я уже видала там таких. Никого они не омолодили; какими были охламонами — такими и остались.

— Я — не такой! — заносчиво сказал Макс. — Да, я нищ, но — ты не смейся — мне нужны их миллионы, и я вырву их у них из-под задницы, хотя, понимаю, они не почешутся их отдавать. И если я не могу попасть на эту их обжираловку с парадного крыльца — я войду с заднего, я влезу в окно, я женюсь на этой орясине, я перешагну через неё, переползу чрез её безразмерную вагину, если надо!
— Господи, Максик, что ты несёшь! Бред какой-то, — покачав головой, сказала она. — Какой ты всё-таки циник!
— Да, циник. Ну и что? — с достоинством ответил он, встав с кресла, подойдя к окну и снова заботливо глянув вниз, на машину. — В пору первоначального накопления приходится быть циником — разве не этому учил старик Маркс? Я его изучал честно. Вот когда у меня, к примеру, будет своя сотня миллионов в кармане — мне ведь много надо! — тогда я, пожалуй, и стану лучше. Я даже позволю себе стать порядочным. А пока, Маша, только циником и можно выкарабкаться из той задницы, где мы барахтаемся. Мне просто некогда быть порядочным — времени нет… Впрочем, — продолжал он, жёстко улыбаясь и пройдясь по комнате, чтобы размять затёкшие ноги, — почему циником-то? Разве волк, который жрёт жирную овцу, — циник? Он — санитар природы, он работает… Хотя порядочным назвать его, пожалуй, тоже нельзя. Впрочем, все эти категории — порядочно, непорядочно — из дворянско-рыцарского этикета, труха, литература, опилки старого мира.
— Нет, Макс, ошибаешься. Это категории общечеловеческие.
— Ну хорошо, пусть общечеловеческие, но давай с этим подождём. И тебе советую: рожай там, Машка, детей, рожай больше! А если у твоего археолога не хватит пороху, я тебе ссужу свой посевной материал.
— А ты, Макс, однако, обнаглел!
— Да, обнаглел. Но — представляешь? — мы, как новые гунны, завладеем их сытой цивилизацией, с которой они не знают что делать — у них не хватает фантазии. Мы вольём новое вино в их старые мехи, мы вложим нашу страсть, нашу неистовость, наши мечты в их сытый рай, мы скрестим его с нашим гением, вольём свою кровь в их сукровицу — и построим новую цивилизацию! А для этого, Маша, нужна свежая кровь, свежие идеи и свежие мозги, понимаешь?
— Да ни черта ты не построишь с этой своей гуннской философией! Гунны прошли и исчезли, а мир как стоял, так и стоит.
— Да, ради Бога, пусть стоит. Хотя он и не стоит вовсе…
— Максик, милый, опомнись! Всё, что ты мелешь, — бред какой-то, смесь философии взломщика с фантазией безумца: вот чтоб много всего — и непременно сразу, без труда, без усилий! Узнаю́ в тебе своего родного братца: это национальная болезнь, Максик, это вечная мечта — сказку о Емелином счастье сделать былью.
— А что тут плохого?
— А то, что это мечта злая. И безнадёжная к тому же. Ты ж был там, ты смотрел — и не видел? Везде, Максик, люди одинаковы: ты к ним с добром — и они с добром! Не надо, Максик, идти к ним с фигой в кармане: эту фигу быстро раскусят и наладят тебя. Коленкой под зад.
— Значит, мы с тобой расходимся, — покачал он головой, нагло улыбаясь. — А мне терять нечего. И времени нет.

Она знала: он не терпит, когда поминают его гэбэшное прошлое. Это, наверное, было всё-таки чисто по-женски, ударом ниже пояса; и жалко его — ведь старый-престарый *милый друг*, но уж слишком нестерпимо самодоволен он после Америки — просто уже невыносим: неужели все они — вот такие, когда становятся вдруг коммерсантами, эти новоявленные первооткрыватели старого-престарого мира? — и потому притворно-простодушно спросила, отвечая улыбочкой на его наглую улыбку:
— Это у тебя что, задание от КГБ такое?
— Да пошла ты со своим КГБ! — раздражённо ответил он; но чувствовалось, что его души этим уже не проймёшь. — У всего КГБ не хватит столов и стульев, чтобы расплатиться со мной! Зачем мне служить хозяевам, когда я сам могу им быть? И я…

Он не успел договорить, замерев на полуфразе, — его прервал приход Бака со Скворцовым.

22.

Оба явились слегка навеселе, благодушные и улыбчивые. Маша, подойдя к Баку, привычным движением рук заставила его нагнуться, расцеловала и только потом представила ему для знакомства их делового партнёра Макса Темных — он только что вернулся из Америки и привёз их контейнер с гуманитарной помощью, который сейчас находится на военном аэродроме далеко за городом.

Макс шагнул им навстречу и пожал обоим, Баку и Скворцову, руки, тут же завязав с ними деловой разговор по-английски:
— Да, я вас жду, мистер Свенсон. Хорошо, что Дмитрий Иванович тоже здесь, — тут же всё сразу и решим.
— Бак, Макс говорит, что с тобой хочет встретиться один директор завода, некий Ратманов, — не теряя времени, добавила, обращаясь к мужу, Маша. — Предлагает какое-то финансовое сотрудничество.
— Дело в том, что я рассказывал Ратманову о вас и об учреждённом вами фонде «Экобэби хэлп», — пояснил Макс, дополняя Машу. — Он заинтересовался, считает начинание своевременным и хочет предложить свою помощь.

— Это интересно,— вникая в сообщение, Свенсон закивал головой.— Я готов встретиться и обсудить детали.
— Он с минуты на минуту приедет,— продолжал Макс.— Я его отловил по телефону, прямо в машине,— и тут же, не теряя времени, стал докладывать Баку со Скворцовым:— Контейнер ваш надо срочно вывезти с аэродрома: дежурный по аэродрому предупредил, что оставляет его на свой страх и риск… Куда его везти?
— Мы с Баком уже всё решили,— ответил ему Скворцов по-русски.— Весь контейнер отдадим в детские дома и детские больницы — мы их уже объехали и переговорили: они ждут и сами организуют разгрузку.
— Прекрасно!— сказал Макс и повернулся к Свенсону, переходя на английский:— Маша сказала, вы завтра уезжаете? Жаль, хотелось бы привлечь вас завтра к торжеству по случаю получения помощи; мы пригласим и администрацию, и прессу, и военных — чтобы это стало настоящим праздником для всех! Хорошо, если б вы задержались хотя бы на день — это ведь несложно — и были бы там очень кстати: ведь вы — наш большой американский друг!
— Бак относится ко всякому представительству скептически,— пояснил ему по-русски Скворцов.
— Странно: ведь не каждый день такое бывает!— удивляясь, повернулся Макс к Скворцову.— Это же так полезно для дальнейших контактов: пресса, телевидение! Надо убедить его!
— Да я-то вас понимаю,— усмехнулся Дмитрий Иванович.

Маша между тем переводила диалог Баку.
— Это не совсем удобно — устраивать большие торжества из гуманитарной помощи,— подтвердил своё мнение Бак.
— Какое же тут неудобство?— удивился Макс.

Максу дипломатично вторил Скворцов, пытаясь убедить Бака:
— Мне тоже кажется, это надо сделать — чтобы те, кто в этом участвует, получили новый моральный стимул к благотворительности.
— Благотворительность — уже сама по себе большой моральный стимул,— мягко возразил Бак — похоже, его смущало, что приходится объяснять известное.
— Мало того, я хочу заказать видеоролик об этом торжестве,— продолжал убеждать Свенсона Макс,— чтобы вы увезли его с собой, показали в своём штате по телевидению и чтобы в нём прозвучали имена всех учредителей фонда — и ваше в первую очередь, мистер Свенсон! Чтобы торжество получило резонанс!
— Мне это не нужно,— упрямо возразил Бак.
— Нужно, очень даже нужно для дела!— возразил, в свою очередь, Макс.— Я надеюсь всё-таки, что второй контейнер…
— Нет, не нужно!— теряя терпение, настаивал Бак.
— Ну хорошо, хорошо,— удручённо согласился Макс.— Я хотел ещё поговорить о дальнейших планах помощи. Брать у военных самолёт — удовольствие дорогое. Поэтому, чтобы тщательней подготовиться, нам надо заранее решить два вопроса. Во-первых, когда предположительно лететь за второй партией?
— Я думаю, месяца через три, не раньше. Так, Маша?
— Но мы же, Бак, не знаем, сколько сейчас средств в нашем фонде,— ответила она.— Давай сообщим, когда вернёмся.
— Да,— подтвердил Бак.— Сообщим, когда вернёмся.
— Лучше — факсом,— сказал Макс.— Мне нужно текстуальное подтверждение. Вот мои реквизиты,— он протянул Баку новенькую визитную карточку.— Три месяца меня устроят. И второй вопрос: можно ли за счёт вашего фонда заправить самолёт в обратный путь? Второй обратной заправки мой карман не выдержит.
— Но раз вы не в состоянии оплатить перевозку, тогда, может, мы предложим нашу помощь тем, кто в состоянии оплатить?— холодно спросил Бак…

Нет, недаром Маша знает Макса уже пятнадцать лет и может чувствовать фальшь, радость, торжество в тончайших интонациях его ровного голоса и легчайшие изменения в выражении его лица. И сейчас, переводя его фразы, чувствовала: он просто хочет сорвать с Бака лишку сверх того, что заработает на новом рейсе сам, а Бак чувствует, что его пытается в чём-то перехитрить этот молодой наглец, и нервничает… Ох, этот вечный ревнивый конфликт — нет, не американца с русским, не Голиафа с Давидом, даже не старомодного академизма с голым расчётом,— а просто стареющей, всё понимающей человеческой мудрости — с наглой, бесцеремонной молодостью… Бедный Максик, ты неисправим!.. И потому сама стремительно вклинилась в разговор, смягчая назревавший конфликт:
— Бак, Макс говорит, что собирается жениться на директрисе нашего банка, на Рэчел Маклин!
— Да-а?— от неожиданности Бак удивлённо поднял брови и открыл рот.— О-о, я вас поздравляю!— он приветливо улыбнулся Максу.— Я знавал её давненько — когда она ещё была студенткой.
— Спасибо,— кивнул Макс, радуясь неожиданной перемене в настроении Бака.— Хотя поздравлять рановато: вот прилечу за вторым контейнером, тогда всё и решится. Так что моё счастье теперь зависит от вас!— он весело погрозил пальцем Маше с Баком.

В это время в дверь постучали, затем, не дожидаясь приглашения, открыли её, спросили: «Можно?» — и в комнату сначала вошёл среднего роста, сухощавый, с седым ёжиком на голове

мужчина в строгом чёрном костюме с белой сорочкой и строгим же чёрным галстуком, и сразу за ним ввалился и заслонил собою дверь широкоплечий, почти квадратный приземистый парень мрачноватого, даже злодейского вида: с буйным, закрывающим низкий лоб чёрным чубом и мохнатыми чёрными бровями; вместо глаз — узкие щёлочки меж припухших век; толстые губы непрерывно кривятся и складываются в презрительную гримасу, и ходуном ходят желваки на висках и скулах — от жвачки, которую парень старательно жуёт. Ко всему прочему, он экстравагантно одет: в широченном, чёрного цвета кожаном пиджаке нараспашку и спортивных, не менее широких синих шароварах, обшитых на коленях нелепыми какими-то — красными, оранжевыми, зелёными — косыми полосами; довершали клоунский костюм его новенькие белые кроссовки, сплошь в цветных надписях, — так что вошедший первым пожилой элегантный мужчина с сухим лицом и серебряно-белой шевелюрой, одетый в чёрный костюм, единственное украшение которого — разве что булавка с крупной, радужно сияющей жемчужиной в чёрном галстуке, хоть и являл собою полный контраст своему молодому спутнику — скорее всего, телохранителю — и был весьма заметен сам, однако взгляды всех, кто был в комнате, привлёк не он, а именно резкий — даже, может быть, анекдотичный — контраст между обоими.

— О-о, Пётр Афанасьевич! — Макс сорвался с места и со сладкой улыбкой ринулся к седовласому, чтобы поймать и энергично пожать его руку. — А мы вас уже ждём, ждём!.. Это генеральный директор завода «Сибмаш» Пётр Афанасьевич Ратманов! — ликующим голосом Макс представил его остальным.

Ратманов повернулся к своему телохранителю и коротко, резко и властно — словно перед ним дрессированное животное — сказал:

— Иди вниз и жди в машине!

Парень с мгновенно замершим лицом — будто проглотил жвачку — молча кивнул и тотчас исчез. А Ратманов шагнул вперёд и всем по очереди подал свою руку; Маша, переводя Баку его вежливые дежурные фразы, сопутствующие моменту знакомства, исподволь наблюдала за Ратмановым и не без удовлетворения отмечала про себя стремительность и непринуждённость, с которыми тот пожимал руки и находил для каждого короткий комплимент, подходящий случаю, и твёрдый голос его, привыкший отдавать команды, и породистость во всём его облике: сухое тонкое лицо, точёный рисунок носа, скул, подбородка, белоснежный ёжик волос на голове, взгляд его серых глаз, прощупавший каждого, в том числе и её, и надменную посадку головы человека, привыкшего повелевать и свободно себя вести в любой обстановке. Любопытство её было подогрето былыми скандальными сплетнями о нём, бродившими по городу, о каких-то дачах, квартирах, любовницах… Маша смотрела на него сейчас и чувствовала, как её подхватывает и кружит вихрь мгновенного, мимолётного магнетического чувства к этому властному, красивому пожилому человеку: господи, вот ещё наваждение-то — только бы не показать ничего ни взглядом, ни голосом!..

Общительный Скворцов, не менее Маши почувствовавший притягательный интерес к этому человеку, уже разговорился с ним:

— Я, как профессиональный историк, простите… Что-нибудь знаете о своих предках? Фамилия у вас известная, аристократическая. Или совпадение?

— С предками, простите, быть знакомым чести не имею, — резко повернувшись к нему, ответил Ратманов. — Отец прибыл сюда не по своей воле, ещё до моего рождения, а я родился в леспромхозе… Это вам для исторической справки, — и снова повернулся к Баку, давая понять, что его интересует только он: — Наслышан о вашем фонде, и у меня есть что предложить вам. Но я, видите ли… — он обвёл присутствующих вопросительным взглядом. — Хотелось бы посекретничать.

Скворцов вдруг спохватился:

— Да, да, поздно уже, пожалуй, — пора и честь знать.

Он попрощался с Баком и стал желать им с Машей благополучного возвращения домой, успехов, ещё чего-то — и всё говорил и говорил с приторной, извиняющейся улыбочкой, будто хотел сказать что-то ещё и стеснялся.

— А знаешь, Маша, — перебил его Бак, о чём-то догадываясь, — Дмитрий просит пригласить его поработать у нас.

— Правда? — спросила она, выразив на лице удивление.

— Да, да! — горячо закивал Скворцов.

— И что ты ему ответил? — поинтересовалась она.

— Я не могу сразу ответить — я приглашаю специалистов под определённые программы, — ответил Бак. — Составим программу, найду деньги, и тогда…

— Ты, помнится, говорил, что Дмитрий Иванович — хороший специалист? Что у него интересные идеи? — напомнила она ему.

— Да, конечно! Но ответить сейчас всё равно не могу. Если найду деньги, я с удовольствием тебя, Дмитрий, приглашу, если согласишься.

— Вот и прекрасно! Вот и прекрасно, — улыбаясь, кивая и потирая руки, сказал Скворцов.

— Я думаю, он обязательно пригласит. Я тоже буду напоминать ему, — обнадёжила его Маша, уже по-русски. — Он действительно никогда не обещает, если не уверен на все сто.

— Что ты сказала? — полюбопытствовал Бак.

— Я сказала, что ты никогда не обещаешь, если не уверен на сто процентов. Правильно?

Бак кивнул… Скворцов, оставшийся весьма довольным этими полуобещаниями, дружелюбно раскланялся с Ратмановым, выразив надежду на новую встречу, лучше всего — в неофициальной атмосфере, договорился на прощанье с Максом о завтрашней встрече на торжествах по случаю благотворительной раздачи и попрощался с самой Машей, наговорив ей кучу изысканных комплиментов. Затем Бак проводил его до двери, вернулся, пригласил Ратманова сесть в кресло напротив, а сам опустился на диван, потирая пальцами виски. Маша, сев рядом с Баком и готовясь переводить, всмотрелась в него и поняла: он устал; он очень устал.

— Слушаю вас, — сказал Бак. — Жаль, ничего не могу предложить выпить.

— Благодарю, я ничего не хочу, — отозвался Ратманов.

— Здесь, Пётр Афанасьевич, остались только свои, можно начинать, — подсказал ему Макс, опершись о подоконник позади его кресла, как бы оставляя Ратманова один на один со Свенсоном — и в то же время будучи готовым в любой момент прийти обоим на помощь. Ратманов кивнул в знак согласия и обратился к Баку — говорил он только по-русски:

— Мне хотелось познакомиться лично и засвидетельствовать своё уважение…

Маша переводила.

— Ваш фонд «Экобэби хэлп» — поистине замечательное, благородное дело, которое вы делаете для наших детей, — продолжал Ратманов. — Мне, как деловому человеку, хотелось бы подключиться и посильно помочь.

— Пожалуйста, мы приветствуем всех, кто хочет нам помогать, — сказал Бак, при слове «мы» повернувшись к Маше и улыбаясь ей, как сообщнице. — В чём будет состоять ваша помощь?

— Она, возможно, будет выглядеть для вас несколько неожиданной, — ответил Ратманов. — Видите ли, моё предприятие начало поставлять продукцию в вашу страну; какую-то часть выручки мы бы перечисляли в ваш фонд… — Ратманов умолк, дожидаясь, пока его фразы переведут, и внимательно вглядываясь при этом, какую реакцию вызовет его предложение на лице у Бака.

— И что дальше? — бесстрастно спросил Бак, выслушав перевод и поняв, что за этим последует какое-то условие.

— А дальше вы оставляете шесть процентов от этих средств в своём фонде и распоряжаетесь ими — они ваши! — сказал Ратманов. — Остальными девяноста четырьмя распоряжаемся мы. Мы, — слегка кивнул он Максу, — закупаем на эти средства с вашего счёта товары и везём их в Россию. Какие товары, как перевозим — эту головную боль мы берём на себя. Единственное, что вы должны, — это подписать счета на покупки… Вот и всё! И — никакого афиширования нашей помощи: вся слава остаётся вам…

— Нет, — решительно покачал головой Бак — как показалось Маше, слишком поспешно и даже возмущённо.

— Вы так решительно говорите «нет»? — пожав плечами, сказал Ратманов. — Что вам не нравится в предложении? Шесть процентов? В денежном выражении это составит значительные суммы, и суммы эти будут поступать регулярно. Я пока не хочу называть их, но поверьте на слово — значительные, и эти суммы — ваши: хотите — используйте для «Экобэби», хотите — перегоняйте для вашей науки! Надеюсь, никакой контроль вам в ухо не дышит? — усмехнулся он.

— Вы лучше отдайте эти шесть процентов господину Скворцову для развития науки в вашем городе — он сейчас очень стеснён в средствах, — предложил Бак.

— Х-ха! — коротко рассмеялся Ратманов над предложением Бака как не стоящим серьёзного внимания, однако в то же время и оценив Баков юмор. — Так вы согласны?

— Нет, — ответил Бак твёрдо и нервно.

— Вас не устраивает процент? Но во всём мире дают шесть-семь процентов комиссионных, — спокойно, в противовес нервному тону Свенсона, сказал Ратманов. — Причём вы получите их, не шевельнув пальцем.

— Нет, — покачал головой Бак.

— Давайте добавим — пусть будет десять. Больше мы просто не можем!

— Нет, нет и нет! — уже выкрикнул, теряя терпение, Бак.

— Вы не хотите иметь с нами дела? — не без удивления спросил Ратманов. — Тогда мы обратимся к тем, кто согласится взять эти шесть процентов, ничего при этом не теряя! К вам мы обратились как к уважаемому, известному учёному. Как к честному человеку, в конце концов.

— Благодарю, — холодно сказал Бак. — У вас ещё что-то?

— М-да-а, — разочарованно протянул Ратманов, повернулся к Максу и с укором сказал: — Что ж ты не подготовил человека?

— Да я только что приехал, а они завтра уезжают! — стал оправдываться тот. — Кстати, с ними какой-то бизнесмен — может, с ним попробовать?

— Что ж я буду терять время? Ты уж, пожалуйста, подготовь почву сам, заручись предварительным согласием, а уж потом…

Ратманов поднялся, холодно и безмолвно раскланялся и быстро ушёл; Макс, рванувший было следом, вернулся и торопливо проговорил:

— Извините, ради Бога, — так неловко получилось!..

— Пожалуйста, — бесстрастно сказал Бак. — Всего доброго!

— Надеюсь, инцидент не испортит наших отношений? Я ведь через три месяца буду у вас — прилечу жениться! До встречи! — Макс обезоруживающе улыбнулся, протянул руку Свенсону, кивнул Маше и кинулся следом за Ратмановым.

Когда они остались одни, Бак, вскочив, сосредоточенно, возбуждённо заходил по комнате, сцепив, по своей привычке, сзади руки; лицо его при этом было злым. Маша давно не видела его таким.

Дав ему пройти два раза туда-сюда, она снова усадила его на диван рядом с собой, обняла, и они некоторое время сидели молча.

Она с досадой думала о Максе и о Ратманове: ну почему, почему они такие — всё у них так торопливо, грубо, невпопад?.. Она ещё не поняла, почему им так резко отказал Бак, но она доверяла ему и была на его стороне. Время от времени она гладила ему волосы и успокаивала:

— Всё хорошо, милый. Всё хорошо.

И только когда он, кажется, успокоился, спросила:

— Почему ты не стал с ними разговаривать?

— Потому что наглецы! — опять стал возмущаться Бак. — Это дешёвая уловка, простейший путь прятать деньги, не платить налогов ни вашим, ни нашим! Мало того, он ещё хочет открыть сомнительную торговлю под крышей «Экобэби»!.. «Благородное дело», «посильный вклад»! — передразнил он Ратманова. — Вот и весь их «посильный вклад»!

— Но десять процентов были бы твои! У тебя же трудности…

— Не надо мне их процентов!

— Так Грегор их перехватит. И ещё посмеётся над тобой.

— Может быть, может быть. Но ещё посмотрим…

— Бак! Но ведь деньги не пахнут?

— Нет, Маша, пахнут, и ещё как! — устало возразил Бак. — У нас уже хорошо научились определять их запах — эти уловки легко раскрываются, причём в судебном порядке. Да, мне нужны деньги, но грязные деньги мне ни к чему: не хватало сесть на скамью подсудимых вместо этих ребят! Не знаю, как у вас, но у нас с этим строго — эта уловка близка к преступлению, и они хотят нагрузить им меня!

— Милый, как ты скажешь, так и будет, — она ещё крепче обняла его и поцеловала, хотя ей и было немного грустно; его возмущённое пыхтение казалось ей так невинно и так пустяшно! Ей было жалко его такого.

— А Дмитрия Ивановича ты, лапочка, возьмёшь? — спросила она его, и Бак, с закрытыми глазами, расслабляясь от её ласк, вяло закивал:

— Конечно, постараюсь взять; Дмитрий — человек ценный: у него острый ум, хорошо генерирует идеи. Только использовать их не умеет.

Да, милый Бак, ты сумеешь использовать его на полную катушку… Маша посмотрела на мужа, сидящего перед нею с закрытыми глазами, такого расслабленного сейчас и в то же время такого практичного: ну почему все на свете должны использовать и обманывать друг друга?.. Ей стало на миг страшно за себя и за сына. И тут же испугалась своих мыслей: нет-нет, не надо, нельзя, нехорошо… Если так думать — что ж тогда останется? Пусть останутся хотя бы грёзы…

Он ещё некоторое время сидел в прострации, успокаиваясь, потом встрепенулся, сам обнял Машу и улыбнулся:

— Ну вот, наконец-то мы остались одни… А где наш сын?

— Он, по-моему, давно уснул: намотался. Сейчас попробую его расшевелить.

Она поднялась, прошла в другую комнату и вывела оттуда Серёжу, качающегося ото сна, уговаривая:

— Не надо, сынок, так рано засыпать… Вот, полюбуйся им! — со смехом показала она его Баку.

Бак сидел, вытянув ноги и разбросав по спинке дивана свои длинные руки.

— Давай ко мне, — поманил он мальчика.

Маша сама подвела сына и усадила рядом, и тот расслабленно, молчком привалился к Баку. Бак обнял его, прижал к себе и с восхищением сказал:

— Какой тёплый и доверчивый! Дети удивительно греют душу… А как насчёт ужина? Наверное, он тоже проголодался? — показал он глазами на Серёжу.

— Сейчас, Бак, я только переоденусь, — сказала она, выхватила из платяного шкафа большой полиэтиленовый пакет и метнулась в ванную.

Она метнулась туда не только переодеться — но и успокоиться: глаза её вдруг захлестнуло жгучей влагой — господи, впервые в жизни увидеть мужчину, по-отцовски ласкающего её ребёнка!.. Она готова была броситься на колени и с благодарностью целовать большие и добрые Баковы руки…

— Послушай, дорогая! — донёсся до неё из комнаты мягкий, с придыханием, Баков голос. — А этот директор Ратманов — коммунист?

— Наверное, Бак, — они все там раньше были коммунисты! — крикнула она ему, открыв дверь: стоя над раковиной, она первым делом освежила горящее лицо ледяной водой из-под крана.

— По-моему, так он просто жулик! — отозвался Бак. — А этот Макс, твой друг, он тоже коммунист?

Господи, эк его разобрало-то — никак не успокоится…

— Был, Бак, тоже был коммунист!

— Странно, — сказал Бак и помолчал. — А он не жулик? Что-то меня в нём настораживает!

Маша тихонько рассмеялась: ревнует, ой ревнует! — и представила себе, как тяжело, словно жернова, ворочаются в его голове мрачные мысли…

Но нет, никогда она не признается, что привела сюда сразу двух сограждан-жуликов!.. И почему, интересно, она такая невезучая—вечно попадает с ними впросак? И почему они окружали её всегда? Что бы раньше-то встретить хорошего человека? Какая была дура!..

—Нет-нет!—ответила она ему оттуда громко, стараясь, чтоб голос был как можно искреннее.—Я знаю Макса с первого курса—наверное, чуть меньше, чем ты свою банкиршу, эту стройняшку Рэчел!—и подмигнула самой себе в зеркало: вот тебе, проглоти, мой милый!

Кажется, успокоился… А потом вдруг—опять:

—Скользкий он какой-то! Нет никакого желания с ним ещё дело иметь!

—Просто, Бак, он пробует разные пути—опыта у него пока нет!—попыталась она усыпить его подозрения.

А он—опять своё:

—Опыт появляется, когда много трудишься, а ведь он просто обходных путей ищет! Или я неправ?

—Да, Бак, ты, как всегда, прав!

Она быстро разделась, ополоснулась под душем, вытерлась досуха, достала из пакета и влезла в облегающее, шелестящее, словно змеиная шкурка, мерцающее блёстками тёмно-зелёное вечернее платье, рельефно вырисовавшее её заметно потяжелевшие за последний год плечи, грудь, бёдра. Нравящаяся сама себе в этом ярком, немного вульгарном наряде, совершенно случайно подвернувшемся вчера в каком-то магазинчике: это же её, её наряд, мечтала о таком, полмира объехала, а нашла в родном городе!—повернулась туда-сюда перед зеркалом и подумала: «Ну и что, что вульгарное? Цветущая рубенсовская женщина, которая нравится пожившим мужчинам, только и всего!» И с удовольствием огладила себя от груди до бёдер, втянув при этом живот и расправив плечи. Вся процедура с душем и переодеванием заняла у неё не больше двух минут.

—Ты мне это уже говорила!—нудненько тянул своё из комнаты бедный Бак.—Но ведь он мог и измениться? Не понравился он мне—скользкий!.. Ты знаешь, не хочу я его видеть в Америке. Ты ему скажи об этом, ладно?

Она на секунду замерла и задумалась…

Что ж, надо делать выбор… Да ведь она его уже сделала!

—Хорошо, Бак! Как скажешь, так и будет!..—и снова помолчала; с лёгкой досадой мотнула головой и, делая над собою небольшое усилие, добавила:—Милый, не забивай себе этим голову! Потом разберёмся!

И вдруг ей стало легко-легко, будто вот таскала на себе тяжеленный груз и разом от него освободилась. Улыбнулась самой себе в зеркало, взяла волосяную щётку, быстро взбила и уложила волосы так, что они высоко взметнулись надо лбом, а затем крутой, задорной волной упали на одну сторону.

—И в самом деле, ты права!—кричит ей снова Бак.—А давайте спустимся в ресторан и устроим пиршество в честь нашего воссоединения? С шампанским! Русское шампанское мне понравилось!

Она тем временем накладывала на лицо яркий вечерний грим.

—Умница, Бак! Ты знаешь, мне пришла в голову та же мысль! Что бы значила такая синхронность, как ты думаешь?

Она смотрела на себя в зеркало—и не узнавала себя: полыхает влажный полураскрытый рот, покрытые вечерним кремом скулы обрисовались чётче, а глаза!.. Широко распахнувшиеся вдруг зелёные её глаза, ещё наполненные недавними слезами и окаймлённые начернёнными сейчас ресницами, искрились и мерцали тёмной, бездонной, страшноватой глубиной… Ох, что-то будет с ней сегодня—готовься, милый!.. Готовься—я буду дарить тебе сегодня счастье, я тебя исцелую, я испепелю тебя! Ах, как я буду любить тебя сегодня, мой милый, мой добрый, великодушный!..

—Ты спрашиваешь, что я думаю?—кричит ей Бак.—Я склоняюсь к мысли, что это всё-таки любовь!

—Умница! Я всегда знала, что ты у меня умница!

—Не буду скрывать: это у меня есть!… А как ты думаешь, Серёжу пустят так поздно в ресторан?

—Боюсь, что нет!

—Жалко!.. А давай закажем в номер роскошный ужин!

—Сейчас, Бак, сейчас, я приду и закажу—я всё сделаю сама, ты сиди!—сказала она, торопливо накладывая на лицо последние штрихи грима, как художник—последние вдохновенные мазки на созданный им шедевр, чувствуя, как голос её наливается силой и властью.—Милый, я сейчас! Ещё чуть-чуть!..

Она лукавила: она просто оттягивала время—ей хотелось ещё немного продлить то состояние, в котором сейчас пребывали Бак и её сын, сидя в обнимку там, на диване.

—Всё, выхожу! Закройте глаза—сейчас будет явление народу чуда!—крикнула она, выпорхнула на цыпочках из ванной, сунула ноги в чёрные туфли на высоких каблуках, стоявшие в прихожей, и вошла к *своим мужчинам* в комнату.

—А теперь—смотрите!—объявила она—и прошлась по комнате упругим шагом и крутнулась на самой её середине.

Бак не без удивления вытаращил на неё свои голубенькие. А Серёжа, целый день ждавший новой встречи с Баком, уже, бедолага, спал у него под рукой.

Она протянула мужу руку: «Встань!»—однако он, растерянный, неловкий, сначала осторожно отодвинулся от Серёжи, поддерживая его голову

в своей пятерне, потом тихонько опустил её на диван, и тот, моментально, словно отпущенная пружина, свернувшись в тугой клубок, снова безмятежно уснул. Тогда только Бак поднялся. Она взяла его ладони в свои и прижала к губам.
— Ах, Бак, какой ты молодец, как я тебя люблю! А ну их всех! Нас трое на этой земле: ты, я и Серёжа,— горячо шептала она ему осевшим от волнения голосом.
— Да, да!— сказал Бак, осторожно высвободил свои ладони из её рук, обнял её и добавил:— А давай сейчас закажем ужин в номер и устроим с тобой праздник вдвоём по этому поводу?
— Да, Бак, конечно, конечно! А потом я буду с тобой; я буду любить тебя, Бак,— ах, как я буду тебя любить! Только… давай закажем ужин без вина— нам ведь и без вина будет хорошо, правда?.. А знаешь, почему без вина? Я бы хотела, Бак, чтобы у нас был ещё ребёнок, наш с тобой, общий, понимаешь? Мы ведь можем его себе позволить?
— Конечно. Как я рад, дорогая,— я ведь тоже об этом думал! Ты— моя решительная, отчаянная моя, милая жёнушка; я буду любить тебя вдвое, втрое сильнее.
— И я тоже, Бак! Я— тоже! У меня ведь ничего нет, кроме моей любви к тебе. Я умру, Бак, от отчаяния, если тебя не будет!
— Мы будем жить долго и счастливо,— рассмеялся он, и в его голосе и смехе прорвались знакомые ей урчащие нотки, вестники его разбуженного желания.
— И умрём в один день,— подсказала она.
— Нет,— возразил он,— умереть нам придётся порознь. Я— первый.
— Я умру, Бак, от тоски.
— Хорошо, я тебе обещаю: мы никогда не умрём— мы будем жить вечно!— рассмеялся он.

Иван Шепета

Стихи как оправданье жизни

Владивосток, 2014

Вслушиваясь

Из души выщипывает струнки
чёрный лес, застывший нагишом,
будто в ученическом рисунке,
чёрканный простым карандашом.

Жизни грешной не певец я— пленник.
Сердце безголосое болит.
До минор… три ёлочки— не ельник—
оживляют музыкою вид.

От порога в лес уводят ноги,
каждый кустик и колюч, и наг.
Осень… время подводить итоги,
обходя исхоженный овраг,

говорить «прощайте!» и— «спасибо!»,
поворот почувствовав в игре,
вслушиваясь
в долгий стук с Транссиба,
в длинный текст из точек и тире.

Первое апреля

Валит снег на первое апреля.
Не шутя, настойчиво, всерьёз.
Жизнь прекрасна радостью без хмеля,
мир хорош пунктирами из грёз.

Прилетела чёрная ворона,
отворив калитку на весу…
Каркнула, как в трубку телефона,
птице той, что каркает в лесу.

То ли шутка, то ли в самом деле
весточка мне, Господи, твоя?
Только жутко, до мурашек в теле,
длится эхо инобытия!

Озираюсь медленно. Тоскую…
Хочешь— верь в иную благодать,
хочешь— смерть загадывай, какую
ты себе способен загадать!

Александр Матвеичев

Куба. Русский День Победы

Ностальгическая повесть

Моим русским и кубинским друзьям
по работе в Моа и Никаро

1. Нужна программа!.. И гитарная струна

— Надо что-то делать, Полковник,—сказал Стрелов, напомнив Валерию Климову об их предварительном соглашении недельной давности.—Сам понимаешь, дата необычная. А времени на подготовку в обрез. Сходим к парторгу, к Коняеву?

— Володе не до этого, старик,—возразил Полковник, с шумом выдохнув из пропитанных никотином лёгких струю сигареты «*Popularis*», набитой отходами сигарного табака и крепкой, как рашпиль.—Его дитяти меньше месяца: с ним нянчиться надо, пелёнки стирать. Он всё свободное время на балконе их оттирает от *mierd*'ы—то бишь продуктов диссимиляции.

Здесь, на Кубе, Полковник служил *traductor*'ом—переводчиком—и довольно частыми вставками испанских слов в устную речь ненавязчиво напоминал соотечественникам о своей важной интернациональной миссии связного между первой страной победившего социализма и полтора десятка лет назад наступившей на те же грабли Кубинской республикой.

— Сходим к Коняеву, *сеньор коронель*,—назвав Валеру господином полковником на испанский манер, согласился Стрелов.—Пусть он поручит курировать самодеятельность кому-нибудь из партийных,—не сдавался инженер-электрик Стрелов, руководивший проектированием автоматизации заводских цехов, а заодно—и художественной самодеятельностью.—Коняев местком может подключить. С месткомовским председателем, Ваней Волчковым, сами потолкуем—пусть своим примером активистов воодушевит. Самодеятельность и в Союзе профсоюз курирует… Ладно, не грусти и не печаль бровей по-есенински, Валера! Все переговоры беру на себя…

Стрелов хорошо запомнил это утро в конце марта, как и место, где он вёл переговоры с Полковником,—у охладителя питьевой воды—*enfriador de agua*, этого чуда бытовой техники, в Союзе не виданного. А здесь, на Кубе, его примостили не на самом почётном месте—к стене рядом с *cuarto de baño*: между двумя дверьми с изображениями силуэтов сеньориты на одной и кабальеро—на другой. Поэтому мимо них то и дело сновали по нужде камарады-товарищи обоих полов и наций.

Он ещё про себя удивлялся, что недавно посеянная трава на обширном газоне перед зданием *офисины* так здорово разрослась—стала настоящим ковром. И карликовые пальмы, и остролистые растения—года полтора назад он видел множество таких же в сочинском дендрарии—эти пальмочки и остролисты вытянулись до его роста и окрепли, хотя вроде бы и высадили их недавно, месяца три назад. И вот уже и первенец-цветок, прячась в тени под наружной лестницей, ведущей на второй этаж, на одном из диковинных кустов расцвёл белой и сочной панамкой.

Солнце быстро набрало силу, выбелило небо; лишь голубые горы вдали походили на мирные тучи, замыкающие горизонт. Очертания этих гор Стрелова всегда беспокоили, напоминая заокеанский Красноярск. Словно он встал с постели и из окна своей спальни смотрел на правый берег Енисея—в сторону горбатой верхушки Такмака и воскресающих в воображении скал знаменитых «Столбов», с детства любимых красноярцами.

А сейчас он вбирал в себя зрением и памятью, как тускло отсвечивали листья королевских пальм в роще, обжитой попугаями, за территорией завода, огороженной колючей проволокой, и дальше—за озёрами сгустителей никель-кобальтовой пульпы,—по узкой дороге беззвучно, словно на киноэкране, двигались гуськом самосвалы и автобусы. И было пока не душно, хоть и несло сероводородом из цеха выщелачивания. Пока и рубашка не липла к телу, и попил Стрелов из *enfriador'a de agua* скорее для того, чтобы, как верблюду, подкопить подкожной влаги на предстоящую заводскую смену.

— Гитара в порядке?—справился Стрелов, зная вредную привычку собеседника не щадить инструмент.

— Не совсем,—потушив окурок о подмётку своей сандалеты и бросив его в металлическую мусорницу, приставленную к кулеру, опечалился

Полковник, словно речь шла о живом существе.— Одна струна порвана.

— Опять тебя угораздило?! Надо у моряков запасную достать. Нанеси визит на корабль с бутылкой пиратского напитка в портфеле. Выступи перед ними, растрогай до слёз. Думаю, все струны со своей гитары снимут под звон стаканов с ромом.

— Попытаюсь… А программа? Нужна прежде всего программа, старик. Мы должны уяснить сами, куда вести людей.

— Это предельно ясно: к высотам коммунизма и пролетарского искусства… Соберёмся, узнаем, кто на что способен, вместе сляпаем монтаж. Я текст напишу, стихи подберу. Сам, может, срифмую что-то для связки. Дам тебе, а ты к этому манускрипту подберёшь песни для себя и для хора.

— Хорошо, старик,— согласился Полковник.— Заделаем такое, что все закачаются! Ну ты же понимаешь, кляча ты старая, что событие-то не рядовое. Пусть здесь, за границей, все это почувствуют всеми фибрами души…

И тут Полковник такое развёз, что Стрелов ещё пару раз нажимал ногой на педаль кулера и ловил ртом фонтан студёной воды — говорили, самой лучшей воды в этой бедной на водные и нефтяные ресурсы стране.

«Старику» — Александру Стрелову — было сорок два, Валере Климову, самостийно присвоившему себе воинское звание *полковника*, превращённое народом в его кличку — Полковник, около тридцати пяти. Только здесь, за границей, возраст весьма слабо влиял на взаимоотношения между соотечественниками. Как и положение, которое занимал в России тот или иной её посланец. Все превратились в братьев и сестёр одного далёкого Отечества, которых кубинцы называли русскими или «советиками». А отчество — атрибут старшинства, почтения или чинопочитания — с удовольствием исключили из употребления. И это весьма нравилось Стрелову: не любил он упоминаний о его возрасте.

— Когда начнём?— раздражённо прервал болтовню москвича Стрелов.

— Что, репетиции?..— Полковник картинно закатил глаза, изобразив задумчивость.— Только не на этой неделе, старик. Дай очухаться после ремонта сгустителя. По две смены вкалывал целый месяц. А жара сам знаешь какая! Я же с монтажной площадки не вылазил. Два раза от перегрева кровь из носа хлестала, как из борова. Большинство работяг только из Союза приехали, по-испански ни бельмеса, а в подсобниках — *кубаши*, по-русски только материться научились к месту и не к месту… Вавилонское столпотворение! Как им без меня общаться?

Полковник, прикреплённый переводчиком к монтажной бригаде, хотя и слыл трепачом, но сейчас изрекал чистую правду. Целый месяц русские монтажники вместе с подсобниками-кубинцами пахали днём и ночью, как звери. Чёрные от загара, в выцветшей робе, они походили на бойцов, опалённых огнём беспрерывного боя.

Директор завода, *компаньеро Панчито*,— после завершения монтажа и сдачи в эксплуатацию новой сернокислотной нитки — в честь наших монтажников и наладчиков закатил *actividad* — этим словечком здесь и русские, и кубинцы камуфлировали корпоративные банкеты за казённый счет. После ночного пира Полковник не вышел на работу и дня три сипел то ли с перепоя, то ли от простуды. А Стрелову он дал поэтическое оправдание своего недуга:

— Так, понимаешь ли, старик, от души выложился. Настроение было лёгкое, радостное, рому и жратвы — море! Пел без передыху, струну на гитаре опять порвал. Вот голосовые связки и надсадил…

От непосильного труда языком и глоткой Полковник заметно похудел: брюхо опало, дрябло наползая на ремень. Но лицо оставалось по-прежнему красным, большим, с узким вислым носом и чёрными, блестящими, без ресниц, глазами. Из-за этих блестящих, словно голых, глаз физиономия у него выглядела временами фанатичной, как у буддийского монаха.

— Хорошо, начнём со следующего понедельника. Только не позднее, Валера,— предупредил Стрелов и взглянул на часы.

Было без четверти десять. И дома, в Сибири, тоже без четверти десять. Только не утра, а вечера. Наверное, ветер, снег по стёклам шуршит, жена ждёт с улицы дочь. Может, и о нём вспоминает незлым нежным словом. А может, и… Стоп, ревнивец! Она не такая…

— Ну что ты, старик! Разве я не понимаю? Всё будет железно. Моряки никогда не подведут.

«Моряки никогда не сдаются», «моряки всегда впереди» — любимые присказки Полковника. Ему года полтора довелось проплавать переводчиком на торговом судне. И теперь он утверждал, что корабль знает не хуже механика, поскольку советские суда нередко заходили на ремонт в иностранные порты и без его переводов машины и механизмы оживить было бы невозможно…

Кроме того, Полковник носил титулы чемпиона страны и члена юношеской сборной СССР по хоккею с шайбой — в прошлом, конечно. И песни сочинял — некоторые из них туристы всей страны поют.

Три года он учил китайский в Пекинском университете, с самим Мао за ручку здоровался. И еле успел смыться в Союз от разъярённых хунвейбинов, когда по всей Поднебесной прокатилась смертоносной волной культурная революция.

В Москве он числится старшим преподавателем в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, и его кандидатская диссертация на

мази. Если бы не эта командировка на Кубу, ещё в прошлом году защитился бы с блеском.

Однако ему не до научных степеней. Гораздо интересней путешествовать, посмотреть другие страны. А деньги его мало интересуют: их хватает и в Союзе. Ведь мать у него, верь или не верь,— Герой Советского Союза за подвиги в Отечественной войне. Воевала пилотом в полку лёгких бомбардировщиков Пе-2 Марины Расковой. По статусу Героини ей положен кремлёвский спецпаёк. Поэтому для неё завладеть по дешёвке любым дефицитом—не проблема.

На автомобиле мама за рулём не ездит, так что личные машины прошли через Валерины руки всех марок—от «Победы», «Москвича» и «Жигулей» до «Волги» цвета морской волны. «Только, старик, ещё лучше». Потому что эту «Волгу» делали по спецзаказу для одного космонавта. А когда она была готова, в последний момент этот подкаблучник, из-за очередного каприза жены, от неё отказался. Она, видите ли, увидела Гагарина на «Мерседесе» и тоже захотела рассекать на собственной иномарке.

— На этой «Волге», старик, и я совершил космический полёт. Когда самосвал ударил машину в корму, я вылетел через ветровое стекло—веришь ли, будто стекла и не было, даже не поцарапался! Хотя пролетел не меньше десяти метров. Это меня и спасло…

— Прямо как барон Мюнхгаузен на пушечном ядре. Представляю, как такая туша на землю шмякнулась!—съязвил Лёня Дементьев.

— Но позвоночник повредил,—не обратив внимания на ехидство и не опускаясь до грубости, сказал Полковник.—Сейчас штангу поднимать нельзя. А раньше…

Полковнику не очень верили. Зато все знали, как он поёт. И играет на гитаре. Последнее для Стрелова сейчас было самое важное. Но почему-то он обязательно рвёт струны на месткомовской гитаре. На чьём-то дне рождения он шепнул Стрелову:

— Сейчас, старик, опять порву. Ну сколько можно петь? А они не понимают, просят и просят! А я рюмку за рюмкой из-за них не пью, пропускаю, здоровье теряю…

Как словом, так и делом: через минуту самая тонкая струна лопнула. Остальные Полковник прижал ладонью и растерянно завращал большой головой на толстой шее:

— Ничего не поделаешь, коллеги! Струны наши заводы дерьмовые выпускают! Из кровельного металлолома…

2. Партия—наш рулевой

В автобусе, когда повезли на обед, Стрелов объявил, что самодеятельность возобновляет свою работу. Все прежние участники—в обязательном, а новые лица—в добровольно-принудительном порядке должны явиться на репетицию в понедельник в красный уголок.

Стрелов специально сел рядом с парторгом группы Володей Коняевым, почему-то не снявшим с головы красную каску монтажника.

— Как видишь, Вова, начинаем,—констатировал он.

— Уже понял,—дёрнул каской Коняев и повёл на Стрелова выпуклым вишнёвым глазом.—Молодцы! Программу составил?

И этому программу подавай!..

— Будет, когда исполнителей наберём… Ты помоги, в случае чего. Среди твоих монтажников есть ребята с подходящими голосами, пожалуй.

— Найдутся, конечно. На этом банкете выявил: у Славы Жереха голосина—как у артиста оперетты. И *Панчиту*, директора завода, стоит привлечь к самодеятельности: на *активидадах* поёт и пляшет просто класс!

— Ну, это уж из области юмора,—усмехнулся Стрелов.—Проще тебя охмурить, чем этого героя Сьерра-Маэстры.

Директора завода Панчиту кубинцы возносили как живую легенду: партизанил вместе с Фиделем Кастро и Че Геварой. А Че, после победы революции назначенный министром экономики, сослал Панчиту в эту дыру—возрождать никелевый комбинат, построенный янки и брошенный ими в дохлом состоянии сразу после победы революции в январе пятьдесят девятого года. И зарплату ему положили даже не инженера, а в соответствии с его средним образованием—техника. А за руководящую должность доплата по революционной этике не полагалась. Поэтому наиболее толковые специалисты в управленцы предпочитали не лезть и откровенно насмешничали над глупыми выкрутасами некомпетентных начальников цехов и отделов заводоуправления.

— Не могу, сам знаешь!—признался в слабости партийный вожак.—Дитя у нас малое, месяца не исполнилось. Ольга неважно себя чувствует, скучает по старшему сыну. И климат этот ей не подходит. Опасаюсь, как бы молоко у неё не кончилось преждевременно…

У каждого свои заслуги. Коняевы отличились тем, что первыми здесь, в Моа, выдали на свет гражданина СССР на территории братского государства, в двадцати тысячах километров от родного Усть-Каменогорска. У пацана, по закону, на будущее обеспечена возможность приезжать сюда, на Кубу, без визы в любое время как на родину.

Стрелов подумал, что в его сибирском доме уже полночь. Представил, как дочка спит, свернувшись под одеялом калачиком. За окном—снежная сибирская ночь. Ветер треплет белые полога снежной пыли, налетает на город из чёрной тайги, от сопок, из жутких своей бесконечностью пространств.

А здесь солнце в зените, пальмы отливают на солнце жёсткими листьями. По краям дороги

цветут *adelfas*—олеандры. На клумбах перед домами с плоскими крышами рдеют и белеют мелкие, как цветки сибирских жарков, розы. А зелёные горы в солнечном голубом мареве сильно напоминают вершины на правом берегу Енисея. «Странно, что это всё существует без меня, и я обхожусь без этого, что является моей сутью; только чувство такое, что душа не здесь, а там—в закутанном в снежную мглу краю».

По краям дороги—тротуары в заводском посёлке *Rolo Monterrey* американцы из экономии не проложили—неторопливо шествуют гуськом одетые в рубашки с короткими рукавами и в лёгкие короткие платьица люди. Большинство из них не знает по личному опыту, что такое мороз, снег, пурга. Как и он, Стрелов, до приезда на Кубу знал о существовании бесконечного лета только по учебникам, книгам и фильмам.

—Так что придётся тебе расхлёбывать эту самодеятельную кашу,—ободряюще заключил парторг Коняев в спину Стрелова, когда они выходили из автобуса.

3. Советские робинзоны на необитаемом Cayo Moa

В воскресенье, как обычно, на видавшем виды обшарпанном катере, которым командовал седоусый капитан в соломенном сомбреро, почти все «советикос» поутру из порта отчалили на заросший кустами и деревьями островок *Cayo Moa* с роскошным *playa*—пляжем из мелкого и золотистого, как пшено, песка. С берега островок, покрытый мангровыми зарослями, напоминал причудливый стог сена, качающийся на залитой солнцем поверхности океана. В застеклённой ходовой рубке за штурвалом возвышался горбоносый, обожжённый горячими ветрами рулевой, повязанный жёлтой косынкой и с серьгой в одном ухе. По виду—средневековый пират, ведущий свой бриг на абордаж.

Стрелов стоял на палубе рядом с ходовой рубкой. Опираясь ладонями о фальшборт, любовался сквозь тёмные очки переливавшимся солнечными бликами морем. А когда случайно оглянулся—удивился, увидев, как свирепый с виду рулевой весь засветился радостью, когда Серёжка Белов, нырнув в рубку, протянул руки к штурвалу. Рулевой дал возможность мальчишке проскользнуть впереди себя, ухватиться за штурвал, а потом сам подстраховывал действия мальца мускулистой рукой, словно невзначай касаясь деревянного, в трещинах, штурвала.

На носу, на свёрнутом в бухту жёлтом канате, расстегнув на волосатой груди клетчатую рубашку до пупа, сидел Полковник. Он щурился на солнце, изображая из себя просолённого тропическими пассатами и бризами моряка.

—Слушай,—крикнул он вдруг Стрелову сквозь стук двигателя и шум набегавшей на нос волны,—а завтра у нас ничего не выйдет, старик! Струн я не достал.

Стрелову смертельно хотелось спать. Ночью его покусали больше обычного москиты. Они питались его кровью уже пятый месяц, но он не сдавался. Спал без *москетеро*—марлевого балдахина над кроватью—и без вентилятора, отгоняющего москитов. За это самоистязание его называли Рахметовым. Сегодня кубинские комары поработали основательно: весь лоб у Стрелова покрывали красные точки, а щёки припухли, словно накачанные комариным ядом.

—Вывернемся,—сказал Стрелов, прогоняя дремоту.—Ты что, и у моряков, как я просил, насчёт струн не интересовался? За ром у них что угодно можно выменять.

—Спрашивал, но у них не оказалось… Следующего сухогруза надо ждать из Одессы или Питера. Судов и *мореманов* тьма, а гитаристов—единицы, как и среди сухопутной братии.

—Да ты и не пытался достать! Свой норматив рома выпиваешь за два дня—и менять не на что… Попрошу Толю Моргушко—он с моряками в постоянной дружбе. Думаю, выменяет струны у них за мою бутылку…

—Попробуй! Кто тебе мешает?..

Стрелов приподнялся, нагнулся через фальшборт, зачерпнул горсть воды с гребня пенистого буруна, вздутого катером, и плеснул себе в лицо. Пахло морем, горячим солнцем, а где-то за горизонтом, обозначенным мерцающей гладью океана и голубым куполом неба, ему в любой стороне мерещилась родина.

Вошли в канал, когда-то прорытый земснарядом в песчано-глинистом теле островка. Сквозь подвижную, просвеченную солнцем синь заколебалось в глубине поросшее русалочьими зелёными волосами дно. Стайки серебристых мальков разбегались от катера к берегам, покрытым непроходимым, затопленным у неестественно скрученных комлей кустарником.

Вскоре катер, до предела снизив скорость, вошёл в тенистую заводь, мягко стукнулся и проскрипел автомобильными покрышками, защищавшими борт, о набранную из тонких брёвен причальную стенку. Старый капитан с жилистой шеей выкрикнул команду, и угрюмый матрос-негр набросил два носовых каната на ржавые двутавры, наклонно торчащие из воды. Женатые *советики* с топотом и выкриками ринулись к носу катера, прыгали на берег, чтобы принимать с трапа детей и жён с сумками, набитыми едой. Самые нетерпеливые подводные охотники с длинными пиками из арматурной стали и с подводными ружьями в руках потрусили гуськом по песчаной аллее, прорубленной в мангровых зарослях, до противоположного

берега острова, где простирался пляж. Узкой неровной полосой он был обращён к открытому океану, к коралловым рифам, создающим подобие естественного спокойного и относительно безопасного бассейна, чётко обозначенного белопенной гривой волн, разбивающихся о рифы.

— Собираться здесь не позднее пятнадцати тридцати,— негромко напомнил руководитель группы Феликс Томашевский.

Казалось, никто не обратил внимания на предупреждение начальника. Тем не менее, на сей раз к отходу катера советики собрались дружно. Потому, наверное, что пронёсся слух об удачной охоте Алика Кямери: он застрелил полуметровую барракуду, большого лангуста, черну и ската.

Бледный от беспрерывного шестичасового плавания в маске, с дыхательной трубкой в зубах, с резиновыми ластами на ногах, советский финн Кямеря, обтянутый мокрым чёрным трико, стоял у кучи мёртвых животных. Он со снисходительной улыбкой наблюдал, как повизгивали от боязливого восхищения женщины и дети, осторожно касаясь пальцами холодной чешуи барракуды с приоткрытой зубастой, как у собаки, пастью. А мужчины прикидывали на вес то толстоголовую черну, то ската, похожего на диск для метания. Остро пахло тёплой свежей рыбой.

— Моряк—с печки бряк!—панибратски хлопнул Алика по плечу Полковник.

— Добытчик,—насмешливо поправил его Стрелов.

Вид этих вялых безжизненных существ, недавно свободно плававших в пронизанном солнечным светом океане и вдруг убитых ни за что ни про что ржавым гарпуном исключительно ради забавы, а не по необходимости, вызывал у Стрелова жалость. И неприязнь к самоуверенному чернобородому парню с подводным ружьём в руке и резиновой маске с мутными стёклами, сдвинутой на лоб.

Кямеря скользнул безразличным взглядом триумфатора по толпе почитателей, взвалил на широкое прямое плечо весь груз, собранный за жабры толстой проволокой в кукан, и пошёл к катеру. Упорства, выносливости и чувства превосходства над серой массой этому парню не занимать. Он и в Союзе, по его рассказам, занимался подводной охотой близ Питера, в Финском заливе, а в отпусках—в Чёрном море: в Крыму или на Кавказе.

А Стрелова чуть покачивало от усталости после долгого блуждания в поисках раковин по тинистым отмелям, покрытым светло-зелёной сетью водорослей. Потом он плавал близ коралловых рифов, смотрел, как в синем туманном мире, в переливах тени и света, в странной перспективе жили разноцветные рыбы, крабы, непонятные существа… Лицо горело от ожогов солнцем и солёной водой.

«Опять нос будет шелушиться, как молодая картошка»,—подумал он и вспомнил, что завтра, во второй половине дня, состоится техническое совещание с кубинскими инженерами. С утра надо ещё раз проверить, всё ли к нему подготовлено.

4. Рене Мачете разрешил «гитарный кризис»

Утром на заводе Стрелов поднялся по наружной лестнице на второй этаж офисины—потолковать с Полковником в просторном проектном зале. За кульманами и письменными столами сидели и стояли русские и кубинские инженеры, техники, чертёжники. Около трёх десятков мужчин и парней. И по парочке кубинок и русских женщин. В окнах с приподнятым наполовину жалюзи из деревянных планок просматривался пруд, покрытый подвижной рябью от косого дождя. На противоположном берегу, за туманной пеленой дождя, по красному фону холма размазывалась зелёным, как на этюде, кокосовая роща.

Полковник развалился в плетёном кресле за большим столом, хмуро взирая на кипу чертежей на ватманских листах, доставленных ему проектировщиками для перевода на испанский сделанных ими спецификаций и примечаний.

— Ну что, сегодня собираемся?—спросил Стрелов.

— Пожалуй, нет, старик,—скорчив скорбную гримасу, сказал Полковник.—Без гитары собираться, скажи, старик, какой толк? Достанем струну—другой разговор.

Стрелов почувствовал прилив глухого раздражения. Оно посетило ещё на рассвете, когда он проснулся и услышал, что по стене стучит дождь и воздух отдаёт запахом бани. А сейчас он понял причину своего безотчётного недовольства или глухой досады: просто давно нет писем из дома.

— Ты и не пытался достать!—буркнул Стрелов так, что у Полковника сразу пропала улыбка.

— Попробуй сам, дорогуша!—шевельнув длинным носом, возразил он.—У меня работы вó, по самое горло! Куча письменных переводов. И чертежей навалом. И все срочно! На монтажную площадку чертежи из рук выхватывают. Ты бы мне помог: испанский и английский знаешь! Вся документация в архиве и библиотеке—на английском, а я в нём барахтаюсь только со словарём.

— Помогу, когда смогу. Можно подумать, что у меня об одной самодеятельности голова болит…

Техническое задание на проект цеха выщелачивания, согласованное с кубинцами, у него действительно не из лёгких, но зря он так нервничает. Полковник тоже заводится: глаза стали существовать отдельно от его отёчного лица. Удивительно, как дурное настроение одного передаётся другому; почему-то хорошим настроением заразить других гораздо труднее. А язык работает всё же наперекор сознанию, и Стрелов, угадывая наперёд результат своих слов, бросает Полковнику:

— А ты и впрямь трепач! Таким, как ты, что-нибудь да должно мешать. То работы много, то гитары нет. Как плохому танцору — то подмётки, то яйца. Я же людей уже настроил…

Полковник не привык быть в роли обороняющегося. А в части полемики на былых полях брани — на футбольных, хоккейных, в матросских кубриках и московских кабаках — он собаку съел. Кроме того, за его плечами лежал не технический, а гуманитарный вуз, отсюда и пустопорожний риторический потенциал его был выше, чем у инженера Стрелова. Короткая схватка двух артистов из погорелого театра прошла почти незаметно для окружающих, но бурно и остро.

Лжеполковник заявил сначала Стрелову, а потом и монтажникам, что в гробу он видел эту самодеятельность!.. А гитару у него никто не отберёт. Потому что только корпус у потёртого инструмента месткомовский, но струны — его личные, презентованные ему моряками с сухогруза «Ковров» как бывшему коллеге по совместным плаваниям. И вообще, на предполагаемое сборище по случаю Дня Победы в единственном на весь город ресторане «*Balcón*» Полковник идти не намерен. Поскольку его уже пригласили к себе кубаши-студенты из местного вечернего университета, где он ведёт факультативные занятия с желающими овладеть русским языком.

— А может, желают послушать байки ветерана боевых действий? — съязвил Лёня Дементьев.

— Нет, дорогой! Хотят пообщаться с представителем города-героя Москвы и сыном Героя Советского Союза! — отпарировал Полковник с видом крупного хищника, готового порвать мелкого грызуна.

После технического совещания Луис спросил Стрелова не на английском, как обычно, а на испанском:

— *¿Porque estas tan triste?* — Что грустный?

— *¡Tonterías!* — Пустяки! — кисло усмехнулся Стрелов в светлые усики. — Небольшая проблема: гитара срочно нужна для подготовки концерта ко Дню Победы…

Когда объясняешься на чужом языке, появляется иной душевный настрой: словно срабатывает в голове некий переключатель, и ты попадаешь в другое пространственное измерение… А с Луисом в особенности. У этого маленького, крепкого, подвижного человека словно никогда не бывало плохого настроения. Он с одинаковым удовольствием выполнял свою работу инженера-киповца, изучал русский и английский, играл в бейсбол, рубил сахарный тростник, помогал беременной жене готовить на кухне. Сосланный в Моа на бессрочную отработку за бесплатное получение инженерского диплома Гаванского университета, он с одинаковым рвением работал за зарплату проектировщика. Как и на бесплатной «добровольной пахоте» — *trabajo voluntario*: в выходные дни на сафре, а в рабочие дни по четыре часа безвозмездно «отдыхал» после заводской смены на строительстве жилых домов. Этим он и его коллеги ускоряли построение социализма в первой латиноамериканской стране, вставшей на этот сомнительный путь.

В отличие от большинства кубинцев и русских, Луис не курил и не пил, играл в волейбол и бейсбол, отказываясь от начальственных должностей и вступления в коммунистическую партию. Наивный бедняга надеялся вернуться здоровым мачо на окраину Гаваны — в родной дом. С садом с абрикосовыми и манговыми деревьями, где уже пять лет ждали сына и его семью престарелые родители. Из года в год писал слёзные прошения о переводе в столицу и получал отказы, поскольку национальных инженерных кадров на заводе не хватало.

А сейчас он, чуть наклонив голову с пробором в чёрных прямых волосах, смотрел снизу вверх участливо в лицо Стрелова своими маленькими чёрными глазками, готовый ринуться на помощь.

— Гитару? — произнёс он задумчиво, приложив короткий палец к губе. — А у Рене вы не спрашивали?.. Вы же его знаете — Рене Мачете?

В «кубинском» испанском местоимение ты — *tu* — практически не употребляется: все с рождения обращаются друг к другу на «вы» — *Usted*.

У Стрелова губы сразу растянулись в улыбку, точно ему судьба подкинула спасательный круг. И Луис тоже смеялся глазами — из них сыпались искры, как с наждачного круга. Таким был Рене Мачете: одного упоминания его имени было достаточно, чтобы развеселиться…

Назавтра Стрелов столкнулся с Рене Мачете, когда отправился из офисины проектировщиков по раскалённому солнцем красному пустырю на электростанцию. Рене был в рабочей одежде, выдаваемой заводчанам бесплатно: в белой пластмассовой каске, припорошённой кирпичной пылью, и в красной хлопчатобумажной рубашке.

— Гитара? Пожалуйста! — сказал Рене по-русски.

Он ходил в *Academia nocturna* — вечернюю академию. Там, наряду с английским, учили и русскому языку, поэтому студент использовал любую возможность его практического применения.

Низкорослый Рене смотрел на Стрелова снизу вверх и походил на боевого петуха.

— А почему не хочешь *пиано*? Я буду искать. Ты хочешь играть для… *девучка*?

Рене двумя изящными движениями изобразил, как Стрелов будет играть на пианино, распевая серенаду.

— *Yo no puedo tocar la guitarra* — Я не умею играть на гитаре, — сказал Стрелов, ощущая, как пот щекотал ему спину. — На пианино тоже.

Небо, земля, жёлто-голубое озеро — всё излучало влажный послеполуденный жар.
— Очень жаль! Не можешь? А почему гитара? — Рене сдвинул каску на самый затылок, и круглое смуглое лицо в каплях пота стало строгим: сейчас он играл следователя.

Оба они понимали, что разговор затягивается не потому, что Рене хочет знать, для чего Стрелову гитара, просто им обоим надо поупражняться: Рене — в русском, а Стрелову — в испанском.
— *¿Tu sabes qué fecha es el nueve de mayo?* — Ты знаешь, что за дата девятого мая? — спросил Стрелов.
— *Si, claro.* — Да, конечно.
— *Queremos preparar el concierto para esa fecha. ¿Comprendes?* — Мы хотим подготовить концерт к этой дате. Понимаешь?
— Компрендуха! — сказал Рене, и зубы у него заблестели в широкой улыбке.

Слово «компрендуха» включало, в зависимости от ситуации, два значения: «понимаешь?» и «понимаю!». Его преобразовали на свой манер монтажники от испанского глагола *comprender* — понимать. Даже называли автора — Диму Щипачёва, сурового бородатого парня с Урала. Он показывал кубинцам, прикреплённым к своей бригаде, знаками, как, например, нужно производить сварку деталей, и, чтобы убедиться, что его поняли, спрашивал: «Компрендуха?» И кубинцы восторженно кричали в ответ: «Компрендуха, Дима!»
— *Pero tenemos un problema.* — Но у нас проблема, — сказал Стрелов. — *¿Puede ser que tu nos ayudarás? Yo sé, que tocas la guitarra bien. Ven a mi casa hoy con tu guitarra y nos acompañarás.* — Может быть, ты нам поможешь? Я знаю, ты хорошо играешь на гитаре. Приходи сегодня к нам со своей гитарой аккомпанировать.

Рене Мачете вытаращил на Стрелова коричневые глаза:
— *¡Mi madre!* — Мамочки! Ты шутишь?
— *¡No tengas miedo!* — Не бойся! — успокоил его Стрелов.
— Я — кубинец, — скромно напомнил Рене. — Я ничего не боюсь.
— *¿Y tu esposa tambien?* — И своей жены тоже?
— *Poquito.* — Чуточку.
— *¿Estás de acuerdo?* — Согласен?
— Конечно!
— *¡Viva integración socialista!* — Да здравствует социалистическое единство!
— *¡Viva!* — поднял руку Рене.

Он, ясное дело, не понял до конца радости Стрелова, а объяснять ему не стоило. Это было внутреннее дело — разногласия между Стреловым и Полковником. И для Полковника такой исход послужит мощным психологическим ударом, но он сам здесь кругом виноват. В конце концов, оправдывал себя Стрелов, это не мне нужно — вся эта самодеятельность. Надо, чтобы всё происходило как дома — на родине: вместе радоваться Победе, вместе вспоминать тех, кто пал за неё.

5. Сервеса, мучачи, ча-ча-ча

— В красном уголке собираться нельзя! — категорично заявила Лена Богатова, машинистка. — Там же всё услышат. И им потом будет неинтересно. Ты сам это прекрасно понимаешь!

Спорить с машинисткой вообще бесполезно, тем более если ей сорок пять или сорок шесть и она второй раз за границей. Дама с претензиями. Вполне возможно, что в недавнем прошлом сводила кое-кого с ума. Да и теперь она выглядит неплохо для своих лет. Особенно когда одета в лёгкий брючный костюм. И кубинцы, особенно Рене Мачете, пристально смотрят ей вслед и задумчиво покачивают головами.
— А где же тогда репетировать? — спросил Стрелов.

Автобус уже подходил к повороту налево, но сейчас затормозит у комерсиаля — магазина, где кубинцы почти все товары покупают по карточкам. А советский народ разбежится за товаром в свободной продаже: кто за мороженым, кто за хлебом, а переводчики — в «либрерию» — книжный магазин.
— *Сервесу* из Ольгина привезли, ребята! — уже крикнул кто-то сзади — Коля Минаев, кажется, — и любители сервесы, по-русски — пива, шумно высыпали из автобуса и ринулись к киоску, спрятанному под пальмами.

А непьющие и предпочитающие ром из квартирных холодильников советики поехали дальше — к своим панельным четырёхэтажкам на улочке *Rolo*.
— А сколько участников будет в нашем ансамбле? — спросила Лена.
— Человек пятнадцать, — прикинув в уме, не сразу отозвался Стрелов.

Лена призадумалась, склонив голову с короткой причёской, покрашенной недавно хной в рыжее.
— Тогда можно у меня в квартире собраться. Нормально будет, поместимся.
— Пока все в сборе, объявлю, — согласился Стрелов.

Приподнялся с пластмассового сиденья и громко предупредил, что к семи вечера участники художественной самодеятельности собираются в апартаментах Елены Богатовой, в доме на *Martillo*.
— Это ещё зачем? — заспорил было Слава Жерех бархатным баритоном. — Идти же далеко!
— Ох, обленился ты, Слава! — осадил его парторг Володя Коняев, он же и начальник монтажников, а значит, и начальник Жереха. — Тебя, наверное, в Союзе на служебной машине возили.

А седой в молодые лета Лёня Дементьев, по праву завоевавший репутацию занозистого парня, добавил:
— Ты угадал, Володя: жерех, как известно, — рыба речная, краснопёрая. А наш человекообразаный

Жерех в Союзе в начальники конструкторского бюро пробился, пешком топать отвык и, думаю, сам себя на Кубу командировал!..

Автобус хохотнул, и Слава Жерех, занимавший своё постоянное место — самое высокое кресло над задним колесом, от рекламы его славного прошлого сник, сосредоточив внимание на движении публики в районе пивной площадки. Там на каменных скамейках, в тени высоких кустов, сидели мулаты, негры, белые — все в рубашках с короткими рукавами — и потягивали пиво из картонных литровых стаканов. Впрочем, Слава Жерех пиво — под благотворным влиянием своей жены — не потреблял. Берёг голос и свою репутацию: печальный опыт показал, что поддатым он совершал глупостей значительно больше, чем трезвым.

Автобус неторопливо катил в направлении водонапорной башни. Рядом с ней притулилось одноэтажное здание *alberge* — общежитие холостячек: преподавателей, врачей и медсестёр, поварих и работниц комбината. На него устремились жадные взоры советских холостяков — постоянных и временных, кто приехал на Кубу без жён.

На площадке перед входом в дом, как на сцене, сидели за столом и барражировали под пальмами по периметру длинноногие мучачи — негритянки, мулатки, белые — в коротких юбочках и вызывающе открытых декольте. Кто-то из наших парней не выдержал и страстно простонал на весь автобус:

— Эх, бы-ы-ы!..

И все советики по-жеребячьи захохотали. А шофёр автобуса, весёлый мулат с кудрявыми локонами до плеч, оглянулся на пассажиров с белозубой улыбкой и подал длинный сигнал клаксоном. Мучачи призывно махали руками над головой: в чём дело? выходите станцевать румбу, сальсу, ча-ча-ча... Наиболее удачливым нашим парням удавалось заводить с мучачами романы и заманивать к себе под покровом тропических ночей. Что грозило влюблённым суровым осуждением за аморалку. А нарушившему моральный кодекс строителя коммунизма советику, не устоявшему перед чарами кубинок, — досрочной высылкой на родину с грозящими мучительными разборками перед партийно-советскими ханжескими органами. И в будущем навсегда значиться в списках КГБ *«невыездным»* за пределы СССР.

Стрелову всё же не раз доводилось дурачить бдительных чекистов: ведь он изменял не Отечеству, а только красноярской жене. И то лишь телесно, а не духовно...

За *alberge* дорога поворачивала налево — к домам, заселённым русскими.

А в данный момент Стрелова больше интересовала реакция Полковника на его призыв к участникам худсамодеятельности. Но моряк, переводчик, монтажник, артист, а может, и тайный агент гэбэ стоял монолитом, слегка пригнувшись, за спиной водителя, демонстрируя обтянутый штанами упругий зад коллегам в салоне, и пристально вглядывался в ветровое стекло. Словно от его руководящей и направляющей роли зависела безаварийная доставка людей на покой после трудового дня. На его могучей спине, прикрытой красной рубахой, как бы проступала огненная надпись: «Моряки не сдаются!»

Что-то творится неладное, думал Стрелов, с переводчиком Климовым. Виданное ли это дело: Полковник отказался от кружки пива! Не присоединился, как в недавнее время, к какой-нибудь группе кубинцев, смешанной с русскими братьями, чтобы потешить народ своими шуточками. А если ему подсунут гитару, то и спеть перед разнокожими слушателями, прикрывая глаза и потряхивая за гриф семиструнку: «В тумане скрылась милая Одесса...» или «Я оставил родимый дом...».

Чёрт знает, может быть, для пользы дела стоит усмирить гордыню и сдаться «моряку»! — в принципе-то хорошему парню...

6. Холостяцкий быт с экскурсом в прошлое

Всех приехавших на Кубу специалистов без семей называли «холостяками». Жили они по два-три человека в таких же квартирах, как и семейные. Но быт их был дополнен непривычными женскими заботами. В частности, стиркой белья и приготовлением пищи. Правда, квартиры холостяков ежедневно убирались техническим персоналом CAT'а (*Centro Asistencia Técnica* — центра по обслуживанию иностранных специалистов) — *«камарерами»*. Эти же горничные еженедельно меняли холостякам постельное бельё.

Для советиков кубинцы в шестидесятых годах на горизонтальной террасе, выскобленной бульдозерами на склоне холма, наспех построили два четырёхэтажных, на три и два подъезда, дома по образцу модных, а главное — дешёвых, в ту эпоху панельных хрущёвок. С балконов этих дворцов развитого социализма, мало пригодных для здорового обитания людей, открывался вид на здание аэровокзала и взлётно-посадочную полосу. А дальше, за изгородью из колючей проволоки, — на прямоугольные искусственные, выкопанные на болотистой мангровой пустоши пруды. И в полукилометре от них взгляд терялся в старой части города в зарослях пальм, банановых кустов и манговых деревьев. А справа, километрах в двух от домов с россиянами, вздымался, словно парил над землёй навстречу бледно-голубому небу и горячему солнцу, океан. Чаще всего его лазурный простор был пустынен, но его таинственная живая пустынность притягивала взгляд. И Стрелову иногда, после порции студёного рома

из холодильника, думалось, что если угодить на парусную шхуну, то рано или поздно, если не уйдёшь ко дну, окажешься на родине.

Оттого, что дома построили на холме, в комнатах с жалюзи на окнах и балконных дверях — стёкол в них вообще не было — постоянно гуляли сквозняки. Случалось, что по ночам завывал ветер, в жалюзийные щели со свистом врываясь в дом, и русским спросонья казалось, что снаружи бушевала пурга.

Но даже в январе, самом холодном зимнем месяце, температура ночью редко опускалась ниже плюс двадцати градусов. Днём же в тени подскакивала до двадцати пяти, а то и тридцати градусов. Вода в океане держалась у берега и на рифах не ниже двадцати двух. А в этом году, жаловались кубинцы, остров пытала засуха: дожди не выпадали месяцами. Солнце обрушивалось на тропическую природу Карибских островов всей огненной мощью своих изрыгающих жару протуберанцев. Надежду на сохранение своего главного богатства — сахарного тростника — кубинцы возлагали на дождливый период с мая по октябрь, когда пассаты авось да принесут с океана спасительные ливни. Только бы не редкие для тропиков разрушительные *huracanes* — ураганы, смерчи, цунами, торнадо!..

В одних плавках, открыв двери на большой фасадный балкон и на противоположный малый балкончик на кухне — с тыльной стороны здания, Стрелов жарил картошку на газовой плите. Резал помидоры и лук на салат, расставлял тарелки на широком столе в столовой. Пахло оливковым маслом, на котором жарилась картошка, газовым пламенем и морскими раковинами.

Иногда выглядывал из кухни и пытался понять, о чём шла речь в передаче по телевизору. Темнолицый человек говорил о первом съезде Кубинской компартии, который должен состояться в этом году.

В своей комнате лежал частенько недомогающий пятидесятипятилетний инженер Вениамин Климушин. Когда замолкал диктор, было слышно, как он вздыхал и, постанывая, растирал руками больную ногу, раненную в бою с японцами больше тридцати лет назад. Уже не верилось, что этот медлительный, смирный человек служил во флоте, был награждён медалью Нахимова. Сухопутная салажня улыбалась и переглядывалась, когда он на пляже начинал нескладно и тягуче говорить о тоске по морю или тяге к корабельным кубрикам. За глаза, с улыбкой, называли Климушина старым матросом с задом, покрытым ракушками.

А он каждый раз, узнав, что в порту пришвартовывался очередной советский сухогруз, вечером надевал белую нейлоновую рубашку, новые брюки, лакированные туфли и с бутылкой рома отправлялся на судно. С ней безо всяких хлопот обретал новых приятелей и в сотый раз травил им о перипетиях своей семилетней службы в Тихоокеанском военно-морском флоте. В годы Великой Отечественной войны он плавал сигнальщиком и за выпивкой иногда демонстрировал салагам флажками азбуку Морзе.

Более грустной главой биографии матроса Вени Климушина была его десятилетняя ссылка в заполярный Норильск «за антисоветскую агитацию». Сам виноват: в беседах с сослуживцами — на радость чекистским стукачам — он хорошо отзывался об американских моряках. На их судне, поставлявшем по ленд-лизу боевую технику с Аляски в Находку, он служил в качестве прикомандированного сигнальщика, дабы при встречах с советскими кораблями он подал условный сигнал и они не торпедировали американский сухогруз.

А после войны трибунал превратил его в зэка и отправил на барже по Енисею в Норильск. Там, по воле лагерного начальства, сигнальщик был переквалифицирован сначала в бурильщика руды в карьере на Медвежке, а через пару лет, после тяжёлой болезни, получил должность дежурного водолея — поил паровозы шлангом из водонапорной башни…

К ужину с опозданием прибежал с моря потный Володя Скворцов, третий жилец этой квартиры. Ему недавно здесь, на Кубе, стукнуло тридцать лет, по случаю чего он излишне заправился ромом и едва не покалечился. Отправился в полночь на поиски мулатки Кармелины, медсестры городской больницы, и провалился в какую-то яму. Был Володя смугл, черноволос, с аккуратной плешью на макушке. Изящный, красивый, резкий в движениях, он имел склонность к глубокомысленным философским обобщениям под воздействием пустяковых реалий. Так, в своём падении в яму он узрел знак свыше: Кармелина превратилась в его воображении в обольстительную дьяволицу.

Просматривался в поведении Скворца и другой пунктик — физкультура во имя укрепления здоровья. Утром поднимался на час раньше сожителей, совершал пробежку, делал придуманный самим комплекс упражнений. А после возвращения с завода по окончании рабочего дня убегал на пляж — за три километра от дома. Там упражнялся, купался и шагом успевал к ужину.

Обманчивая, испанского пошиба, внешность и манера поведения побуждали незнакомых с Володей кубинцев заговаривать с ним на испанском. Они весьма изумлялись, когда он, внимательно выслушав кубаша и не поняв ни слова, торжественно объявлял: «*Йо русо*» («Я — русский»).

А трудоёмкое изучение испанского давалось ему туго. С недавних пор он, приверженец жёсткой системы в любом деле, тратил на преодоление этого препятствия не менее часа в день. А беседы вёл с кубинцами и соотечественниками

на русско-испанском диалекте, дополняя пробелы в речи, как заправский мим, энергичными движениями лица, рук, ног, всего тела. Или ещё проще — вставками слов и целых фраз во вроде бы испанскую речь. Как пример:

— *Йо* хочу *комер*! — крикнул на испанско-русском Володя, заглянув на кухню.

Это означало, что сибиряк желает откушать. С существительными в изучении языка прогресс у красноярца намечался, а с остальными частями речи уровень замер на непреодолимом нуле.

К тому же Володя Скворцов из-за долгой работы в промышленных котельных и металлургических цехах страдал тугоухостью и поэтому часто сбивался на крик. Он просто не умел говорить вполголоса, чем вызывал раздражение у собеседников. По прибытии в Гавану в одном самолёте Стрелову приходилось земляка частенько осаживать: прохожие оглядывались на них, когда Володя, жестикулируя, переходил на восторженный крик, восхищаясь каким-нибудь экзотическим растением или архитектурой. А чаще всего — призывно улыбавшимися ему мулатками и негритянками.

Однако всё это мелочи. Володя уродился в Чувашии и воспитался в Красноярске замечательным парнем, хорошим товарищем. Работал наладчиком, и как-то не верилось, что он пил редко и помалу, не курил, никогда не раздражался, не сплетничал, не вступал в перебранки и легко всех прощал. И в этом очень походил на кубинца Луиса.

— Обстановка необычная, заграница, ясно, что изменения в психике неизбежны, — рассуждал он вслух. — Надо спортом заниматься. Это снимает нервные нагрузки и сексуальный дефицит.

— Слушай, — недовольно проворчал Стрелов, — сегодня ты мог бы и пропустить море. На репетицию опаздываем.

— Да? — расширил Володя свои невинные коричневые глазки. — Ничего, успеем. От системы легко отступить под разными предлогами, а потом и вообще забыть…

После душа он растирался махровым полотенцем, и смуглое тело его и красивое узкое лицо излучали удовольствие, доброжелательность, готовность сделать людям хорошее. Резким контрастом служил ему старый матрос Вениамин Климушин. Он сидел, упираясь грудью в стол, постаревший за эти месяцы, усталый, уныло морщился, вздыхал и тёр щёку. Без слов было ясно: у Вениамина снова заболели зубы.

— Йо хочу комер! — с удовольствием повторил Володя.

Он дёрнул стул — ножки загремели по каменному полу — и с грохотом уселся в торце стола.

— Я ем быстро, — заявил он. — Когда я занимаюсь физкультурой, я ем много, быстро и с пользой. Стоит прекратить — и я теряю вес и становлюсь нервным. Картошечка, салат — всё как дома. Отлично!

А с улицы уже нёсся бархатный баритон Славы Жереха:

— Товарищ Стрелов, вы уже ушли?

— Нет, пока здесь! Вам кто мыл тарелки, товарищ Жерех?

— Жена.

— А я сам и варю, и жарю, и посуду мою, товарищ Жерех. Дежурный я по кухне. Вы собирайтесь, я сейчас прибуду.

— И всё же нехорошо вам, как организатору, товарищ Стрелов, опаздывать. Это подрывает доверие к руководящему кадру.

— Я вас уважаю. Простите! — крикнул Стрелов с кухни.

Между холостяками и женатиками всегда сохранялось недопонимание. Женатики были более благодушны, а холостяки агрессивны и свободны в суждениях и не терпели вмешательства женатиков в их дела. Когда ты после работы вынужден крутиться на кухне, стирать тряпки, а спать только с москитами и подолгу не иметь вестей от семьи, оставленной в Союзе, неизбежны срывы и быстрая уязвимость.

Рене почему-то не было. А без гитары нет смысла собираться, всё сводится к одной болтовне.

— Володя, закончишь лопать — сбегай к Рене, — попросил Стрелов.

— Хорошо. Только где он живёт?

— Я знаю, — неожиданно вызвался Климушин.

За ужином он хлопнул полстакана рому, покраснел и выглядел не таким унылым.

— Может, вместе сходим? — спросил Володя.

Он натягивал джинсы и белую тенниску и, как всегда, гундосил ему одному известную мелодию и часто поглаживал короткие волосы от плешинки ко лбу.

Вениамин Климушин подумал, закурил от зажигалки горлодёрную «*Popularis*» и сказал, что вообще-то весьма кстати прогуляться: может, от этого зубу полегчает.

— Тогда с Рене — прямо к Елене, — скомандовал Стрелов.

7. Первая репетиция

А Рене, оказывается, уже знал о месте сбора. Когда Стрелов вошёл в квартиру Елены Богатовой, наполненную знакомыми лицами, Рене крепко ударил по струнам гитары и запел в качестве приветственного марша какой-то весёлый кубинский мотив.

— *Gran jefe* (большой начальник) пришёл, — сказал он, прервав песенку на полуслове. — Давай-давай!

И Стрелов увидел, как у Лены Богатовой от смеха из глаз брызнули слёзы. Слово «давай» знали все кубинцы на заводе. Стоило появиться русскому специалисту в цехе или в отделе, как слышалось

добродушное, побуждающее к немедленному действию: «Давай-давай!»

Стрелов хлопнул по столу толстой синей книжкой:

— Вот стихи,—сказал он.—Купил в подмосковной Дубне перед отъездом сюда. Как чувствовал. А в общем-то, я никуда без стихов не езжу.

— Ну ясное дело—поэт,—подкусил Слава Жерех и осмотрел собравшихся выжидательно: прошла ли его тупая острота?

Широкая, как совковая лопата, курносая физиономия отставного начальника КБ выражала непреходящее довольство собой.

— Любитель поэзии,—сухо поправил Стрелов.— Я здесь подобрал, что посчитал подходящим для юбилея Победы. Сейчас вам почитаю, и вместе подберём к стихам песни. Сделаем обычный монтаж. Стихи о войне и песни военных лет.

— *Компрендуха*,—за всех выразил согласие Рене.

— Кофе хотите?—предложила Елена.—У меня готово.

— То-то я чувствую, что именно им пахнет,—задвигал ноздрями Володя Скворцов, решительно занимая место рядом со Стреловым. От него пахло отечественным шампунем «Наташа».—Давай, Саша, начинай. А я буду твоим секретарём. У всех великих людей были биографы и секретари. Надо, чтобы данное собрание носило деловой, конструктивный характер. Прежде всего—программа.

— Пока её нет,—сказал Стрелов.—Она должна родиться сегодня. Оригинальничать не станем. Поедем по линии хронологии войны: её начало—ход—конец.

Рене крутил головой. Он, пожалуй, не всё понимал, но гитара у него висела на шнурке, и он выражал готовность к действию. Большое лицо Славы Жереха почему-то выражало неудовольствие, и он всё порывался что-то сказать. Стрелов намеренно не замечал души его порывов. Вениамин Климушин сидел тихо в стороне от всех, держался за щёку и, казалось, прислушивался к своему организму: не завелась ли в нём очередная хворь? А может, он вспоминал свой весёлый, шумный кубрик и старшину с гармонью?

Начинало темнеть. Душные тропические сумерки заволакивали комнату. Лица людей стали расплывчатей, добрей. В открытой балконной двери на кухне, на фоне светло-розового закатного неба, шевелили листьями кокосовые пальмы. На соседнем балконе истошным призывом мартовского кота кричал попугай.

Включили вентилятор, поставив его на пол, но всё равно появились москиты. Женщины ойкали, морщились, нагибались и гладили икры.

А Стрелов читал своим громким, резким голосом стихи о войне. Она гремела тридцать лет назад за тысячи миль отсюда. И хотя Куба тоже объявляла войну Германии, а её народ сделал многое, зависящее от него, для победы над фашизмом—на эту землю не упало ни одной бомбы. Поэтому, к счастью, мало осталось и кубинских матерей, плачущих по убитым на кровавых полях Европы сыновьям.

Однако война была мировой, и память о ней стала мировой скорбью и мировой гордостью и верой в бессмертие и величие человеческого разума и духа.

Стрелов намеренно отыскал в сборнике стихотворения поэтов-фронтовиков. Такие стихи, какие он раньше не слышал, чтобы их читали с эстрады. И потому для большинства они явились откровением.

— Ну, это будет бесподобно!—первой откликнулась Елена Богатова.—Только ты, Саша, читаешь уж больно заунывно, как поэт. А сами стихи—прямо чудо! Публика будет рыдать.

Стрелов не показал виду, что обиделся: ему всегда думалось, что стихи он умеет преподнести, как их чувствует сам,—на уровне литературного чтеца средней руки.

— Несите кофе, Елена,—попросил он сдержанно.— И будем подбирать к этим стихам песни.

Володя Скворцов сидел в плетёном кресле на краю стола и что-то писал на большом листе бумаги, потирая двумя пальцами любимую плешь на макушке.

— Формируем программу,—сказал он.—Искусство—это тот же спорт. Красота, гармония!

— Правильно, Скворцов!—неожиданно произнёс из своего угла Вениамин Климушин.

— Это уже из серии «Нарочно не придумаешь»,—буркнул Слава Жерех.

Все засмеялись, потому что попугай на балконе Чемерисовых вдруг внятно заорал: «*Ир-р-ра! Жрать, жрать!*»

Рене ударил по струнам и запел «*Bésame mucho*». И хотя песня про «целуй меня крепче» не укладывалась в рамки программы концерта Дня Победы, все нестройно подхватили её.

А Стрелов подумал, что песни найдутся и теперь всё должно получиться.

8. Либерал и экстремист

— Ты очень мягок с нами,—заключил Володя Скворцов после репетиции, предложив Стрелову прогуляться по ночному городу перед сном.— Жёстче надо. Наши люди привыкли жить по команде.

— Пожалуй,—согласился Стрелов, про себя удивившись совету приятеля: не мягкотелому Скворцову учить кого-то жёсткости.—Но ведь это самодеятельность, и я вам не начальник. Сам ничего не умею. Ни петь, ни плясать, ни играть. Приходится собирать мнения, сортировать предложения, отбирать подходящее и находить согласие большинства. Каждый хоть что-то подскажет.

То, что мне кажется неприемлемым, критикую, а что годится — защищаю. Самодеятельность — самое демократичное искусство.
— И всё равно много времени уходит на споры.
— Брось, не расстраивайся! Всё идёт как надо.

Существовало нечто, что всё же угнетало Стрелова. Нет, не дела в самодеятельности. В конце концов, не для этого советики сюда приехали. Он начал заметно больше уставать. Или мысль в голову снова пришла, что дома сейчас утро, солнце апрельское светит в окна. А может быть, и наоборот — хлещет дождь, полощет на ветру голые ветви тополей, и дальние сопки в окне пятого этажа кажутся серыми призраками.

Это там — за морями, океанами. А здесь вечер, небо в крупных звёздах. На телевизионной мачте горят красные фонари, дабы её не сбили самолёты при посадке и взлёте с местного аэродрома. С холма хорошо просматривается весь завод, пылающий электрическими огнями, как иллюминированный корабль. На корме этого корабля, над тонкой трубой сероводородного цеха, полощется оранжевый факел, беспокоит душу.

Стрелов и Скворцов шли по краю улицы — тротуаров здесь американцы, построившие завод и этот посёлок, не предусмотрели. Из-за этого уже погиб один наш монтажник, сбитый самосвалом с рудой. Отправили самолётом в Союз в цинковом гробу, в сопровождении жены с только что родившимся ребёнком на руках.

Мимо проносились машины. Пролетали стайками говорливые девушки в коротеньких юбочках, посматривали с любопытством на иностранцев. У входов в *касы* — благоустроенные некогда американцами дома с холлами, спальнями, горячей водой, с кондиционерами — сидели в креслах-качалках аборигены, говорили о чём-то, жестикулировали, смеялись. Тени от пальм, манговых деревьев, фромбойа, запахи цветов, океана, звёзд. Неплохо, но к этому никогда не привыкнешь, хоть проживи тут ещё сто лет. Русские жёны кубинцев, учившихся и женившихся в Союзе, — частые гостьи жён советских специалистов с жалобами на ностальгию по родным пенатам.
— А особенно эта Люда из себя выходит, — продолжал ворчать Володя Скворцов. — Лезет и лезет в каждую дырку. Никому слова не даст сказать. Аж нос краснеет и потеет. Ну и носина! С таким за границу нельзя пускать.
— Ты сам сегодня превысил полномочия. Секретарь, а заорал на неё, как фельдфебель.
— Я извинился.
— Между прочим, она дельное предложение подала, чем и как закруглить наш монтаж. Как-никак музыкальную школу заканчивала, слух есть. В своём проектном институте постоянно в самодеятельности участвует.
— А голос противный.
— Ладно, ты — либерал, а я — экстремист. Мы друг друга дополняем.
— Будет вернее — исключаем.

9. «Белый аист» гарантирует удачу

После четвёртой или пятой репетиции, когда даже скептик Слава Жерех признал, что труппу ожидает крупный успех, Елена Богатова пошла дальше обычного кофе. На стол встала и замерла в ожидании, словно балерина, бутылка молдавского «Белого аиста». Советскую выпивку — «Столичную», армянские и грузинские коньяки, молдавские вина, — сладости и многое другое раз в месяц в Моа доставляла из Гаваны зарубежцветметовская автолавка.

При виде «Аиста» артисты ахнули, запротестовали для приличия. Кто-то сказал, что такое годится для праздника, а более разумный добавил, что, мол, на пятнадцать человек пол-литра — что слону дробина. А самый чуткий — Володя Скворцов, секретарь режиссёра и постановщика Стрелова, — подвёл черту под дебатами. Он сказал, что, конечно, ёмкость невелика, но что в коллективе работает Рене Мачете, кубинец. Он-то, несчастный, наверняка не пробовал молдавского коньяка трёхлетней выдержки.

Коллектив дружно загоготал. Стрелов хотел перевести Володино высказывание, но гитарист закричал: «Компрендуха», — и заиграл карнавальное, бравурное и весёлое.

Раскрасневшаяся, вернувшаяся в студенческое девичество сорокалетняя Леночка уже расставляла на столе крохотные кофейные чашечки, и комнату наполнил запах разрезанных на четыре части крупных апельсинов. Потом к этому запаху примешался более острый коньячный, которому невежды приписывают аромат клопа.

Выпили сначала женщины, следом за ними, из тех же кофейных чашечек, — мужчины.

У переводчицы Люды, некогда, по её словам, успешно окончившей московскую музыкальную школу, вспыхнул выдающийся нос и влажно засверкали выпуклые чёрные очи. Очаровательная Тамара, солистка ансамбля и прекрасная во всех отношениях женщина, охраняемая своим могучим супругом, страстным любителем пива Владленом Супруненко, слегка зарумянилась и стала ещё привлекательней.

Первым запел студенческую песню, зычно, с полной отдачей сил, худой, жилистый алмаатинец Витя Новосельцев. У каждого есть свой пунктик. У Вити этим пунктиком являлись студенческие песни. Пятнадцать лет прошло, как он, юный и ещё более тощий, чем сейчас, покинул стены родного Свердловского горного института. Незаметно вроде бы выбился в главные специалисты проектного института цветной металлургии и превратился в выдающегося обогатителя полиметаллических

руд казахстанских недр. Но студенческих песен тех невозвратных дней не забыл. Он выдавал их соло, как молодой петух. Синие вены толщиной в указательный палец вздувались на шее, кадык ходил как челнок. Его круглые, в глубоких впадинах глаза, казалось, вращались по часовой стрелке на осях суженных зрачков.

В первые минуты
Бог создал институты,
И Адам студентом первым был…

После отпевания «студента Адама» следовала песня на мотив «Раскинулось море широко» о студенте СГИ с трагическим финалом. Когда после провальной сессии он дал дуба, «к ногам привязали ему сопромат и калькою труп обернули…» и со слезами сбросили в вертикальный шурф.

Солист выступал с этими песнями по окончании каждой трудовой недели в своей открытой всем ветрам квартире. Однако из уважения к технологу-обогатителю Вите Новосельцеву делали вид, что слышат их впервые. Знали его слабость — вспоминать невозвратную молодость, так что аплодисменты по окончании песни о кончине студента-горняка звучали искренне.

Вторым чудаком был Володя Бунин. Но ему всегда сопутствовал дух коллективизма. Он не мог петь один — может быть, из-за недостаточной силы голоса. Маленький, плотный, глаза невинные и прозрачные, как у Швейка, встал он посреди комнаты, взмахнул короткими, покрытыми светлым мхом руками, и все грянули:

На Питерской дороженьке,
Всегда чему-то рад,
Сидел кузнечик маленький
Коленками назад…

После этой песни выступил Слава Жерех:
— Несерьёзно это, ребята. Давайте что-нибудь настоящее, русское. Есть же хорошие песни. Хотя бы «Катюша» или «Подмосковные вечера».
— Ка-атью-юча! — протяжно крикнул Рене и ударил по струнам.

Стрелов не без злорадства подумал о Полковнике. Он жил в этом же подъезде, двумя этажами выше. Его любимым местом общения с Вселенной был балкон. Он, конечно, медитирует там с бутылкой рома и всё слышит. А он, по собственному признанию, очень раним, очень нежен — и самодеятельное пение наверняка вонзалось в его сердце как дагестанский кинжал. Впрочем, он добровольно пошёл на харакири. Сам — из глупого упрямства… Пожалуй, эта жертва открыла путь к лучшему. Полковник всех бы подавил, обезоружил своим могучим талантом. А тут одержала победу настоящая самодеятельность. Все равные среди равных посредственностей.
— Хороший был вечер, — подытожил Стрелов.
— Да, — согласился Володя Скворцов. — Мы поверили, что у нас получится. Даже Слава Жерех забыл о своей солидности, пришёл в телячий восторг…

Та же улица. Телеантенна с красными фонарями. Завод, похожий на корабль в огнях. Жёлтый язык факела лижет небо над тонкой трубой сероводородного цеха. И мысль, похожая на всегдашнюю: а там, дома, десять утра, жена работает, дочь в школе. Весна, цветут подснежники и жарки, в тайге и в оврагах ещё снег лежит, ручьи пахнут талой свежестью, на реках трещит ледоход. А здесь — вечное лето, и от этого время кажется неподвижным… Только кажется: сегодня минуло пять месяцев и двенадцать дней, как ты прилетел на Кубу…
— Уедем отсюда — и всё это будет казаться сном, — сказал Володя Скворцов, словно продолжив его мысль. — Ведь настоящее и крепкое — это дом, Енисей, Красноярск.

Он снова говорил громко. Молодая пара — парень, костлявый и плоский, как доска, мулат с сигаретой во рту, и его *novia* — невеста, тоже худенькая, с неправдоподобно большими глазами на матовом лице, — приостановились под уличным фонарём и уставились на Володю. Стрелов сразу понял: Скворцова опять признали за кубинца, свободно говорившего по-русски.

10. Кубинский День Победы

На восьмое мая Стрелов назначил генеральную репетицию. На прослушивание были приглашены парторг Владимир Коняев и председатель местkома Иван Волчков — художник, резчик масок из кокосового ореха. От рядовых членов профсоюза он отличался ношением у сердца партийного билета, низким кровяным давлением, любовью к юмору, казацкими усами и кудрявой головой. А по образованию и роду занятий в Союзе и здесь, на Кубе, — инженер-механик технологического оборудования.

Однако репетиция и просмотр были сорваны ураганом непредвиденных событий. Может быть, это и преувеличение — ураганом! — но события возымели место.

В этот день, после обеда, советские специалисты вместо работы на заводе были приглашены кубинской стороной в кинотеатр. Не в кино, конечно, а на торжественное собрание в честь тридцатилетия Победы над фашизмом. Поскольку, как и большинство западных стран мира, Куба отмечает День Победы восьмого мая.

Кинотеатр этот, построенный американцами одновременно с заводским посёлком — на пригорке, рядом с *кафетерией*, где всегда перед фильмом можно выпить кофе или бутылку студёной *рефрески*, охладиться мороженым, выглядел вполне современно: бетон и толстенное витринное стекло в фойе. Все помещения охлаждались проточным

кондиционированным воздухом. После уличной жары атмосфера в кинозале вызывала колотун. Как правило, русские женщины, отправляясь на сеанс, брали с собой вязаные кофты.

Стрелов удивился, увидев у входа в этот очаг культуры множество празднично одетого народа. Белые рубашки, аккуратно причёсанные головы, а на многих даже костюмы и галстуки. О женщинах и говорить нечего — они блистали, затмевая солнце. А было градусов тридцать в тени, не меньше. На пути с завода автобус не продувался даже на приличной скорости, хотя все окна и люки на крыше были открыты до отказа.

Стрелов всерьёз опасался: если белая рубашка на нём промокнет, тогда и отечественный одеколон «Шипр», щедро политый после бритья на щёки и волосы, не заглушит запаха пота.

У входа в кинотеатр и в фойе только и слышалось: «*Buenas tardes*», «*Cómo está usted*», «*¿Qué tal?*», «*Felicitamos*» — «добрый вечер», «как себя чувствуете?», «как дела?», «поздравляем». Празднично одетые люди улыбались, хлопали друг друга по плечу, курили и на улице, и в помещениях. Данное безобразие на острове Свободы, где табак — второе после сахарного тростника национальное богатство, никакими правилами не возбранялось.

Мулатка Дамарис придержала Стрелова за рукав и справилась о его здоровье, есть ли письма из дома и почему он выглядит грустным. Девятнадцать лет мучаче, глаза ласковые, озорные. А об улыбке её — женственной, нежной — то и дело среди русских специалистов вспыхивали дискуссии не менее ожесточённые, чем, скажем, вокруг улыбки Джоконды у знатоков высокого искусства.

Роландо был одет в костюм и накрахмаленную белую рубашку с роскошным галстуком с вышитым ниже узла кубинским гербом. Но он оказался великодушным: увидел на Стрелове белые брюки и лакированные туфли и захлопал в ладоши. Так что всё фойе обратило взоры сначала на них в общем, а потом на лакировки в частности. И Рене Мачете был при параде — в пёстрой рубашке и расклешённых брюках. Низ правой брючины сзади небрежно заткнут в низкое голенище надраенного до немыслимого блеска ботинка: таков был на то время писк кубинской моды. Поскольку обладателями таких полусапожек являлись счастливцы, побывавшие где-нибудь в Европе или у нас, в Союзе.

Только Луис не переодевался. Ему и не надо было: он всегда был чистеньким, аккуратненьким. Как-никак гаванец, столичный человек, хотя и живёт в Моа после окончания университета уже семь лет. Луис заговорил со Стреловым по-английски. Но Рене остановил его нетерпеливым жестом: зачем, мол, компаньерос, напрасно напрягаться, если Саша говорит на испанском не хуже, чем уроженец Кастилии или Гранады?..

Володя Скворцов стоял рядом со Стреловым с застывшей улыбкой на смуглом лице. С ним посторонние, не работающие на заводе кубинцы несколько раз пытались заговорить по-испански. В ответ он смущённо признавался, игриво помаргивая: «*No comprendo*». И тогда на него уже смотрели как на шутника.

Пронёсся слух: приехала делегация русских, работающих на таком же никелевом заводе в Никаро — городе, расположенном в восьмидесяти километрах от Моа. Стрелов поспешил из фойе в кинозал и стал искать Володю Колоскова, закадычного друга своего, светловолосого, кудрявого, как младенец, рослого и голубоглазого, рождённого на старинной ярославской земле, а прописанного в старинном Рыбинске инженера-строителя, академика по металлоконструкциям. Владимир был награждён природой многими талантами, но некоторые из них особо превалировали. Так, он мог рассчитать любую металлоконструкцию и начертить её набело тушью или фломастером на кальке, чётко и без единой поправки. Затем он мог петь блатные песни под Высоцкого и выпить наравне с ним. И ещё: он был прям, как штык, и смел, как гладиатор. Не знал он проблем и в любовных контактах с негритянками и мулатками: они слетались к нему, как мухи на мёд. Не опасаясь осуждения за бытовое разложение, он, будучи беспартийным, не отказывался от ночного общения с ними, поскольку его вторая жена и трёхлетний ребёнок остались в Союзе и он на Кубе числился доступным для свободной любви холостяком.

Стрелов нашёл человека, наделённого этими добродетелями, в большом зале кинотеатра, в третьем ряду. Когда Колосков, этот чудодей фломастера, рейсфедера и прелюбодеяния, увидел Стрелова — он едва не запари́л в пространстве набитого людьми помещения. Он заулыбался, замахал руками, как крыльями, послал кого-то куда-то с соседнего кресла. А Стрелов протиснулся к нему и сел рядом. Не виделись они порядком, может, месяца два, глядели друг на друга с обожанием, говорили наперебой, спрашивали и отвечали. О письмах из дома, о работе, о пляжах, о наших кораблях, куда вечером можно сходить в гости, об общих знакомых, о причудах начальства. И, конечно же, понизив голоса до полушёпота, о *мучачах* из Моа и Никаро. Они познакомились в «Зарубежцветмете» в Москве, прилетели в Гавану и в Моа теми же самолётами. Два месяца жили в одной комнате в Моа, пока никаровское начальство, разнюхав о его феноменальных способностях расчётчика и конструктора, не настояло на переводе Колоскова в их конструкторский отдел.

Вдруг шум смолк. Из боковых, открытых прямо на улицу дверей, из солнечного прямоугольника, появились люди и прошли за стол президиума.

Лысоватого в очках кубинца Стрелов узнал сразу—секретарь регионального комитета партии.

Его сын, худой парень с пороком сердца, похожий на молодого поэта, страдающего от неразделённой любви, часто приходил в гости в дом советских специалистов и на стадион—посмотреть игру русских в футбол и волейбол. Он курил сигареты «Троя» и рассказывал Стрелову о своём отце: много работает, пишет диссертацию по истории революции. А на него, сына, у отца нет времени. Стрелов угадал: сентиментальный юноша сочинял элегические стихи о неразделённой любви к Эрне, обручённой со студентом Гаванского университета.

Были и другие кубинцы, очень серьёзные, напряжённые, как солдаты в строю, тщательно одетые—в костюмы и галстуки. Стрелов их видел впервые. Зато русских он знал почти всех, кроме двух приезжих деятелей из Гаваны или Сантьяго. Одного—идеально лысого, с умным решительным лицом. И другого—пожилого чиновника, сутуловатого, в очках, как будто чем-то озабоченного: по его морщинистому лбу временами проходили волны лишней кожи.

— Кто это?—поинтересовался Стрелов.

— Попов, руководитель группы технологов,—наклонился к его уху светлыми кудрями Колосков.—Отличный мужик. Кандидат или доктор наук из Питера.

И Вениамин Климушин, тоже включённый в почётный президиум, уже не был домашним дядей Веней, страдающим то от зубной боли, то от радикулита. История сделала его живым монументом, и Стрелову вдруг совестно стало, как ещё сегодня утром, за завтраком, он в шутку посоветовал дяде Вене разгрызть больным зубом косточку от манго—тогда, мол, всё пройдёт. А старому матросу было не до шуток. Он сетовал на судьбу: в такой день—и надо же вмешаться этой боли!.. И вспомнил, как тогда, тридцать лет назад, они ранним утром девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого шарахнули в сторону океанского горизонта боевыми снарядами из всех калибров—аж небо вздрогнуло, а корабль выпрыгнул из тихоокеанской бездны!

Но Вениамин Вениамином… А рядом с ним на равных сидела Елена Богатова, машинистка, член художественной самодеятельности, как потом выяснилось из доклада, телефонистка штаба артиллерийской бригады в Ленинграде. Такая ладная, полненькая. Оказывается, она пережила всю блокаду. В свои пятнадцать лет надела гимнастёрку с солдатскими погонами, став «дочерью полка».

В этой обстановке многое выглядело необычным. Даже Люда, не очень-то приятная характером дева, «традукторша», которая начала с перевода речи первого секретаря регионального комитета, капризная, упрямая, родившаяся лет через восемь после войны холостячка,—сегодня она выглядела прекрасно. И не просто переводила—она передавала все интонации ораторов, словно профессиональная драматическая актриса.

И руководитель группы советских специалистов в Моа Феликс Томашевский, тихий, с седым бобриком, потомственный питерский интеллигент в очках, скупой на слова и поступки, вдруг проявил себя заправским оратором. Для начала он извинился, что не сможет говорить по-испански. А потом просто, не заглядывая в текст, рассказал о войне, о подвигах и жертвах, о лично пережитом. Он провоевал три года в артиллерии и конец войны встретил в госпитале. Упомянул о тех советских специалистах, которые теперь работали здесь, а тридцать лет назад были военными моряками, как Вениамин Климушин, или фронтовыми телефонистками, как Елена Богатова.

Переводчица Люда бойко переводила речь Томашевского, слегка оттирая его оголённым плечиком от микрофона на трубчатой стойке. А Томашевский почему-то не догадывался отодвинуться от него на время перевода. Не сходя с места, он отклонялся от стойки микрофона всем туловищем и выжидал, посматривая искоса сквозь очки то на переводчицу, то—напрямую в зал.

А Стрелову вдруг вспомнилось, как недавно Томашевский, когда автобус доставил советиков с работы, попросил его зайти в его двухкомнатную квартиру в доме на Rolo-1. Он занимал её один и, как поделился со Стреловым секретной информацией Миша Сивоха, работавший с Феликсом в Ленинграде в институте «Гипроникель», жену на Кубу не вызывал—уже второй год отдыхал от её скандального общества. А через год не полетел в Питер в отпуск: предпочёл отгулять его в обществе таких же «отказников» на пляжах и в кафетериях в Моа и Никаро.

А на этот раз Феликс, наскоро настрогав сыра и колбасы и поставив на стол тарелку с апельсинами и бананами, достал из холодильника мигом запотевшую бутылку «Havana Club» и предложил выпить просто так—развеять одиночество напитком из сахарного тростника и беседой на отвлечённые темы. Для Стрелова было полной неожиданностью, когда немногословный и вроде бы замкнутый начальник назвал гостя неформальным лидером группы советиков, комиссаром и человеколюбом. Мол, никто, в частности, его, Стрелова, не обязывал браться за руководство самодеятельностью. А Стрелов и сам не мог бы объяснить, на кой ляд он в это ввязался.

От скуки, возможно, или от природной тяги быть на виду.

Томашевскому долго аплодировали. Все встали. Кто-то из зала, как здесь заведено, выкрикивал на испанском лозунги. И русские, и кубинцы отвечали дружным: «*¡Viva!*»

После речей и приветствий президиум спустился в зал. А на сцене, этаком невысоком помосте у основания белого киноэкрана, появился упитанный смуглый парень с гитарой на шнурке. Отрегулировав микрофон на стойке на нужную ему высоту, он сел на подставленный длинноногой мулаткой стул. Скороговоркой пояснил, что споёт несколько авторских песен, ударил по струнам, закрыл глаза и запел. У него был сильный мужественный голос, а гитара, видно, давно стала частью его души. Он словно и не напрягался совсем, но пространство зала заполнилось и как будто расширилось от его голоса, когда он пел о девочке в осаждённом Ленинграде. О мужестве русских солдат. О кубинской революции и о страданиях Чили от режима генерала Пиночета.

У Стрелова временами перехватывало горло — от гордости, от горечи, оттого, что не увидеть, как завтра этот праздник пройдёт на родине, дома. Он глянул на Колоскова — у того в уголках глаз поблёскивали слёзы. Война, кровь, смерть тридцати миллионов россиян. Вторая мировая в малой степени коснулась и Кубы. Она объявляла войну фашизму, помогала чем могла. И всё же война едва коснулась её. Лишь немногим немецким подводным лодкам удалось подойти к её берегам — об этом Стрелову стало известно из романа Хемингуэя «Острова в океане». Писатель жил в то время в своём гаванском имении и выходил на деревянной моторной яхте, снабжённой пулемётом, на охоту за германскими субмаринами. Это больше смахивало на попытку суицида.

Негр Хилтон — может быть, он сейчас тоже сидел в этом зале — как-то сказал Стрелову, своему ровеснику, что узнал о войне году в сорок третьем. Жил в хижине, в пальмовом лесу, и вдруг кто-то принёс в деревню новость, что идёт мировая война. А Стрелов помнил войну с первого дня до последнего.

И всё же хорошо, что здесь понимают, какими жертвами чревата война и какой великий подвиг совершил народ России. Хотя крови и здесь пролито реки. Одних индейцев конкистадорами истреблено двести тысяч. Потом негры, доставляемые из Африки, устилали своими трупами плантации. Тридцать лет войны с испанцами. Больше чем полвека пили кубинскую кровь североамериканские колонизаторы. Диктатура, расстрелы, пытки. Штурм крепости Монкада, революция. И это на земле, о которой Колумб, открывший остров, сказал, что прекрасней места на планете не сыщешь.

От этой путаницы мыслей, вызванных речами и песнями голосистого барда, приехавшего из Сантьяго-де-Куба, певшего с закрытыми глазами и как бы сошедшего в зал с белого киноэкрана, у Стрелова вдруг заболела душа. Хорошо, что они касались плечами с неунывающим Колосковым, иногда похлопывающим его ладонью по бедру.

После митинга вышли на сверкавшую майским солнцем улицу, увидели дальние голубые горы за рудным карьером и совсем близко — синюю гладь пруда с отражёнными в нём пальмами. Володя Скворцов поставил Колоскова и Стрелова в скверике к кустам алых олеандр и щёлкнул несколько раз, отмерив расстояние шагами и меняя экспозиции, из примитивной «Смены».

Стрелов с грустью думал, что он и его друзья всё же по-разному воспринимают этот юбилей. Он, пусть и был тогда пацаном, помнил войну с первого дня до последнего. А Скворцов и Колосков родились после войны. Для них День Победы не был замутнён личными воспоминаниями о том страшном времени — потерях, голоде и холоде. Для них он существовал радостным праздником с самого раннего детства. Так что лучше от их неведения заразиться беззаботным весельем. Победа есть Победа, а жизнь есть жизнь — надо больше радоваться Победе и жизни, а не грустить…

11. Фиеста в «детской комнате»

Сорвалась-таки репетиция.

Приехавшим из Никаро специалистам разрешили разойтись по гостям до девяти вечера. И в квартире Стрелова, Климушина и Скворцова был дан грандиозный банкет в честь Александра Аксёнова и Володи Колоскова — как парторга дружественной группы и коллеги Стрелова и Климушина по работе в одном и том же красноярском тресте и сопровождавшего его беспартийного лица. С кубинской стороны на банкете присутствовал Рене Мачете без супруги; ходили слухи, что Рене закрутил роман с секретаршей директора завода Вирхинией и его семейная лодка дала трещину.

Напрасно Слава Жерех взывал в семь часов вечера с улицы:

— Товарищ Стрелов, на генеральную репетицию! Вы ведёте себя несолидно!..

Володя Колосков разозлился, округлил свои голубые, весьма бешеные глаза, выскочил на балкон и крикнул:

— Помолчи, Слава! Или я тебе рот бананом заткну! Иди лучше к нам…

Но Слава обиделся на банан и растворился в пространстве. Он был, конечно, прав, чопорный бюрократ и законник Жерех. Только обстоятельства сильнее нас. Кто будет жарить для гостей и хозяев картошку, нарезать огурцы, помидоры и лук в салат, открывать консервные банки, подавать на стол? Да и чем здесь не самодеятельность?

Александр Аксёнов, парторг дружественной группы советских специалистов в Никаро, курносый, седой, в очках, был создан природой озорником и заводилой. Самозванно объявив себя тамадой, он произнёс не очень складный, немного длинный, но отвечающей политическому моменту тост. Приведём только заключительный абзац из него:

— Мы, конечно, не дома, мы не услышим победного салюта, но мы сердцем там, помним всех. И они нас обязаны помнить. За Победу!..

Выпили, и он по-отцовски выдал партийное назидание: встреча должна пройти организованно, под его мудрым руководством. Никто не возражал, поскольку больше внимания уделялось выпивке и закуске, чем словам.

Ну а затем Аксёнов перешёл на испанский, выкрикнув:

— *¡Tocar la guitarra!*

Рене Мачете отозвался знакомым каждому кубашу, работавшему с русскими, словом:

— Давай-давай!

И Аксёнов, сверкнув очками, вздёрнул нос, взмахнул, как заправский дирижёр, короткими волосатыми руками и предупредил:

— Только очень серьёзно! Не орать, а петь. Предлагаю: «На рейде морском легла тишина…»

Рене попросил для начала пропеть куплет а капелла — без сопровождения, подстроил гитару на нужный лад, и хор, сначала нестройно, а потом слаженно и с чувством, выдал несколько популярных в русском народе песен.

Впоследствии женщины — а их мнение в русской колонии было решающим — говорили, что лучше всего приём никаровцев прошёл в «детской комнате» — так называли квартиру Стрелова и его сожителей. Кто-то и когда-то уловил ухом с улицы, что в этой квартире очень дружно работают ложками — от тарелок исходит малиновый звон, как в детсаду. И квартира потеряла свой номер — стала «детской комнатой»…

Так вот, женщины говорили, что Стрелов и на этом приёме организовал замечательный концерт.

— Да не я — Аксёнов! — поправлял их Стрелов.

Однако женщины не верили. Они приписали Стрелову ещё одно лестное качество — скромность.

Ветеран Вениамин Климушин превзошёл всех салаг русской колонии. С утра он жаловался на боли в левой ноге и прихрамывал весь день. И вдруг, в заключение пирушки, выплыл гоголем из-за стола и *сбацал* матросский танец «Яблочко». О душевности и красоте исполнения свидетельствовали образовавшиеся под его каблуками трещины на плитах каменного пола гостиной.

12. Аварийная ночь

В дверь сильно стучали.

Стрелов проснулся. По стене двигалась тень от жалюзийной решётки — прошёл грузовик с зажжёнными фарами в порт по нижнему шоссе. И снова стало темно, душно.

Стук повторился. Стрелов откинул марлевый полог маскетеро, вышел в столовую и в темноте натолкнулся на Вениамина Климушина, который уже открывал дверь.

Вошёл Рикардо Новоа и сам включил свет. Среднего роста мулат, с широким лицом, с усами, налитый силой и энергией. Ему где-то под тридцать, двое детей. В Союзе он окончил химический факультет института. Там его принимали за грузина. Да и акцент у него, когда он говорил по-русски, был как у *кацо*. На заводе он работал начальником цеха подготовки пульпы.

— Привет, — поздоровался Рикардо, как обычно, без улыбки. — Случилась авария на второй технологической нитке. Поможете?

Вениамин Климушин чесал широкую голую грудь с татуировкой: якорь и над ним, как нимб, бескозырка с лентами, расходящимися к соскам.

— За чем дело встало? — сказал матрос. — Конечно!

И похромал в свою комнату.

— Садись, — пригласил Стрелов. — Я сейчас оденусь. В холодильнике рефреска, попей.

— *¡Gracias!* — Спасибо. Я как раз хотел попросить воды.

— *Por nada.* — Не за что.

Городок, угадываемый через открытую балконную дверь по редким огням, мирно спал. Под лучами прожектора, установленного на горе за морским портом и беспрерывно перемещающего свой туманно-синий тревожный свет то по небу, то по побережью, иногда оживал, вздрагивал океан. В зарослях бананов у дома в основании холма скулил щенок.

— Уже полмесяца заснуть не даёт, — пожаловался Вениамин Климушин.

Рядом с джипом — японской «Тойотой» — стояли маленький молчаливый шофёр с усами, никогда не снимавший с головы фетровой шляпы, и худой алма-атинский технолог Витя Новосельцев.

— В первые минуты Бог создал институты, — подбодрил его Стрелов.

— Провалим сегодня всё, стыда не оберёмся, — высказал мрачный прогноз Витя.

— Что провалим? — не понял Рикардо.

— Самодеятельность, — пояснил Стрелов. — Ты не забыл, что тебя пригласили?

— Нет, конечно, — сказал Рикардо. — Кстати, поздравляю! Тебя, Вениамин, первым!

— Фронтовики, наденьте ордена! — запел было Витя.

В нём ещё, видно, бродило вчерашнее похмелье.

— Не взял я, — печально сказал Вениамин Климушин.

— Чего не взял? — снова не понял Рикардо.

— Да медали свои. Орден. Как-то не подумал, дома оставил.

Никто не стал утешать старого матроса. Уселись в «Тойоту»: русские — сзади, на обшитые кожей скамейки, Рикардо, как хозяин, — на переднее сиденье.

Шофёр завёл мотор, включил фары и резко, как большинство кубинских водил, рванул с места.

Поднялись в гору к поликлинике. На открытой веранде кафетерии сидели за столиком двое мужчин и жестикулировали, как немые. Проехали дом холостяков у водонапорной башни с аптекой напротив. Двери в аптеку, как всегда, распахнуты — она работала круглосуточно, — и там ходил, словно привидение, кто-то в белом. Отсюда, с холма, уже был виден завод, освещённый огнями, — огромный корабль с красным факелом на корме, смутно отражённый в озере. Он плыл в ночи вместе с планетой.

— Что там случилось? — спросил Новосельцев.

— Сам не знаю, — сказал Рикардо. — Вот машину прислали. Попросили приехать с русскими.

— На месте разберёмся, — рассудил Вениамин Климушин.

— Как нога? — спросил Стрелов.

— Болит, однако, — признался Климушин.

Машина миновала магазин и поворачивала налево к мосту.

— Учти, вечером ты должен быть в форме, — напомнил Стрелов серьёзно. — Снова надо плясать.

— Как-нибудь, не беспокойся, — сонно проворчал Вениамин Климушин.

У ворот завода «Тойота» затормозила. В неё заглянул пожилой полицейский. Рикардо вышел, показал ему пропуск, и полицейский, сказав что-то, неторопливо отправился опускать преграждавший въезд стальной канатик.

Заводская территория была залита ярким светом и казалась совершенно безлюдной. Как дворец в забытой сказке.

Подъехали к цеху и по узкой металлической лестнице друг за другом поднялись в операторскую кабину цеха сгущения. Сильно пахло сероводородом. Как Стрелов ни сдерживал себя, но несколько раз кашлянул. За ним прочистили бронхи и его спутники. Такое случалось каждый раз, когда разлаживалась технология — сероводород разбавлялся в атмосфере в бóльших пропорциях.

В тесной операторской работала вентиляция и газа было меньше. Под потолком горел пыльный плафон. Стрелов взглянул на щит контроля: стрелка амперметра, замеряющего ток нагрузки потребителей второй нитки, стояла на нуле. Со стены на пришельцев напряжённо смотрел Че Гевара — в берете, с длинными развевающимися волосами и редкой бородой. В бытность министром экономики Кубы компаньеро Че раза три посещал завод, и кубинцы рассказывали русским о легендарном команданте в живых красках.

Начальник смены и Рикардо быстро заговорили. Казалось, они не слушали друг друга: каждый молол своё в одно и то же время. К этому трудно было привыкнуть русским, а переводчики первое время терялись. Стрелов, постоянно заботившийся об улучшении своего испанского, смог понять только куски фраз и конец разговора. Да и то — когда говорил один Рикардо.

Стрелова удивило, что Рикардо сделал начальнику смены замечание, что тот вышел на работу в нечистой рубашке. Худой и нервный — немолодой уже — мулат смутился, потёр узкой ладонью два пятна в общем-то чистой серой рубашки с ржавым пятном пульпы на плече и пробормотал, что ночью можно вроде перекантоваться и в такой «*камисе*». Рикардо смерил его неодобрительным взглядом и повернулся к русским. Широкое волевое лицо его с длинными усами напряглось.

— Короткое замыкание было в центре контроля моторов. Пожар даже начался на одном щите. Насос высокого давления, кажется, сломался. Там уже дежурные бригады работают… Посмотрите, им помощь ваша нужна.

— А мне переводчик нужен, — поставил условие Вениамин Климушин. — Я испанского пока не знаю.

Стрелов повернулся к стене, чтобы остальные не увидели, как он улыбается. За полгода Вениамин усвоил только «здравствуйте», «спасибо» и «*уна бутыйа лече*» — «одна бутылка молока». Причем вместо «*leche*» он произносил «*lecho*». И получалось, что он склонял продавщицу на предоставление ему супружеского ложа.

— Не учли, — запоздало пожалел Рикардо. — За кем послать?

— За Климовым, конечно, — сказал Стрелов. — Я обойдусь без переводчика. А с Виктором ты поработаешь.

— Ладно, — согласился Рикардо. — У Климова какой номер квартиры?

— Он живёт в том же доме и подъезде, где офисина КАТа, — сказал Стрелов. — Четвёртый этаж, дверь направо. Номер квартиры не помню. Ну, я пошёл…

Надо ещё ухитриться Полковника вытащить из-под маскетеро. Сон для него — дело святое, а после выпивки — вдвойне. В автобус утром часто он заскакивает с настежь расстёгнутой ширинкой.

В центре контроля моторов пахло горелой изоляцией. Дверки на многих блоках — у нас они называются пусковыми станциями — были открыты. В узком коридоре между щитами при свете аккумуляторного фонаря работали двое — и оба оказались знакомыми Стрелову. С молодым высоким парнем, который готовился к поступлению в университет, он встречался на подстанции в порту. А со вторым, морщинистым и подвижным, бывшим *мачетеро* — рубщиком сахарного тростника — и участником кубинской революции, он два дня занимался переписью американской аппаратуры на электростанции во время остановки на ремонт.

Жаль, быстро вылетают из памяти имена. Знакомились ведь, говорили на разные темы. С первым — о его невесте и женитьбе, со вторым — о своих жёнах, детях и гадали, когда на Кубе отменят

карточную систему на продукты питания и промышленные товары. Мужик мечтал получить квартиру, заиметь телевизор и холодильник. Об автомобиле не могло быть и речи: их по особому списку, как за особые заслуги, могли удостоиться за свои деньги только немногие на заводе инженеры на начальственных должностях. В принципе, то же самое в отношении квартир и тачек, что и в Союзе.

— *¡O, Alejandro!*—Александр!—обрадовался его появлению кубинский мечтатель.—*¿Qué tal la vida?*—Как жизнь?

И подал Стрелову для приветствия локоть: кисти у него были покрыты маслом и сажей. А младший подмигнул Стрелову и улыбнулся. Красивый всё-таки народ, в какой раз подумалось Стрелову. И у этого лицо будто из слоновой кости—точёное, глаза—как тропическая ночь и улыбка—словно у Лойко Зобара. Ага, вспомнил! Его зовут Хосе. Он же, Стрелов, как-то пошутил: а невеста у него, случайно, не Кармен? И потом они говорили об одноимённой опере.

— Ну что, поработаем?—спросил Стрелов по-русски.

Кубинцы переглянулись, засмеялись и в один голос выкрикнули:

— Давай-давай!

Дело оказалось несложным. На вводе от трансформатора, на шинах, скопилась электропроводная пыль, по ней «перекрыло»: ток потёк на землю—возникло короткое замыкание. Электрическая дуга прожгла стальную стенку вводного шкафа, и вышел из строя большой английский автоматический выключатель.

Поскольку таких автоматов на складе в запасе не нашлось, а были только советские, от Стрелова требовалось подыскать нужную замену.

Паспортная табличка на английском автомате сгорела. Стрелов послал Хосе за электросхемой и попросил передать Рикардо, что нужен газосварщик—залатать дыру в панели. А с ловким низкорослым Пабло (и это имя Стрелов воскресил в своей памяти, вспомнив их прежний разговор о Пабло Неруде) они сняли сгоревший автомат.

Выключатель оказался «втычным»; у него при коротком замыкании медные ножи приварились к губкам. Пришлось изрядно помучаться, прежде чем вытянули устройство из гнезда. С обоих градом лил пот, и оба вымазались, как черти, в саже.

Когда Хосе вернулся со схемой, он хохотал до слёз, взглядывая на разукрашенные чёрными мазками лица Стрелова и Пабло. Стрелов поколдовал над схемой—все надписи на ней были на английском языке, поскольку завод строился по американскому проекту, на американском оборудовании и материалах, на американские деньги. А богатая никель-кобальтовая руда добывалась из принадлежащих Кубе недр. Из неё на заводе получали пятидесятипроцентный концентрат. Его после революции в металлических контейнерах отправляли уже не в США, а на кораблях в Союз—для получения никеля и кобальта путём электролиза в Орске или в Мончегорске. С электричеством у кубинцев было туго: ни каменного угля, ни могучих рек природа острову не подарила.

Подумав с минуту над развёрнутым чертежом, Стрелов на его обратной стороне по памяти написал тип и номиналы советского автомата. Хосе снова побежал к Рикардо. А через полчаса за Стреловым пришла машина—та же «Тойота». В ней сидел всклокоченный, с заспанной физиономией кладовщик, по-детски протирая глаза кулаками. Он, казалось, совсем не понимал, что говорил ему Стрелов,—только моргал и зевал. Серьёзный шофёр в фетровой шляпе подключился к разговору, сердито бросив кладовщику несколько коротких фраз.

В складе с шиферными стенами, к удивлению Стрелова, царили чистота и идеальный порядок. Он прошёл вдоль стеллажей и быстро нашёл что требовалось. Автомат вдвоём с кладовщиком отнесли в «Тойоту» и вернулись на подстанцию.

Чистое небо гасило звёзды, наливалось тёплым светом—начинался рассвет. А там, дома, день уже кончался, люди стекались на площади—смотреть салюты и фейерверки. Не очень верилось в такое смещение во времени, в это подобие асинхронного двигателя…

И снова неувязочка! Наш автомат, во-первых, оказался не «втычным», а присоединялся проводами. Габаритом он оказался вдвое больше английского. Пришлось установить его на стене и в цепь включить проводами.

Много лет назад Стрелов—тогда он учился в вечернем институте—работал электриком и удивился, что ничто не забылось из его славного рабочего прошлого. Из уголкового железа он сам сделал кронштейны, из куска стальной трубы—шлямбур. Хосе пробил шлямбуром отверстия в стене. Стрелов насверлил электродрелью отверстия в кронштейнах под болты. Пабло замесил цементный раствор.

Газосварщика Рикардо не смог найти. Да сейчас он был и не нужен: всё равно автомат поставили на стену. Позвонили на электростанцию, попросили дать напряжение на высокую сторону трансформатора. Стрелов включил автомат. Вольтметр на вводе показал шестьсот шестьдесят вольт.

— Полный порядок,—сказал Стрелов.

— *¿Qué?*—Что?—не понял Пабло.

— *¡Orden severo!*—перевёл Стрелов.

— *Si, si.*—Да, да.

Вольтметр вольтметром, а на часах было уже полдевятого. В операторской сидели Вениамин Климушин, вымазанный машинным маслом, и сонный Полковник с недовольной рожей.

С Полковником Стрелов поздоровался сухо, посмотрев на него в упор, с вызовом. И позвал Климушина:
— Пойдём под душ, отмоемся.
— Постой, устал,— сказал Вениамин.— Иди один, я покурю.

Полковник курил и молчал. Потом демонстративно зевнул.

Солнце светило во всю свою термоядерную мощь. С металлической площадки была видна бóльшая часть завода с его стальными башнями, чёрными трубами, электростанцией и окутанной паром градирней на берегу пруда. От озёрной глади трудно оторвать глаза—такая она синяя, широкая, спокойная, охраняемая по берегам кокосовыми пальмами. В пруду непременно водятся русалки—стройные мулатки с прямыми чёрными волосами, ниспадающими до их рыбьего хвоста.

Стрелов подумал, снял рубашку и помылся до пояса тут же, на площадке, над ржавой раковиной. А когда поднял голову и открыл глаза, всё ещё опасаясь, что в них может попасть мыло, увидел серьёзного Рикардо с полотенцем.
— *¡Gracias, Ricardo!*
— У вас всё?—спросил Рикардо.
— Слава Богу, справились.
— Ну, прости, что испортил вам праздник.
— Что ты? Такой праздник не испортишь ничем. Разве только новой войной.
— Согласен,—кивнул курчавой головой Рикардо.—Можем ехать домой.
— Вениамин умоется—и поедем. У вас всё сделано?
— Порядок в танковых войсках!

Стрелов уставился на Рикардо, восхищённый его познаниями великого и могучего языка. И они засмеялись вместе.

13. Playa Popular—Народный пляж

Когда приехали с завода, дом советских специалистов был почти пуст. Перед ним прогуливались, что-то склёвывая с каменных плит, три пёстрых курицы—частная собственность русских пятилетних девочек.

В жизни русской колонии ещё в феврале произошёл памятный эпизод. Кубинский *CAT* завёз для наших специалистов живых кур: хотите—рубите птичкам головы, ощипайте, но пух и перья верните *CAT*'у, а мясо кушайте на здоровье. Если же птичек жалко—можете держать их в квартирах живыми. Некоторые родители пошли навстречу дочкам—и курицы стали полноправными членами трёх семей.

С балкона Климушин и Стрелов наблюдали за белым катером, увозившим советиков на отдых. Судно медленно удалялось по сверкающей океанской глади от причала в старой части города к зелёному *Кайо Моа*—островку, на котором ещё американцы обустроили пляж панельным домом для переодевания, дизельной электростанцией, туалетом и круглым бассейном для детей. От всего этого буржуазного комфорта осталось грустное напоминание, негодное к использованию: дом и туалет без крыши и дверей и пустые ржавые кожухи от дизель-генератора.

Стрелов на мгновение представил себе старого капитана в сомбреро и рулевого, похожего на корсара. Легко одетых детей, женщин, мужчин с ржавыми копьями из арматурной стали. Весь долгий знойный день на пляже. Внутренним зрением воскресил морское дно в шевелящихся водорослях, абсолютную тишину и задумчивых рыб в переливающемся туманном свете в лабиринте коралловых рифов—вздохнул и пошёл спать.

Какая, к чёрту, сегодня генеральная репетиция?! Вернутся артисты с пляжа, обессиленные солнцем и морем, в лучшем случае, в четыре. А там душ, еда, отдых перед банкетом, одевание. Опозоримся с концертом, как пить дать!..

После холодного душа Стрелов лёг на кушетку голым, оставив открытой дверь в свою спальню. Открытыми были жалюзи на окнах и двери на оба балкона—и всё равно в комнате стояла духота. Фасадная стена дома—а именно впритык к ней лежала влажная после душа голова Стрелова—уже прокалилась насквозь. От нагретого бетона излучалось тепло, как от натопленной русской печки. К тому же на соседнем балконе кричал попугай по имени *Рамон*, подражая скрипу лебёдки, мяуканью кошки, горькому плачу оторванного от матери щенка. Чёрта с два уснёшь!..

Он несколько раз прочёл про себя стихи, которые предстояло произнести сегодня вечером. Потом представил, что творится дома,—всю эту праздничную кутерьму, радость. Парки, переполненные людьми. Жену и дочь—они, наверное, тоже думают о нём,—и расстроился окончательно. Но вовремя спохватился: дома сейчас была уже ночь вчерашнего дня!.. Начал считать по-испански до бесконечности, и наконец сон взял своё.

После обеда он позвал Вениамина Климушина на пляж у грузового порта. Ветеран ВМС вначале сопротивлялся, но потом прикрыл голову купленным за одно песо соломенным сомбреро, посмотрелся в зеркало, спросил, похож ли он на ковбоя, и они пошли на *Playa Popular*—Народный пляж.

Им повезло. Шофёр-негр сам затормозил машину около них и подбросил до порта, а там до океана рукой подать по тенистой песчаной дороге сквозь сосновую рощу.

На берегу хотя и было в этот день пусто, зато на песке у входа в бухту жарились трое морячков с советского судна. Они пригласили Климушина и Стрелова присоединиться к ним. Вместе загорали, ныряли и попивали отличное грузинское ркацители, закусывая его местными апельсинами и ленинградским сервелатом.

Все они — Жора, Юра и Костя — родились и выросли в Питере. Каждому не больше двадцати пяти, а они уже видели и топтали разные континенты планеты. Пересекали океаны, заходили в десятки гаваней и знали цену разных валют.

Вениамин Климушин слушал, слушал их и сказал вдруг, перебив на полуслове длинноволосого Костю, повествовавшего об Австралии:

— Эх, ребята! Люблю я море! И зачем я только после войны оставил его? У меня при виде корабля…

И замолчал морской волк Вениамин Климушин, уткнулся лицом в песок — то ли заплакал, то ли задумался: может, вдруг вспомнил, как после войны стал норильским бурильщиком и водолеем. А моторист Костя забыл о Зелёном континенте, обвёл всех серыми невскими глазами, пожал мускулистыми плечами и спросил, не пора ли искупнуться…

— Ты что это за сцену ребятам устроил? — спросил на обратном пути Стрелов. — Винишком этим, ркацители, тебя разобрало?

Ноги утопали в белой, как толчёная известь, пыли. На склоне горы стая чёрных мальчишек сбивала палками с одинокого дерева какие-то плоды. Это напомнило Стрелову яблони напротив их дома. Несколько лет назад его дочка, Танюшка, наелась зелёных ранеток, и её рвало весь вечер.

— Салага ты, однако, — нехотя отозвался Климушин. — Прошёл бы ты через всё, что мне довелось испытать!.. После войны меня на десять лет упекли за то, что с американцами на их ленд-лизовских кораблях сигнальщиком плавал. Восемь из них, пока Сталин не крякнул, в Норильске оттрубил — в карьере на Медвежке и на железной дороге стрелочником и составителем поездов. Реабилитировали, конечно, да искалеченные годы жизни разве вернёшь?.. Так что война, можно сказать, была лучшей частью моей жизни.

Стрелову стало неуютно, стыдно даже.

— Прости, — сказал он. — Для войны я опоздал родиться на пять-шесть лет. Будь твоим ровней, может, плавали бы вместе и в ГУЛАГе парились рядом.

— Считай, что тебе повезло. Хотя я бы с тобой судьбами не поменялся…

«*Necio es quien piensa, que otro no piensa*» («Глуп тот, кто думает, что другой не думает»), — вспомнил Стрелов выученную им недавно испанскую пословицу и смолчал.

14. Руки вверх, Полковник!..

А репетиция всё же состоялась.

Сначала Стрелов попытался собрать участников в четыре пополудни, потом в шесть. Ходил перед домом, выкликал поимённо. На балкон выходили на зов, разводили руками и говорили, что не могут, устали или шибко заняты подготовкой к банкету.

— Не нервничай! — взмолился неизлечимый оптимист Володя Скворцов. — Соберёмся прямо в кабаке, найдём место и пробежимся по программе разок-другой. В принципе-то, мы готовы, настроиться только. Сам подумай: кому хочется опозориться?

— Хорошо, — сердито согласился Стрелов. — Объяви всем, чтобы собрались в ресторане к семи.

И в сумерки пошёл один в ресторан «*Balcón*», где должен состояться вечер. В белой рубашке, белых брюках и лакированных туфлях, побритый и надушенный — настоящий маэстро от искусства.

С океана набежали тучи. Совсем не страшные тучи — сиреневые, ленивые. И дождь посеяли меленький, тёплый и редкий — совсем не здешний яростный ливень, предваряемый и сопровождаемый громами и молниями. Так что Стрелову даже не пришлось прятаться от подаренного природой душа.

Он просто шёл по улице. От некоторых домов ему кричали знакомые поддатые кубинцы: «*Buenas tardes u felicitamos*» («Здравствуйте и поздравляем»). Он отвечал им тем же, вежливо отказываясь от приглашений *tomar por un trago* — выпить по глоточку.

А когда пришёл в ресторан на окраине города, у подножья холма, покрытого пальмовой рощей с примесью лимонных и манговых деревьев, — увидел изысканно одетых артистов своей труппы. Оказывается, недавно их привезли на автобусе по нижней дороге.

На сердце сразу стало легче. Он мельком заглянул в ресторан. В длинном зале уже горел свет, и нарядные русские и кубинские женщины накрывали столы.

Среди них очень выгодно выделялась красавица Тамара, солистка ансамбля, председатель женсовета. А также надёжно охраняемая жена могучего супруга, любителя пива и обладателя магнитофона «Вега» Славы Супруненко. Сегодня она была в платье из серебряной парчи с глубоким вырезом, и от этого её шея была ещё белей и грациозней. Недаром кто-то из ребят отозвался о Тамаре знаменитыми словами Гоголя: «Дама, приятная во всех отношениях».

Однако и смуглая высокая кубинка Адельфа, примерно одних с Тамарой лет, одетая в короткое красное платье, жена инженера Пиньеро Мира, худого и улыбчивого фотолюбителя, была по-своему прекрасна. Она разносила и ставила на столы вазы с белыми и жёлтыми розами. Встретившись взглядом со Стреловым, ослепительно улыбнулась и подмигнула ему. Он ответил тем же — так уж здесь принято между симпатизирующими друг другу знакомыми.

— Где собираться-то будем? — спросил Володя Скворцов.

От него, как всегда, пахло шампунем «Наташа».

— Найдём,— сказал Стрелов.

С помощью седого метрдотеля-мулата отыскали укромное место в дальнем конце столовой, на тыльной веранде, откуда в наступившей темноте были хорошо видны ярко освещённый порт и корабль в огнях на рейде. Дождь перестал, стало почти темно. Перистые листья пальм на фоне лилово-золотистого неба отдалённо напоминали ветряные мельницы.

Женщины повизгивали, нагибались и щёлкали себя по икрам: после дождя москиты и хекены проголодались и атаковали обнажённые части тела особенно активно.

— А что делать-то будем?— капризно поморщилась Люда, *традукторша*, по-нашему— переводчица.— Рене-то нет. Его неожиданно в командировку услали. В Баракоа, кажется.

Люда появилась только что. Она, конечно, как всегда, опаздывала. Спешка изрядно портила её имидж: крупный веснушчатый нос покрывался жемчужными каплями пота и краснел.

Но Стрелову было не до Людиного носа. Новость о внезапном выбытии гитариста Рене просто-напросто сразила его. Он не мог ни говорить, ни дышать, как режиссёр старинной мелодрамы, столкнувшийся с очередным капризом примы. За него выступил секретарь ансамбля Володя Скворцов. Против обыкновения, он повёл себя несдержанно, даже заорал:

— А ты что, Людка, раньше не сказала об этом?

— Не кричите на меня, товарищ Скворцов!— возмутилась *традукторша* Люда, и в полумраке грозно сверкнули её чёрные глаза.— Называйте Людкой свою жену! А касательно Рене, так он всего минут двадцать назад в наш дом на джипе заехал— специально предупредить. Гитару мне отдал, я её принесла. У них там что-то чрезвычайное стряслось. В машине сидели военные с автоматами. Может, гусанос поехали ловить.

Стрелов взглянул на часы: до начала вечера оставалось час пять минут. Без гитариста— неминуемый провал! И выход имелся единственный, его даже искать не надо, об этом каждый знал: идти и бить челом Полковнику!

— Климов дома?— спросил он скорее себя, чем других.

— Когда я уходила, он стоял на балконе,— отозвалась Леночка Богатова.

— Хорошо,— сказал Стрелов.— Вы тут давайте репетируйте пока без гитары. Я сам его приволоку.

Он выбежал на дорогу. И, словно по заказу, в этот момент к ресторану подкатила «Нисса». За рулём сидел начальник электростанции завода Рамон Касарес, двадцатишестилетний холостяк, красавец, здоровяк и вообще отличный парень. «Очень опасен для девушек»,— отозвался о нём как-то Луис, словно о давнем сопернике в любовных поединках.

Рамон молча выслушал Стрелова, глядя ему в лицо в упор, не мигая, своими сливовыми глазами. Наклонился и открыл дверку с левой стороны, разжал полные слипшиеся губы:

— *¡Siéntate, señor!*— Садитесь, господин!..

На езду ушло минут пять. На освещённом балконе четвёртого этажа вдыхал ароматы тропической ночи Полковник. Стрелов попросил остановить машину поближе к двери подъезда так, чтобы Полковник не видел, кто из неё вышел.

Стрелов взбежал на четвёртый этаж, отдышался на лестничной площадке и затем тихо нажал рукоятку замка двери в квартиру Полковника. Дверь оказалась незамкнутой. В комнате светился экран телевизора— шёл диснеевский мультфильм о Микки Маусе. Но звук— негромкая испанская песня— исходил от транзистора, поставленного на телевизор.

— Руки вверх, не оборачиваться!— тихо сказал Стрелов, приставив указательный палец к широкому затылку Полковника— к тому месту, где кончалась белая нить пробора.

Полковник вздрогнул.

— У вас сдают нервы,— хладнокровно констатировал Стрелов.

— Четверть века работы в разведке— не всякий такое выдержит, коллега,— рискуя быть пристреленным на месте, повернулся Полковник к Стрелову всем своим большим телом, затянутым в белую майку.

Шею он прикрыл махровым полотенцем от кровопийц-москитов.

— Одевайтесь! И не думайте сопротивляться,— сказал Стрелов.— Мне хорошо знакомы ваши штучки.

Полковник тяжело поднялся со стула и спросил, брать ли с собой гитару.

— Если струны целы, возьмите,— отступив ровно на два шага, сказал Стрелов.— У нас есть шестиструнка. А вы, как потомственный цыган, насколько мне известно, предпочитаете гитару семиструнную.

— Что ж, я проиграл,— как-то сразу обмякнув, промямлил матёрый шпион.— Самое главное вам известно.

— Будьте мужчиной!— пряча ствол, сделанный из указательного пальца, под мышку, сказал Стрелов.— Разведчик должен уметь проигрывать. Поторапливайтесь, нас ждёт машина. Заседание продолжается!..

15. Русский День Победы в кубинском «Балконе»

Первый тост произносил Вениамин Климушин, пунцовый и помолодевший от напряжения. Речь его была простой и трогательной. В конце её, роняя слова в души слушателей, как капли расплавленного металла, он произнёс:

— Я бы хотел сейчас здесь видеть с нами тех моих друзей-моряков, с которыми служил в войну на флоте… Многих из них нет в живых. Я сам не думал тогда, что смогу отпраздновать тридцатилетие Победы. Да ещё вот в такой обстановке!.. Война была действительно страшной, кровавой и беспощадной. И мы не жалели себя ради достижения победы. За Победу, товарищи!

И Вениамин Климушин провёл правой, свободной от фужера ладонью по волосам так, словно снимал с головы бескозырку.

— Хорошо излагает,— прокомментировал, закусывая, Полковник.— Оратор! Сразу видно — наш брат, моряк. Меня, веришь, слеза прошибла, мороз по коже! Ведь мама моя, Герой Союза, ты знаешь, почти всю войну в полку Марины Расковой провоевала. У меня, старик, не по комплекции чувствительная натура.

Стрелов видел близко чёрные, без ресниц, глаза Валеры, чувствовал стремление барда выложить на блюдечке с золотой каёмочкой свою нежную суть. Только лишнее это было.

— Давай помолчим,— попросил он.

— Баста!— отрезал Полковник, явно употребивший в одиночестве не одну порцию рома с лимоном и льдом.— Я ведь не люблю, старик, болтать зря. Делать — другой разговор! Делать дело я предпочитаю пустому трёпу, старик. Как и все моряки.

Стрелов перехватил взгляд Рикардо, сидевшего за другим столом. Тот почему-то ободряюще кивнул ему головой. Очень похож на грузина! А может, он происходит от басков?.. Ведь баски и грузины — где-то он читал об этом — древние родственники.

Рядом с Рикардо поднялся, поправляя очки, высокий лысоватый секретарь регионального комитета партии. Смущённо оглядел почтенное застолье, тронул за плечо Рикардо Новоа. Тот, перестав жевать, послушно встал, изображая полное внимание и готовность послужить партии.

— *¡Compañeros y compañeras!*— сказал звонко Хуан Луис.

— Товарищи!— улыбнувшись в густые усы, перевёл Рикардо.

Он улыбнулся, конечно, тому, что слово *«compañero»* было понятно и без перевода. Его употребляли, обращаясь друг к другу, все — и русские, и кубинцы — на каждом шагу.

— Спасибо вам,— переводил дальше Рикардо,— что вы пригласили нас на этот вечер. Победа над фашизмом — праздник всего человечества. Но победе над самыми чёрными силами в истории человечество прежде всего обязано вам, русские братья…

После этого тоста Полковник снова принялся надоедать Стрелову своими комментариями:

— Заметь, как кубинцы умеют красиво говорить. У них риторика в крови, старик. Слова — это и отражение темперамента. Возьми кавказцев, их тосты…

Было всё же очень душно под низким потолком. Не помогали открытые полностью жалюзи в окнах, потолочные вентиляторы и распахнутые двери — воздух оставался неподвижным, как вода в болоте.

— А сейчас перед вами,— встал со своего места Иван Волчков, председатель месткома и глашатай по любым поводам, касающимся общественно значимых событий,— выступит ансамбль под руководством заслуженного артиста республики Александра Стрелова!

Разразились дружные рукоплескания: как-никак, а уже после двух тостов приняли на грудь приличный ромовый заряд.

— Ох, опозоримся, старик!— шепнул Полковник.

— Из-за тебя, саботажника,— пристыдил его Стрелов, польщённый неожиданным присвоением ему незаслуженного звания.

Сердце у него билось о рёбра гулко, как колокол, и пальцы на руках подрагивали, словно он кур воровал.

«Ансамбль», как и было задумано, выстроился в углу ресторана, у двери — левее огромного, метр на метр, бисквитного, в шоколадных завитушках, торта, положенного на отдельный стол в ожидании расправы с ним в финальной части банкета. У кубинцев — это обязательный праздничный ритуал, как у русских — посошок на дорожку.

Стрелов оглядел присутствующих в зале — полторы сотни персон, не меньше. Выждал, пока народ успокоится. Знакомые всё лица… более или менее. А хорошо знакомые — Вениамин Климушин, руководитель группы Томашевский, Луис, Рикардо, парторг группы Володя Коняев и другие — улыбаются, ободряют возгласами и взмахами рук с рюмками, фужерами, стаканами. Менее знакомые смотрят с любопытством, будто в театре после открытия занавеса.

Слышно, как за спиной Володя Скворцов шелестит программой монтажа; он же взял на себя обязанности суфлёра, хотя наверняка слов и своих стихов твёрдо не знает. Леночка Богатова, конечно, волнуется, пылает пухлыми щёчками, мнёт в руках платок, как заправская камерная певица. Напряжённо расправил плечи и выпятил грудь бархатный баритон Слава Жерех. Смущённо потупила очи белошеяя Тамара. Зато озорно и с вызовом смотрит в зал *традукторша* Люда, и только вспотевший нос выдаёт её глубокое девичье волнение.

Один Полковник, привычный к частым публичным выступлениям, ведёт себя легко и непринуждённо. Придвинул к себе стул, установил на него правую ногу в босоножке сорок энного размера. На толстое своё хоккейно-футбольное бедро водрузил гитару и подкручивает, подстраивает струны: «Самый ответственный момент, старик». Лишь бы струны, стоившие барду двух бутылок рома «Карибе», снова не лопнули!..

— Давай, Саша! — воодушевил на подвиг предместкома Ваня Волчков.

И Стрелов отметил, как на лицах всех кубинцев мелькнула улыбка: и здесь, мол, у русских неизменное «давай». Он сосредоточился, слегка прищурил глаза и, глядя на Вениамина Климушина, как будто обращаясь к одному ему, начал действо стихами собственного сочинения:

Минуло полных тридцать лет
С победы, равной нет которой,
В войне, принёсшей столько бед,
С фашистской оголтелой сворой.

И мир, спасённый от чумы,
Лишь потому живёт спокойно,
Что лучшие его сыны
Сражались храбро и достойно.

Мы помним всех, кто победил,
Кто перенёс все испытанья,
И павших в той войне почтим
Минутой скорбного молчанья…

Загремели стулья по каменному полу, все встали. Розы в высоких кувшинах качнулись и замерли. И давняя, и сегодняшняя скорбь вошла и заполнила зал, как бы притушив свет в лампах и радость в глазах живущих.

Стрелов думал о своём старшем брате Кирилле. Он погиб двадцать шестого марта сорок третьего на Орловско-Курской дуге, в контратаке. «От осколка мины в затылок» — так написано было в письме его друга-земляка, убитого в траншее через три дня. Больше никаких подробностей. Но вот более тридцати лет Стрелову виделась одна и та же картина. По снежному полю бежит в атаку его брат Кирилл, и вдруг за его спиной поднимается столб земли и пламени — взрывается фашистская мина, и зазубренный осколок впивается ему в затылок…

Лена Богатова и Томашевский видели сейчас, наверное, осаждённый Ленинград, Пискарёвское кладбище. И незримые друзья-моряки, живые и мёртвые, русские и американские, обняли Вениамина Климушина за его стареющие плечи…

Кубинцы поняли эту скорбь: у них ведь тоже была своя нелёгкая история. Здешний никелевый комбинат носит имя команданте Педро Сото Альба, соратника Фиделя Кастро по «Гранме», сражённого в Моа при штурме полицейской казармы.

Рикардо Новоа учился в Ленинграде, знал его прошлое, видел прекрасные дворцы, до сих пор восстановленные лишь частично. Рассказывал о посещении Пискарёвского кладбища и мемориала. А Хосе учился в Праге — городе, где была поставлена последняя точка в войне с гитлеровской коалицией…

Тихо было в зале. Казалось, торжественная и щемящая, как реквием, тишина сошла в этот миг на кубинскую землю.

А потом, после минуты молчания, Слава Жерех своим громким, немного деревянным голосом, по-уральски упирая на «о», прочёл «Подмосковье. 1941» Владимира Гордиенко:

Я ранен был.
Ложился снег, краснея,
Ко мне на грудь.
И шёл на запад бой…
Такие ж ели, как у Мавзолея,
Нависли неподвижно надо мной.

И за этими стихами спели, конечно, «Землянку», потому что она хорошо перекликалась со стихами: в ней были слова о подмосковных полях, о солдатской любви, о смерти, до которой четыре шага. И никто не заметил, не подумал о том, что вместо гармони песню сопровождала гитара и что эта земля никогда не ведала снежной вьюги.

Вениамин Климушин время от времени утирал свои глаза бумажной салфеткой.

Потом было много стихов и песен, но Стрелову запомнилось навсегда, как застыли лица у всех — даже сияющий весельем предместкома Иван Волчков сник и опустил плечи, — когда он, Стрелов, тихо произнёс:

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград…

Задушевно, не хуже самой Клавдии Шульженко, спела «Синий платочек» Леночка Богатова. Откуда у неё это только взялось: и задор, и грусть, и нежность? Пение подкреплялось и всем известным её личным участием в кровавых боях… Полковник, слушая яростные аплодисменты после её исполнения, только обалдело крутил головой.

А позднее, когда сели за стол, сказал по поводу Леночкиного успеха:

— Вот что значит искусство, старик! У неё это был звёздный час, иначе не скажешь…

Да и завершение монтажа было замечательным. И тоже относилось к несомненному успеху актёрского коллектива — так бы, наверное, осветил это в своей газете представитель прессы.

Стрелов прочёл из Бориса Пастернака,одного из любимых им поэтов, стихи о победной весне:

Всё нынешней весной особое,
Живее воробьёв шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобождённых территорий…

После этих добрых, пронизанных светом пророческой веры строк, написанных за год до нашей победы, белошеяя Тамара и заметно опьянённая славой Леночка запели «Балладу о красках»—о рыжем и черноволосом братьях, об их весёлой матери, которая ждала своих сыновей. Они вернулись с войны живыми, в орденах и медалях. Но уже с одинаковым окрасом волос—цвета «смертельной белизны».

Оказалось, что песню эту можно петь и хором,—не всю, а там, где это приходилось к месту.

Вениамин Климушин, отметил про себя Стрелов, за время концерта поменял не менее трёх бумажных салфеток на промокание слёз. Секретарь регионального комитета партии наклонял голову к Рикардо, чтобы выслушать краткий перевод стихов и песен. Он, тоже воевавший полтора десятка лет назад в горах Сьерра-Маэстры рядом с братьями Кастро и Че Геварой против войск генерала Батисты, кивал головой и продолжал слушать русскую речь, щурясь и время от времени поправляя очки.

— Слушай, старик,—предложил растроганный восторженным приёмом публики Полковник сразу, как ансамбль расселся по своим местам,—позволь мне провозгласить тост за тебя.
— Ты что, уже перебрал? Сиди смирно! Мы для души поём, а не для славы.
— А если не за тебя, а за всех? Вы ведь сделали большое дело. Честно! Я тут ни при чём. Глупость сделал—прости, старик!
— Я тебя уважаю,—заверил барда Стрелов.—И великодушно прощаю, поскольку ты, как истинный христианин, покаялся.
— Старая ты кляча! Я же серьёзно.
— И я серьёзно. Ты вёл себя на сцене исключительно скромно, на себя не походил. А это очень важно: при Богом дарованном таланте обладать равноценной скромностью.
— Пошёл к чёрту, кляча старая!..

Володя Скворцов, чувствуя свою вину в том, что не очень гладко прочёл «Полмига» Павла Шубина: «*Нет, не до седин, не до славы я век свой хотел бы продлить…*»—помалкивал. А тут вдруг встрял:
— Действительно, ребята, неплохо всё прошло, хватит препираться. Лучше выпьем!

Полковник и Стрелов переглянулись и засмеялись: Скворцов, ссылаясь на аллергию к спиртному и поддержание спортивной формы, позволял себе даже в самые торжественные даты выпить не более бутылки пива.
— Вы посмотрите на Елену Константиновну, ребята,—переключился Володя Скворцов на другое.—Вот что значит внимание людей! Цветёт женщина!

И верно: Леночку окружили кубинцы и осыпали её комплиментами. Она, сияя пунцовыми щёчками, только успевала головой вертеть, слушая то кубинцев, то переводчицу Люду.

Подошёл захмелевший Вениамин Климушин и церемонно, по-старинному даже, с поклоном, пожал руки Стрелову, Полковнику, Скворцову. И произнёс не очень складную, но задушевную речь: спасибо, мол, дорогие товарищи, за ваш замечательный концерт, за труд, за память…

А Стрелов подумал, что его погибший брат был бы примерно одних лет с Климушиным. Наверное, он бы совсем не походил на медлительного старого матроса. Кирилл был энергичным, неуёмным: в детстве и юности—драчун и хулиган, а перед призывом в армию в сороковом году—парашютист, ворошиловский стрелок, художник. Был… И возможно ли отыскать и постоять у его могилы под Орлом? Запросы в архив Минобороны остаются без ответа…

Потом подали чёрный рис—плов, приготовленный по-кубински; чёрным он становился, кажется, от добавления в него фасоли и маслин. С краю тарелки лежали два жареных облупленных банана. К потреблению чёрного рассыпчатого риса русские привыкли быстро, а бананы ели только старожилы. Любой русский, поживший за границей, расскажет о тоске по варёной картошке, чёрному хлебу, луку, селёдке, квашеной капусте и солёным огурцам.

Спели всем хуралом несколько популярных песен: «Катюшу», «Подмосковные вечера», «*Bésame mucho*»,—и начались танцы. Для этого были отведены небольшой зал с приглушённым освещением и *patio*—двор столовой, устланный гладкими каменными плитами. Поначалу что-то не ладилось с музыкой, потом всё образовалось. Из динамиков полились русские и кубинские мелодии, записанные на плёнку переводчиком Серёжей Лакизой, приехавшим в Моа из Кишинёва. Он все вечера проводил с магнитофоном у приёмника и телевизора в охоте за новой песней. Такая у него была страсть…

Стрелов присел на веранде за столик с Рикардо, Люсио, Артильесом и Ваней Волчковым. Пили пиво из маленьких коричневых бутылок, снятых со льда. Студёная пенная жидкость дымилась холодным паром. Рикардо вскоре позвал куда-то технолог Витя Новосельцев—они были закадычными друзьями и часто проводили вечера в апартаментах алмаатинца за шахматами и бутылкой рома. А сейчас оба удалились в зал, наверное, прогорланить Витину студенческую: «В первые минуты Бог создал институты»,—под аккомпанемент Полковника.

Люсио и Артильес не знали русского, зато Ваня и Стрелов говорили по-испански. Кроме того, инженеры Люсио и Артильес, выпускники американских университетов, пользуясь возможностью, насели на Стрелова и заговорили на английском. Так что Стрелову приходилось переводить для Вани и с английского.

Люсио собирался в конце июля поехать в Союз и Болгарию со своей женой в турпоездку. Москва, Ленинград, Киев, София, Пловдив, Варна — неплохо? Седой, с животиком, с неизменной связкой ключей на поясе, всегда переполненный неким энтузиазмом оптимист. «Как дела? *¿Qué tal? How do you do?*» — встречал он обычно по утрам Стрелова этой троицей вопросов, столкнувшись с ним на лестнице офисины. И заводил разговор на готовую в его голове весёлую тему.

Другой собутыльник, Артильес, начальник производственного отдела, был красив, сдержан, интеллигентен, отменно владел английским. Сегодня он держался веселее обычного. Месяца два назад на его семью обрушилась трагедия. В выходной день он повёз жену и годовалого ребёнка на своей машине в Ольгин или в Сантьяго. На каком-то повороте его «Фиат» столкнулся с двадцатипятитонным самосвалом. При ударе сынишка вылетел в распахнувшуюся дверцу и погиб на месте. Жена лечится до сих пор в Гаване. Сам Артильес отделался переломом руки и ушибами. Только вот душа обречена на вечную му́ку.

Поговорили на тему предстоящей поездки Люсио в Союз. Он уже бывал в Москве, каждый раз недолго. Работы была уйма, увидеть довелось немногое. А теперь вот отправляется на отдых — и это совсем другое дело.

— Если жена будет здорова, — сказал Артильес, — тоже поеду к вам через год-другой. Встретимся?

— Хотелось бы, — улыбнулся Стрелов.

— Только у нас в Ростове, — поставил условие Ваня. — У них в Сибири замёрзнете.

Кубинцы притворно поёжились и засмеялись.

— Чепуха! — возразил Стрелов. — Что там у вас в Ростове смотреть? Степь да степь кругом! А в Красноярске — не мелководный Дон, а могучий Енисей и самая большая в мире гэс. Тайга, «Столбы», Саянские горы. Охота, рыбалка. А летом жара не меньше, чем здесь и в Ростове. И пиво гораздо теплее, чем здесь, даже зимой.

— Это *плёхо*, — констатировал Люсио по-русски.

Наверное, кубинец имел в виду тёплое пиво.

Подошла к столику жена Люсио. Молодая — лет на восемнадцать моложе его — хрупкая женщина, по виду очень нерешительная, явно мягкого характера. Она извинилась, провела тонкой рукой по седому жёсткому ёжику мужа, шепнула что-то на ухо. Люсио встал, подмигнул собеседникам и, обняв жену за плечи, направился в зал своей пружинистой походкой. Изобразил, не оглядываясь, бёдрами, что надо, мол, потанцевать.

— Молодец! — похвалил его Ваня Волчков и окунул свои усы в кружку с пивом.

— *Yes*, — согласился Артильес: слово «молодец» здесь понимали все.

Перешли на испанский.

— А вы знаете, Люсио — участник революции, — дал справку Артильес. — Воевал на втором фронте. Я с ним работаю десять лет, и он всё такой же — седой и весёлый. Не меняется. Если учесть, что в нём сидят до сих пор две пули и иногда о себе напоминают, — это нелегко. Настоящий кубинец!

— У нас во время войны тоже существовал второй фронт, — напомнил Стрелов. — Союзники, правда, его долго не открывали, чтобы уберечь свои войска от потерь за наш счёт.

— Я читал об этом, — поддержал разговор Артильес. — Но кубинский фронт — совсем другой фронт. И время другое.

— Два раза был в тех местах, где ваш второй фронт проходил, — поддержал тему Волчков. — С экскурсией, конечно. Цветные снимки сделал. Броневик мне понравился под Сантьяго: на резиновом ходу, пушка маленькая. Стал памятником, как наши «тэ-тридцатьчетвёрки» на пьедесталах во многих городах.

— На Плайя-Хирон воздвигнут такой же памятник-танк, — дополнил Артильес. — Танк ваш, советский. Может быть, видели фото — Фидель стоит в люке башни этого танка?..

И это тоже было в другое время. Короткая схватка с американскими наёмниками небольшого народа — при поддержке нашего оружия и участии горстки русских воинов — за независимость Кубы. Словно продолжение той великой победы над фашизмом, на сей раз звёздно-полосатым...

Стрелов воздержался от озвучивания своих мыслей: всё было ясно из подтекста.

На веранду вывалила шумная толпа: Полковник с гитарой, алмаатинец Витя Новосельцев в обнимку со своим шахматным соперником Рикардо, Луис, матрос-ветеран Вениамин Климушин, Люсио с женой, восторженный Володя Скворцов, Леночка Богатова, красавица Тамара, укушенный неведомой рыбой Слава Жерех, парторг Володя Коняев.

— Ну, товарищи, давайте споём общую, которую все знают! — умолял Слава Жерех.

Полковник ловко, без помощи рук, подпрыгнул и уселся на пузатую бочку у стены. Нижняя струна на гитаре уже порвана и смотана в смятый ком. Но вид у гитариста не менее вдохновенный, чем у Паганини: он бы мог сыграть сейчас, как и великий маэстро, на одной струне.

— Давайте, предлагайте! — крикнул Полковник.

И в ожидании задрал голову, уставившись взором в звёздное тропическое небо. Со лба градом, заливая глаза, катил пот, рубашка, как всегда в приливе вдохновенного пения и гитарного перезвона, прилипла к его плечам и груди.

— «На безымянной»! — крикнуло сразу несколько человек.

— Только с душой и не орать как попало, — предупредил Полковник.

Артильес поднялся и позвал Стрелова взглядом к тем, кто приготовился петь.

Полковник строго оглядел стихийно возникший хор, дождался полной тишины и осторожно, переводя свой вдохновенный взгляд с лица на лицо, заиграл и запел:

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят…

Во всякие дни пелась эта песня, но никогда она не была для Стрелова такой щемящей и гордой, как сейчас.

А Леночка Богатова пела и откровенно плакала. Отвернулся к стене стоявший рядом с ней старый матрос Вениамин Климушин — то ли пел, то ли слушал.

Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней…

Как живо всё и наглядно! Словно такое происходило вчера…

Стрелов посмотрел на часы: ровно одиннадцать. И дома тоже одиннадцать, только не ночи, а следующего дня: такая вот разница во времени между Моа и Красноярском. Солнце поднимается за Сахалином, и лети хоть на северо-восток над Тихим океаном, хоть на северо-запад над Атлантикой — в Красноярске будешь в одно и то же время. Почти никакой разницы!.. Жаль, что между Моа и Красноярском не прокопано метро…

Но пока лучше заставить себя не думать о возвращении к родным пенатам. Всему своё время…

ДиН ревю

45: параллельная реальность

Антология

Ставрополь: «Аргус», 2014

«Я не ставил себе задачу сколько-нибудь подробно анализировать подборки авторов, участвующих в нашей антологии. Хочу лишь сказать, что перевёртыш 45-ти, 54, даёт общее представление о направлениях современной русскоязычной поэзии, пускай и далеко не полное. Неоспоримый факт состоит в том, что поэзия на русском языке жива и развивается».

Георгий Яропольский

Антология «45: параллельная реальность» издана в рамках Форума творческих союзов «Единство муз — народов единение», посвящённого Году культуры в России, при поддержке Министерства культуры РФ и с учётом итогов международного поэтического интернет-марафона «Сокровенные свирели «45-й параллели». В число авторов вошли победитель, лауреаты и дипломанты интернет-марафона, а также приглашённые в проект поэты. Судьбы большинства из них связаны с широтой 45: авторы родились под этой «звездой», работали/работают в близлежащих к Ставрополью регионах Северного Кавказа, странствовали по Крыму, городам Азии, Европы, Канады, через которые проходит сакральная линия. В книге — 54 имени: поэты живут в России, Украине, Беларуси, Армении, Бельгии, Германии, Канаде, Литве, США, Франции, Австралии. Каждый участник представлен графическим символом, выражающим, по мнению автора, глубинный смысл его подборки, суть творчества в целом или жизненные установки. И ещё одна знаковая «рифма» — антология выходит в канун большого юбилея: первый номер всесоюзного и международного ежемесячника «45-я параллель», ставшего прообразом одноимённого сетевого альманаха, увидел свет 1 апреля 1990 года.

Сергей Сутулов-Катеринич

Осень сердца

цум: центр управления метафорами

поэллада

…судите, левые, правее взглядами,
рядите, правые, дрейфуя с левыми,—
над маскарадами и марш-парадами,
над загорелыми и погорелыми…

ослицы левые. царицы правые.
крестьяне-трагики. жандармы-комики.
самодержавные кресты проржавые.
марксисты-каины. чекисты-кромвели.

дуэли долгие. расстрелы быстрые.
оценка честная. цена скандальная.
левее выстрела надежду выстрадать.
страна ментальная. струна опальная…

делитесь кровными, таксисты вечные,
анчутки чуткие, тираны правые.
перчатки… карточки… чинары… глечики…
шинели серые. кремли кровавые.

соната беглая. планета круглая.
в Париже—хижина. в Луганске—логово.
девчонка-фурия, арфистка смуглая,
левее слабого, правее строгого.

над неумелыми, но неуёмными
смеются левые, стенают правые.
под альбионами сорят зелёными
барыги стрёмные, менты шалавые.

лошадки смирные. пегасы буйные.
артисты первые, летайте скорыми!
альтисты нервные, дружите с бубнами—
над эльсинорами и бранд-майорами!

поэты белые. поэты красные.
береты синие. жилеты жёлтые.
поэмы чёрные—слова пристрастные.
баллады страстные, в печах сожжённые.

…у Саши Чёрного, Андрея Белого,
Бориса Рыжего чернила кончились.
от моря Чёрного до моря Белого—
грачи… чинарики… чекушки… пончики…

от моря Жёлтого до моря Красного
верлибром—лысые, хореем—рыжие.
наив прекрасного, надрыв напрасного.
в чужих скворечниках визжат сквалыжники.

в родных наречиях—однажды, некогда,
вечор, доныне, однако, поровну—
чудят, блаженствуют, галдят, кумекают
и кукарекают… сороки-вóроны.

девчата—чатами, ребята—кликами:
кичитесь клавами? гордитесь клёвыми?
планета малая жива великими
и караянами, и королёвыми.

…Кассандра цыкнула—акценты ахнули,
цитаты цокнули, терцины цвикнули.
сигналы боговы—хоралы баховы.
Сикорский церковку обводит циркулем…

осень сердца, или… зимний вечер в татрах

спросит осень, соблазняя сентябрями,
разрисовывая рыжие страницы
фонарями, журавлями, кораблями:
три темницы? три столицы? три деви́цы?!

двум сестрицам снится яблоко раздора,
младшей—чудище и аленький цветочек…
голубица над столицей термидора,
как блаженная пророчица, бормочет.

спросит сердце, укоряя октябрями,
усмиряя аритмию под ключицей
словарями, снегирями, стихирями:
сестрорецкая синица—за границей?

в двух столицах серебрится эхо правды,
правду эха расчленили в одиночке.
летописец, никудышный каллиграф ты—
третьей кривды недоношенный подстрочник.

спросит совесть, колобродя ноябрями,
стрижаментами боясь опохмелиться:
кренделями, янтарями, хрусталями
страстотерпцы ублажили очевидца?

…спросит осень, пока старость не спросила.
бунтари пронзают ранние закаты.
на парнасе—дефициты керосина.
партизаны в зимних татрах языкаты.

И вздрогни под звездой падучей

Николаю Ерёмину

Он понадеялся на случай
И окрестил звезду падучей.

«Потом подскажет образ Бог»,—
Вздохнул пастух и лёг под стог.

Его лечили от падучей.
Он рисовал летучий лучик.

Метеорит? Лихое слово
Явилось из эпохи новой.

Когда Вселенную заглючит,
Ищите ключ к звезде падучей.

…Поэт остался безымянным.
Считаешь случай окаянным?!

Оговорись точней и лучше—
И вздрогни под звездой падучей.

ангел, акын и алтын

кто у кого скоммуниздил алтын?
кто и кому перекраивал образ?—
вряд ли ответит заносчивый сын,
ткнувшись в архив и в автографах роясь.

вряд ли узнает застенчивый внук,
чья это муза шушукалась с дедом.
(ни до каких академий наук
не долетит gaudriole за обедом…)

ну и какого, любезный, рожна
звуком пронзаешь измученный разум?
(буки и веди, послав тебя на..,
разом возвышены азбучным азом.)

богу и чёрту давно наплевать,
с кем переспит афродитная рифма…
(ежели стих приключится на five ять,
под логарифмом—чернильное *имхо.*)

что? почему? для кого?—напослед…
(ангел на банковском бланке вульгарен…)
время вопросов прокисло, мой свет!
время ответов зависло, my darling!

мамочка! ма!.. (под затылок—алтын…)
мастер мистерий? маэстро скандала?
сложно казаться акыном простым.
страшно касаться вуали астрала.

странное кино

престарелый клён. мутное окно.
полуфразы тень—в трещине стекла.
мальчик в кимоно, как в немом кино,
дразнит старика: вечность утекла.

но перетекла грустная строка
сквозь окно во двор, дрогнув на ветру.
«ежели помру,—крик издалека,—
вспомни старика рано поутру…»

мальчик в кимоно изомнёт траву,
отряхнёт с колен прелую листву:
«вечность утекла? странное кино.
что-то старика не видать давно…»

Ирлан Хугаев

Царское наклонение

Нельзя

Спорить — мудрецам, царям — гордиться.
Добрым — умирать, рождаться — злым.
За любимую — платить калым.

Но и красть такую не годится.

Ипподром

Талант — что конь: поставь его на кон.
Полого падать — подниматься круто.
Талант — в законе (гений — сам закон).
Бездарность — беспредел и смута.

Царское наклонение

Для расставанья и для встречи
Есть повелительные речи,
Велящие два главных дела:
Добро души — здоровье тела.

И никому не горек он —
Их резкий и надменный тон:
Кто так тебе повелевает —
Тот отдаёт тебе поклон…

«Прощай» не значит ли — «прощай»?
И «здравствуй» ли не значит — «здравствуй»?..
Люби, проси и обещай! —
Живи, и существуй, и явствуй!

Трудные дети

Отцы в сынах души не чают:
Отцам — инсульт, а детям — стресс:
Сын за отца не отвечает —
Он отвечает за прогресс…

Но — кроме шуток. Дело тонко,
Как первый лёд. Когда-нибудь
Упорством трудного ребёнка
Свершится этот трудный путь.

Моя военная доктрина

Форма — та всегда в строю.
На переднем на краю.
Суть всегда в тылу таится:
Ты, любовь моя.
Столица.

Последний стих «Апокалипсиса»

И скажет: «Мне
Мои дела по нраву.
Я основал свободу и державу.
Красив Мой мир, прекрасен Мой завет,
И человек Мне удался на славу!»

Японское поле

Однажды в поле за ромашками
Пошёл Харуки Мураками:
Висят ромашки вверх тормашками,
Земля парит над облаками!..

Польза и красота

Красота нужна цветку для дела:
Чтоб пчела его не проглядела.
Красоту пчела сперва поймёт —
А потом и настоящий мёд.

Ты красива, только нелюбезна.
Красота такая бесполезна.

Надежда

Я издевался над собой.
Я вёл с собой неравный бой.
Курил, кололся, жрал таблетки,
Хумарил, уходил в запой.

Я дрался, хоть не убивал.
Не вешался, но резал вены.
Когда хотел — писал катрены,
Хотя работы был завал.

Я клятву преступал не раз
И всуе матерился часто,
Нигде, хотя бы для контраста,
Не говоря красивых фраз.

Я рассадил в усердье лоб,
Учась морали из Завета:
Я защитил тебя от света,
А на себя возвёл поклёп…

Я говорил: «Надежда, Надя…» —
Мне отвечали в грудь локтём:
«Ты сам себя не любишь, дядя,
И никуда мы не пойдём».

Друзья Платона

— Платон мне друг, но истина дороже.
— Вот как? А мне Платон дороже правды:
Платон мне друг, а правду я не знаю.

Рутина

Моей души привычный быт,
Мой каждый день, моя рутина —
Война раба и господина.

Пока один не будет бит.

Один и другой

Один украшает себя венцом —
Услаждает винцом.
Другой украшает себя крестом —
Услаждает постом
И так говорит: «Скорей гряди.
Я так устал, родимый: гляди».
А первый твердит: «Потом, потом.
Годи, родимый, годи».

Чудо веры

Ждём, дыханье затая,
Жаждем чуда ты да я.
Потому оно и чудо,
Что придёт из ниоткуда.

Сто знамений, сто примет —
Только чуда нет и нет.
Забываем, глядя в небо,
Как чудесен самый свет.

Забываем вновь и вновь,
Если дни пусты и серы,
Как чудесно чудо веры,
Веры в чудо и в любовь.

Карантин

Мой сад цветёт, хотя
Калитка заперта:
Работай и молись, не открывая рта.

Отвага

Бесстрашный в жизни, умирая,
Злодей боится даже рая.
А добрый — тот готов и в ад:
Ведь он ни в чём не виноват.

Не грусти, принцесса

— Не грусти, принцесса.
Впрочем, хоть грусти.
Это часть процесса.
Это всё. Прости.

— Подожди немножко…
Не грущу, ни-ни…
Как найдёшь серёжку —
Всё же позвони…

— Позвоню, принцесса.
Дай-ка обниму…
— Тоже часть процесса?..
Или почему?..

— Тоже часть процесса…
— Всё, не отпущу.
— Не грусти, принцесса.
— Ладно. Не грущу…

Гамлет

Шекспир не спал ночей,
сидел в чаду свечей —
а Гамлет говорит:
«Слова, слова, слова…»

Вячеслав Тюрин

Автопилот

Ожидание смерти, в чью пользу счёт
был открыт рассужденьями на предмет
осязаемости бытия, влечёт
за собой тоску, торжество примéт
в чистом виде. На озере, в камышах,
утка вскрикнула, крыльями лопоча.
Сердце вздрогнуло вдруг, замедляя шаг.
Без тебя догорела твоя свеча.

Навык мозга цепляться за свой же взгляд
на порядок вещей обусловлен тем,
что они даже мёртвого разозлят—
точно стадо козлят у церковных стен.

Даже будучи хлопнутым по плечу,
жизнь опасней, чем образ её, вести.
Потому псалмопевец и взял пращу,
поднял камень, валявшийся на пути
к исполненью желания своего.

Голова тяжела, как запретный плод.
А внутри только серое вещество,
для которого нужен автопилот.

Ночью тело, впотьмах ото сна восстав,
валкой поступью двигается на свет
и скрипит половицами. На устах
у него ничего, кроме жажды, нет.
Утолять её ходят на водоём,
узнавая на каждом шагу следы
лихорадочного бодуна вдвоём,
если сделать из крана глоток воды.

Поднимая тревогу на всех углах,
ветер треплет обрывки передовиц,
сообщивших о том, как велик Аллах
и что самое время, простёршись ниц,
совершить омовение в прахе дня,
дабы ночь не застала тебя врасплох.
Остальное всё, так сказать, херня,
ловля солнечных зайцев, подковка блох.

Если правда, что пишут в одной из книг,
расходящейся бешеным тиражом,
насчёт факта, что вызванный болью крик
громче рёва лезущих на рожон,—
это значит, что надо по мере сил
как-то передвигаться туда-сюда,
как бы дождик по флангу ни моросил,
как бы ни окружала тебя среда.

С риском вызвать насмешки со стороны
подавляющего большинства людей
эти речи, как видно, сопряжены,
раз ты носишься с ними, как берендей
со своею плетёнкой берестяной
по навапленным улицам допоздна,
пока вновь не окажешься за стеной,
в полном распоряженье сна.

Трудно вымолвить истину вопреки
долголетнему ремеслу житья.
Но молчать тем более не с руки.
Так что, сам себе режиссёр-судья,
человек отключает автопилот,
обрывая лишние провода.
Но зачем он об этом ещё поёт?
Ведь ни пользы от этого, ни вреда.
Очевидно, желая сойти с ума.
Разорвать отношения с тишиной,
чтобы долго ждать от неё письма
русской осенью затяжной.

Превращаясь в лохмотья, шуршит листва
по бульварам, уставшим от беготни.
Солнце, на человека взглянув едва,
покрывается пятнами. В эти дни
небосвод расплывается, как обман
зренья, действуя в целях отвода глаз.
А у тех только было возник роман
с облаками, плывущими напоказ.
Эти клочья погоды, мечты стрельца,
поплавки беззаботного рыбака—
словно близкого друга черты лица
вспоминаешь издалека.

Ночью сердце постукивает тайком,
как собака, грызущая кость.
На холодной лестнице босиком
мнётся возле дверей запоздалый гость.
Обречённого маятника шаги
раздаются в шахматной тишине
меблирашек, где не видать ни зги,
чтобы тело, с мурашками по спине,
вспоминало, что где-то была душа,
занавески меняла, звала с собой
в некий рай, состоящий из шалаша
и любви, пока сердце не дало сбой.

Отказаться не в силах от барахла,
роговица подёрнута пеленой
листопадом обрызганного стекла.
За стеклом только слякоть и перегной,
отсыревший табак, прошлогодний прах,
изваянья покойников в полный рост—
в том саду, где не слышно работы Прях,
когда в голых ветвях умолкает дрозд.

Светлана Хромова

На берегах Москвы

Город

Отковырни кусочек кирпича.
Забор старинный. Воронцово поле.
Московская блестящая парча
Спадает до земли с её плеча,
А я стою на небывалой воле.

Как будто что задумано — сбылось,
Да так, что лучше и не загадать.
Мой город, время видящий насквозь:
Чего не стало, что убереглось,
На что ещё прольётся благодать.

Вот я ещё жива — в твоих руках
Сердца других неведомых людей.
И я не замечаю впопыхах,
Что на любых московских берегах
Блаженный, озорник или злодей,

Мудрец, глупец — в разноголосье нас
Един сплетённый издревле узор.
И если завтра не последний час,
И будут живы Буки, Веди, Аз,
Я выйду из метро в живой простор.

И все дома посмотрят мне вослед
(Зашепчутся старушки второпях),
А я иду, как будто есть ответ —
На что ещё вопроса даже нет.
Есть только свет, живущий в тех краях.

Осенний мёд

В переулках Никитской и Бронной найди меня —
Я заблудилась в лихом модерне,
Словно мне не прожить и дня,
Не теряясь здесь ежевечерне.

У меня для тебя припрятан осенний мёд.
«Знать, природа была щедра», —
Говорил мне пасечник у ворот.
И природа всегда права.

И Москва не строго глядит на нас,
Переулки, особняки…
Я единственный знаю час —
Где твои узнаю шаги.

Подворье

Мы заходили в старые дворы —
Москва тянула нас за рукава.
Незлые городские комары
Нам не мешали. Лёгкие слова

Летели мимо окон, мимо ламп,
Готовящихся вечер объявить.
А где-то письма отправлял почтамт,
И до Кремля протягивалась нить

Огней, дорог, людей, машин, машин.
А нам с тобою было невдомёк,
Что там. Здесь на окне стоял графин
И в комнаты просился мотылёк.

И мы как будто жили в веке том,
Где жизнь тиха. Всё страшное вдали.
Мы отложили небо на потом,
И ландыши ещё не зацвели.

Тогда, весной тринадцатого года,
Ты не заметил у меня седых волос.
И мы вошли ещё раз в эту воду
И в сад, где у стены малинник рос.

● ● ●

Защити от солнечного света,
Защити от горестной зимы,
Защити от ночи и рассвета,
Только не спасай от слова «мы».

Это слово движется над нами,
Отворяя ледяную зыбь.
Всё, что мы смогли сказать словами,
Никому уже не отменить.

Всё, что не сказали, — каждый знает,
Так бывает, это не впервой,
Но летает музыка над нами,
Словно луч предутренний живой.

И такое видится на вдохе,
И любое бремя по плечу.
На краю стремительной эпохи
Я любить и говорить хочу.

• • •

Нам с тобою жизнь не пережить.
Белый снег летает над Москвой.
Времени прерывистая нить—
Это ты встречаешься со мной.

Это мы стоим и ждём тепла.
Здесь до света—тысячи ночей.
Только каждая из них светла
Потому, что мы бываем в ней.

Возле церкви, в синих фонарях,
Тень моя казалась мне темней.
Снег качался на пустых ветвях,
Ты под руку с тенью шёл моей.

Там мы расставались, чтобы ждать,
Чтобы выжить в каждой из ночей,
Чтоб остались силы закричать
И вдыхать, что жизни горячей.

• • •

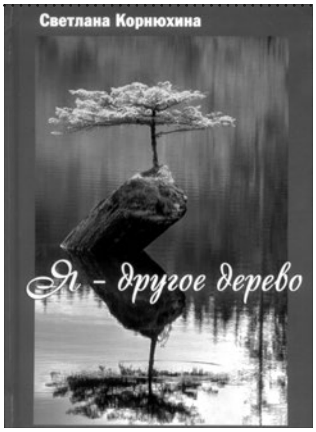
Любовь, исполненная силы,
Садилась на моё плечо.
Она меня не поразила,
Не опалила горячо.

Она меня не выбирала,
И я не выбрала её.
Не становилось мира мало,
Душа не впала в забытьё.

В тот день остановилось время.
Бежал сентябрь по мостовой.
Ликующе скользили тени
Под звуки сердца одного.

Москва нас прятала и пела
Нам колыбельные, как мать.
Одна любовь на нас смотрела,
Не предлагая выбирать.

ДиН ревю



Светлана Корнюхина

Я—другое дерево

Минусинск:

Информационно-издательское агенство «Надежда и Мы», 2014

В новый сборник вошли рассказы, повести, миниатюры-воспоминания, сказки на новый лад, стихи разных лет.

По наблюдению автора, люди похожи на деревья.

Одни—дикие, рождённые природой. Другие—благородные, окультуренные. Но каждый из нас от корней до кроны—генетическая суть какого-то явного, ни на кого не похожего вида. Правда, человек чаще всего не знает об этом. Проходят годы, пока он разберётся, чья судьба предначертана ему—экзотической пальмы или сурового кедра, плакучей ивы или знающей себе цену красавицы-берёзки.

Какие соки бродят в нём? Губительные или целительные?.. И только поняв себя, многое преодолев, человек живёт дальше. На благо себе и людям. В гармонии с собой и окружающим миром. Что немаловажно. Ибо можно стать высоким и богатым дубом, под которым пасутся ненасытные кабаны в поисках халявных желудей. А можно—тем единственным, прекрасным и могучим Древом, в тени которого рождаются величие и гений Пушкина. Литературные герои Светланы Корнюхиной, попадая в разные ситуации, пытаются найти себя истинных и выстраивают жизнь, отношения с окружающим миром так, чтобы добавить в него Любви и Добра, Чистоты и Света. Творчество автора отличают лёгкость языка, своя неповторимая интонация, внутреннее напряжение, неожиданные повороты сюжета. Всё как в жизни.

Лео Бутнару

На расстоянии вытянутой руки

Авторский перевод с румынского

По пятам

Такова реальность:
новые туфли больно сжали,
ранили меня выше пяток;

но это не может быть причиной для
предположения,
что молодые поэты наступают мне на пятки…

Линзы

В младенчестве
через прозрачность ногтей,
как через линзу,
я, наверное, следил за движением
собственной крови,
собственной жизни — я,
такой бессознательный,
что казался ещё
почти несуществующим…
Боже, какое удивление!
Так вот откуда могут прийти стихи — из почти
небытия человека…

Подкова

Если увидишь в пыли
или на асфальте дороги
подкову —
оставь её с миром,

но если у тебя под рукой окажется цветок
или былинка,
возложи их на ту подкову как
на могилу счастья…

Быть может, твоего…
Может быть, кого-нибудь другого…

Живопись

Что представляют собой
закрытые ворота?

Самый обычный натюрморт,
господа…

● ● ●

Боже,
я почти мёртвый,
а всё-таки продолжаю учиться, жить…

Так думаю я —
что почти мёртв,
и всё-таки упорствую учиться, жить —
а Ты бы смог опровергнуть моё мнение
в обоих случаях,
Боже…

Между

Вот она и вся наша жизнь, Господи,
даже меньше буквы,
незначительней точки
в небесном регистре
Всеобщего суда; так она и есть эта
жизнь наша —
между

ценой хлеба
и
бесценностью света.

Остановился

Я произнёс: *смерть*, —

и сразу сказал себе:
остановиться на этом,
не продолжать,
чтобы поэма не казалась
слишком пессимистичной…

Игрушка

Иону Матиуцу

Как и вчерашний день,
и день сегодняшний проснулся,
с той же игрушкой
в руке —

со мной.

Азбука любви

И где ты—говоришь—изучил азбуку любви?..

По тому, как ты любишь,
не похоже, что научился любить согласно нашему алфавиту, а, видимо,
по какой-то иероглифической азбуке…

Театральное

Уже уточнено с каким-то трепетом паники
И нарушений, связанных с логопедией:
В комедии наших времён намного больше инвалидов, чем
В античной трагедии.

Утро, мороз

Какой крепкий утренний мороз!
Пара единственного твоего выдоха хватило бы,
чтобы ты омыл лицо своё.

Лавры, место

Если Ван Гог был бы коронован
(чего он, несомненно, заслуживал),
лавры бы скрыли место уха,
которое он отрезал с такой ненавистью к себе самому.

Иллюзия

Некоторые писатели наивны,
когда говорят, что многие вещи,
некоторые нюансы,
тонкости
читатель найдёт в под-
текстах… Абсолютно неоправданная иллюзия!

Как можно читать под-
тексты,
если сегодня всё меньше читаются собственно тексты?..

На расстоянии вытянутой руки

Нет-нет,
не обязательно, чтобы ты внял тому,
что говорит оккультизм,—что, мол,
будто рука представляет всего человека в миниатюре,
что ладонь—это пейзаж с земными,
но и небесными реками и высотами Юпитера,
Сатурна, Аполлона, Меркурия, Венеры…

Нет-нет,
речь не сугубо о руке и её ладони,
а просто о
расстоянии вытянутой руки…

Уже на свете всё больше тесноты, толкучки,
и твоё Я кончается—да, именно—
на расстоянии вытянутой руки,
на концах пальцев,
на кончиках ногтей этой руки…

Владислав Пеньков

Всё путём

Брейгель, так сказать

1.

Стоят каштанов голубые кегли,
поскольку плюс, и сырость, и туман.
Обходит эту землю Старший Брейгель?
Бубенчики дождя, а не зима,

сегодня актуальны. Меломаня
под перестук холодных бубенцов,
дырою в прохудившемся кармане
вдруг ощущаешь бледное лицо.

Ну вот и Брейгель! И карман бродяжки
несёшь негорделиво на плечах,
глядишь на всё с повадкою дворняжки,
плюёшь на всех с позиции бича.

2.

С.

Как по снегу тому, по снежочку,
достоевской застывшей слезе,
прокатили мазутную бочку,
раскидали плевочки газет.

Подмосковье моё, Подмосковье,
ты почти палестина души.
Только Брейгелю: «Брейгель, с любовью
эту зиму возьми-напиши.

Напиши подмосковных младенцев
и валлонскую конную шваль.
И моё неуютное сердце
алой кровью младенцев—ошпарь.

Здесь тебя полюбили за это.
Кирпичами (красны кирпичи),
снегирями кровавого цвета
кровь невинных невинно молчит».

Здорово и вечно

Е. Л.

Словно палёная водка,
словно портачка весны,
въелась юродская глотка,
встряла в плацкартные сны.

Эта вот глотка давнишна,
эта вот глотка всерьёз,
как в сорок пятом девишник—
полные пригоршни слёз,

чёрная в поле берёза,
люли вы, люли-люли́.
Пахнет она—чумовозом,
хрупкою солью земли,

пахнет крапивными щами,
пахнет полынью (звездой),
ладаном пахнет, мощами,
вечностью и лебедой.

Полки вагонные тряски.
Дембель храпит и хрипит.
И в половецкие пляски
тамбура в чистой степи

выйдешь, закуришь. О, горе!
Эта навеки стерня.
Это ведь всё при Егоре.
Это ведь всё про меня.

Больно ударенный током
крови, алеет восток.
Ну и плевать, что жестоко.
Это красиво зато.

Ван Гог

Опасная зависимость моя
от колеров, приправленных абсентом,
от многоцветной книги бытия,
открытой и захлопнутой Винсентом.

Нелётная погода для души,
аэродром пшеничный, туча птичья.
Всё это вот прекрасно опиши,
и вечность отвернётся безразлично.

А если разъезжаются ступни,
и кровь струится по рубахе белой,
и пальцы разрывают воротник—
вот это всё совсем другое дело.

У неба ногти синие теперь
навеки плюс горланящая сажа—
и это есть распахнутая дверь,
а не детали, так сказать, пейзажа.

В оригинале

Падал снег на улицы столицы.
Вороные гривами трясли.
У прохожих розовели лица.
Лился сок из газовых маслин.

Кутаясь в казённые шинели,
шла из канцелярий шелупонь.
От дымка запретного шалея,
папироски прятала в ладонь,

в голове лелея почеркушки,
славу и возможность по плечу
хлопнуть смуглолицего: «Ах, Пушкин,
вот что я сказать тебе хочу…»

Барышня скользила по ледочку,
раздавался хохоточка звон.
И на этом можно ставить точку,
потому что кончился эон,

тот, что, заморозив без шинельки,
приближал к лошаре небосвод.
Кончился—и начались ремейки,
на ремейки публика идёт.

За ремейки не попросят много.
Может, не заплатишь ни гроша.
За тебя в оригинале Гоголь
в домовине дырку продышал.

Каторга

Ах, январь ты, прачечный январь,
пахнешь паром, дышишь утюгами,
и дрожит Раскольников, как тварь,
под твоими бабьими ногами.

Вышли переростки погрустить—
вот белеет «Примою» берёзка,
и кричат: «Печальная, прости!»—
на берёзку пьяные подростки,

не каким-то пьяные бухлом—
лебединой песнею извёстки,
что покрыла изнутри их дом
русским—и казённым, и неброским.

Об извёстке лебедей и стен
пишется дыханьем безвозвратным.
И рычат в подростков хрипоте
серые, идущие по тракту.

Всё путём

Не покину, вовек не покину,
на трубу кочегарки божась,
этот тёплый весенний суглинок—
эту майскую сладкую мазь.

Вот она—под моими ногами.
Где Эстония? Нету её!
Воронью раздарили по гамме,
каждый ворон усердно поёт

про огни за окном электрички,
электрички «Москва—Петушки».
И тяну отсыревшие спички
за кровавые спичек вершки.

Апельсин на конце папиросы
сладким ядерным соком течёт.
Подмосковье. Медовые росы.
Всё путём. Остальное не в счёт.

И протянут дрожащие крылья
петушковские ангелы мне.
Что они потеряли-забыли
в этой очень печальной стране?

«Ничего,—отвечают.—Точнее,
только зыбкий предутренний свет—
то, грустнее чего и ночнее
на земле не бывало и нет».

Вадим Молодый

Посвящения

Анне Ахматовой

Причиной написания стихов
быть может всё, но из какого сора
случайных встреч, обрывков разговора,
обид, желаний, выдумок, грехов,

полузабытых фраз, пустых страниц,
попыток убежать от лучшей доли,
блужданий в темноте по тропам боли,
возни сиделок, запахов больниц,

самим себе навязанной беды,
итогов унизительного страха,
забвения, гниения и праха

они растут? Затоптаны следы
бесплотных ласк и бестелесных встреч.
Обломки крыльев. Белый мрамор плеч.

Анне Барковой

Боги жаждут… Будем терпеливо
ждать, пока насытятся они.
Трут намок. Раскрошено огниво.
Вязнут в плоти зубья шестерни.

Рвётся пряжа. Атропос зевает.
Энио таращится в окно.
Над пустыней солнце замирает,
покрывает пыль веретено.

Трубный рёв обрушивает стены,
и плывёт, угрюма и страшна,
раздвигая тушей клочья пены,
в низком небе мёртвая луна.

Похоть душ взывает и взыскует,
похоть тел сиренами поёт,
и Форкида смертная тоскует,
в безнадёжный ринувшись полёт.

В борозде, ползущей вслед за Кадмом,—
по иному нам не суждено,—
задыхаясь в мраке безотрадном,
прорастает мёртвое зерно.

Боги жаждут… Так поднимем чаши
за судьбу, которая свела
оболочки сброшенные наши—
в никуда бредущие тела…

Владиславу Ходасевичу

Вновь жалкий шут с подмостков бытия,
роняя слёзы, медленно уходит,

за лицедейством правду утая,
аэд негромко песнь свою выводит.

Старик презренен, юноша смешон,
а зрелый муж совсем неинтересен.

Сказитель дряхлый, жизнью искушён,
бредёт за плугом, скованным из песен,

из лишних слов, из выброшенных нот,
неточных рифм, неверных ударений,—

сшиватель песен, сумрачный рапсод,
ваятель озарений и видений.

Гнилая кровь сочится из земли,
залито поле брани трупным ядом.

Слепой старик сжигает корабли,
и дух сомненья мрачно бродит рядом.

Ни жить, ни петь. Идти путём зерна,
но перейти земную середину.

И пусть за грех уплачена цена—
не склеить кровью сломанную спину,

не убежать от жизни и судьбы
под завыванья ангельской трубы.

Александру Блоку

Ночь, улица, фонарь, аптека,
гнилой забор и грязный двор,

где два нетрезвых человека
ведут нетрезвый разговор,

дыша дворовым ароматом,
не торопясь и не спеша…

Устало опроставшись матом,
к душе склоняется душа…

Евгению Витковскому

Отвратительный мир неприкрытого срама,
мир мышиной возни и собачьих боёв,
где трагедия—фарс, где играется драма
труппой бездарей, хамов и их холуёв,

тараканьих бегов, грязноватых лавчонок,
где, сопя возбуждённо, в погоне за мздой,
закативший глаза лицемерный подонок
о духовном бормочет, тряся бородой.

Мир невежд и кликуш, проходимцев и сброда,
где шуты и фигляры залезли на трон,
где Иван и Абрам не припомнили рода,
но давно протоптали дорогу в притон.

Или это мой сон—миражи, синерама,
мир потёртых фантомов и праведной лжи,
где у подлых служителей грязного храма
вместо царственной кобры танцуют ужи?

Мы за избранность платим высокую цену.
Мир—театр, а роль—покаянье и стыд,
и герой покидает постылую сцену,
а сидящие в зале хохочут навзрыд.

Софии Парнок

Как в бане испаренья грязных тел,
над миром испаренья тёмных мыслей.
В бесплодной суете никчёмных дел
стоит пигмей в толпе надменных вислей.

Проснувшись, Лазарь рвётся из глубин,
спеша на зов. И, выйдя из гробницы,
давно забытых родин и чужбин
отряхивает прах. Его глазницы

кишат червями, череп обнажён,
сползает плоть гнилая лоскутами,
а рядом кто-то лезет на рожон,
с ним поменяться требуя местами.

Венера в молью траченных мехах,
любви преступной томная маркиза,
а рядом Германн кается в грехах
и рвёт колоду праведная Лиза.

За далью даль… Вколачивает в гроб
кривые гвозди плотник. Зябнут руки,
а рядом кто-то падает в сугроб,
и затихают запахи и звуки.

Слиянье тел, разъединенье душ,
мелеет Рейн, седеет Лорелея,
и не слышны за воплями кликуш
шаги судьбы по крыше Мавсолея…

Станислав Минаков

«Что может действенная вера и мысли неизменный строй…»

К 140-летию со дня кончины А. Н. Муравьёва

Он умер сто сорок лет назад, 30 (18 по ст. ст.) августа 1874 года. Яркий литератор, современник наших любимейших русских классиков, «талант, красавец и поэт», драматург, камергер российского императорского двора; с тридцати лет почётный член Императорской Академии наук, он с молодости нашёл не совсем обычную для светского человека стезю: стал православным духовным писателем и историком Церкви, паломником и путешественником, оставившим нам изумительные страницы, отрадные и упоительные для православного читателя. Мы, как всегда, а нынче особенно, ленивы и нелюбопытны — и вообще мало что знаем и вяло стремимся к просвещению, оттого и столь замечательное перо пока ещё остаётся на периферии нашего общего и частного внимания. Хорошо бы нам заполнить пустоту забвения. В Российской империи труды Андрея Николаевича Муравьёва последний раз опубликовали в 1915-м, в советское время его вспомнили в конце 1960-х как антологического автора стихов, по распаде СССР появились репринты некоторых его паломнических записок, а исследования его творчества и судьбы стали появляться с начала 2000-х.

Субъективно и едко высказывался о Муравьёве писатель Н. С. Лесков, и сам незаслуженно задвинутый нами в писатели «второго ряда».

А вот наш современник писатель Ю. Г. Милославский (Нью-Йорк) замечает в письме к автору этой статьи: «Книга А. Н. Муравьёва о Святой земле остаётся непревзойдённой. Пушкин считал его хорошим поэтом, хотя и подшучивал над его выходкой с глиняным Аполлоном».

Бывают неожиданные и странные — для сторонних наблюдателей — переломы судеб, можно сказать, преображения. Или это свидетельства духовного взрастания. Ведь, скажем, молодой Пушкин и зрелый Пушкин — это разные личности, разные литераторы, разный духовный и поведенческий опыт. То же — Гоголь.

В известном смысле подобный путь прошёл и Андрей Муравьёв, начавший литературную стезю со стихотворчества. Ещё в юности отличался склонностью к «величию замысла»: переводил «Энеиду« Вергилия (прозой), несколько книг Тита Ливия и бестселлер «Приключения Телемака» француза Франсуа Фенелона — к слову, священнослужителя.

В чём-то нам поможет статья Ю. Тынянова «Пушкин и Тютчев», в которой автор напоминает, как поэт Вяземский отозвался на публикацию в «Северной лире» произведений авторов литературного кружка Семёна Раича, который считается литературным учителем Лермонтова и Тютчева: «Вообще, вся наша литература мало имеет в себе положительного, ясного, есть что-то неосязательное, облачное в её атмосфере. В климате московском есть что-то и туманное. Пары́ зыбкого идеологизма носятся в океане беспредельности. Впрочем, из этих туманов может ещё проглянуть ясное утро, и от них останутся одни яркие блёстки на свежей зелени цветов. Главный признак альманаха «Северная лира» есть какое-то поэтическое стремление в тёмную даль или надоблачный и отчасти облачный эмпирей».

Что и говорить, многие литераторы отдали дань в том числе и «демоническому романтизму». Но из лириков альманаха Вяземский особо отметил Андрея Муравьёва, «в первый раз являющегося на сцене», стихотворения которого «исполнены надежд, из коих некоторые уже сбылись».

Характерны и отзывы Пушкина о лирических произведениях, помещённых в альманахе. Упомянув вскользь о близких именах Баратынского и Вяземского, он отзывается с похвалой о двух произведениях Туманского, а далее следует упоминание о первых опытах Муравьёва, которого Пушкин «встречает с надеждой и радостью». Тынянов заключает: отзыв этот показателен. Поскольку Муравьёв был начинающим поэтом раичевского кружка, причём резко выделялся из господствовавшего в нём направления. «Он несомненный и даже сознательный подражатель Пушкина (сознательность доказывается выбором в 1827 г. такого сюжета, как «Таврида»), — пишет

знаменитый опоязовец,—но ясно, почему и Вяземский, и Баратынский, и Пушкин возлагают на Муравьёва надежды: в его стихах нет той чопорности, гладкости и безупречной бедности, которую около того же времени строго осуждает Пушкин в стихах дебютанта Деларю; они, напротив, выделялись именно энергиею, «смелостию» и «нечистотою», которые были так нужны в эпоху распыления и монотонизации ходовых элементов пушкинского стиха. П. Е. Щёголев с обычным добродушием отмахивается от истории, удивляясь «приветственному упоминанию о бездарных виршах Муравьёва». Для нас, очевидно, интереснее суждения Пушкина, Баратынского и Вяземского, чем Щёголева. Назвать стихи Муравьёва бездарными виршами нельзя, даже и отмахиваясь от исторического рассмотрения».

Тынянов в помощь своим соображениям находит весьма яркий пример—стихотворение Муравьёва «Бахчисарай»:

И будит дремлющие своды
Фонтанов однозвучный шум;
Из чаши в чашу льются воды,
Лелеятели сладких дум.

Всё изменили быстры годы.
Где ханский блеск? Но водомет
Задумчивые пенит воды.
На память тех, которых нет.

Более характерны, полагает литературовед, однако, для Муравьёва стихи, в которых явно влияние архаистических жанров («В Персию»). Насколько значащим молодым явлением казался Муравьёв во время лирического разброда, доказывает отзыв Баратынского и полемика с Баратынским Погодина. Баратынский так отзывается в 1827 году о поэме Муравьёва «Таврида» (Муравьёв выпустил в 1827 году сборник стихов под общим названием «Таврида», в состав которого входила и поэма): «Таврида писана небрежно, но не вяло. Неточные её описания иногда ярки, и необработанные стихи иногда дышат каким-то беспокойством, похожим на вдохновение… В мелких стихотворениях дарование г-на Муравьёва гораздо зрелее. Каждая пьеса уже заключает в себе более или менее полное создание, и от времени до времени встречаются прекрасные стихи».

Можно было бы говорить о сочинителе начинающем, едва перешагнувшем двадцатилетний рубеж; правда, тогдашние двадцать лет—это не то что «нынешнее племя», нередко и до тридцати-сорока являющее собой недоросль, хоть и будучи офисным планктоном. Но взыскующие страсти вокруг стихотворца Муравьёва разыгрались нешуточные. Сами имена критиков, являющихся поэтами первого ряда, дают повод к пристальному вниманию. В частности, Баратынский, останавливаясь на стихотворении Муравьёва «Ермак», напечатанном в «Северной лире», выделяет как прекрасные следующие выражения: *«Другого племя остяки…», «Их вождь был скован из железа, И нашей смерти чужд он был!», «Иртышу показался грузным…»*, то есть типичные, как считает Тынянов, для архаистов языковые и стилистические черты (диалектизм, «грубая простота» образа и так далее). Осудив неточность образов у Муравьёва, Баратынский заключает, что «богатому жаром и красками, ему недостаёт обдуманности и слога, следственно—очень многого».

В лагере любомудров не согласились с самыми основами этого отзыва. М. Погодин в «Московском вестнике», рецензируя «Тавриду», Баратынскому возражает: «„Лирическая поэзия любит простоту выражений“.—Сие положение очень неопределённо и подвержено многим исключениям: укажем на простые выражения в эпических местах Священного Писания, на простую сцену в трагедии «Борис Годунов» Пушкина, а с другой стороны, на псалмы боговдохновенного Давида, на непростого Пиндара и проч. Нам кажется, что лирическая поэзия больше прочих допускает непростые выражения». Воскрешающие философскую оду любомудры близки к архаистам (Кюхельбекеру), понимавшим «лирику» в смысле высокой одической лирики.

Между тем в рецензии «Московского вестника», за подписью [Рожали]нъ, помещённой вместо пушкинской, где упоминается о хороших переводах Тютчева («Саконтала» из Гёте, «Радость» из Шиллера), Муравьёв поставлен в хороший ряд—в списке авторов «оригинальных пьес», которые «могут порадовать читателей»,—с Баратынским, Вяземским, Туманским.

Родившийся в Москве 30 апреля 1806 года и крещённый в честь апостола Андрея Первозванного, Андрей Муравьёв был пятым ребёнком в семье математика, подполковника в отставке Николая Николаевича Муравьёва (1768–1840) и Александры Михайловны (урождённой Мордвиновой) (1768–1809), как и супруг, происходившей из знатного рода. Александра Михайловна скончалась, оставив мужу на руки шестерых детей, младший из которых не достиг года. Николаю Николаевичу пришлось непросто, к тому же в 1812 году он принял участие в Отечественной войне старшим офицером московского ополчения. А после—возглавил созданное им Московское учебное заведение для колонновожатых, которое и окончили его сыновья.

Доктор исторических наук харьковчанин А. Каплин рассказывает, что в мае 1823 года Андрей Муравьёв был зачислен и отправился в 34-й егерский полк второй армии, располагавшийся в Тульчине. При переправе у Киева через разлившийся Днепр Андрей испытал немалое потрясение (так как

«два часа носился… между жизнью и смертью»). В Киеве он посетил Лавру и все храмы, «дышал родным воздухом» в «колыбели нашего Отечества». Получив в декабре 1823 года чин прапорщика, он был определён в Харьковский драгунский полк.

В 1825 году Муравьёв провёл отпуск в Крыму, увидев который, он «сделался поэтом». Там он «сошёлся» в августе с А. С. Грибоедовым, который был на девять лет его старше и к тому времени практически уже завершил «Горе от ума».

Увлекаясь, как тогда водилось, зарубежной литературой — Мильтоном и Оссианом, Тассо и Данте, изучая ради них английский и итальянский языки, тем не менее, из Крыма Муравьёв вернулся другим человеком. Написал трагедию «Владимир», которую в списках, ещё накануне пушкинского «Бориса Годунова», с энтузиазмом принял М. П. Погодин.

Зимой 1829 года, решив «начертать, по примеру Шекспира, одну огромную драму „Россия“», А. Муравьёв приступил к дилогии исторических трагедий на сюжеты Древней Руси, представлявшиеся ему особенно поэтическими, исполненными воинской доблести и христианского подвижничества, — «Князья Тверские в Златой Орде» («Михаил Ярославич Тверской» и «Георгий Московский»).

После Русско-турецкой войны, заключения 2 сентября 1829 года Адрианопольского мира двадцатитрёхлетний молодой человек решил отправиться ко Гробу Господню — «ехать во Святую землю, ибо эта минута была самая решительная в моей жизни; в то мгновение не рассуждал я ни о чём и как бы внезапно посвятил себя и данный мне талант священной цели сего странствия, без всякого мудрования или каких-либо видов. Щедрою рукою вознаградил меня Господь, ибо всё, что я ни приобрёл в последствии, как в духовном, так и в вещественном, истекло для меня единственно из Иерусалима. <…> Это была минута, едва ли не лучшая в моей жизни, за которую действительно сторицею получил я воздаяние».

Этим духовным путешествием молодой офицер поразил многих в России, а издание в 1832-м паломнических записок «Путешествие ко Святым местам», после редактирования их поэтом Жуковским и митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым), принесло автору всероссийскую известность и сравнение с Ф. Шатобрианом и Н. М. Карамзиным.

Пушкин, тоже известный адресат свт. Филарета, очень тепло встретил эту публикацию: «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу г-на Муравьёва… Он посетил Св. места, как верующий, как смиренный христианин, как простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться во прах пред гробом Христа Спасителя». Пушкин отмечал, что «молодой наш соотечественник привлечён туда не суетным желанием обрести краски для поэтического романа, не беспокойным любопытством найти насильственные впечатления для сердца усталого, притуплённого… Ему представилась возможность исполнить давнее желание сердца, любимую мечту отрочества… о ключах Св. Храма, о Иерусалиме».

Муравьёву приведётся много путешествовать по местам русского православия, побывать также в Риме, на Афоне, в Грузии, в Святогорском монастыре близ Славянска, в Херсонесе, оставить и издать обо всех поездках паломнические очерки «Путешествия по св. местам русским», «Русская Фиваида на Севере» (о Вологодчине и Белозерье), «Русская Вильна», а также «Письма о богослужении» и другие, быть высоко оценённым простыми читателями, священством и августейшими особами, работать на высоких должностях в Священном Синоде, удостоиться членства и наград различных академий. Составить, написать и издать грандиозное двенадцатитомное собрание «Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских» (СПб, 1855–1858), являющееся оригинальными жизнеописаниями, основанными на «древней рукописи», найденной Муравьёвым в Софийском соборе.

Более двадцати лет А. Муравьёв считался эпитропом (то есть поверенным) в России трёх патриарших престолов (Александрии, Антиохии, Иерусалима); длительное время сносился со многими обитателями Афона (свободно изъясняясь на греческом языке), был ктитором двух афонских монастырей — болгарского и русского; состоял в многолетней переписке по догматическим, церковно-политическим, должностным вопросам с четырьмя патриархами и другими епископами Востока, а также со многими русскими.

В какой момент, отчего вдруг русский молодой офицер и, как видим, незаурядный талант, подававший надежды приблизиться к первому ряду наших блистательных поэтов, отправляется путешествовать по святым местам православия и начинает объяснять нам, как, например, в валаамском очерке, что поговорка «радость Валаамская» означала «радость радостей», радость всему? И писать так: «…Те же тёмные предания называют Сергия одним из апостольских учеников, с людьми новгородскими посетившим сей остров, где крестил язычников и между ними некоего Мунга, которого предполагают быть Германом; но вся сия повесть, извлечённая из древней рукописи, оповедь, ничем не доказана. С большим вероятием можно отнести житие преподобных ко времени княгини Ольги, а некоторые думают, что они были греческие выходцы, искавшие просветить Север; а в рукописном житии св. Аврамия Ростовского видно, что обитель Валаамова имела уже

в 960 году игумена Феоктиста, окрестившего из язычников просветителя Ростова, который в свою чреду пошёл к югу сокрушать идолов и основал на Ростовском озере свою обитель в 990 году, всех древнейшую по летописям. Таким образом, первая искра христианства блеснула Северу с Валаама, и остров сей был рассадником пустынножителей в полунощной стране».

Это после появятся валаамские записки побывавших здесь святителя Игнатия Брянчанинова, писателей Александра Дюма, Ивана Шмелёва и других, пройдут блистательные пленэры лучших русских художников, но начнётся «словесный» прекрасный остров Валаам для русского паломника и читателя — с замечательного очерка А. Н. Муравьёва.

Кто бывал тут в августе, тот помнит Всесвятский скит (он же Белый), первый валаамский скит — возведённый на месте, где некогда жил преп. Александр Свирский. Помнит, конечно же, и в огородике кусты красной валаамской смородины — очень густые гроздья с крупными, светящимися на солнце ягодами, которые И. Шмелёв назвал «живыми яхонтами».

Итак, вот о Всесвятском ските изначальные слова А. Муравьёва: «Там никогда не прерывается чтение псалмов, и восемь отшельников сменяются каждые два часа. Эта малая пустыня устроена игуменом Назарием для ищущих совершенного покоя, при самой строгой жизни, в подражание знаменитой обители Царьградской св. Маркелла. Церковь была отперта, и слышался внутри её томный голос чтеца; бледный, изнурённый, он стоял перед аналоем. Мы вошли тихо — не заботясь о живых, он продолжал Псалтирь за усопших...» Тут остановимся и мы и задумаемся над муравьёвской мыслью, высказанной в последнем предложении.

Андрей Муравьёв так писал о здешних местах, ещё приближаясь от Санкт-Петербурга к Сердоболю (ныне Соратвала), дабы отплыть на остров Валаам: «Но, увлечённый вновь воображением в зелёные степи Украины, я позабыл, что ныне путь мой по дикой Финляндии! — Унылы места сии; мало жизни в людях и предметах; повсюду лесистые горы и глухие озёра, и однообразный гранит выставляет по рубежу дороги пустынные скрижали, на коих пишет свои тайные руны мимотекущее время».

Почти через двести лет в паломниках повторяются впечатления русского духовного писателя. Но «пустынные скрижали» здешних мест — прекрасны! Суровая, сдержанная краса, строгость Севера влекли русских подвижников и, как понимаем, художников, видимо, соответствуя пустынническому желанию уединиться и тем уподобиться (и приняв как приём, метод) египетским или сирийским отцам, уходившим в пустыни.

Некоторое время в качестве личного секретаря А. Н. Муравьёва работал известный педагог-просветитель, а тогда выпускник университета С. А. Рачинский.

Первый биограф Рачинского, педагог, публицист, ученик просветителя Н. М. Горбов писал об этой его жизненной вехе: «Это был тягостный искус, ибо если кто имел нестерпимый характер, то это автор «Писем о богослужении». Но можно предполагать, что близость к человеку, жившему в столь церковной атмосфере, не прошла бесследно для Рачинского».

Однако современный исследователь трудов и жизни Рачинского И. Ушакова убеждена, что мы можем поспорить со столь скептическим мнением и прислушаться к другим суждениям. Например, к мнению профессора Московской духовной академии П. С. Казанского, так писавшего о своём старшем современнике Муравьёве: «Главное достоинство и заслуга А. Н. как духовного писателя заключается не столько в достоинстве самих сочинений, сколько в том влиянии, какое имели эти сочинения на русское общество. Некоторое время его сочинения были самыми любимыми книгами в дворянстве, особенно среди женского общества, также среди духовенства и купечества. Он заставил высшее общество читать книги духовного содержания, писанные по-русски. Он познакомил это общество с учением Православной Церкви, объяснил дух её богослужения, что совершенно было неведомо значительному большинству. Он много и с успехом боролся с наклонностью к католицизму, которая проявилась в некоторых русских религиозно-настроенных, но изучавших религию только по французским книгам и в беседе с католическими прелатами. Он был, можно сказать, передовой пионер для нашей богословской науки и богословских сочинений, облегчая появление их, пролагая им доступ к высшему обществу. Зная понятия, степень образования, предрассудки высшего общества, он писал так, что его слова могли действовать на этот круг».

Удивительна и особенна связь А. Н. Муравьёва с Киевом, который он выбрал себе для окончательного укоренения. Набрав долгов, писатель выстроил себе дом и разбил сад неподалёку от Андреевской церкви, возведённой по проекту Растрелли.

«Особенно почитая Св. Апостола Андрея Первозванного и написав ему акафист, он приложил огромные усилия по спасению Андреевской церкви, стал её ктитором, — пишет историк. — Найдя жертвователей, устроил в подвальной части храм во имя преп. Сергия Радонежского, обеспечил устройство иконостаса и икон из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Но самым большим его вкладом

стала частица мощей Св. Апостола, полученная на Афоне. Во второй половине XIX в. именно А. Н. Муравьёву удалось сохранить исторический центр Киева, в т. ч. архитектурный ансамбль Св. Софии Киевской».

В августе 1869 года Киев посетила императрица Мария Александровна, среди сопровождавших лиц был Фёдор Тютчев. Давний приятель Муравьёва около недели провёл в общении с ним, осматривая церковные древности Киева. Поэт оставил другу посвящение:

Там, где на высоте обрыва
Воздушно-светозарный храм
Уходит в выспрь—очам на диво,
Как бы парящий к небесам;
Где Первозванного Андрея
Ещё поднесь сияет крест,
На небе киевском белея,
Святой блюститель этих мест,—

К стопам его свою обитель
Благоговейно прислоня,
Живёшь ты там—не праздный житель—
На склоне трудового дня.
И кто бы мог без умиленья
И ныне не почтить в тебе
Единство жизни и стремленья
И твёрдость стойкую в борьбе?

Да, много, много испытаний
Ты перенёс и одолел…
Живи ж не в суетном сознанье
Заслуг своих и добрых дел;
Но для любви, но для примера,
Да убеждаются тобой,
Что может действенная вера
И мысли неизменный строй.

Через четыре года Муравьёва посетит здесь поэт Апухтин и тоже напишет:

Уставши на пути, тернистом и далёком,
Приют для отдыха волшебный создал ты.
На всё минувшее давно спокойным оком
Ты смотришь с этой высоты.

Пусть там внизу кругом клокочет жизнь иная
В тупой вражде томящихся людей,—
Сюда лишь изредка доходит, замирая,
Невнятный гул рыданий и страстей.

Здесь сладко отдохнуть. Всё веет тишиною,
И даль безмерно хороша,
И, выше уносясь доверчивой мечтою,
Не видит ничего меж небом и собою
На миг восставшая душа.

Скончался Андрей Николаевич тихо—18 августа 1874 года, в пять часов пополудни. Успев весной того же года совершить новую поездку на Афон—«для обеспечения прав основанного им там русского Андреевского скита и увещевания греческих монахов, восставших на русскую братию монастыря св. Пантелеимона».

Но предание тела земле, «по причине опоздавшей телеграммы с Высочайшим разрешением о погребении усопшего под Андреевскою церковию, последовало 22-го августа в 12 часов дня. Величественный Андреевский храм далеко не мог вместить в себе всех собравшихся отдать последний долг русскому духовному писателю Андрею Муравьёву. Обширная терраса вокруг храма, вся широкая, длинная, с тремя уступами, лестница, вся площадка у подножия её и все ведущие к храму улицы были буквально запружены народом. Поразительна была картина следования гроба от верхней церкви по обширной лестнице, мимо средней, в самую нижнюю, называемую «подземную», устроенную самим Андреем Николаевичем в глубоком храмовом подвале во имя преп. Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Тут и почил он прахом своим до общего воскресения».

Нина Гейдэ

В батискафе стихотворения

Рецензия на книгу Евгения Чигрина «Неспящая бухта»

Первое, чем запоминается поэзия Евгения Чигрина,— изысканным узором неожиданных ассоциаций, сразу же захватывающих внимание читателя и смело творящих пространство поэтического сюжета и настроения. Счастливое неисключение — и его книга «Неспящая бухта», выпущенная издательством «Время» в серии «Поэтическая библиотека».

«Островистые земли…» — промолвишь, и — выпорхнет стих
Васильковым дроздом, даровитым певцом порубежья.
И, конечно, оставлен для рифмы-строфы материк,
Только видится пласт раскурившего жизнь побережья…

Или вот эта строфа:

Словарь реки читается с конца,
Сначала «я», а после остальное.
Лицо волны, от солнца золотое,
Морщинится, как кожа мудреца…

Читая стихи Чигрина, погружаешься в новую, необычную поэтическую реальность, со своей особенной стилистикой и метафорикой и очень обширной поэтической географией. Книга разделена на восемь глав: «Островистые земли», «Серая роза», «Смычковая музыка», «Виниловый Хендрикс», «Колониальные песни», «Подводный шар», «Яшмовый берег», «Нетрезвое солнце». Уже по этим названиям легко предположить, что автор приглашает нас в путешествие по самым разным географическим поясам и полюсам. Мы переносимся из Сахалина в Керчь и Феодосию, от северного моря — «сатанеющего» Охотского — к Чёрному, где «белопенные волны подобны осколкам фарфора»; после Парижа — города «цвета испуганной мыши» — оказываемся в Брюсселе, где «с метёлкой выходит март», потом в Западной Фландрии, в Брюгге, где «облачко гладить стремится башенку»… А далее — таинственный Восток, пленяющий неисчерпаемостью красок и запахов: Египет, Марокко, Тунис… И это далеко не все географические зарубки на поэтическом древе книги Чигрина. И вот что интересно: лирический герой «Неспящей бухты» легко и свободно странствует не только по земным широтам. География затейливого полёта музы Чигрина — это также прошлое и будущее, сновидения, фантазии, кладовые подсознания и даже лабиринты небытия, и вообще, бесконечное множество иных миров — разумеется, в преломлении поэтической фантазии:

С какою птицей выдохну строфу
В знакомый мир, в каком теперь едва ли
Я окажусь (в других мирах живу)…

Если же говорить всё-таки о мире земном — Чигрин не довольствуется прямым отражением его явлений. Он сам творец — и поэтому вольно обращается с жизненным материалом. Что хочет с ним, то и делает — как тот непослушный ребёнок, который рисует на «обоях бытия» с его «стандартным узором» — свои собственные необычные загогулины:

Коровьим взглядом смотрят облака
В простую жизнь, и жизнь примерно так же.
Ведёт январь в ошейнике снега,
Меняя контур в маленьком пейзаже.
Хрусталь и мёд — синонимы… Сине́й
На ветках, снег, младенческим и всяким!
Уходит век погонщиком теней,
Как эскимосы к умершим собакам…

Всё необычно смешивается в стихах Чигрина — явления природы, мифы и легенды, впечатления настоящего мига и далёкие воспоминания, образы мировой культуры и бытовые детали. Из этих разных, казалось бы, несоединимых «пазлов» он составляет одно гармоничное поэтическое целое:

Шипящие куски пространной речи,
Безвестный слог, воздушная строфа.
За валуном три мойры вяжут сеть,
Вздыхая так, что облако косится,
Полным-полно в телесном небе ситца,
Никто не сможет с этим умереть.

Вообще, вживаясь в творчество Евгения Чигрина, понимаешь: поэзия для него — не просто некое увлечение, существующее параллельно с основной линией судьбы. Это и есть его судьба. Как говорит сам поэт: «недолгую жизнь я упрятал в лирический миф». Все в его жизни события и впечатления, чувства и переживания — прежде всего исходный материал для поэзии: «Вдыхай,

братан, такое волшебство, весь мир, друган, пиитова чужбина!»—восклицает Чигрин, упрятавший «в слово живинку-тоску». Поэзия для него сверхценна, как уникальное духовное явление: «По глотку поднимайся по строфам поэтов, душа!»

Где бы ни был поэт, что бы он ни делал—он живёт, дышит, думает и чувствует поэзией, всё пропуская через поэтическое сознание и осознание. Почти в каждом стихотворении поэт так или иначе говорит о процессе стихосложения, задаётся вопросом, откуда берутся стихи, чем навеяны, как происходит их рождение и, наконец, куда они ведут, чему служат. Зачастую даже явления природы для Чигрина непосредственно связаны со стихосложением:

Сбегает день, чтоб постареть смогла
Строфа, в которой музыки негусто,
За окнами сверчковая игра,
Материя, с которой слишком грустно,
Неспешно раскрываются слова
в потоке алфавита, ведовства
стоящей надо мной большой луны…

Мир вообще существует для этого автора лишь настолько, насколько он назван поэтическим словом, то есть поэтом дотворён. Сквозь это слово, как сквозь цветное стекло, он жизнь и разглядывает, приводя блестящий метафорический образ стихотворения-батискафа:

В окне пейзаж—припомнишь Писсарро—
Перешагнёшь в стихи, держа руками
Видение в сиреневом: тепло
Под серыми, в изломах, облаками.

Держу в руках видение—тебя…
Весь в мареве художника ландшафтик,
В котором ветер, в дудочки трубя,
Прохожего закутал в мягкий шарфик,

Одел в пальто и—спрятал за углом,
Опять Камиль-художник «вынул дождик»,
Который—раз, и—сделался прудом,
Где рядышком лопух и подорожник,

Где туча в тучу переходит, как
Видение в виденье: раз, и—сплыло.
Я так один. Любой ужастик-страх
По барабану! Пофигу! Квартира

Меняет облик: тянет тень крылом,
Над шкафом, подрезая привиденье,
Штормит за шторой шумовым дождём…
Как в батискафе, я—в стихотворенье…

Чигрин, несомненно, в поэзии импрессионист—певец мимолётного ускользающего впечатления, пойманного и отражённого его поэтическим зеркалом. Потому так часто Чигрин обращается к художникам-импрессионистам. Поэт вольно обращается с «подстрочником бытия»—переводит его на поэтический язык лишь ему одному известным способом и образом, не боясь необычных сравнений и, казалось бы, несочетаемых понятий—таких, например, как «солёный полумрак» или листва, которая «огнём зелёным весела». И у Чигрина это работает, живёт, добавляет свой неповторимый «импрессионистический мазок» на общее стихотворное полотно.

Словарь Чигрина фантастически богат, причём «в поэтическом хозяйстве» у него для всего есть место—для штилей высокого и разговорного, для архаики и для сленга:

Как быстро темнеет над местностью сильное небо,
с которым контачить в моём одиночестве лепо…

Вообще, Чигрин настолько самобытен и ни на кого не похож, что не стоит даже и стараться условно причислять его к каким-то литературным направлениям, разве что в порыве творческой эклектичности он заимствует черты—«мазки»—разных поэтических жанров и стилей: акмеизма, имажинизма, футуризма, модерна и постмодерна. И всё это не ради игры словами или плетения абстрактных стихотворных виньеток. «Неспящая бухта»—это не «записки путешественника», не пейзажная лирика. Это книга по сути своей философская, мудрая и поэтому немного грустная, ведь автор «играет жизнь и смерть на дудке-виво»:

В этом свете что хочешь привидится для
Самопальной неспешной строфы…
В этом свете что хочешь смогу объяснить:
Сновидения, смыслы, холсты,
Будто сети, тяну полуночную нить
Стихотворства, иллюзий, мечты…
Так откуда мы? Кто мы? Куда…
Как до хижин Гогеновых мне далеко!
Так откуда мы? Кто мы? Куда…

Стихотворчество—«тихотворчество у моря»—попытка Чигрина ответить на вечные вопросы бытия, найти своё место не только в поэзии, но и во Вселенной. Вообще, море—один из его излюбленных образов. Чигрин—«ловитель моря на приманку строк». И речь тут, разумеется, идёт не только о морях земных—Охотском, Чёрном, Красном—воспетых поэтом. Дело тут вообще—в море житейском, куда Чигрин-поэт погружается в «батискафе-стихотворении».

«Неспящая бухта»—конечно же, тоже образ метафорический, многослойный. Каждый читатель волен толковать его по-своему. Для меня—это та неспящая бухта Чигрина, куда постоянно прибывают с товаром «корабли-впечатления», которые поэт всегда готов принимать и «разгружать»—и, отсеивая лишнее, преобразовывать мимолётные впечатления бытия в стихи, не уставая разгадывать: «какого цвета это волшебство, с которым обнимается искусство?»

Янис Грантс

Луи с грабаркой

Рассказ в рассказах

Венгр Шандор Барта. Голландец Иозеф Карел Ласт. Американец Айзик Платнер. Француз Луи Арагон и его жена Эльза Триоле. Летом 1932 года интернациональная бригада писателей совершила поездку по городам Урала. 31 июля группа побывала на строительстве чтз[1].

Меня давно занимает история приезда Луи Арагона в Челябинск. Не фактическая, конечно, история, а литературная. Фантазийная. Французский писатель Арагон, малыш Стёпа—сын первостроителей чтз, рабочий Никонов и другие герои только что обрели пунктиры своих написанных судеб. Но, возможно, когда-нибудь настанет время более обстоятельного рассказа о каждом персонаже.

Выводок

«Сейчас он скажет: „Устал, как собака“»,—думает Стёпа.

(Отец вваливается в комнату, громоздкий и чёрный,—туча, да и только, заслоняет проём в коридор, хлопает дверью (картонная будто), падает на табурет со всех своих двух метров. Подвывает секунду-другую, гримасничает (копчик отбил, что ли?). Говорит:
— Устал, как собака.)

«Сейчас он скажет: „Подсоби сапоги, выводок“»,—думает Стёпа.

(Отец ставит правую пятку на левый носок. Дёргает ногами. Пыхтит. Будто поезд, который никак не сдвинется с места. Наконец портянка появляется из тоннеля голенища. Второй сапог он рассматривает, оценивая про себя: сможет или нет? (А надо бы наклониться как следует и—руками его, руками.) Нет, не потянет. Глядит на Степана. На лице—улыбка не улыбка, будто вспомнить не может, но—доволен, что есть кому выручить. Говорит:
— Подсоби сапоги, выводок.)

«Сейчас он запоёт: „Ах, куда же ты, Ванёк, ах, ку-у-у…“—но тут же оборвёт себя на полунотеполуслове и спросит: „А жрать мы будем?“»—думает Стёпа.

(Отец разматывает портянки, смотрит вниз, выискивает новые мозоли. Хлопает себя по икрам. Кожа на ногах у него—серая с голубоватым отливом, как раннее сентябрьское небо. Подносит портянки к носу, втягивает их на все лёгкие, запевает:
— Ах, куда же ты, Ванёк, ах, ку-у-у…— но тут же обрывается на полуноте-полуслове и спрашивает:—А жрать мы будем?)

«Сейчас он скажет: „Да гори он синим пламенем, этот завод“»,—думает Стёпа.

(Мама появляется из барачного коридора совсем не по-отцовски. И не заметишь, как дверь открывалась, как закрывалась (только дымом, что ли, кислятиной или ржавчиной повеет мимолётно), а уже—кастрюля с варёной картошкой. Отец умоется к этому времени. Сидит по пояс голый за столом. То ли хмурый, то ли нет. Перед ним—тарелка с селёдкой. (Ни одной косточки мама не пропустит, все вытянет из рыбины, не помнит Степан, чтоб пропустила.) Мама улыбается. И пока ложки кладёт—всё к отцу: то локтем прикоснётся, то по макушке проведёт. А он в ответ—мину строит, будто опять копчик отбил.
— И что там, на заводе?—спрашивает мама.

Будто сама работает где-то в другом месте, будто сама не вернулась с чтз два часа назад. Отец не отвечает. Снимает кожуру. Смотрит на картофелину. Без интереса, но не отрываясь, как на погоду за окном.
— Сегодня вот каких-то французов притащили. Рагона какого-то,—начинает говорить отец. Медленно, будто вспоминая. И складки у него на лбу шевелятся. Вверх-вниз. Вверх-вниз.—Сказали: он о нашем героизме всему миру поэму напишет. А читать-то во всём мире по-ихнему кто умеет? Я вот и по-своёму-то—ни в пень ногой. Да гори он синим пламенем, этот завод.)

1. Челябинский тракторный завод.

«Сейчас он скажет: „Ну, покурю с этими на крыльце“»,—думает Стёпа.

(Отец шумно пихает табурет, который должен бы полететь-перевернуться, а он—отъезжает, как игрушка на деревянных колёсиках, назад и стоит. Не шелохнётся. Стёпа тоже пробовал, но у него и ноги-то с табурета до половиц не достают. Отец натягивает гимнастёрку. Берёт спички. Вдруг задумывается, что ли. Застывает. Но вот—машет рукой, будто соглашается с чем-то спорным, и босиком идёт в коридор. Перед собой, только самому себе, говорит:
— Ну, я покурю с этими на крыльце.

Мама собирает посуду. Зачем-то целует сына и уходит на общую кухню. Стёпа сидит. Сидит. Сидит, пока мама не возвращается. Она готовит Стёпе постель, говорит:
— Ложись-ка спать.

И опять уходит на кухню.)

Стёпе нелегко решиться. Он столько дней—счёт на тысячи, миллионы дней—хочет спросить у отца: «А почему выводок, папа? Выводок—это же у кошек там, индюков. А я-то—человек. А я-то—один». Сейчас отец зайдёт в комнату и скажет: «Ну, спи, выводок». Тут Стёпа и спросит. Наберётся смелости и спросит. У Стёпы сердце как замотанное в тряпку: стучит глухо-глухо, редко-редко. Да и не стучит будто, а робко просится куда-то.

Стёпа лежит на полу, на соломенном матрасе. Отец—осторожно на этот раз—входит в комнату. С ним—то ли дым коридорный, то ли ржавчина. То ли кислятина. Мимо Стёпы. Не наклоняется, как обычно, не щипает за нос, не говорит: «Ну, спи, выводок». Молчит. Падает на кровать, не расправляя. Не снимая брюк. И уже причмокивает. Вот-вот захрапит.
— Спи, выводок,—сквозь пелену сна говорит отец и по-детски вздыхает.

Грабарка[2]

«В связи с приездом писателей-интернационалистов внеочередной „бетонный вечер“ объявляется на воскресенье!»

(Нам-то что? Мы и в воскресенье можем. Покажем товарищам, как работают на стройке коммунизма!)

Оркестр надрывается. Огромные американские бетономешалки изрыгают серую ползучую массу. Дозируют: одна порция на одну человеко-силу. Бетон шлёпается в грабарку рабочего. Он хватает ношу и катит-волочёт её по деревянным мосткам к большому котловану. Там заливается фундамент будущего цеха. Оркестр, бетономешалки и трибуна для гостей образуют что-то наподобие русской печатной «П». Стоять на трибуне—почётно, но неловко. Даже—стыдно.
— А нельзя ли и мне тележку? Я бы справился,—улыбается Арагон.

Переводчик молчит и тоже улыбается. У него—приказ: на глупости гостей не реагировать.

Арагон смотрит вверх и видит: весь этот рёв, скрежет и скопление людей—ничто не отпугивает птиц. Они гоняются друг за другом, мечутся по своим летучим делам. Им нет дела до этой нептичьей стройплощадки.

На занозистые перила трибуны, в десяти сантиметрах от правой руки, падает жидкий комок птичьего помёта. Арагон рассматривает его с тайным любопытством. Он дотягивается до этого плевка, растирает его в пальцах, проверяет на плотность, нюхает. Расправляет пятерню и рассматривает её на солнце. Улыбается. Будто какая-то простая радость спикировала с неба и растворилась в его ладони. И нет уже неловкости за свой белый крахмальный воротничок, за этот наблюдательный пост, перед которым голые, усталые люди везут и везут сырой бетон в прекрасное завтра.
— А как по-русски будет «дерьмо»?—спустя минуту спрашивает Арагон у переводчика.
— Дерьмо,—отвечает переводчик.
— Да, дерьмо,—улыбается Арагон и кивает, кажется, на оркестр, но, может, и на рабочих.
— Что он спросил?—наклоняется к переводчику чекист.

Переводчику пятьдесят. Университет при царе кончал, в Париже стажировался. Ходит в ненадёжных и состоит в органах—то ли в доносчиках, то ли в младших чинах. Как такое возможно? А—возможно.
— Арагон спросил, как будет по-русски «грабарка».
— Грабарка?
— Грабарка.
— И что ты ответил?
— Грабарка.
— Грабарка,—повторяет чекист и погружается, погружается в мутные течения догадок.

Зачем французу грабарка? Оркестр громыхает марши. В голове чекиста искрит. Что всё это может значить? Он сплёвывает и разрубает своё замешательство прямым ударом:
— Спроси у товарища Арагона: а зачем ему грабарка?

Переводчик пытается проглотить слизь. Простуда. Горло воспалено и—будто завалено от трахеи до самой носоглотки горошинами боязни. Не глотается. Говорить придётся громче, чтобы чекист не подумал чего такого.

2. Граба́рка—тачка, повозка, предназначенная для перевозки земли. Первостроители ЧТЗ стали называть так и тачки, рассчитанные на одного рабочего, в которых возили бетон для заливки фундаментов будущих цехов во время «бетонных вечеров» (субботники под оркестр).

— Месье Луи, а вы знаете, как по-русски будет «грабарка»?— говорит переводчик Арагону и расцветает: — Грабарка!
— Вот как! — улыбается Арагон.
— Ну что? — наклоняется чекист к переводчику.
— Да так. Он просто спросил, — говорит переводчик.
— Просто?
— Просто.

Чекист отстраняется. Он предчувствует угрюмый кабинет старшего чекиста и самого́ старшего чекиста, рявкающего за столом зелёного сукна. «Ты, твою мать, серьёзно думаешь, что француз интересуется тележками, чтобы подорвать наш курс на индустриализацию? Он же, твою мать, коммунист! А вообще, — и тут старший чекист начнёт подхихикивать (будто подхрюкивать), — бдительно сработал. Хвалю, твою мать».

Внутри у чекиста хлопают крылья водоплавающей птицы. Его волнение всегда полощется в животе, как дикий гусь, взлетающий с таёжного озера.
— Как будет по-французски «дерьмо»? — спрашивает чекист у переводчика.
— Дерьмо, — по-русски отвечает переводчик и икает.
— Вот дерьмо! — сплёвывает чекист.

— Так уж и сказал? — в глазах старшего чекиста — усталость неистребимая.

У него жена — туберкулёзная, младший сын только-только помер от неизвестной заразы (зачах за неделю, да и всё), а тут — разбирайся в сомнительных доносах.
— Назвал дерьмом, — подтверждает переводчик.
— Француза этого?

Старший чекист хочет отмотать время назад, словно киноленту, чтобы успеть выскочить из угрюмого кабинета до прихода переводчика. Потом ловит себя: брежу, время нельзя отмотать, а переводчика нельзя спрятать под зелёное сукно. Придётся давать ход, докладывать наверх, допрашивать чекиста, рыться в его прошлом. И переводчика заодно прополоть. Надо же: прополоть.

Переводчик повторяет, но уже не так уверенно:
— Чекист только сказал: «Вот дерьмо!» — французу или советской власти — мне неизвестно. Моё дело — не утаить правды.
— Правды, твою мать?! — багровеет старший чекист. — Ты мне скажешь всюууу, твою мать, правду! — орёт он. (*Зачем я ору на этого… эту французскую… буквицу? Он же в штаны, чего недоброго, навалит. А то и сдохнет тут от разрыва сердца.*) Но уже не может остановиться: — Ты мне чётко, твою мать, ответишь: кого чекист послал на хер — Арагона или советскую власть?!

Переводчик икает. Икает. Икает. (*Я всё сделал правильно всё по-честному это недоразумение сейчас объявят благодарность какая благодарность за честность повторю как было а как было моё дело правда моё дело доложить вот дерьмо дерьмо дерьмо.*)
— Обеих, — выдыхает переводчик. — Советскую власть. (*Это не я сейчас сказал я не так хотел сказать.*)
— Тут останешься, — устало говорит старший чекист. И — неожиданно начинает хихикать (как бы — хрюкать): — А вообще — бдительно сработал. Хвалю, твою мать.

Хозяин кабинета опирается всеми костяшками на зелёное сукно. Костяшки белеют, будто вспыхивают ледяным светом.
— Уведите этого, — говорит старший чекист куда-то за спину переводчика и отворачивается к стене.

И назовётся это

Никонов смотрит на свой бетон и начинает толкать грабарку вперёд. Два-три первых шага даются трудновато, да и потом не очень-то ловко получается — поворот налево. Там эти доски уложены абы как. Ну, разъехались перед самым виражом. И между ними теперь колея образовалась. Въедешь в колею — считай, заглох на повороте. Потом надо будет с усилием выбираться на доски, поперечные этим. Вот когда-то, сочиняет Никонов, придумают, как гнуть самое несгибаемое дерево, посгибают его по кругу, отполируют и запустят туда людей с грабарками. А лучше — велосипедистов. Катайся — не хочу. И назовётся это — велотрек[3]. Никонов вздрагивает, будто его клоп ущипнул. Велосипед он, допустим, видел (вот кататься — не катался). Но трек — это-то откуда? Сам Никонов, получается, новые слова сочиняет. Значит, никакая голова у него не затуманенная, как Пухов говорит, а самая что ни на есть работящая. Как и ноги никоновские. Как и руки. И живот.

Перед Никоновым тянет свою грабарку Пухов. Пухов старше лет на двадцать. Ему эти «бетонные вечера» здоровья явно не прибавляют. Но кто ж откажется от добровольного труда? Нет таких. Вот когда-то, сочиняет Никонов, для таких, как Пухов, изобретут специальную линию над землёй. Электрическую. То есть сядет Пухов в коляску, и она сама привезёт его к строящемуся цеху. И назовётся это — канатная дорога[4]. А в это время по земле и грабарка пуховская до места назначения доедет. Тоже — сама. По рельсам. На электрической тяге. Как трамвай. Пухову и останется только, что бетон из своей грабарки вывалить в котлован. Никонов ещё некоторое время думает, достоин ли Пухов такой участи — болтать ногами над землёй, пока его грабарка сама едет к котловану. Пухов

3. Велотреки уже существовали. Но Никонову-то откуда знать?
4. И это изобрели до Никонова.

ведь назвал голову Никонова затуманенной. Но, с другой стороны, Пухов заваркой делится, не считаясь,—ему брат из Ташкента шлёт.

Никонов, конечно, оркестра не слышит и никого на гостевой трибуне не видит. Во-первых, некогда: надо грабарку толкать и толкать. А во-вторых, мыслей уж больно много. Появляются невесть откуда. Наскакивают одна на другую. А их все-все надо по полкам в голове разложить, ни которую не забыть. Вот сегодня француз этот стихи читал перед «бетонным вечером». Изъяснялся он, ясное дело, по-французски. Переводчик что-то там вяло переводил. Не то он переводил. Никонову без всякого перевода было ясно: вот, болеет иностранный пролетарский поэт за весь рабочий класс. Жарко болеет. И Никонову аж легче стало после этих стихов. Будто теперь коммунизм быстрее быстрого построится. А во-вторых, если честно, Никонов думал всегда, что стихи—это русское только. Ну, остальные народы об этом искусстве ничего такого даже не подозревают. А оказывается, у французов это тоже есть. Может, и у других наблюдается. После француза Никонов чувствует себя как бы другим человеком. Ноги—его. Руки—тоже. И живот. А вот сердце какое-то не такое стало—более верящее и коммунизму открытое. Никонов и лично хотел бы поэту своё восхищение сказать. Но как скажешь? Вот когда-то, сочиняет Никонов, люди будут запросто переговариваться. Вот везу я, Никонов, бетон. А француз стоит на трибуне. А у меня всего ничего—крючок за ухом. Железный. Нет, из чего-то более нежного. И говорю я перед собой, а всё в этот крючок отдаётся. И говорю я: спасибо вам, пролетарский французский поэт, за вашу пролетарскую французскую поэзию. А француз стоит на этой вышке, надзирает и говорит по своему крючку: слышу тебя, Никонов. И большое тебе спасибо за твоё спасибо. Во как! И назовётся это телефоном… сотовым. Никонов себе поверить не может: сотовый мёд—это ладно. Это—известное произведение. А сотовый телефон? Как эти-то два слова отыскались и срослись внутри водянистых извилин туманной (ну, держись, Пухов) головы?

Никонову кажется, что он вот-вот взлетит вместе с грабаркой—так распирает его гордость за всё это сочинительство. За всего французского поэта. За всех рабочих-первостроителей. За всю свою коммунистическую страну.

Евневич из оркестра

Евневич трубит и трубит в трубу: «Мы-крас-ны-е-ка-ва-ле-рис-ты-и-про-нас». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»

Евневич трубит и трубит в трубу: «Мы-рож-де-ны-чтоб-сказ-ку-сде-лать-бы-лью». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»

Евневич трубит и трубит в трубу: «По-до-ли-нам-и-по-взго-рьям». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»

Евневич трубит и трубит в трубу: «Бе-ла-я-ар-ми-я-чёр-ный-ба-рон». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»

Евневич трубит и трубит в трубу: «Сме-ло-то-ва-ри-щи-в-но-гу». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»

Евневич трубит и трубит в трубу: «Вра-гу-не-сда-ёт-ся-наш-гор-дый-„Ва-ряг“». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»

Евневич трубит и трубит в трубу: «Взвей-тесь-кост-ра-ми-си-ни-е-но-чи». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»

Евневич трубит и трубит в трубу: «Наш-па-ро-воз-впе-рёд-ле-тит». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»

Евневич трубит и трубит в трубу: «Мы-крас-ны-е-ка-ва-ле-рис-ты-и-про-нас». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»

Евневич трубит и трубит в трубу: «Мы-рож-де-ны-чтоб-сказ-ку-сде-лать-бы-лью». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»

Журавелиха, я люблю тебя!
Я люблю тебя, Журавелиха!

Жулька

Стёпе больше всего на свете хочется погладить Жульку. Больше большего: не только погладить Жульку, но и обнять Жульку, потрепать за лохматыми ушами и даже—причесать. Но Стёпа не может погладить Жульку. Вообще-то Стёпа может погладить Жульку. Стёпа же знает, что никто-никто не видит его и Жульку, поэтому Стёпа вполне может погладить Жульку. Но Стёпа… не может погладить Жульку. Стёпа пытается отвлечься и начинает придумывать: что бы ему сейчас хотелось больше всего на свете, даже больше, чем погладить Жульку? Стёпа настолько взволнован, что ни одного желания не придумывается. Стёпа даже и вспомнить не может, чего он больше всего желает в обычной жизни, когда Жулька не стоит

тут, не чешется на расстоянии вытянутой руки. Мелькают перед Стёпой какие-то глупые леденцы на палочках, пончики в пудре, деревянные грузовики с верёвочками—всё не то. Всё—мёртвое. Вот Жулька—живая. Ещё какая живая. И — чёрная. Уж такая чёрная, что и сравнить не с чем. Даже папины волосы какие-то не такие чёрные на фоне Жулькиной черноты. Лапы у Жульки короткие, а шерсть—длинная. Поэтому Жулька подметает собой всю округу. Уши у Жульки острые и торчком. Мама говорит, что торчащие уши—это признак породы. Что такое порода—Стёпа смутно догадывается. По нему, так он, Стёпа,—человечьей породы. А Жулька—собачьей. А ещё есть кошачья порода. Лошадиная. Ну и другие—тоже есть. А больше Стёпе и сказать нечего. Да и не говорит он. Сидит и молча на Жульку смотрит. А Жулька чешется. Стёпе ну очень хочется тоже Жульку где-нибудь почесать. Но Стёпа… не может. Поскольку мама говорит, что Жулька блохастая. Жулька заразная. Жулька приблудная. И водиться с ней мама не разрешает, потому что все блохи и все заразы любят перепрыгивать с Жульки прямо на Стёпу. А Стёпа потом болеет неделями и месяцами. Жулька хоть и заразная, но Стёпа очень уж хочет её погладить. Даже Жулькин язык его не смущает. А язык у Жульки не розовый, как положено собакам, а какой-то с жёлтыми пятнами, как у Пухова. Будто Жулька тоже махорку курит. Только у Пухова ещё какие-то красные оспины по языку рассыпаны, а у Жульки—нет. Так-то Стёпе до пуховского языка дела никакого. И знать бы он не знал, какой там язык у Пухова. Просто Пухов этим языком весь барак пугает. А Жулька никого ни махорочным языком, ни чем другим не пугает. Глаз у Жульки один. Как у… Нет. Все в бараке Стёпином с двумя глазами. Никого одноглазого больше нет. Только Жулька. Только Жулька не из барака. Сказано же: приблудная. И погладить бы её, пока никто не видит, но не может Стёпа. Потому что если погладит, то как маму увидит, так сразу расплачется и сам ей всё расскажет. А папа небольно Стёпу бьёт, но очень уж обидно. И в угол Стёпу ставят, как маленького.

— А я скажу твоей маме, что ты Жульку гладишь,—появилась не запылилась откуда-то соседская Тоня.

Тоня постарше Стёпы, и «выводком» её никто не называет. Но вообще-то Стёпа Тоне нисколько не завидует. У неё припадки случаются. Так что и завидовать нечего.

— Но ведь я…—только и успевает сказать Стёпа, а Тоня уже бежит со всех ног к Стёпиной маме, которая возвращается со смены.

Стёпа и вышел-то, чтобы маму встретить, но маму теперь Тонька первее встретит и расскажет, чего не было.

Стёпа протягивает руки к Жульке. Она улыбается, опрокидывается на спину и подставляет Стёпе живот. Живот у Жульки горячий какой-то, шершавый, твёрдый, в бугорках. Бугорки Стёпа обходит. Бережёт. Из них Жулька щенков своих кормит. Стёпа гладит Жульку по животу.

— Будь что будет,—по-стариковски говорит он и берёт Жульку на руки.

И идёт маме навстречу. И Жулька лижет, лижет Стёпины щёки, Стёпины глаза, Стёпин нос. И Тонька обрывает свою неправду, замедляет шаг и останавливается, а мама—нет.

Полынь

Никонов лежит и лежит в траве. Сухая и прошлогодняя, она бы доставала Никонову по пояс, если бы он стоял. Но Никонов не стоит нисколько, он лежит среди изросшей прошлогодней полыни, которая накрыла своими белёсыми зонтиками целый овраг. А ведь могла здесь расти и совершенно взаправдашняя свежая трава, думается Никонову. Он шарит левой рукой, насколько хватает пальцев, и выбирает самый толстый стебель. Перехватывает семь-десять, не глядя, и возвращается к тому, большему от других, который и дёргает. И вырывает. Зачем? Не знает. Просто дёргает—и всё. Лежит в безвестности и дёргает полынь. Сухая, она ещё отчаянней горчит в воздухе. Воздух не шелохнётся в своей бескрайности.

Она опирается на плечо Никонова, чтобы сесть. Забирает волосы назад, оправляет платье, застёгивает пуговицы на груди. Некрасивая, думается Никонову. Старше, думается Никонову. Люблю её, думается Никонову. Она закручивает волосы на затылке, мясистыми коленями вдавливает правую руку Никонова в изувеченную траву. Он шарит другой рукой по полному радиусу и выбирает самый толстый обречённый стебель. Это я бессознательно, думается Никонову. Вырванный корень полыни, облепленный комьями земли, напоминает ему какой-то больничный плакат, где было нарисовано сердце—такое же, соединённое с остальным человеком тонкими ниточками, которые огибали или прошивали насквозь комки людского тела. Только на больничном плакате сердце было красным и животворным, а корень полыни выглядит как чёрное высохшее сердце. Моё, думается Никонову.

Она смотрит в траву, будто собирается с мыслями; ни одной нет, но есть терпение подождать хотя бы первую. Потом наклоняется к самому никоновскому лицу, но не целует, а дышит только, словно запоминая мелкие трещинки вокруг глаз или запах, чтобы не так тосковать по ночам. Потом резко отстраняется:

— Утомилась я. И тебя утомила. И нет ничего больше, только это. А раз только это, то жизнь—одно утомленье, а радости как не было, так и нет. Стёпку ещё люблю. Но любовь матери к сыну—от природы, а бабы к мужику—роскошь. Она и утомляет.

— Да не мучайся ты,— Никонов ищет следующую жертву среди полыни.— Я вот тоже в тебя втрескался. Но не хочу, чтоб ты от своего отделалась. Потому что — всё одно — ты меня на следующего обменяешь. Так и будешь менять, пока не истощишься в прах. Хочу по-старому. По-притворному.
— Я что-то не поняла. Поняла только, что ты меня обидел, а по смыслу — мимо пролетело. Да и чёрт с тобой. Пойду без успеши,— говорит она.

И встаёт. И одно колено заголяется, потому что подол уцепился за не выкорчеванный Никоновым зонтик.
— А человек туда полетит! — кричит Никонов ей вслед с каким-то отчаянием, не поднимаясь.
— Куда? — оборачивается она.
— Наружу, в небо, к солнцу! — словно поёт Никонов.
— На земле, что ли, дел не найдётся? — не верит она, но смотрит вверх с сочувствием.
— Только сначала лягушек запустят, потом — собак, а уж после, со всей человеческой ответственностью,— и человека! — лёжа торжествует Никонов.

Она отворачивается навсегда и идёт окольным путём к и без того неблизкому бараку.

Так проходит столько времени, сколько проходит

У переводчика озноб. Его трясёт. Его знобит. Он трясётся. Так проходит столько времени, сколько проходит. Потому что время — это чередование света и темноты в природе, а переводчик сидит в каменном мешке без окон, с изнуряющей лампой под потолком. Переводчика трясёт. Он думает, что надо о чём-то подумать, но только об этом и думает, а об остальном не может — слишком ошеломляюще он превратился из переводчика в непонятно что.

Так проходит столько времени, сколько проходит. Переводчик озирается, замечает, что сидит в углу каменного мешка, на полу. Тут есть какая-то лавка с каким-то матрасом. И переводчик ложится. Не глядя ощупывает свою лежанку по бокам. Но одеяла нет, накрыться нечем. Переводчик сворачивается на правом боку: колени упираются в грудную клетку, становится будто бы легче и теплее. В голове тоже потихоньку отпускаются какие-то тиски страха. Не сразу, но постепенно восстанавливается движение ума в черепной коробке. Слова начинают разгоняться по сосудам, как волны. Они наплывают друг на друга. Переворачивают одна другую. Съедают одна другую.

«Если я выберусь отсюда, то закажу себе косоворотку первым делом. Чтобы ниточка к ниточке, по плечам и росту, с вышивкой на застёжке»… «Если я выберусь отсюда, то скажу этому сопляку первым делом, кто он есть. Взялся детей учить, а у самого — сопли текут. Языком их слизывает и глотает. Дочь бы врать не стала»… «Если я выберусь отсюда, то отпрошусь к матери в Архангельск недели на две первым делом. Она совсем одна. У неё — тоска. Тощища»… «Если я выберусь отсюда, то рвану в Минск первым делом. Если всё по-прежнему, то Митя перемахнёт меня в Литву. Не обижу Митю. А там и до Парижа доберусь. И про дочь похлопочу что-нибудь».

Первые дела теснят первые дела. Предстают переливчатым облаком, из которого в пустоту бегут дорожки слов. Переводчик шепчет одними губами: «Куплю краковской. Переведу „Марсельезу“. Сниму комнату. Сниму машинистку. Ограблю ювелирный. Куплю „Марсельезу“. Переведу машинистку. Сниму краковскую. Ограблю…»

Разноцветное конфетти заслоняет все видимые пределы, которые только что были облаком и пустотой. Он засыпает. Так проходит столько времени, сколько проходит.

Он просыпается под скрежет открывающейся брони и секунду-другую думает, что это продолжение сна, где он был кем-то вроде капитана Немо. А дверь в его каюту потому так тяжела, что это — отсек подводной лодки. Но тут он понимает.
— Вставай уже,— говорят ему.

Переводчик вскакивает. Но, ещё вскакивая, уже улавливает дуновение свободы. «Смертникам не говорят: „Вставай уже“,— их пинают до полусмерти, да и всё. Или это выдумки?» — успевает пронестись в голове переводчика.

Отойдя ровно сто шагов от заточения, переводчик останавливается, чтобы перевести дух. С порывом ветерка душа его открывается летнему солнечному дню, он вспыхивает изнутри цветом непреодолимой радости и вдруг говорит. Под нос, только себе, но отчётливо и бесповоротно:
— Ты спасла мне жизнь, Родина. Я буду служить тебе, Родина. Верно и вечно. Ни один враг не проскочит мимо моего бдительного сердца.

Переводчик стоит. Стоит. Стоит. Так проходит столько времени, сколько проходит,— часов нет ни на уличных зданиях, ни на руках переводчика, ни на его карманной цепочке.

Портянки

Никакой радости семейной жизни он не имел. Но он видел, что другие не имеют радости тоже, поэтому полагал, что таково мироустройство человека. Да нет, всякие попадались: довольные, нетерпеливые, блаженные, враждебные существованию, загнанные, умирающие от работы и тоски. А он просто жил долготой жизни и мучался от этого. Он не знал отчуждения к жене, но и чувствовал её необходимость как-то не наотмашь, а слабосильно. Он не любил пьяную гармонь и сам почти не пил. На Стёпу смотрел не с равнодушием, а с неизбывностью, как на прибавок, без которого

вполне бы обошлось, если б не заведённый кем-то и когда-то порядок. Иногда, впрочем, откуда ни возьмись, ёкало в сердце: *мой оборванец ничей больше мой подрастёт будет а что будет надо хоть на карусель мальца сводить а то застрял в бараке с рождения.*

Работу свою он делал рукасто, но бездумно, не причиняя голове разногласий. От матери помнил: жить надо легко. Матери было тяжело — и с ним, и без него теперь, если ещё не умерла. Но мать настраивала жить легко не от лёгкости жизни, а отгоняя от себя пудовые мысли. Работать без пудовых мыслей получалось, а остальное — нет.

Сегодня растолкали его засветло. Он тут же потянулся за ковшом с водой, расплескал. Встал и стоял, неотрывно наблюдая за суетой жены. Будто боялся распугать что-то такое важное, которое вот-вот выкатится из-за туч спутанных снов.

— Ты что же думаешь, что я эти твои вонючие портянки куда-то сбагрила? Да я их, если хочешь знать, постирать хотела, да ведь не нашла!

(«Да я их, если хочешь знать, постирать хотела, да ведь не нашла!» Ты меня, видно, за неотёсанного держишь? Ну, я вроде как согласен был на такое. Вижу же: маешься. Ну и дал слабину. Так это не затем, чтоб ты Никонова глазами объедала.)

— Ты чего вчера учудил напиться? Ты же не любишь. Не умеешь. Не хочешь. Что на тебя нашло? Где эти чёртовы портянки? Ты же босым на крыльцо ходил.

(«Где эти чёртовы портянки? Ты же босым на крыльцо ходил». Это ты сегодня злишься из-за водки вчерашней. А последнее время — ластишься только. Это что? Это Никонов. Это ты вину свою почуяла уже, но ещё не ухватила. Пока тебе кажется, что обойдётся. Что и Никонова оближешь, и меня не упустишь. Или вру я всё. Нет ничего. Не было. И нет. Натравил я себя. Или — есть?)

— Нашла вроде.

(«Нашла вроде». А был бы на моём месте Никонов — и не теряла бы. Может, эти перелёты последние — то с лаской, то с гневом — не только твою проснувшуюся совесть выговаривают? Может, они мне выговаривают, что… что ты меня вообще разлюбила? Как это — разлюбила? Заведено ведь: живут двое, мирятся, ссорятся, детей рожают. Это так и зовётся. А чтоб где-то там пожар какой разгорелся, что не потушить, — этого ж быть не может. Убабы не может. Мужику позволительно. Но потом — в своё стойло. К своей привязи. А у бабы — другое. Не может, чтоб ты с Никоновым. И чтоб от меня отвернулась — не может.)

— И других, как назло, нет. Ты же ноги до костей спилишь в кирзачах своих, если эти деревянные портянки намотаешь.

(«Ты же ноги до костей спилишь…» Или правду я почуял про тебя с Никоновым? Если задуматься — всё правда. И смотришь ты на него не потому, что разлюбила меня. А потому что никогда меня не любила. Потому что терпела. Потому что я сам тебя терпел. А надо было — любить. Потому что нет у меня никого, кроме. Нет.)

— Привет Рагону твоему, — сказала она отходчиво.

Их глаза пересеклись и застыли друг на друге. Он смотрел с почти улетученным безверием, несвинцово. А она — с усмешкой, будто бы наконец-то собрала непослушного первоклашку на занятия. Она подошла ближе. Ещё. Положила руки ему на плечи. Обняла. Прислонилась волосами к его подбородку. И — неожиданно для него — принялась целовать в губы. Долго и безотрывно. Он опомнился, попытался отступиться и — крепко её прижал.

Помадалак

Эльза говорит: Не, ну ты только посмотри! Я же денег на эти безделицы выше крыши потратила! Это ж не для каждого кошелька. А мы, между прочим, не буржуи. Мы, кажется, писатели. И где? И где это подевалось? Губная помада — раз, лак для ногтей — два. Раз-два. Я точно помню: и то, и другое положила в сумочку. И где? Два пр…

Эльза говорит: Я знаю, что тебя смущает. Тебя трибуна смущает. Не то совсем, что люди голые, люди голодные, а — трибуна. Люди тут — на загляденье. Они другую жизнь строят. Они верят. И ты через эту их веру тоже начинаешь верить. Верить ты не начинаешь, но какую-то заразу подхватываешь. Или всё же — начинаешь верить. Будто тебе прививку с их вирусом ставят. У них глаза горят. У них мускулы играют. С них пот на семь раз сходит. Они всё преодолеют. Но вот трибуна эта… Она с толку сбивает. Она на какой-то потаённый смысл кивает. Или — на явный. Там люди с тележками. С грабарками. Они строители коммунизма. А наверху, на трибуне, — созерцатели строительства. Но только они не просто постоят и уйдут. Они тут главные. Главные за чужой счёт. Фараонство какое-то. И нюхачи повсюду, носатые и чёр…

Эльза говорит: Идея-то простая, как три копейки. Это в России так принято выражаться: как три копейки. А додуматься раньше никто не мог. Лак отдельно — пожалуйста. Помада отдельно — будьте-извольте. А чтоб вместе — только в этом году запустили. И стоит это недёшево. А лишних денег у нас нет. И где? Ау, помада. Ау, лак. Я и не собиралась Урал красным лаком покорять. Мне

это не знаю для чего, но именно сейчас надо. Куда всё подевалось? Ума не приложу. Я бы с…

(Ногти у Эльзы—так себе, без холёности и плавности, жидкие. Да ещё в заусенцах. Губы—ничего особенного: такие помадой не испортишь, но и не спасёшь. А голова—слабая. Не вообще, а сегодня только. Вот когда в Париже мокрый снег висит—внутри такая же немощь заводится. А в Челябинске нет никакого Парижа, нет никакого снега. Одна жара. Индустриальный воздух в голову, получается, проник, как мокрый парижский снег. И сушит, что ли, изнутри. И гнетёт.)

Эльза говорит: Это *твоё душевное* я и без тебя поняла. Ты сам замешкался: завидовать им или сочувствовать. Только ты много на себя не бери. Прозрений с тебя никто не спрашивает. Мне кажется, что это грандиозно. И никакой не тупик. Это—виток. В конце концов, заводы сами собой не строятся. Их строить надо. Ты ведь стихи пишешь? Ну так пиши. Стихи—это не политика никакая. Стихи—это любовь. Стихи, конечно, и политикой могут стать, если ими манипулировать. Да кому я это говорю?! Ты же карандаш приравнял к штыку! Это и есть манипуляция. Но ведь ты же не манипулятор. Или манипулятор? Если правда горькая, то не только осадок остаётся, но и надежда—тоже. Или я сочиняю? Я же зд…

Эльза говорит: Я ведь специально для этой поездки помаду выбрала. Кровавая такая, чуточку вишнёвая. Ну и лак такой же. Не видал? Чуточку тако…

Эльза говорит: Если лозунги, к примеру, зарифмовать, то они лозунгами и останутся. Стихами от них и не запахнет. К лозунгам надежду не пришьёшь. А у них здесь—надежда. У них надежда остервенелая какая-то. Они замучены и коммунизмом своим, и надеждой. Они её выплюнуть хотят. Ни черта у них не выйдет! Сама не знаю, что и думать. Не может подневольный человек бы…

Эльза говорит: Может, эти гостиничные уборщицы украли? У них такого отродясь не видали. *И ещё никогда не увидят*. У них тут ко…

Эльза говорит: Знаешь, чудачество это. Но мне порой кажется, что на тебя и впрямь вся Европа смотрит. Вот что ты сейчас о Советах скажешь—так там и примут. Поэтому ты сначала Элюара отбрось и остальных. Не их собачье дело. Не думай, как там Элюар твою поездку оценит. Пусть он смеётся. Пусть желчью исходит. Брызжет пусть ядом. И ост…

Арагон говорит: Ты совсем голая. Надо же, ты голая совсем-совсем. Я только что увидел: ты совсем голая.

(Эльза останавливается. Изображает фигуру «руки-в-боки» и делано обижается: Стало быть, ты и не слушал меня? Я тебе тут всё про всё, а ты меня не слышал? Эльза отворачивается, подходит к комоду и в несчитанный раз открывает верхний ящик.)

Эльза говорит: Ну было же! Помада. Лак. Помада. Лак. Помада-лак. Помада-лак. Помадалак. Помадалакпомадалакпомадалак. Ни того. Ни другого.

Дай мне блокнот, говорит Арагон. (Он лежит, едва накрытый простынёй. Волосатый вокруг сосков, под мышками и на рёбрах; пыльное солнце пробивается сквозь марлевые (или нет?) занавески, рассеивается, дробится на тонкие лучи—охватом с карандаш.)

И карандаш дай, говорит Арагон. Он распутывает тупым концом карандаша вихры на своей груди, чешет тупым концом карандаша над ухом, приставляет тупой конец карандаша к листку блокнота, начинает писать, чертыхается негромко, переворачивает карандаш, пишет: «*Пасхи*»[5]…

Стихи из будущего

— Где топорщатся карандаши точно волосы вставшие дыбом[6].
— И где топорщатся?
— Откуда мне знать?
— Запиши эти слова. Могут пригодиться.
— Нечем. Я тоже потерял. Последний карандаш потерял.
— У них тут всё растворяется в этих апартаментах. Без следа.
— Не мелочись, Эльза. Мы живём на четвёртом этаже. Мы нюхаем небо Урала. Выше нас—никого. Этот дом так и зовут—небоскрёб[7],—сказал Арагон.
— Лучше бы ты разнюхал, где мои помада и лак,—не очень-то обрадовалась Эльза.

В дверь не постучали, а как бы проверили: закрыта ли? Но дверь, окрепшая на два оборота ключа, не поддалась. Тогда раздался стук.
— Товарищ Луи,—сказали из коридора,—пора.

Эльза повернулась к Арагону. Он пожал плечами. А она подошла к двери и притронулась. Потом дёрнула на себя обеспокоенными руками: если навалятся валом, то сколько можно продержаться? Арагон смотрел на жену с малым пониманием: мол, чего ты?
— Умнеть пора, Луи,—сказала шёпотом Эльза.— Отдай мне листок с «Пасхи»,—и громко повторила вовне:—Нам надо пять минут.
— Не отдам. Я его читать буду у них на кружкé. Я тебе что—одноклеточное? Я что—не понимаю, что ли? Это вообще о Франции. Я предвещаю

5. См. приложение (с. 164).
6. Из стихотворения «День, когда я тебя потерял», книга «Комнаты» (1969). Перевод Мориса Ваксмахера. Соблюдена пунктуация первоисточника.
7. Единственный на тот момент четырёхэтажный дом Челябинска сохранился и по сей день. Он стоит на пересечении улиц Кирова и Коммуны.

закат капитализма, понятно? Пасхи — это символ старого мира.

— Ну-ну. Только они тоже не одноклеточные.

— Ты не поняла. Я действительно так думаю. Так и написал.

— Правильно. Это я — одноклеточное, — сказала Эльза по-свойски, в два счёта оказалась у двери и, нисколько не ковыряясь в замке, распахнула.

Вошли двое неизвестных, а с ними — спёртый запах, как показалось, вощёного коридора.

— Такая вот у нас передвижка, — сказал первый. — Я ваш новый сопровождающий. А это — переводчик.

Переводчик, в противоположность вчерашнему, был совсем юным, а чекиста будто и не заменили: те же скулы, та же усталость под глазами. Только он был вдвое короче прежнего.

— Я больна головой, — сказала Эльза переводчику.

Он сделал шаг назад, отвергая поползновения больной головы. А Эльза повернулась к чекисту и продолжила:

— Поэтому останусь здесь.

— Это как-то не по расписанию, — сочувственно сказал чекист. — У нас инструкции, а?

— Да плевать мне на ваши инструкции! У меня — ни помады, ни лака. У меня — голова не на месте. Она меня всю ночь томила! — повысила голос Эльза.

Теперь она смотрела исключительно на Арагона, улавливавшего восклицательные знаки и не понимавшего ни слова.

Вышли без Эльзы.

Наружность улицы ослепила Арагона. Он так и не понял, с какой стороны нависает солнце, поскольку оно блестело в каждом промежутке атмосферы. Шли люди. Не торопясь и не прогуливаясь, а просто так — созерцательно, будто под уклон, хотя улица была совершенно параллельна земле. Туловища людей дышали крошками жаркой пыли. Где-то неподалёку забивали сваи, отчего воздух казался более раскалённым, чем был. Шофёр, франтовато одетый в кожаную фуражку, не сказав ни слова приветствия, поправил свои усы и кивнул Арагону на его сиденье.

— Не вынес он чужой лазури, чужих небес в своих глазах, — сощурился Арагон кверху.

— Стихи? — спросил переводчик, то ли зевая, то ли глотая крошки жаркой пыли.

— Будущие, наверное, — улыбнулся Арагон[8].

— Я должен быть в курсе всего, — сопровождающий посмотрел на переводчика и уселся на переднее сиденье.

— Жарко ему, — вздохнул переводчик.

На разгоне автомобиль выпустил три или четыре облака гари, которые так и повисли над брусчаткой одно за другим.

— Кинотеатр «мюд», — отчасти объяснял переводчик начальные дорожные события. — А вот, сбоку Народного дома, мемориал погибшим лётчикам. Герои наши тут покоятся[9].

Автомобиль повернул на улицу Спартака.

— Я будто надуваюсь с каждым ударом кувалды, — обернулся Арагон на шумное строительство полукруглого здания.

— Стихи? — спросил переводчик.

— Вряд ли.

Ехали дальше. Вдоль улицы стояли крепкие, в основном одноэтажные дома, некоторые из них были каменными. Или — двухэтажными, разделёнными на две части: каменную нижнюю и деревянную надстроенную. Вскоре по правую сторону дороги в изнеможении зноя появился католический храм[10]. Арагон вглядывался и, кажется, не верил.

— Костёл? — он попросил притормозить.

— Нельзя застаиваться. Опоздаем, — сдержанно сказал сопровождающий и добавил: — Рабоче-крестьянская власть не бездействует. Массы от нашенской-то веры истощились, а тут — чужестранная. Так что костёл остаточную жизнь живёт. Разберут скоро и построят из кирпичиков что-то исконное. Переведи товарищу Луи, что рассыплем теремок за ненадобностью.

Арагон хотел было сказать, что не видел в городе ни одного православного храма, и осведомиться, не извели ли их за несоответствие, но почувствовал какую-то безнадёжность разговора и остудил мысли. Возле костёла стояли то ли богомольцы, то ли просто скучающие скудные граждане, одинаково далёкие от коммунистических митингов и церковных служб.

— …оказался тронувшимся. Говорил, на что-то можно надеяться, только очистившись. Батюшку, говорил, на котлован надо позвать. Чтоб, говорил, строительную площадку освятить. А то, говорил, ни одного трактора не народится, — рассказывал тем временем какую-то историю сопровождающий.

— Свихнулся у них тут один первостроитель, — перевёл переводчик.

«И правильно, — вернул себе внутренний голос Арагон, — эти поколения ещё на шпили и купола заглядываются. Может, отсюда и заторы возникают. Следующие — уже церквей не увидят, о Боге

8. Эта строчка появится в поэме «Поэты» из одноимённой книги (1960). В контексте строчка посвящена испанскому поэту Антонио Мачадо (1875–1939). Перевод Мориса Ваксмахера.

9. Некоторые топографо-топонимические детали центра Челябинска — площади Революции и её окрестностей — того времени. «мюд» — Международный юношеский день.

10. Храм Непорочного Зачатия Девы Марии построен в 1911–1914 годах, разрушен в 30-е. Прихожане — ссыльные поляки, обрусевшие немцы, всего около 80 семей.

забудут. Надобность в Боге есть, когда ты не в силах с жизнью совладать, а когда хозяйничаешь в ней…»
— Вот,—прервал размышления сопровождающий, панибратски хлопнув Арагона по плечу.—Пустырь проехали. А это—дома инорса[11]. Хороши, правда? Сейчас на месте будем.
— Не драгоценная земля. Обыкновенная земля[12],— сказал Арагон.
— Похоже на стихи,—сказал переводчик.
— Так и есть, наверное,—сказал Арагон.
— Я должен быть в курсе всего, предупреждал же,—сказал чекист.

Литкружок

— Так он же всё равно ни хрена не разберёт!
— Костя, ты тут вола не насилуй. Ему и не надо тебя понимать. Ему тебя чувствовать надо.
— Чувствуют скалку в заднице. А это—стихи. Их понимать желательно. Чтоб за мыслью авторской следить и на себя примерять. Ну, увидит он: задорно, задиристо, складно. И что?
— А то, что он мировая величина.
— Да и хорошо, что он не поймёт ни хрена. У нас же тут—завод и революция. А вокруг завода и революции—пустота.
— Ты в своём уме, Костя? Не надо сейчас об этом. Если хочешь знать, меня и в партком вызывали, и в комитет комсомола. Сказали: чтобы пристойно всё.
— А чего молчал?
— Так я по-людски хотел. Чтобы от сердца, а не по принуждению.
— Так мы и не по принуждению.
— А кто про скалку в заднице говорил?
— Ну, ты и говорил.
— Я говорил?
— Ты.
— Неееет.
— Не нет, а саврас, да и тот без глаз. Не ты?
— Не я.
— А кто тогда?
— Ты.
— Серёжа, про скалку в заднице только ты и мог сказать.
— Я?
— Ты.
— В смысле?
— В каком?
— Костя, ты стукнулся на всю катушку, да?
— Да ничего я не стукнулся. Я вот у Арагона спросить хочу: а он, помимо революции, видит что-то ещё? Ну, достойное его вдохновения?
— Опять ты за своё? Не время, говорю же![13]
— Журавелиха, а как насчёт баранок? Великого французского поэта чаем поить будем?
— Что ж я за беспелюха такая?! Мне же сахару колотого отвесили под вашего Рагона! А он запропастился куда-то!
— Арагон запропастился?
— Да нет же, сахар!
— Ищи, Журавелиха. Ищи, голубушка.
— Да вот же он!
— Сахар какой-то… задыхающийся. С плесенью, что ли?
— Много ты сахара видал, чтоб так говорить?
— Да сахар и опомниться не успеет, как в глотках ваших растворится и пропадёт.
— А что, Журавелиха, вот спросит великий француз: а почему ты Журавелиха? И что скажешь ему?
— Задаром и расскажу.
— А что?
— А что отец у меня в Чудинове живёт, что обузой Бога себя кличет. А чтоб не нахлебничать, всё головой думает, всё жизнь совершенствует и удовлетворяется этим. Крылья вот для человека сообразил. Чтоб не ходить бесконечно, а отлаженно летать по воздуху. Как журавль.
— В сотый раз слышу, а интересно. Живёт мужик на земле. Сеет. Пашет. Дюжит. Ему опомниться, кажется, некогда. А — не пришибло его. Летать хочет. Тесно ему—в теле и в доме.
— Что ты встреваешь со своей организованной философией? Дай досказать Журавелихе.
— А я вроде всё и сказала. Крылья он сладил— длиннющие, тяжёлые. Взлететь—не взлетишь, а смех по всей деревне прокрался. И вот я стала Журавелихой на веки вечные.
— Костя, едут.
— По местам, товарищи. Читать только то, что оговорено. Спрашивать только то, что известно.
— Красивый,—сказала Журавелиха в окно, думая, что чекист и есть Арагон.

Гость и сопровождающие лица в это время выходили из авто.

В перерыве заседания все высыпали из ветхой каптёрки, которая была по началу строительства библиотекой, а теперь полностью отошла литкружковцам. Дышалось снаружи ещё тяжелее, чем внутри.
— Он сбежать из-под нашей опеки хочет,—курил на жарком воздухе переводчик.

11. Дома иностранных рабочих и специалистов (инорса). Квартал жилых зданий у нынешней Комсомольской площади сохранился и сейчас.
12. Строчка из стихотворения «Притча», книга «Эльза» (1959). Перевод Маргариты Алигер.
13. Скорее всего, это разговор двух самых видных литераторов ЧТЗ того времени—Константина Реута и Сергея Черепанова. Но, может, и нет. На всякий случай: Сергей Черепанов (1908–1993)—публицист и прозаик, один из создателей многотиражной газеты «Наш трактор», организатор и руководитель литкружка ЧТЗ (1930). Константин Реут (1911–1942)—поэт, участник Великой Отечественной войны, один из основателей литкружка ЧТЗ. Погиб на фронте.

— Вот контра. Ему горячую воду в номер определили, у него личный клозет и жена под боком, а ему простую русскую похлёбку подавай,— курил чекист.
— Сырой табак-то,— курил переводчик.— От ляжки моей потной отсырел или как?
— Отпустим его. Пусть наслаждается свободой. Там есть кому за французом понаблюдать,— курил чекист.

Барак

Половицы бесхозяйственно скрипели. Француз шёл в двух шагах от Журавелихи, по её следам. Хлипкое электричество моргало. Стены вспыхивали и гасли, гасли и вспыхивали. Скрип досок и непостоянство ламп придавали движению двух фигур очертания заговора. Так и было. Журавелиха — непреложно — решила выклянчить у француза ребёнка. А француз не знал о будущем ущербе и безотвязно следовал за женщиной. Плёлся. Собственная голова казалась ему малознакомой, а коридор — напротив, родным. Журавелиха протянула руку назад и сразу же поймала своей ладонью ладонь Арагона. Стало быть, он тоже искал её в этом движении.

Арагон:
В её комнате, по центру, громоздилась труба. Начинались сумерки, и золото музыкального инструмента стихло, но влекло. Я взялся за горловину, подёргал кнопки, заглянул в широченное дуло. Журавелиха стояла напротив, спиной к окну, и ощупывала себя стесняющимися и нервными пальцами. Я слабел, глядя то на женщину, то на инструмент, и уже совсем не помнил, зачем согласился на путешествие по бараку.

Сначала Журавелиха сняла кофту, но не открылась, а заслонила грудь, как двухголовую сироту, рукой. Села на топчан, стала гладить подушку и приговаривать усыпляюще, незнакомо, но — по колеблющейся природе шёпота и дыхания — очевидно: «Ты-ляжь-ляжь-вот-здесь».

Я отстранил Журавелихину руку от груди, полюбовался без соображения и впился в её губы. На этом всё и оборвалось: в коридоре загромыхал какой-то инвентарь, будто у терпеливого тайного наблюдателя затекли ноги и, разгоняя в них кровь, он зацепил табурет или корыто. Я мигом выскочил из комнаты. Коридор был пуст, только плешивая кошка принюхивалась к ускользнувшим звукам. Обратно к Журавелихе я не вернулся.

Журавелиха:
Сначала Рагон обошёл вкруговую стол, на котором Евневич держит свою трубу. Только на ужин и перекладывает её на пол. Да ещё и извиняется: «Ты ненадолго тут, в нижнем мире, поживёшь, ты чуть-чуть. Я сейчас дровишек в топку подкину, насытюсь по-быстрому». Рагон обошёл трубу, обернулся на окно, проверил словно, нет ли лишнего кого с той стороны, и схватился за нижний край моей кофты — сорганизовано, без единого вредного телодвижения.

И вот я уже голая наполовину стояла перед ним, и вот он уже осыпал мою грудь целованием. И вот уже юбка слетела вниз, Рагон вдавил меня в стену, врезался в меня, а на третьем толчке укусил в губу и залил изнутри. Я не успела ни испугаться, ни испытать боль или чувство. На этом — всё. Рагон бессловесно заправился и вышел за дверь, будто и не бывало. И если б не грохот в коридоре (споткнулся о бидон многолитровый, никоновское имущество), я бы думала, наверное: а был он здесь или привиделся? Но грохот-то меня и отрезвил: был тут Рагон, поэт чужестранный, всем телом был во мне.

Без вести

Никонов захмелел. И земля поплыла у него из-под ног, а небо — из-под головы. Он думал пройти шагов сто и постоять в одиночестве. Остановился стоять, но земля всё ускользала, поэтому Никонову, чтобы не двигаться с места и не потерять из виду барак, приходилось перетаптываться. Как-то в детстве, в Харькове ещё, он смотрел на уличных циркачей. И один из них — так же как и Никонов сейчас — крутил под своими ногами большой шар. Шар крутился по площади, а циркач так и держался сверху и не соскальзывал нисколько.

Никонов, перебирая ногами, прислушался к себе. Он делал так только в хмельном угаре, потому что по трезвости хватало и остальных дум: о будущем других людей и всего человечества, а о себе — не получалось. Сейчас же Никонов прислушался к себе и сначала обнаружил рвотный позыв. Никонов вывернул наизнанку и водку, и закуску. Распрямился, вытер мокрый рот пиджаком и посмотрел в сторону других галактик, а потом и на землю.
— Что вы тут мне: без вести? Никакой я не без вести. Я при деревне Суходольное, с двумя другими, в общей могиле,— стал негромко спорить Никонов с окружавшей его темнотой.

Тут он опомнился, что давно не переставляет ногами землю, и она унесла его куда-то далеко. Возможно, дальше деревни Суходольной или даже самого Харькова. Никаких других мест, где бы он мог оказаться, в голову Никонова не шло.

— Где ты шлялся, чумной? — спросили Никонова.— Мы уж искать собирались, чтоб тебя черти побрали. Ты же и трезвый-то — сумасброд, а тут — пьяный.
— Земля меня унесла,— ответил Никонов, уже с пустым от водки желудком, но ещё не протрезвевший, а потому — смурной на всю физиономию. Он стал обходить разорённый стол, но нигде не

видел Рагона, а видел только хлебные крошки и пустые стаканы. А ещё в остывающем густом воздухе летали и летали капустницы. «Бабочки, а не спят»,—зачем-то заметил Никонов, подошёл к скучающему Евневичу и сказал… Евневич не дал Никонову сказать и спросил первым:

— Ты Журавелиху не видел? Она со мной сегодня как-то бесхозяйственно обходится. Или щербина какая между нами пролегла? Не заметил, нет, это, Никон, щербины между нами не замечал?

— Не замечал,—ответил Никонов. Отвернулся, чтоб уйти, и вдруг упал на колени перед Евневичем и заговорил с дрожью:—Не без вести я, Евнюша, не без вести. Не верьте похоронке этой. Ах, чтоб ты. Похоронка-то не тебе придёт. Но ты всё равно скажи ей: я у Суходольного, с двумя другими, и медальон при мне. Пусть она теребит кого-нибудь. Никакой я не без вести. Я на поле боя. Я Родину спасал.

Яблоки Евневича закрутились, как шары под ногами циркачей,—закатывались под нижние веки, выкатывались из-под верхних. Евневич, будто молния, искрил в темноте:

— Ты чего, Никаноша? Вставай, Никаноша. Пойдём, я спать тебя отведу. Непонятно ты толкуешь. Похоронка. Медальон. Выспись, Никаноша, оно и кончится. Марево это твоё.

Из барака путаной походкой вышел Арагон. Он будто бы заново открывал землю после двухсотлетнего отсутствия. Озирался. Мёрз. Дёргался то в одну, то в другую сторону. Зачем-то выворачивал карманы, что-то наговаривал себе под нос и опять порывался пойти то туда, то сюда, но так и не решался.

— Рагоша, Христом Богом тебя прошу,—повалился ему в ноги Никонов,—не без вести я. Не без вести. Это ж как такое: не узнанный, не отпетый? Я же маяться буду всю жизнь небесную. Всю свою небесную жизнь под землёй в Суходольном.

Арагон уже тоже стоял на коленях перед Никоновым и признавался на своём заморском говоре:

— Да чёрт её знает! Задевала куда-то, а теперь сама не своя. Помаду посеяла. Тут коммунизм, а она помаду разыскивает. Я её и без помады люблю! И тебя—тоже!

Арагон крепко уцепил Никонова за плечи и потянул к себе. Никонов плашмя, безвольно повалился на Арагона, как выкорчеванное деревце. Он уткнулся в белую рубашку француза и, не жалея слёз, обиженно всхлипывая, как в детстве, повторял с голосовыми перехватами:

— Не без вести я, Рагоша, не без вести…

— У меня водка вон есть,—подошёл к ним Евневич.

Сел на землю. Откупорил бутылку. Хватил прямо из горла, пополоскал немного и проглотил.

— Слышь,—Евневич отвесил Никонову шутливую оплеуху,—не боись! Я запомнил. Ты не без вести. Ты с двумя другими у Суходольного. И найти тебя можно по медальону. Только вот, Никаноша, это ты о чём? Кто такая «она»? У тебя ж вроде нет никого. Какая такая «она» должна носом землю рыть в твоёй Суходольной? И почему ты будешь убит? Война, что ли, Никаноша? А я—погибну?

— Не скажу.

Никонов выплакал свой слёзный мешок в рубашку Арагона и сидел теперь на поджатых коленях—прямой и даже наполовину красивый.

— Не знаю,—сказал вслед Никонов и сделал большой глоток из бутылки Евневича.

Обычно и сейчас

Евневич обнаружил себя на правом боку (обычно обнаруживал на левом). На полу (обычно—на топчане). Ноги затекли (обычно сводило шею). Но самое невероятное: Евневич не помнил, как уснул, не знал, который час, не видел в досягаемости глаз ни Журавелихи, ни трубы. Не бывало ещё в жизни Евневича такого утра, пусть и похмельного, чтоб он не помнил дороги от стола к постели и самых последних мыслей перед засыпанием. А сейчас—не помнил. Не бывало ещё в жизни Евневича такого утра, чтобы по одним трещинам на барачном потолке, колыханию занавесок или Жулькиному лаю он не мог определить время на уральском меридиане с точностью, надо сказать, до пяти (от силы—семи) минут. А сейчас—не мог. Не бывало ещё в жизни Евневича такого утра, чтобы в досягаемость глаз не попадала его труба. А сейчас—не попадала. К трубе надо бы приплюсовать и Журавелиху. Но всё же—не надо. Бывали в жизни Евневича такие утра, когда он просыпался и без неё. Дело тут не в бесконечных детских годах, в которые Евневичу приходилось делить общую, набитую соломой, подстилку с пятью братьями и сёстрами, и не в годах скитаний, когда он и спать-то, кажется, перестал, а в совсем недалёком прошлом, поскольку Евневич и Журавелиха объединили свой нехитрый быт только два месяца назад. Евневич точно знал свой возраст: двадцать девять лет. А насчёт Журавелихиного—догадывался по её гладкому лицу, тяжёлым плечам и маленьким редким седым волоскам в бровях. Тридцать с хвостиком, думал Евневич. Не случалось такого за все два месяца совместного топчана, чтобы, проснувшись, он не видел первым делом затылок Журавелихи, а вторым, приподнявшись на локте,—своё латунное (или из чего она?) сокровище. А сейчас—не видел ни ту, ни другую.

Евневич, хоть и было уже вполне светло, чуть ли не на ощупь вышел из комнаты, потом—из барака. Журавелиха сидела на естественном берёзовом пне, держа в ногах Жульку и трубу. Сердце Евневича дёрнулось ещё глубже в тело и застучало где-то со стороны лопаток.

— Ласточку мою в пыль закопала,— сначала сказал он, а уж следом обратил внимание: Журавелиху как есть содрогало и трясло от плача и неистребимого горя.
— Растоптать её хотела,— с перерывами, утирая слёзы, выговорила она.— Не люблю я тебя. Я Рагона люблю. Я беременная от него. Я мальчика жду. Я имя для мальчика припасла— назову его Луи. Не хочу я с тобой. Не надо мне. Уходи-и-и.
— Так Рагон вчера только был,— почти растерялся Евневич.— Откуда про мальчика-то?
— Баба, она свой организм чувствовать привыкла. Знаю— и всё,— всхлипывала Журавелиха.

Обычно огорчительные слова, от кого бы они ни исходили и чего бы они ни касались, делали Евневича вялым и малоподвижным. Обида, вполне ожидаемая или, наоборот, разъедающе-несправедливая, консервировала его мыслительные, деятельные и даже физиологические процессы. Евневич как бы впадал в недолговечную спячку и ждал одному ему известных признаков потепления внутри природы, чтобы очнуться. Но сегодня случилось другое. Он, как выяснилось теперь или ещё раньше, так отчаянно любил Журавелиху, что не только не подумал отвернуться от неё на время или даже бросить её на произвол одиночества, но и стал утешать. Слова сами находили себя и произносились легко, с простой сердечной интонацией:
— Не рыдай, Журавелиха. Француз без Франции своей забыстро бы окочурился. Злым бы стал. Жизни бы тебе не дал. Зачем тебе француз, если с тобой Евневич? И мальчик твой общим нашим станет. Моим. Вот увидишь. Только я бы его русским именем назвал. От Луи буржуйством каким-то несёт, хоть Рагон и отъявленный коммунист. Вот Ярослав— это и по-русски, и по-людски как-то.
— Правда?— опомнилась Журавелиха, утёрла щёки и даже осмотрелась по сторонам. Будто плутала, плутала в чёрном лабиринте горечи, а Евневич единовременно показал ей путь к свету— примитивный, но правильный.— Дура-а-а я-а-а-а,— зарыдала Журавелиха на плече Евневича.

Слёзы были сладко-солёными, а не горькими на вкус, крупными, и расстройство Журавелихи по Арагону превратилось— через светлую грусть упущения— в паточную нежность к Евневичу, долговечную и любвеобильную, как предполагалось.
— Дура-а-а я-а-а-а,— не утихомиривалась Журавелиха в объятиях Евневича.— Всем дура-а-ам дура-а-а.

Евневич гладил её по волосам, а Жулька с высоты своего роста поскуливала жалостливо, то есть говорила по-собачьи: я с тобой, Журавелиха. Мы— сёстры по бестолочной женской доле. По заблудившимся поступкам и признаниям. По напридуманной и обретённой любви.

И тут— ни с того ни с сего— Журавелиха распахнула руки, так что платок свалился с плеч, притопнула босыми ногами пару раз по утренней земле и запела:

> Заиграл полубаян, я думала— милёночек.
> Алёша Мишин обосрался у зелёных ёлочек[14].

Обычно по утрам она хмурилась и выговаривала жизни за её порочность и не остывала от этой тягости до самого вечера, но сейчас вот— запела.

В Самарканд

Сейчас он скажет: «А вода-то есть в рукомойнике? Умываться буду!»

Но отец Стёпы и не думает так говорить. Он собирает мешок. На дне лежат уже рубаха, кальсоны, опасная бритва. Отец Стёпы (он и есть Алёша Мишин из Журавелихиной частушки) смотрит на все четыре стороны и не может определить: то ли его личное хозяйство не содержит больше никаких вещей, то ли предметы не доверяют ему, не хотят с ним, попрятались по закуткам комнаты.

Никто не спит. Стёпа улавливает тревожный накал воздуха, что-то не складывается ни в этом утре, ни в Стёпиной голове. Всё же мальчик ждёт обычного вопроса: *а где мои портянки?*— хотя и ответа никому не требуется: с незапамятных времён все знают постиранное местонахождение портянок— верёвка по диагонали комнаты.

Никакого *а где мои портянки?* не происходит. Отец, босой и взлохмаченный, грозовой даже, нарезает круги по комнате и ищет, но, кажется, сам уже не знает— что.
— А как же мы?— спрашивает мама Стёпы без порчи голоса.

Она не плачет, не стенает. Стоит в длинной фланели у дверного косяка и теребит кончик локона на правом плече.
— Ты и Никонов? У вас будет малина, а не жизнь— без меня-то,— говорит отец Стёпы, открывает сундук и пытается что-то опознать руками, не глядя внутрь.
— Я и Стёпа,— говорит мама, теребя кончик локона.

Отец останавливает всякое движение, его рука так и застряла в сундуке. Он шамкает губами несколько быстротечных секунд, будто проверяя рождённые во рту слова на прочность и вкус, и наконец произносит:
— Я уезжаю в Самарканд! В Са-мар-канд! Траншеи рыть. Каналы для о-ро-ше-ни-я! Я не умею притворяться!

14. Эту частушку (краснея) спела мне мама (только я фамилию заменил). Мама помнит эти слова с тех самых тридцатых годов, со своего детства, проведённого в деревне Целищево Кировской области. В данном случае я не вижу принципиальной разницы между Вяткой и Уралом.

Стёпе кажется: *Самарканд* и *о-ро-ше-ни-е* гораздо лучше их комнаты. Он пугается не на шутку, что комната разгадает эти его мысли и отомстит. А ещё Стёпа почти понимает: он обречён на вечное расставание с живым отцом. Отец распрямляется, но не делает ни шага в сторону Стёпы и не смотрит на него, а говорит:

— Там яблоки прямо на улицах растут. Я тебе, выводок, яблок пришлю.

Его подбородок начинает дёргаться отдельно от остального лица. Стёпа видит, что отец вот-вот расплачется, но плачет первым, и закрывает глаза, и не видит больше ничего, и не слышит. И сворачивается калачиком. И замирает от горя.

Воспоминания крутятся кругами да около Стёпы, как первомайская демонстрация. Тогда отец носил Стёпу на плечах, пока не поставил на землю, а там только и отвлёкся, что на секунду, задымить не терпелось, а Стёпу уже отсекли от отца танцующие и поющие, красные и широкие люди. Стёпа стоял в растерянности только одну малость времени. А потом распознал дорогу домой по памяти — тем самым маршрутом, что и попал в точку потери отца. Так и дошёл по своим ориентирам: тут — покосившийся столб, там — оранжевая вывеска, тут — свежее каменное строение, там — скворечник в кроне тополя. «Папа потерялся», — сказал Стёпа маме. А та почему-то давай Стёпу тискать и приговаривать: «Надо же, потерялся. Папа-то, надо же, потерялся». И слёзы у мамы были. Тогда Стёпа думал, что потерял отца насовсем, что тот заблудился в городе и пропадёт теперь. Стёпа горько думал, что он виновен в этой пропаже, и извёл себя до того, что температурил три дня. А отец по темноте только пришёл. Измотался весь, а домой не решался, потому как думал невесть что. Мама его на дальних подступах поджидала. «Да дома Стёпа, дома», — только и сказала тогда растерянному, задушенному отцу. И тоже обняла. И тоже — плакала.

Стёпино воспоминание возвращается в комнату, к сегодняшнему утру, к сегодняшнему отцу с его самаркандским мешком. И опять думает Стёпа, что он всему виной, что надоел он отцу, и не надо было спрашивать-почти-спорить, что он, мол, не выводок, а человек, что…

Пока Стёпа лежал калачиком, комната замолкла. Взрослые исчезли. И тут Стёпа решает, что нет никакого вечного расставания с живым отцом, а есть — временное, как тогда — Первого мая. Он сам, никого не спросясь, поедет в Самарканд, но не сейчас, а когда мама уйдёт на завод. В Самарканде он встретит отца и скажет, что не хотел ему никогда мешать, а всегда хотел любить, но как любят своих отцов — не знал. От такой дерзкой мысли Стёпа начинает зябнуть и бояться, поскольку не уследил, вслух он сказал про Самарканд или внутри себя. Да и внутри себя — опасно. Комната давно следит за Стёпой, часто разгадывает его ходы наперёд. Так было, например, с деревянной курицей на подставке, которая умела махать крыльями и открывать клюв от ниток, удерживаемых Стёпиными пальцами. Когда Стёпа надумал отдать надоевшую курицу соседской Тоне, то ничего не получилось. Пропала курица — как не бывало её. А всё потому, что «у комнаты есть уши» — так отец говорил. Вот и тогда, думал Стёпа, комната замуровала курицу подальше в себя, лишь бы никакая Тоня не вздумала сломать ей лапу или ещё чего.

Комната по-прежнему пустынна, а вдобавок, чувствует Стёпа, совсем безжизненна. Значит, Стёпу никто не подслушивал. Значит, надо придумать свой мешок и найти свои нужные вещи. Значит, надо не забыть пока этих сладких слов: *Самарканд* и *о-ро-ше-ни-е*. Значит, надо беречь силы и ещё немножко поспать.

Два или три

Утром барак облетела весть: Никонова зарезал трамвай. Люди вздыхали, верили или нет, искали источник траурного сообщения, но он оставался обезличенным. От этой таинственности веяло правдой. Ниоткуда появились подробности: хвост трамвая сбил зазевавшегося Никонова, затянул его под пузо вагона и — разрезал. Люди мешкали уходить на работу без просвещения: как можно найти трамвай среди глубокой ночи и умудриться быть им разрезанным? «Он же от десяти собак отлается, а тут — с трамваем не сдюжил». Некоторые — Пухов, например, — переживали всерьёз. Других интриговала сама драматургия любовного треугольника и открытый финал житейской пьесы.

Большинство из барачных людей видели трамвай — это чудо индустриального века — издали или вблизи, но пока не решались на поездку. Другие, наоборот, почувствовали романтику транспорта, катались для развлечения и даже назначали свидания на остановках[15]. Только к разрезанному Никонову это не имело никакого отношения.

Поговаривали: Мишин, мол, Никонову накануне вечером или даже ночью сказал что-то такое, отчего Никонов потопал не глядя, а только вперёд. Оставил доедать и допивать остатки коллективного ужина и Арагона, и Евневича, и Журавелиху, и остальных, а сам пустился в бега. Перед тем как уйти, Никонов заработал от Мишина два или три оттиска кулака на физиономии. Такая публичность пришлась ему не по нраву, он, лёжа в лунной пыли, плюнул в сторону удаляющегося Мишина и исчез сам.

15. Челябинский трамвай пустили в январе 1932 года. Маршрут был единственным: вокзал — ЧГРЭС (Чел. гос. районная электростанция, питавшая, между прочим, всю индустрию нашего города, а заодно и соседнего Свердловска).

В десять утра зарезанный хвостом трамвая Никонов вернулся в барак. Почти все обитатели комнат уже ушли на ЧТЗ, остались разве что дети, два или три старика и приблудная Жулька у крыльца. С этого Никонов и начал: потрепал изумлённую Жульку два или три раза за ухом. Жулька мысленно уже простилась с Никоновым, поэтому от нечаянной встречи её организм получил импульс восторга и любовной истомы. Собравшимся детям, двум или трём старикам и Жульке Никонов описал блуждания прошедшей ночи, опустив, впрочем, без объяснений историю конфликта с Мишиным и причины, побудившие Никонова уйти куда глаза в потёмках глядят.

Трамваи ночами действительно отсыпаются. Но один — для технической бригады — объезжает ветку и делает свою работу. Никонов был в таком расположении духа, в котором внешний мир практически самоустраняется, а наружу выползает собственная закрученная в жгут разочарований и посаженная в лабиринт заблуждений судьба. Так запросто можно не заметить не то что трамвай, а и падающий на тебя метеорит или ускользающую из-под ног землю. Словом, факт удара хвостом по своей грудной клетке Никонов не отрицал. Как и то, что два или три мужика из технического трамвая (настроенные поменять в одном месте полотно, а в другом — заменить рельсовые костыли) отвезли Никонова в железнодорожную больницу (оказалось по пути) и сдали дежурному врачу. Тот приказал Никонову ждать рассвета и главного хирурга, поскольку подозревал перелом двух или трёх рёбер справа. Так и вышло. Главный хирург подтвердил предварительный диагноз, обмотал торс Никонова кое-каким бинтом и поинтересовался разбитой физиономией. «Её, физиономию, трамвай прокатил метра два или три по шпалам и тому, что между шпалами», — отвечал Никонов. Ответ устроил всех, но было решено оставить пациента ещё на два или три часа, чтобы проследить, нет ли ухудшения здоровья и других последствий ночного трамвайного приключения.

Никонов рвался домой, ему не терпелось объясниться с каждым из семьи Мишиных. Даже для Стёпы приготовил слова, что не надо звать его папой. Потому что как бы в дальнейшем они ни сблизились, но отец даётся человеку в единственном экземпляре и на всю жизнь. Потом подумал и вообще решил, что жить будет отдельно, а только навещать маму Стёпы для хорошего настроения, и поэтому фигура Стёпы вовсе отошла на второй или даже третий план. Потом подумал, что с Мишиным тоже надо как-то поговорить не на кулаках, а по-человечьи: в конце концов — кого баба выберет, тот пусть и остаётся. Потом подумал, что оставаться с мамой Стёпы ему не очень-то и хочется, но ещё больше не хочется иметь под боком Мишина. Потом подумал, что уже и не знает, что думать. Никонова отпустили домой только в девять тридцать утра, проверив напоследок его пульс и глазное дно.

Таким образом, Никонов без малейшего плана в голове хотел устроить своё дальнейшее проживание на земле. Он посорил шелухой у двери Мишиных, потоптался и, наконец, два или три раза постучал. Никонов без затей решил: будь что будет. Всё одно — без вести пропадать.

Её в комнате не было. И Стёпы не было. Никонов подходил к комнате Мишиных два или три раза, раздувал от волнения крылья носа, потел, чувствовал себя размазнёй — но никто ему так и не открыл. В конечном счёте, он вышел на крыльцо барака, где его поджидала обожающая Жулька, и сказал ей:

— Ребро на отсечение даю, но скоро-прескоро трамваи будут везде — и в городе, и за городом[16]. Жаль только, что мы с тобой к тому времени истлеем до белых косточек. Очень, скажу тебе, жаль.

Слепой дождь

— Я из вас всю дурь-то повышибу, — багровели щёки и лоб старшего чекиста. От носа кровь, наоборот, отливала. Нос бледнел и выделялся. И уши — тоже.

Как там у него в голове всё управляется? Кровь по-особенному течёт. Щёки заволокла, а от ушей отпрянула. Особенная голова по-особенному управляется, — думалось Никонову. Шеренга состояла из него и ещё четверых: первого арагоновского переводчика, первого чекиста, второго арагоновского переводчика, второго чекиста. Никонов стоял, побитый на лицо и рёбра, но довольный тем, что придумал состоятельное решение своего вопроса: он уедет. Уедет в Самарканд и будет рыть столь нужные советской земле каналы. А покатую, мягкую женщину он везде найдёт, даже там.

Решённая проблема сказалась на Никонове самым лучшим образом: он стоял прямым и безбоязненным. Остальные четверо стояли в наклон и напряжёнными, уморившись. Кровь окончательно заволокла щёки и лоб старшего чекиста. Он смотрел сурово, но без ненависти. Слова начальника доносились до Никонова откуда-то изнутри самого́ Никонова, фоном собственных мыслей. А в мыслях был Самарканд с тюбетейками и ослами, жарой и ихними грабарками. Вдруг под одной из тюбетеек Никонову представился старший чекист, пьющий будто бы чай, а на самом деле собирающий в эту, как её, широкую поверху восточную чашку, собственные слёзы. Просто уткнул пиалу *(вспомнил же название!)* в подбородок — и плачет на всю полноту глаз. *У него младший сын умер.*

16. Неужели Никонов имеет в виду трамвайную ветку Челябинск — Копейск, существовавшую с 1949 по 1995 год?

И другой вот-вот помрёт. Тут Никонов очнулся. Начальник так и сидел за зелёным сукном, его лысина покачивалась, а слова, вероятно, уже выполнили дневную норму и устали.

— Эти *(кивнул на первых двух)* из мировой знаменитости и друг друга пытались агентов контрреволюции изобразить. Эти *(кивнул на вторых двух)* вообще мировую знаменитость в бараке забыли. Бросили на произвол масс. Это что за, вашу мать, самовольство?

— Я Никонова проинструктировал,— неповоротливым и волнующимся языком заговорил второй чекист.

— Может, ты и Арагона проинструктировал, а? Ну, только по-русски лопотать, чтоб Никонов его уразумел?

— Оплошал, Сергей Игоревич. Навалило всего. Накладочка вышла,— язык второго чекиста плохо переводил боязливые мысли в слова.

— Накладочка, твою мать?!!— хряснул кулаком по зелёному сукну старший чекист. *(Устал беспросветно. Пугать устал,— думалось Никонову.)*— Я тебе этой накладочкой знаешь какое место размозжу? Самое проблемное твоё место!

Старший чекист смотрел непонятно куда. Будто сам ещё не решил с проблемным местом подчинённого. Второй чекист на всякий случай вложил ладонь в ладонь и накрыл ими промежность. Нет, не на всякий случай, а по инстинкту.

— Так,— сказал старший чекист,— горемыкой я с вами стану. Надоели. Идите, не оглядываясь, а не то я вас подвешу за яйца. Потом разберёмся,— и тут он захихикал (только — захрюкал):— Начальство, вашу мать, довольно. Великий французский поэт, кажется, тоже. Недовольных двое: я и Эльза. Если она в Европе начнёт на вас доносить, я каждому по выводу выпишу. А пока свободны, вашу мать…

Никонов поднял руку, как на уроке. Только опорой для его локтя послужила не парта, а задыхающийся воздух.

— Разрешите мне наедине вам об одном сказать?— аккуратно, не торопясь, выложил Никонов.

— Идите прочь. А ты — останься,— скомандовал старший чекист и посмотрел за окно.

Вдруг пошёл дождь. О таком говорят: ни с того ни с сего. О таком говорят: слепой. О таком говорят: ничего не предвещало. О таком говорят: как гром среди ясного неба. О таком говорят: врасплох, крупный и редкий. Солнце не кончалось, как и дождь.

— Ну, что там у тебя? *(Сейчас, пёс плешивый, начнёт на барачных наговаривать. Откуда у них повелась эта одичалость — жаловаться и мстить?)*

— У вас ведь, извините, сын умер?— сказал Никонов и покрылся гусиной кожей.

— Да откуда тебе, твою ма…— с низких громогласных нот начал было старший чекист. Но остановился. Зорко уставился Никонову в глаза и почувствовал тайно объединяющее их несчастье.— Умер. Да. Умер. И второй, другой сынок, улёгся что-то. Плохи мои дела.

— Не зовите больше доктора своёва. Он от противоположного вашего отпрыска лечит. Не от того. Бабку позовите. С ней починится мальчик. Ейбогу говорю,— невозможно от души заувещевал Никонов. И глаза его повлажнели.

— Бабок тёмных мне, твою мать, советовать?— соскочил старший чекист с кресла, обогнул (чуть ли не ледоколом раскроил углы) стол и уже дышал чесноком на побитую харю Никонова и почти подбирался к его знаменитым сломанным рёбрам.

Но и тут быстро остановился. Обмяк. Опустил руки. Плечи. Голову. Отвернулся и сказал Никонову на обратном понуром пути к рабочему месту:

— Умник. Ладно уж. Иди. А бабку… Бабку приведёшь, понял? И чтоб — молчок, твою мать. Никому и нигде.

Встав над столом зелёного сукна, старший чекист благозвучно и чесночно рыгнул. Солнце всё не кончалось, как и дождь.

Мишина без имени

После того как Мишин безоговорочно уехал в Самарканд, его жена[17], тоже носившая фамилию *Мишина*, но больше известная как мама маленького Стёпы, отравилась насмерть.

Но перед тем как отравиться, женщина уложила всхлипывающего, проявляющего остатки беспокойства Стёпу спать.

Перед тем как уложить Стёпу спать, мама накормила его ужином (не без труда, состоящего из уговоров и угроз). Стёпа будто сопротивлялся привычности жизни (а он чуть было не зажил подругому — пространственно и опасно), но всё же не знал наверняка, так ли нужно прямо сейчас ехать к папе с его двумя сладкими словами, которые Стёпа вдруг позабыл. Уже не отчаяние, но — неясность, а потому — растерянность и капризы.

17. У этой женщины, если вы заметили, нет имени. В повествовании она всегда звалась автором мамой Стёпы, а с недавних страниц — по фамилии мужа: Мишина. Имя у этой женщины, конечно, было. Но дело в том, что оно исчезло из памяти человека, который и рассказал мне об этой первостроительнице ЧТЗ. Да, Мишина — одна из немногих реальностей книги. Фамилия, сын Стёпа (то ли трёх, то ли пяти лет), муж, уехавший (или не уехавший) в Среднюю Азию, профессия каменщицы-штукатура-маляра, необыкновенная красота и любвеобильность — вот и всё, что осталось. Может, найдётся кто-то, кто узнает героиню по этой скупой справке, напишет мне, и тогда женщина обретёт имя. В таком случае автор обязуется переписать историю этого персонажа, сохранив, конечно, и некоторый вымысел.

Перед тем как накормить Стёпу ужином, мама приняла его «из рук в руки» от милиционера, который, похоже, клюнул на складность её лица и рассчитанность фигуры, а потому выговаривание женщине *о неподобающем присмотре за детя́ми* (надо же, думала она, произнести такое: *детя́ми*) заняло не более двух минут, а остальные минут тридцать или сорок милиционер и мама Стёпы рассматривали друг друга, но пристальнее — содержание стен, потолка, пола и стола, пока пили чай, делясь редкими и, пожалуй, стеснительными словами. Стёпа всё это время простоял в привычном для наказания углу, и присутствие почти молодого человека в офицерской форме действовало на мальчика завораживающе. Почему-то Стёпе казалось, что дядя (пусть мельче и некрасивей папы, но совершенно ослепительный из-за рубашки с погонами, сапог и всего остального) ещё придёт в их барак. И тогда Стёпа осмелеет пуще прежнего и попросит себе для головы (хотя бы внутри комнаты) фуражку со сверкающей кокардой. Слова «кокарда» Стёпа, конечно, не знал. Впрочем, кажется, не было никакой кокарды, а была красноармейская звезда[18].

Перед тем как мама «из рук в руки» приняла Стёпу от стража социалистического порядка, она вернулась в барак со смены, насторожилась отсутствием Стёпы, но списала это отсутствие на его увлеченье приблудной и одноглазой собакой. (Наверняка гуляют, нежатся и кусаются в той небольшой тополиной рощице за дровяным сараем.)

Перед тем как мама Стёпы вернулась в барак со смены, она уложила последний кирпич на строящуюся стену, поднадавила, постукала, слизнула мастерком оплывающий раствор и даже посмотрела, но не перед собой, а дальше, а потом и вовсе вверх, будто хотела выгадать обещанного Никоновым человека в капсуле.

— Мишина, спускайся давай, а то завтра делать будет нечего, — привычно пошутил-крикнул бригадир.

Она спустилась по лесам. Кладка была сравнительно высокой, метра три, толстой, длинной, но надо ещё выше и длиннее. Кто-то прозвал этот объект «китайской стеной». Почему «китайской», Мишина не знала. Никонов обозвал это «Берлинской стеной». Но Никонова не понимал решительно никто, а не только Мишина. Она не очень-то разбиралась в странах, а вдобавок — не знала и предназначение возводимого цеха. Знала только, что скоро начнут сборку тракторов, а ещё знала, что её муж катит сейчас по российской земле прямиком от неё.

Перед тем как мама Стёпы уложила последний кирпич, она пришла на работу, зарёванная и какая-то косматая, долго возилась с пуговицами спецодежды, а косынку повязала косо и кое-как. Кто-то уже знал, что Мишин отправился в дальние края, кто-то узнал об этом позже, но, так или иначе, товарищи не будоражили бедную женщину расспросами о личном и не донимали производственными заданиями. Она работала молча и сосредоточенно, никакой раззявости и потерянности не было с самого начала смены, будто мама Стёпы надумала в одиночку возвести стену между ней и мужем и навсегда забыть о нём.

Перед тем как Мишина пришла на работу, она простилась с удаляющейся чёрной спиной мужа, которая лишь на треть закрывалась мешком с пожитками. Несколько раз мама Стёпы хотела догнать чёрную спину, чтобы плачем и уговорами воссоединить семью, и несколько раз не делала этого. Она знала, что любила Алексея как могла (и поэтому хотела догнать его и вернуть), но не знала, как его можно любить по-другому (и поэтому не двигалась с крыльца барака). *Вот если бы он сам передумал вдруг или услышал мою подсказку. Может, он ждёт одной-единственной подсказки, одного моего слова.*

— Я отравлюсь! — крикнула она чёрной спине, но та удалялась и удалялась без остановки и замедления хода.

«Я отравлюсь», — повторила женщина одними губами, но, кажется, не верила сама себе. Однако чуть ли не случайно брошенная фраза уже не нуждалась в уверовании или отторжении Мишиной, а просто циркулировала по тем сочленениям её организма, где обычно и циркулируют спасительные мысли.

К концу смены мама Стёпы окончательно убедила себя, что сын — последнее препятствие для самоотравления — только выиграет от одновременной потери обоих родителей. Мать-советская-власть возьмёт Стёпу на поруки и воспитает человека, которого не в чем будет упрекнуть ни матери-власти, ни ему самому. Чем дальше шли рассуждения Мишиной, тем безущербнее казались ей случившиеся и предстоящие картины. Задержись она в живых — и сын потеряет свои сиротские преимущества, вот! Так что к вечеру дня мама Стёпы всерьёз считала себя препятствием на пути налаженного становления сына.

После того как Мишина уложила всхлипывающего, проявляющего остатки беспокойства Стёпу спать, она отравилась насмерть. Так она, во всяком случае, думала. Но думать и исполнить задуманное — разное. Женщина вымешала большую ложку крысиного яда в стакане воды, опрокинула одним взмахом и ждала. Умерла она или уснула, она не знала. То ли яд потерял свои

18. Оба варианта неправильны. Правильно: значок. На форменных фуражках того времени значок сравнительно маленький, овальный, невзрачный. Сверкает не очень-то. Вообще не сверкает. Но разве мальчику возразишь?

смертоносные свойства, то ли у крыс и людей отличительные организмы, то ли мама Стёпы перепутала банки, но она проснулась ранним-ранним утром, не страдая животом или другой частью себя, и вышла на крыльцо барака. Вдалеке, почти на пределе глаз, она увидела одинокую фигуру в движении. Мужчина это был или женщина, сюда человек шёл или на горизонт—Мишина не разобрала. Только сказала:
—Возвращается,—и стала ждать.

Прадва

Он только-только открыл глаза. Оказалось: лежит на спине, будто бы в углублении. Потолок и окно отдалились, против обычного,—стало быть, он всё же добрался до гостиницы, а не свалился где-нибудь в овраге, но устроился на полу. Без подушки, одеяла, в одежде.
—Я тебя не сбрасывала, ты сам так захотел. Ты меня и не слушал,—голос Эльзы.

Всегда она знает, когда он спит, а когда—уже нет. Вероятно, выдал себя каким-то движением или междометием.
—Тебя научили русскому языку всего лишь за одно застолье. Поздравляю. Это успех. Теперь ты знаешь, как будет «спасибо», «любовь», «до свидания», «родина», а ещё без акцента произносишь несколько нехороших слов.
—Лошадка ничего не понимает,—приподнимается на локте Арагон.
—Вставай, лошадка. Твой извозчик всё тебе объяснит и даст овса. Принести воды? Рассказать?
—Уф-ф-ф,—отвечает Арагон.
—Выпил с друзьями-первостроителями. Зарядился их энтузиазмом. Вник в их быт. Только перебрал малость. Самую малость. Вот это—неприятность. Временная, надеюсь,—Эльза принесла стакан с водой.
—Давай уедем отсюда. Сейчас же. Домой.

Никакой сухости во рту Луи не испытывал. Вот голова—трещала. Он не стал пить Эльзину воду.
—Арагон, у тебя—программа поездки по Уралу. Ты не можешь просто взять и сбежать!—Эльза говорила с ним как с ребёнком.
—Я не хочу больше здесь оставаться. Я… не могу,—Арагон сидит на полу, обхватив колени и раскачиваясь.
—Не качайся. И не нервничай. Рассказывай,—Эльза присела на край кровати и возвышалась над Арагоном, как птица над гнездом с детёнышем, готовая защитить его от нападения с любой стороны.
—Веры—её недостаточно. Замысла—недостаточно. Цель—не то. У них нет настоящего. Они изнурены работой, ослеплены коммунизмом, они—марионетки на ниточках кукловода. Им плохо. Им хуже, чем можно представить. Это не строители нового общества, а рабы. С этой страной творится что-то неладное. Я не хочу больше терпеть это и притворяться, что я—с ними.

Улыбка ещё ненадолго задержалась на лице Эльзы и исчезла. Она стала рассматривать свои жидкие ногти, а потом резко поднялась.
—Это всё слова, Луи. Слова и слова. Правда же в том, что у них нет другой страны, другой партии и другого пути. Думаешь, если тебе взбредёт в голову позвать их назад, к царизму, они обрадуются, как малые дети? Замысел—как раз—это главное. Новое и неизведанное всё равно лучше старого, отжившего и прогнившего, даже если хуже его.

Эльза стала ходить по комнате кругами. Теперь—будто хищная птица, готовая броситься на гнездо с птенцом, оставленным беззаботными родителями.
—Где там твой стакан? Пожалуй, я выпью,—сделав глоток, Арагон изображает гримасу, будто вода приносит не облегчение, а боль.—Лошадка ничего не понимает[19].
—Какая ещё лошадка? Переодень рубашку. Всю изжевал и заляпал.
—Я поэму напишу. Реалии социалистической стройки и лошадка. Я—лошадка.
—С такой однозначной трактовкой—не пойдёт. Постарайся сделать, чтобы лошадка была именно лошадкой, не понимающей, зачем стране трубы, заводы и всё остальное. Ну, герой тоже в какой-то степени лошадка. Вот так.
—Эльза,—Арагон осушил стакан с водой,—давай уедем, пока не поздно. Пока ещё можно уехать и не погрязнуть в прославлении непонятно чего. Я буду по мере сил защищать советскую власть в Европе, но—не здесь.

Арагон опять улёгся на спину, будто выпал из гнезда и привыкал к холодной, отторгающей земле.
—Не говори ерунды! Ты застолбил себе место в истории, а не только в литературе, тем, что воспоёшь Советы! Потомки будут восстанавливать картину тридцатых годов по твоим стихам, а не по статистическим сводкам. У меня хорошие предчувствия насчёт тебя! Очень хорошие!—Эльза присела рядом, обняла мужа и стала поглаживать его волосатую грудную клетку, демонстрируя готовность к миру на её условиях.
—Эльза-а-а-а,—Арагон мотает лежачей головой и отстраняет руки Эльзы,—а кто мне говорил про манипуляции? Кто говорил про лозунги?
—Я? Ну, допустим. Я прозрела. Я поняла, что главное сейчас—не великая стройка. Главное—ты,—встала Эльза.
—Лошадка ничего не понимает.
—Хватит стоять в тени Бретона. Или в чьей ты там тени стоишь? Советы—это шанс всей твоей жизни.
—Эльза-а-а-а-а, но это же глупость. Ослеплённые люди тоже могут прозреть. Они сметут

19. Строчка из поэмы Арагона «1932», цикл «Урра, Урал!». Перевод Татьяны Викторовой.

надзирателей с лица земли, бросят стройки и вернутся на пашни. А кто-то из них вспомнит: был такой Арагон, из кожи вон лез, жопу лизал Сталину, воспевал без устали всех этих коммунистических паршивцев.

— На тебя приходят толпы людей. Разве это не успех? Оставь свой большевистский коммунизм в покое, прими только это — грандиозный успех.

— Это не мой, это — их успех. Как только найдётся более подходящая фигура, меня скинут с корабля современности. Им нужен обслуживающий персонал. Как только…

— Скажи ещё, Луи, что тебя не впечатлила индустриализация? Серёжки мои не видел? Положила же на комод. Вот тут, как сейчас помню. Ага, значит, что?

— Поэзия — это правда.

— Поэзия, Луи, это правда того, кто сочиняет стихи. Со-чи-ня-ет. Поэзия — это сочинённая правда. Твоя. Правда — не плоская фигура, а… пространственная. Огранённый камень, если хочешь. Пиши про любые грани, кроме своих запутанных отношений с реальным коммунизмом.

— Эльза-а-а-а…

— Пиши, что лошадка ничего не понимает: индустрия наступила на природу, природа сдалась индустрии. И — любовь. Ты же непревзойдённый лирик!

— Вот ты и пиши!

— Ты, кстати, знаешь, сколько времени? У тебя, между прочим, вечер во Дворце железнодорожников. Я рубашку новую погладила. А брюки… Нет, эти никуда не годятся. Ты что, в пыли валялся?

— Я, помнится, на коленях стоял перед этим, как же, Никоновым, что ли, и объяснялся тебе в любви.

— Что?

— А то. Прадва.

— Что?

— Прадва, говорю. Полуправда — это прадва[20]. А правда в том, что самим рабочим не осталось места в их стране. Они — массы. Строители. Но каждый из них — не человек. Им внушили, что по отдельности они, ну, никто. Только вместе — сила.

— Я же тебе говорила про многогранную правду. А ты опять за своё. Лучше скажи, где мы возьмём тебе другие брюки? — задумалась Эльза.

Луи сидит на кровати, обхватив голову руками.

— Лошадка ничего не понимает, — говорит он.

Потом поднимается медленно, прислоняет пальцы к вискам, будто варит что-то в голове и проверяет: закипело ли?

— Я не могу их бросить. Я не могу их обидеть. Я буду помогать им строить настоящее общество — равных и счастливых людей. Я полюбил их. Я с ними. Вместе у нас может получиться. Что же мне делать?

— Бедная моя лошадка, — ответила Эльза и поцеловала его в лоб.

Предпоследний рассказ

Жулька провожала первостроителей из барака до самых дверей железнодорожного Дворца культуры. Народ стягивался на выступление Луи Арагона со всех сторон, но Жулька ни разу не потерялась среди многочисленных рабочих ног. Больше всего сердце Жульки лежало к Пухову, потому что он был последним её угощателем: перед самым концертом вынес какие-то уж очень сладкие и хрусткие косточки. Жульку после концерта никто из барачных не видел. Никогда. Говорят, за ней увязался рыжий и злобный кобель, и вдвоём они, возможно, решили поискать для себя и запланированного приплода лучшее место на крутящейся Земле, нежели Челябинск.

Пухов остановился на ступенях дк, чтобы поздороваться (не за руку, нет, а просто кивнуть) со старшим чекистом, который когда-то и Пухова хотел взять в оборот, но Пухов изобразил минутное слабоумие, потом сослался на забывчивость, сонливость и болтливость — словом, определённо доказал старшему чекисту, что не годится ни в какие маломальские осведомители. Пухов пришёл на вечер за компанию с другими. Он бы и пропустил концерт, но был тайным верующим в светлый коммунизм, а француз, говорили, своими стихами приближает коммунизм, как ни одна стачка в каких-нибудь лондонах или парижах, как ни один «бетонный вечер» здесь, на чтз.

Годы спустя Пухов воевал на Северном флоте, жизнь его корабля и его самого много раз висела на волоске случая, но всё же Пухов вернулся в свой барак живым и невредимым. Ему было уже под шестьдесят, а он всё верил в коммунизм и рвался выполнять и перевыполнять производственные планы. Однажды, зимой 1948 года, Пухов простудился, слёг с двухсторонним воспалением лёгких и умер в окружении многочисленных детей и даже внуков.

Старший чекист кивнул Пухову на входе в дк, но не узнал его. Да и немудрено: на всю гигантскую стройку был небольшой отдел нквд — и старшему чекисту не приходилось скучать. Наверх он постоянно писал бумаги, впрочем, безответные, с просьбой расширить штат оперативного отдела до пятнадцати-двадцати человек.

Сразу после концерта Никонов привёл в дом старшего чекиста мудрую бабку-лекаря, которая и вы́ходила его сына.

Старший чекист до самой войны возглавлял свой немногочисленный отдел на чтз, потом служил по специальности в штабе одного из фронтов. В марте 1942 года землянка со всем начальствующим составом была разбомблена прямым

20. «Правда» по-французски — «la vérité» («ля вэритэ»). Стало быть, «прадва» — «la vétiré» («ля вэтирэ»).

попаданием. Все, включая нашего старшего чекиста, погибли.

Первый чекист в 1937 году был репрессирован и пропал в колымских лесах без малейшего следа; первый переводчик не попал на фронт по возрасту и состоянию здоровья, он всю жизнь (до смерти в 1965 году) разрабатывал планы незаконного пересечения границы, чтобы осесть во Франции, притереться там, прижиться, а когда-нибудь после—и умереть; второй чекист, второй переводчик, шофёр—все трое погибли на фронтах Великой Отечественной войны—светлая им память.

Никонов надел тёплую чесучовую фуфайку, потому что Пухову шлют чайную труху из Ташкента и обучают его попутно природе поведения в жаре. Пухов передал утром свой навык Никонову, чтоб тот надел фуфайку, потому как узбеки вылезают на солнцепёк в толстых и тёплых халатах и пьют раскалённый чай. Никонов никогда так и не дождался видений о раскалённых узбеках, но думал впоследствии, что Пухов его обманул, потому что сиделось Никонову в переполненном зале очень уж тяжело: он обливался по́том и хотел выжать себя и вывесить целиком на просушку в президиум.

Поскольку Никонов сотрудничал на неясных началах с органами, то был стеснён в обширности передвижений—ему попросту воспретили отлучаться в Среднюю Азию или куда-либо ещё, ненадолго или навсегда. Так он и остался, и не сбежал от Мишиной, да этого и не потребовалось в связи с быстро остывшими чувствами, и жил во всеуслышание бобылём, и работал обычно с неизъяснимым пролетарским энтузиазмом, и вскоре стал испытателем тракторов, и до самой войны испытывал их, а потом испытывал танки, и был настолько незаменим, что получил бронь, и не погиб ни в какой битве Великой Отечественной войны (не сталось предувиденного им сражения у деревни Суходольной), и умер тихо в 1950 году, оказавшись запущенным туберкулёзным.

Мишина откровенно взлюбила французские стихи. К её горлу подкатывали безымянные слёзы, потому что ей не хотелось ни Мишина, ни Никонова, а хотелось внимать и внимать непонятным и всесокрушающим словам Арагона. Вероятно, она чувствовала свою бесприютность во Вселенной и стыд перед сыном, которого чуть не оставила побираться и пропадать.

Кажется, у Мишиной вскоре закрутился роман с тем самым милиционером и даже родились следующие дети, но сведения об этом скудны и непроверенны.

Что до самого Мишина, то он добрался до Самарканда, рыл свои каналы, стал бригадиром и по неведомой протекции был переведён на строительство московского метро, где окунулся в дело с головой, но перед самой войной угодил в лагерь по нечестивому доносу, и, несломленный, вернулся в метрополитен уже после десяти лет забвения, и строил его, и строил, и строил, и был представлен к званию Героя Труда, но по номенклатурным раскладам вышел только орден Трудового Красного Знамени. Никаких яблок или чего другого Мишин ни разу за жизнь Стёпе не посылал. И больше они вообще не виделись до самой естественной смерти Алексея Мишина в 1968 году.

Но всё это случится в будущем, а пока Стёпа сидел в зале Дворца железнодорожников, рядом с мамой, на отдельном стуле. Ему мешали головы людей и собственная зевота. О побеге он и не вспоминал, а новый не задумывал. Стёпа скучал и подозревал, что скучают все, но отчаянно стараются быть взволнованными и трепетать.

Уже через пару лет Стёпа стал совершать всякие мелкокалиберные кражи и разбои, но обошлось: в рецидивиста он не превратился, а так и остался воришкой-карманником. Тюрьма стала Степану вторым домом, где он неплохо обосновался, где и умер в самом расцвете лет году в 1974-м или 1975-м.

Евневич был безрассудно влюблён в Журавелиху. Он внимал французскому поэту со всей кишащей радостью взволнованного сердца. «Восторг!»—говорил Евневич после каждого стихотворения, но его негромкий голос тонул в бурных овациях зала. Арагон, по Евневичу, был той самой оркестровой трубой—тонким инструментом, не подвластным невеждам. Евневич даже попутно накладывал слышимые со сцены слова на воображаемые звуки своей трубы, и получалось точно как надо. Вышли бы не жиденькие песни, а настоящие гимны—красоте, труду и любви, думалось Евневичу.

То и дело он косился на Журавелиху, сидевшую тут же, справа. Он понимал, что любовь его женщины к французу уже сейчас имеет какой-то неземной, нереальный оттенок, а через год-другой и вовсе превратится в легенду. Евневич знал, что он не в силах запретить Журавелихе любить Арагона и не будет этого делать, дабы не нарушать ломкого спокойствия в их семье.

Через полтора года Журавелиха родила девочку. По всему выходило, что Луиза (так её назвали—а как же иначе?)—дочь именно Евневича, но Журавелиха фантазировала, не сообразуясь с фактами. Евневич терпеливо и тайно читал (и никогда не устраивал никаких разборов) письма Журавелихи к Арагону. Она по первому сроку писала их очень даже часто, потом—реже, но никогда не прекращала писать хотя бы изредка, складывала в укромное (как ей казалось) место и ни разу ни одного не отправила. В письмах шла речь о взрослении Луизы. «У твоей дочери режутся зубки»,—читал, например, Евневич, готовый расплакаться. Или: «Твоя дочь впервые назвала Евневича папой»,—читал, например, Евневич и подумывал садануть об пол горшок с фикусом, но так и не надумывал. Как бы то ни было, своё обожание перед Журавелихой

Евневич не растерял за всё отпущенное ему время, хоть жена и отказывала ему в отцовстве Луизы (о правах на потомство, правда, супруги никогда не заговаривали—это подразумевалось).

Евневич был музыкантом, потом стал штатным руководителем и дирижёром оркестра ЧТЗ, в первые дни войны записался добровольцем и погиб в победном 1945 году при освобождении Чехословакии, где и похоронен.

Когда отзвучало последнее стихотворение, директор завода преподнёс французскому поэту сувенир. Как он сказал в приветственной речи, «на память о тёплых и радостных днях от первых тракторостроителей». На обработанном куске змеевика стояла металлическая миниатюрная (размером с кулак) грабарка.

— О, Луи с грабаркой!—воскликнул Арагон.

Фраза не нуждалась в переводе: зал отозвался смехом и жаркими аплодисментами.

Встречай

Прошло много лет

Половицы не скрипели. Петухи не орали. Ветер не гудел. Ветки не били по стеклу. Соседские собаки не заливались лаем. Поезда не бренчали цистернами. Было тихо. Почти предрассветно. Покойно.

Журавелиху кольнуло. То ли в правый бок. То ли в левый. Позвали: «Журавелиха-а-а-а-а-а».

С таким вот протяжным «а» и позвали. С эхом наперевес позвали. Она знала—кто. Знала—куда. Потому села на край панцирной кровати, не тревожась переменам. Оставалось только нашарить войлочные тапки на завитках пола. Оставалось только открыть глаза и рукой погладить кошку. Глаза нашлись на знакомом месте, а вот кошка и тапочки растерялись то ли по рваным углам Журавелихиных снов, то ли взаправду и насовсем. Журавелиха обернулась на заоконную хмарь, но небо было в отчётливых звёздах и мухах, раздавленных по стеклу. Горел ночник. Часы показывали остановившееся время. Журавелиха встала и, не одеваясь ничем, вышла на хлипкое крыльцо. Её ночная рубашка не была ночной рубашкой, а была безразмерной футболкой с надписью «*Цинциннати*» на спине. По-ихнему, разумеется. Футболка казалась белой, в катышках белого цвета.

И в деревне Чудиново, где Журавелиха давно теперь жила, и на оставшейся Земле наступило 24 декабря 1982 года. Падал медленный, хлопьями, снег. Мороза не чувствовалось. Журавелиха, как была, босиком, дошла до хозяйственных построек. И только ухватив оттопыренный засов двери сарая, поняла, что никогда не вернётся назад. Секунду она размышляла о кошке, но та замяукала с крыши, а значит, не закрыта в доме, не сдохнет, найдёт дорогу к другим людям и другим кошкам.

Журавелиха вошла внутрь. Нащупала выключатель и зажгла лампу под потолком сарая. Лампа вспыхнула неожиданно ярко. Журавелиха зажмурилась, но раскалённый волосок успел забраться под веки и слепил её, уже зажмурившуюся. Так прошла ещё одна минута промедления. А ведь надо было спешить.

Между утварью имелся узкий проход к дальней стене, где—Журавелиха это знала наверняка—они стояли-простаивали последние лет пятьдесят. Пахло запустением, сырым войлоком, паровозными гудками. Теснота давила со всех сторон. Нужно было спешить, но движения получались не ахти, протяжными, как коровья жвачка. Журавелихе мерещились крысы, которых она не боялась, а не признавала за равных. Впрочем, крысы попрятались, но всё равно мерещились и мерещились. Нужно было спешить.

Журавелиха с трудом вытащила одно крыло, которое то и дело цеплялось за нестройные черенки лопат и грабель. Потом потянула второе. Ткань, соединявшая ржавые кости крыльев, прохудилась и местами истлела, но каркас оставался крепким и живым.

Половицы не орали. Петухи не скрипели. Ветер не бил по стеклу. Ветки не гудели. Собаки не бренчали цистернами. Соседские поезда не заливались лаем. Было тихо. Почти предрассветно. Покойно.

Тут Журавелиха поняла, что не сдюжит, что крылья тяжелы, что с ними не подняться по качающейся лестнице на сарай, что не приладить их к рукам на обморочной высоте крыши. Журавелиху кольнуло. То ли в правый бок. То ли в левый. Но тут сказали: «А ты прямо с земли». Он это сказал или другие—Журавелиха не разобрала: у неё расшумелось в голове, слова извне пробивались к ней искривлёнными на голос и звук. Но, скорее всего, это был Луи, кто ж ещё? Он уже давно приходил к ней по-русски, без акцента, перед сном, во снах и после пробуждения. Другие молчали, не вспоминаясь.

Никакая радость не могла сравниться с этой сверкающей минутой. Да и не придумывалось так сразу: была ли когда-никогда в её жизни радость или только грезилась и подступалась не ближе вытянутой руки? А сверкающая минута—вот, была.

Журавелиха просунула руки в кожаные крепления. Ей показалось, что крылья могут не удержаться на тонких запястьях и ещё выше, а значит, ремни надо затягивать. Или её позвоночник не выдержит тяжести отцовских конструкций. И тогда—не улетишь, а сломаешься пополам. Но требовалось спешить, и Журавелиха пробно и неумело взмахнула. Взмахи дались легко. Только левая оконечность хрястнула по углу сарая, отчего крыло пошло вздрагиваниями по всей плоскости. А на правом запузырился небольшой кусок материи над локтем, лопнул, почти вырвался из

последних ниток. Уже на втором взмахе Журавелиха почувствовала, что ноги обнажились от земли, и добавила резкости движениям. Вскоре сарай очутился внизу, метрах в пяти, и нечего на него оглядываться, а надо — вверх. И Журавелиха как могла усмотрелась вверх.

— Встречай меня, — сказала она.

Её не спасли.

Её некому было спасать.

Её нашли на полу около панцирной кровати.

Мёртвая трёхдневной смертью, она улыбалась.

Приложение

Всегда считалось, что Луи Арагон не писал стихотворений в эту (лето 1932 года) поездку по новостройкам Урала. Он вёл дневники и накапливал впечатления. Сборник таких стихов-впечатлений вышел в 1934 году и назывался «Hourra, Houral!» («Урра, Урал!», именно так — с двумя «р»).

Кое-где можно найти свидетельства, что на месте событий было написано только одно стихотворение — «Баллада о двадцати семи, казнённых в Надеждинске».

Мне же стало известно, что именно в Челябинске поэт написал стихотворение «Пасхи». Оно не вошло в цикл «Урра, Урал!», не опубликовано ни в одном журнале и найдено мною в черновом варианте в «уральском» дневнике писателя. Можно сказать, что вы — первые читатели этого стихотворения. Вряд ли оно о затерянном в Тихом океане острове, но — о Челябинске ли?

Пасхи

люди деревья рубят.
катят глыбы по пасхи.
катят-покатят.
тянут-потянут каменные бóшки.
чтобы богов
своих
разжалобить.
боги смеются.
люди тянут-потянут.
боги смеются.
уж боги-то знают:
деревья исчезнут.
птицы исчезнут.
звери исчезнут.
люди исчезнут
с острова пасхи.

А в оригинале — вот так:

Île de Pâques

Les gens coupent les arbres.
Ils roulent des blocs de avant sur l'île de Pâques.
Ils roulent, roulent.
Ils tirent, tirent ces avant en avant
Pour apitoyer leurs dieux.
Les dieux rient.
Les gens tirent, tirent.
Les dieux rient.
Les dieux, eux, ils avant:
Les arbres disparaîtront.
Les oiseaux disparaîtront.
Les animaux disparaîtront.
les gens disparaîtront
de l'île de Pâques.

Перевод Татьяны Духовной
и Яниса Грантса

Сергей Гордиевский

Охота

Это был дождливый вечер ноября. Весь день небо над городом было ясным и чистым, но с наступлением сумерек прокашлялось и запустило монотонную пластинку дождя. Вода подтопила парковку, и я промочил все ботинки, пока забирался в машину. Небо над северо-востоком последний год приобрело мутно-оранжевый оттенок. Из-за теплиц около озера, которые освещались, видимо, очень сильными лампами. Тяжёлые тучи, нависшие над этими теплицами, выглядели сюрреалистичным куполом гигантских размеров. И под раскатами грома думалось, что он вот-вот готов обрушиться вниз.

Я врываюсь в поток. Кажется, что машины едут не сами, а их несёт ручьями воды, как бумажные корабли. Машина трещит, стучит, но переваривает скрывающиеся в лужах ямы и несётся дальше. Отвергнутое детище французских конструкторов. Собранный арабами, курдами и ещё Аллах знает кем, «Пежо» двести шестой модели, как пуля, проскальзывает мимо медлительных тяжеловесов. Мой рысак, который всегда меня понимает. В этот вечер мне понадобится вся его выносливость и ловкость. Будто я участвую в погоне. И я знаю, кто гонится за мной. Этот город. На каждом перекрёстке я ожидаю подвоха. Ежесекундно я просчитываю сотни сценариев событий. И я готов к каждому из них.

Вода заливает стёкла, и дворники не справляются. Я не сбавляю скорость. Моя машина—это уже водяной метеорит. Неуправляемый ураган из железа, грязи и воды. Порой сцепление с дорогой пропадает напрочь. Меня таскает и заносит. Смотрю на часы. Опаздываю. Очень сильно опаздываю. Бензин, как обычно, на минимуме. Я выбираю в голове самый короткий маршрут, но это не спасает, когда ты едешь из одного конца города в другой.

Зелёный. Стрелки приборов танцуют, и гонки продолжаются. Перепрыгиваю из ряда в ряд. Это создаёт иллюзию, что я еду быстрее, чем все остальные. Но через несколько перекрёстков рядом всё те же машины. Фонари не горят. Ещё не включили. Мрачно-депрессивный вечер. Только бесшумные вспышки яркого зарева молний где-то далеко обнажают контуры крыш домов. Мы едем по тёмным улицам, слабо освещая их своими фарами. Рекламные вывески слепят. Я просчитываю несколько шагов вперёд. Управляю двенадцатью автомобилями вокруг себя. Рукоятка коробки передач горячая и трещит от постоянных переключений. Нужно быть внимательным… Поворот не туда—и авария. Поворот не туда—и проигрыш.

Я участвую в погоне. И я знаю, кто гонится за мной. А за кем гонюсь я? Что хочу найти? Или, может быть, кого?.. Это так же размыто, как мир за стёклами моего железного саркофага. Звонит телефон. Я не беру трубку. Не из-за того, что не могу оторвать руки от руля, а из-за того, что знаю, о чём мне скажут, и у меня не найдётся что им ответить. Я очень опаздываю. Каждая меняющаяся цифра на электронном табло бортовых часов делает маленький надрез где-то внутри меня. Я понимаю, что это значит. Это уплывают мои деньги. А они мне нужны. Каждая банкнота, сейчас ускользающая от меня. Они ещё не заработаны мной, но уже потрачены. И это было бы так забавно, если бы не было правдой. Ведь я берусь за самую дурацкую работу. Теперь соглашаюсь почти на всё. И они это знают.

Так странно… ещё недавно здесь был снег. Но он быстро растаял. А теперь вот это: столбы из воды и света. Косые струи дождя разбиваются насмерть о железо и трупами падают на другие машины. Стремительно перелистываются зелёные секунды. Быстрыми каплями время течёт повсюду. Третий пропущенный. Я на грани срыва. В динамиках какофония. Магнитола глючит, и музыку то и дело перебивает шипение радиопомех. Полнейшее сумасшествие. И я тут, внутри, тоже начинаю сходить с ума. Вакханалия и локальный Армагеддон. Но я ещё держусь. Я еду туда, где светло и спокойно. Там играет приятная музыка и сидят люди в дорогих костюмах. Они держат сигареты кончиками пальцев и пьют маленькими глотками. Через несколько минут я буду там. Но они мне не нужны. Я им тоже. Мы делаем это ради выгоды. Общей выгоды. Всех актёров в этом сгоревшем театре мучает жажда наживы. Я переступлю порог и оставлю позади всю эту неоправданную гонку и самоубийственные манёвры почти вслепую. Я буду самым счастливым человеком. Я буду смеяться, и другие тоже будут улыбаться. Я заставлю их ходить на ушах. Серьёзные на вид мужчины будут подражать танцу глупого

пекинеса, а подвыпившие женщины будут петь. Я предстану настолько радостным, что им станет тошно. Они возненавидят меня! Эти ксерокопии лиц, получающие в месяц больше моей полугодовой зарплаты, всерьёз задумаются над тем, что их жизнь—говно по сравнению с моей. И я дам им такую возможность. Когда я вхожу в азарт, я не вижу границ, и мне становится всё равно. Я пульсирую всем телом. Я живу. А они повторяют за мной… Беспрекословно. Потому что я так сказал. И я играю роль, я действительно счастливчик! Ведь у меня совсем нет долгов в ломбарде и отца-пенсионера, моя квартира не выглядит как приют для бездомных, и мне не приходится скрываться от знакомых по разным причинам. Но я покажу им, что значит жить. Я умнее их! Только пока мне ещё не повезло так, как им. Но это время придёт. Я точно в этом уверен.

А пока город, как трёхголовый Цербер Аида, учуял мой след и мчится где-то позади. Мне нужно успеть оказаться на шаг впереди, где текстуры ещё не прорисованы. Где город не властен. Я чувствую его дыхание, его хрип… Но время можно замедлить. Машина работает как часы, значит, всё дело только во мне. А уж я не подкачаю. Я ныряю из полосы в полосу, протискиваюсь в самые опасные промежутки и неожиданно оказываюсь впереди всех. Я отличный водитель, несмотря на то что друзья опасаются ездить со мной. Я называю свой стиль «камикадзе». Внутри меня гены несостоявшегося гонщика. Это было мечтой всей жизни моего отца. Вот кто чувствует автомобиль! Но мне не достичь его вершин, как ни дави на педаль.

Я пересекаю районы. Дождь то усиливается, то утихает. Я как будто в анабиозе, а в голове так светло и пустынно, что я с трудом различаю пейзажи. И, двигаясь лишь по условным знакам, я замечаю следующие друг за другом повороты. От навалившегося напряжения мысли пустеют, оседают на дне головы и начинают тихо шипеть. Глаза замирают в точке, и в мозгах наступает довольно глупый момент, когда ты продолжаешь выполнять действия, но не понимаешь их смысла. Или когда этот смысл меняется… И нет ничего нелепей, чем когда ты со всей скорости летишь на красный, абсолютно уверенный в том, что это сигнал для твоего движения…

Интересно, под какую музыку люди разбиваются насмерть? Сразу. На месте. Только железо, мясо и кровь. Это не случайная песня. И, казалось бы, к чему она, но нет. Это финальный саундтрек твоей жизни. И он только для тебя. Просто так случилось. Случилось так. А не иначе… Это всё равно произошло бы однажды. На зассанной койке в доме престарелых. Или неожиданно, за столом, после своего дня рождения. Закрыв глаза или в чудовищной позе, с широко растопыренными веками. Одетый во что-то красивое или в тряпки, даже тебе не принадлежащие. Один или с кем-то. Но однажды ты переступаешь эту черту… И что наступает потом? Пустота… Ты ничего не чувствуешь. И не видишь. Это комната отдыха. Чтобы отдышаться… Ты как будто пари́шь. И сквозь это новое, но такое комфортное состояние еле слышно пробивается мелодия. И вот ты уже понимаешь, что в этом мотиве смешались все возможные ноты и звуки. Оттого он так приятен. И сейчас есть только музыка. Её можно ощутить. Потрогать. И ты чувствуешь… умиротворение. У мира творение. А снаружи в это время случайные люди вытаскивают тела из раскуроченных автомобилей. Дождь заливает глаза. Валит дым. Недалеко от впечатанной в столб иномарки горит вытекшее топливо. Кто-то кричит. По-киношному быстро уже где-то слышны сирены. И кажется, что это архангелы на тяжёлых автомобилях со специальными номерами спустились прямиком с неба. Спустились, чтобы сказать: «Оставьте их, это всё равно произошло бы однажды». Будет невозможно не поверить их словам. И мужчина, весь мокрый и в грязи, ещё пытавшийся привести в чувство женщину, вдруг сядет на колени и будет смотреть. И люди, все эти люди… появившиеся из ниоткуда на визг тормозов и звон стекла, встанут как вкопанные. И будут просто смотреть. Не замечая, что вместо дождя с неба течёт кровь. Не замечая, что уже насквозь. Фонари склонили свои головы и, кажется, оплакивают погибших в ореоле из воды и света. Они видят лица и различают дождевую воду и слёзы. Но с расстояния крыши это кажется не таким уж и значительным. Слегка покосившийся от удара фонарь вызывает куда больший интерес. Он даже перестал гореть. Скорее всего, заменят…

Как будто невидимая рука бьёт меня по лицу, и в последний момент я с небольшим юзом успеваю затормозить. Учащённый пульс, сердцебиение. Не хватает воздуха, открываю окно. В кабину врывается вечер, чёткие звуки. Вдох. Выдох. На перекрёстке страшная авария. Две легковушки. Одна—как смятая консервная банка, другая—в кювете. Люди, две кареты скорой помощи, патруль. Промокший до нитки мужчина активно жестикулирует и что-то рассказывает инспектору. Медленно проезжаю мимо. Никаких мыслей. Запрещаю себе думать! Слишком много всего. Паркуюсь. Из-под капота пар. Закрываю глаза. Ещё сижу неподвижно двадцать секунд. Выдыхаю и вылетаю под обстрел тонких водяных струй. Добегаю до крыльца в несколько прыжков, но из меня уже хоть выжимай. Вхожу. После агрессивных ночных огней мягкий и слегка приглушённый свет ресторана обезоруживает. Подозрительно тихо. Несколько человек взволнованно разговаривают по телефону. Что-то объясняют, пытаются что-то узнать. Парень успокаивает девушку. У неё тихая истерика. Нахожу администратора. Небольшого

роста девушка по имени Анжелика. Напряжённо, быстро объясняет: всё отменяется. С её слов узнаю, что заказчики попали в аварию. Ничего не будет. Это она и пыталась мне сообщить, но не могла дозвониться. Я падаю в кресло. Руки опускаются. Робкие капли воды сползают по моей голове. Я смотрю перед собой. В центре зала—большой накрытый стол. Всё стоит нетронутым. Только бутылка водки немного отпита рядом с единственным человеком за столом. Худой, с впалыми щеками и провалившимися глазами мужчина. Сидит ровно, уставившись в точку перед собой. Мумия. В какой-то момент я ловлю его взгляд, и мне становится не по себе… но постой! Мне знаком этот взгляд. Ноющий, тоскливый. И даже отчасти демонический… Меня бросает в жар: он ехал за мной. Я вспомнил эти глаза в зеркале заднего вида. Они то и дело настигали меня. Призрак. Я закрываю свои глаза.

Думаю, что после комнаты отдыха душа отправляется на суд. Видимо, как-то по-христиански последовательно и так же эпично, но более интересно. Там подведут определённый итог, и, в зависимости от результата, ты отправишься на уровень выше или ниже. Но до этого будет путь. Кто-то представляет старого лодочника на переправе, кто-то поводыря, станцию метро или ещё что-то. Я думаю, это лифт. Просторная светлая кабина, с зеркальными стенками. Но через них не удаётся разглядеть своего отражения. Трудно понять, во что одет и какая причёска. И в итоге ты ловишь себя на мысли, что не уверен, ты ли в отражении напротив. Но становится всё равно. Приятный воздух обдувает со всех сторон. Поездка не доставляет неприятных ощущений. И даже те, кому не посчастливилось бояться замкнутых пространств, чувствуют себя здесь как в утробе матери. Можно сладко закрыть глаза и послушать… эту мелодию. Она снова здесь. Так чиста и прекрасна. Исполненная лучшими музыкантами за всю историю человеческого мира. Спетая прекрасными голосами тех, кто перешёл в мир иной. И сведённая самыми талантливыми звукорежиссёрами. Это американский фильм восьмидесятых годов, где особенности плёнки создают ощущение тепла и сказочности. Ты поднимаешься и думаешь, что будет дальше. Этот путь—то время, чтобы ты приготовился к судьбе. Двери откроются, и душа обретёт новую оболочку. Она уже готова. Всё произойдёт быстро. Здесь не может быть ошибки или изменения судьбы. Потому что за дверями не стоит седобородый мужчина в белых одеяниях и сандалиях. Там не летают извращённо-толстые детёныши-ангелы. Там только свет. И остатки той мелодии, которая сопроводила тебя. И только свет…

Двери открываются. Темнота. На этаже ни души. Я выхожу из лифта и иду по тёмному коридору. Как одна похожие друг на друга полупрозрачные двери офисов тянутся до конца. В конце коридора дверь, за ней—лестница на крышу. Поднимаюсь, держась одной рукой за перила. В другой руке бутылка вермута. Дождь стал чуть тише, но мне всё равно приходится набрасывать капюшон. С крыши открывается панорама ночного калейдоскопа огней. Сотни и тысячи. Теперь город спокоен и тих. Кажется, как молодой лев, он наигрался и удобно улёгся на своём месте. И только величественная грива слегка колышется под потоками ветра. Воздух пропитан водой. Лёгкие тяжело наполняются кислородом. Вдали виднеется магистраль. Ещё пульсирующая артерия города. Вереница машин стремится покинуть зону опасных игр. Фары упираются в тяжёлый воздух и блестящий, как засаленные рукава, асфальт. Свет уходит всего метра на полтора вперёд, и кажется, это он едет сам по себе, а машины всё время догоняют его, чтобы не остаться в темноте. Но всё уже произошло. Охотник засыпает. Я делаю большой глоток из бутылки. И я уже вне игры. Игла на патефоне этого вечера приближается к центру. Через тугую завесу облаков начинают протискиваться звёзды. Дождь умолкает. Я подхожу к краю крыши. Внизу ещё стоят кареты скорой помощи и патруль. Но выглядит это так, будто ребёнок разбросал здесь свои игрушки. Две из них он явно не пожалел. Фонари склонили свои головы и просто стоят в ореоле из воды и света. В отличие от меня, они видят лица и различают дождевую воду и слёзы. Но с расстояния крыши это кажется не таким уж и значительным. Слегка покосившийся от удара фонарь вызывает куда больший интерес. Он даже перестал гореть. Скорее всего, заменят. И будет новый. И так всегда. Где-то гаснет один. И загорается другой. Свет. Не похожий на прежний. Яркий и чистый. Тёплый и искренний.

Константин Струков

Pro

Pro кубик

Воспитательница в детском саду занимается с малышом, в руках у неё большой синий кубик.

— Какого цвета кубик? Скажи.

Малыш, упитанный крупный мальчик трёх лет, молча смотрит на воспитательницу, его глаза подёрнуты мутной плёнкой тоски.

— Ну, какого цвета кубик?

— Цвета?

— Какие у нас цвета бывают? Вспоминай. Красный, синий, жёлтый, зелёный…

— Кубик, что ли?

— Кубик.

— Этот, что ли? — мальчик начинает ковырять в носу, взгляд его проходит сквозь собеседницу, упираясь в пространство.

Воспитательница берёт паузу, она ждёт, не теряя терпения.

— Ну, какого цвета у меня кубик?

Малыш застывает под тяжестью вопроса.

— Это же так легко! Ты знаешь!

— Кубик… Какого цвета… Кр-расного!

Pro метеорит

Светало. В лесу, стеной стоящем вдоль дороги, прочертились и начали выступать из темноты деревья, проснулись птицы, небо над верхушками стремительно теряло прозрачность. И только высокие яркие всполохи, озарявшие западную часть, диссонировали с общей картиной. Петру Сафронову, впрочем, было не до всполохов — надо было торопиться, пока артельные не встали.

Дорога взяла крутой подъём, ещё немного — и лес закончился, открывая панораму затонувшего в июньской зелени Усть-Олонска: чёрные мачты-трубы кирпичного завода, маковки церквей — словно цветы в траве в ожидании первых лучей, и выше всех — чёрная игла телевышки. Но не зардевшийся восток, готовый появиться в солнечном шлеме, а запад развернул широкое световое полотнище: там, в стороне Красноярска, переливалась и трепетала необычайно яркая зарница. «Эк полыхает!» — подумал Пётр, только значения особого не придал: каких чудес в Сибири не бывает!

Понимая, что успел, и оттого повеселев, Сафронов дал себе минутку передохнуть — сел на недавно поваленную, ещё пахнущую смолою сосну, скрутил самокрутку. Неторопливо затягиваясь, он смотрел на впечатляющую игру гигантских световых полос и улыбался своим мыслям. Петру Сафронову было девятнадцать, и, конечно, он мечтал заглянуть в собственное будущее, но даже не догадывался, что совсем, совсем скоро он не поедет в Красноярск, а оттуда в далёкий Петербург, не выучится там на механика, не устроится на завод и не дорастёт, нет, ни до мастера, ни до начальника цеха, ни, в конце концов, до старшего инженера, да! ничего этого Петр ещё не знал!

Брошенный окурок рассыпался светлячками в темнеющей траве, высоко над головой габаритные огни сверхзвукового лайнера растаяли в пожаре зарницы. Шёл 1908 год, с минуты на минуту нижние слои земной атмосферы должен был вспороть Тунгусский метеорит.

Pro революционный синдром

В вагоне стояло привычное железнодорожное амбре, в котором запахи угольной топки смешались с запахами туалета, несвежего белья и неясных ожиданий. Люд ехал самый разный: низшие чины, мещане, пролетарии; тем не менее, всех их можно было охарактеризовать одним словом — колхозники, хотя ни самого слова, ни понятия в те годы ещё не существовало. Среди всей этой …братии совсем не выделялся сидящий у окна парень лет двадцати — двадцати двух, со скромным узелком на коленях, в котором-то и было, что смена белья да пара порнографических романов. Звали молодого человека Семён Процкий. Если бы кто-нибудь спросил его сейчас: «Сёма, какого чёрта ты попёрся из Красноярска в Петроград?» — то, вероятнее всего, он был бы послан… Но мы-то знаем (!), что этот простой, быдловатый на вид сибирский паренёк отправился в далёкую Северную Пальмиру, чтобы делать революцию!

О революции и о том, что её можно делать, Семён впервые услышал в своём родном Усть-Олонске от студента университета, приехавшего из Москвы на каникулы. Сейчас, за давностью, трудно сказать, что больше повлияло на юного Сёму — путаные рассказы о рабочих волнениях или привезённая оттуда замусоленная колода карт

с голыми девками. Так или иначе, но уже через полгода Процкий отправляется, нет, пока ещё не в Москву и не в Питер, а в центр губернии — Красноярск, который и до революции славился своими революционными традициями. Красный Яр — именно так ещё в 1628 году прогрессивно настроенные казаки под предводительством воеводы Андрея Дубенского назвали заложенную здесь крепость.

В этом городе металлургов и лесодобытчиков, инженеров и учителей Семён становится вышибалой в одном из весёлых домов. Будущий революционер не по рассказам узнаёт о тяжёлой доле русских женщин, чья любовь, скованная товарно-денежными отношениями, превратилась в предмет купли-продажи. Перед ним проходит целая галерея эксплуататоров и олигархов всех мастей, жаждущих не столько крови, сколько тела. В этот период Процкий всё больше проникается передовыми идеями эпохи, он знакомится с книгами маркиза де Сада и графа фон Мазоха, внимательно изучает и конспектирует Фрейда. Как и многие его сверстники, увлёкшись андеграундом, Семён становится активным членом подпольной организации. На митингах и собраниях он агитирует за отмену института брака, призывает к созданию коммун любви, распространяет среди рабочих запрещённые шведские журналы. Однако его смелые идеи не находят должного понимания и поддержки даже среди ближайшего окружения — сказываются провинциальная отсталость и осторожность. Как-то в очередной раз после своего выступления, услышав реплику типа: «Жениться тебе надо, паря!» — Семён окончательно решает: надо ехать в столицу. Тем более что смелый подпольщик успел задолжать разным людям четыреста с лишком целковых и отдавать их не собирался.

Так и оказался Семён Процкий в вагоне поезда Красноярск — Петроград, который к моменту описываемых событий прибыл на станцию Четаевск. Кое-кто из пассажиров сразу потянулся к выходу за кипяточком. Что ж, пойдём, пожалуй, и мы, предоставив нашего героя самому себе. Нет, действительно, не тащиться же с этим придурком через всю империю, да ещё в этом вонючем вагоне! На выход! На воздух! Который пронизан ощущением скорой и неизбежной грозы! И пусть кто-то уже предвосхищает буржуазную революцию, кто-то пишет и говорит о необходимости социалистической, а самые смелые мечтают об оранжевой — Семён Процкий твёрдо знает: его революция будет сексуальной!

ДиН ревю

Владислав Артёмов

Избранная лирика

Москва: Журнал «Москва», 2014

Муза

Светить всегда…
Маяковский

Ночь темна, звезда горит в зените
В окруженье псов сторожевых.
На земле поэтов не ищите,
Не найдёте их среди живых.

Я узнал об участи поэта,
Эта страсть коснулась и меня.
Драма в том, что не добудешь света,
Если нет внутри тебя огня.

Облака пылают рядом с адом.
На подъём тяжёлый, как металл,
Я огнём на эту землю падал,
Вспышкой света с неба облетал.

Кто сочтёт утраты и потери? —
Я швырял метафоры свои,
И они сгорали в атмосфере,
Рассекая плотные слои.

Я узнал, как страшно быть поэтом,
Обернулся — позади зола,
И за мной стелился чёрный пепел,
Выгорая в небе добела.

Скинул с плеч я смертную обузу.
Я живой! Душа во мне — жива!
Что ж ты плачешь, муза моя, муза?
Что ж ты ходишь в чёрном, как вдова?..

Сергей Петров

Было и будет

Ночь. Из окна видна автобусная остановка. Одинокая женская фигурка в свете фонаря. Кутается в плащ.

Редкие машины замедляют ход: в такое время вряд ли женщина за рулём. Но эта—под фонарём—не тормозит машины.

«Ждёт кого-то? В час ночи? Проститутка? Но те стоят толпой, одеты по-другому, и обычно рядом машина с сутенёрами. Самоубийца? Но кто ж так с жизнью счёты сводит? Это же не мост, не крыша. А под машину броситься—давно уже могла бы…»

Саша поймал себя на том, что ему доставляет удовольствие смотреть на неё и гадать. Худенькая блондинка. Наверное, совсем девочка. Лица не разглядеть.

«Решила в одиночестве подумать о жизни? Тяжело на душе? Нет, не похоже».

Скрип тормозов. Под фонарём останавливается БМВ. Что и требовалось доказать: из машины выскочил явно переволновавшийся парень, девочка бросилась ему на шею, и влюблённые умчались в темноту.

Саша вздохнул и улыбнулся. «Хорошо, когда всё хорошо кончается».

Нужно, в сущности, немного усилий, чтобы инвалидная коляска откатилась от окна и доставила хозяина к кровати. Ловко упершись руками о поручни, Саша перекинул безногое тело на постель.

Не спалось. Только что увиденная картинка снова и снова всплывала в его воображении, он пытался представить себе прошлое и будущее этой пары, словно от его желания зависело чьё-то счастье,—у него получалось всё к лучшему, и он улыбался.

Саша учился улыбаться заново. И сейчас думал, что ему повезло. В отличие от многих других обезноженных, он знал радость движения на собственных ногах. Помнил до времени не сознаваемую радость спуститься вприпрыжку с лестницы, пройтись по парку, пробежаться, сесть на велосипед и дать газу!

Всё закончилось в один миг.

Ему десять лет. Апрель месяц. Солнце припекает, лёд тает, становится скользко. Саша с родителями возвращался с дачи. Ждали электричку. Он то и дело подходил к краю платформы и смотрел вдоль путей, чтобы раньше всех увидеть появление поезда. Наконец раздался гудок. Состав стремительно приближался. Что испугало мальчишку? Теперь Саша уже не помнил… Только что-то случилось, он шарахнулся в сторону и… поскользнулся. Нелепо взмахнув руками, упал на шпалы перед неумолимо надвигающимся составом. Электровоз буферными пружинами зацепил ногу и поволок тело, крутя, как юлу, по шпалам, пока не остановился. Хорошо, что машинист увидел момент падения, а то не лежал бы Сашка сейчас на кровати. Говорят, после остановки электрички из пружин не сразу смогли вытащить бесформенное кровавое месиво, которое только что было телом здорового весёлого подростка… В больнице врач сказал: «Жить не будет».

Как вспоминала мать, ног как таковых не было. Везде рваные раны. На голове кожа сохранилась наполовину. Хорошо, что мозги остались, а не намотало на колёса.

Саша долго был между жизнью и смертью. Операции одна за другой. Бесконечная боль. Порой он—сквозь наркоз—всем существом ощущал, как его кромсают и режут. Из комы вышел, но тут же от боли снова впал в забытьё. И так много-много раз…

Когда впервые по-настоящему пришёл в себя, понял, что теперь безнадёжный инвалид,—впал в отчаяние, хотел умереть… Но какая «свобода выбора» у калеки, которого даже кормят через капельницу? Однажды он сумел вырвать питающие его тело трубки—очнулся накрепко привязанный к кровати, с подключённой заново системой… Рядом—измученная, сразу лет на двадцать постаревшая мать… умоляюще смотрит на него красными от бессонниц и слёз глазами.

Саша закричал, что не хочет жить и всё равно умрёт! В голове одна мысль: как отвяжут, снова выдернуть капельницы—найдут, в конце концов, холодное тело. Но мать было так жаль, что он смирился на время.

Приговор врачей не вызывал разночтений: ходить, даже на протезах, пациент никогда не сможет—только инвалидная коляска.

Не сразу, но пришло сознание, что таким он останется навсегда. Чуда не будет.

Рассудок отказывался это принять.

Дома, в четырёх стенах, стало ещё тяжелее. Здесь уже не было больных, товарищей по несчастью, понимающих его страдания. Перевязки да таблетки — вот и все события, весь круг интересов. Лекарства помогали, но от них отекали руки. Родители научили Сашу садиться в постели, обкладывали подушками, чтобы не упал. Согнуться он не мог: боль простреливала в спине, как электрический разряд. А куда деваться от унизительной беспомощности? Парень задыхался от стыда, когда отец носил его на руках в туалет.

Потом появилась инвалидная коляска, и Саша смог передвигаться по квартире. Сидя в коляске у окна, он видел зеленеющую весеннюю листву, солнце, беспечно идущих, бегущих и даже подпрыгивающих и пританцовывающих на ходу людей. А он всё сидел в своей келье-тюрьме, дожидаясь очередной перевязки. Чаще хмуро молчал, стиснув зубы. Но иногда силы оставляли его — и слёзы горячими ручейками заливали лицо…

«Почему это произошло именно со мной?! Чем я хуже других? Почему они преспокойно ходят, у них есть ноги, а у меня нет? В чём я провинился, не начав толком жить? В том, что топал по лужам и пачкал одежду? Что получил двойку по математике?»

Ну кому интересно твоё «я» — такое хрупкое, беззащитное? Стоит ли никчёмное, никому не нужное существование таких страданий? И сразу, как вертлявый чёртик, выпрыгивала мысль: «Можно всё закончить сейчас! Шаг — и всё!»

Его поразил вычитанный в книге случай, когда инвалид на культях рук и ног ухитрился взобраться на монастырскую колокольню. Увидев внизу играющих в домино, смертник крикнул: «Ребята, поберегись!» — и бросился вниз.

Саша просыпался и не понимал: зачем проснулся, для чего? Мог пролежать в кровати до обеда. Затем заставлял себя садиться в коляску и тащиться на кухню. Готовить себе кофе, смотреть в окно и снова возвращаться к одной и той же мысли: «Зачем всё это?»

Мучительней всего ощущение никчёмности. Оно порождает не только уныние, но и озлобленность, желание отгородиться от окружающего мира глухой стеной, уйти в себя.

Родители совсем отчаялись, но не сдавались.

Разрыв шаблона произошёл, когда отец рассказал вот такую историю:
— Пришёл пациент лет семидесяти. Нервничал: ему надо было навестить больную жену, и он не хотел задерживаться. Я спросил: «Неужели она не простит вам опоздания по такой уважительной причине?» А он ответил, что у неё болезнь Альцгеймера и она никого не узнаёт вот уже пять лет. И добавил: «И меня не узнаёт». Я удивился: «Вы ходите к ней каждый день, хотя жена даже не знает, кто вы?» Старик улыбнулся и сказал: «Не важно, что она не знает, кто я; главное — я знаю, кто она». И я подумал: счастливая женщина! независимо от болезни! Любовь — это способность отдать жизни всё, что было и будет. Поэтому, Сашка, ты тоже — счастливый человек!

Счастливый? Сначала он просто опешил. А потом понял, что добровольно кинуть этот мир, как ни банально звучит, — действительно удел слабых. Этот вариант никогда и никуда от тебя не денется. А ты попробуй в своём безнадёжном положении жить настолько осмысленно и полно, насколько это возможно. Никому не нужен? А родители? Или, может быть, те люди, которых ты пока не знаешь, но которым можешь быть полезен?.. Ведь есть же кто-то, кому однозначно хуже, чем тебе? В любом случае, жизнь — это уже удача! На тот свет всегда успеем!

И Саша сделал выводы.

Не сразу, но освоил в совершенстве компьютерную графику и дизайн. Стал прилично зарабатывать. Перестал чувствовать себя иждивенцем. Научился по максимуму использовать доступное жизненное пространство.

Квартира в центре города. Второй этаж. Напротив — ресторан «Маяк». Дальше — салон красоты. Ателье. Днём тут людно. Все спешат. Толкаются, несутся. Вечером всё стихает. Можно бесстрастным наблюдателем посидеть у окна, помечтать о чём-нибудь волшебном, таинственном… Ветер ласкает деревья, они отзываются шумом листвы. В окнах загорается свет, и Саша смотрит в окна дома напротив. Немного воображения — и дом превращается в зáмок. Автобусы и машины — в большие и маленькие корабли, они спешат причалить к его стенам. Жители замка спрятались за бойницами башен. Вероятно, их ждут великие дела. Иногда он представлял себе, что дом — это гигантский космический корабль, прилетевший из иной галактики. Он высадил сюда множество загадочных существ, похожих на людей, технику, напоминающую наши машины. Все они растеряны и прячутся в корабле, а когда выходят наружу, то бредут не зная куда.

Особенно Саша любил смотреть в окно, когда на улице снег, метель. Сколько всего можно увидеть тогда! Вот промчались сани Снежной королевы, а тут — храбрые коммандос бьются с монстрами, дальше скрестили шпаги мушкетёры, а во дворце под звуки вальса кружатся в танце очаровательные феи.

Если Саша засиживался у окошка за полночь, воздушные замки его мечтаний неизменно разрушались звуками и сценами закрытия ресторана.

Крики, ссоры, драки… неизбежный итог пьяных вечеринок. Иногда было смешно.

Раз из дверей кубарем выкатился прилично одетый господин, пьяный до невменяемости. Долго сидел в луже, видимо, не отдавая себе отчёт, что он уже не за столиком в ресторане. Потом стал тормозить проезжающие машины. Но безрезультатно: поздно, да и кому хочется пачкать чистое сиденье грязным задом случайного пассажира? В конце концов, франт смог подняться и даже остановил машину. Одет с иголочки, рядом ресторан — почему бы не подзаработать? А то, что возможный клиент только что сидел в луже, водителю пока невдомёк…

Однажды под закрытие ресторана из сверкающего зала выпорхнула девушка в короткой юбочке. Следом — пьяный мужик. Стал приставать. Дама растерялась. Саша дотянулся до шпингалета, дёрнув за ручку, открыл окно и громко крикнул: «Милиция!» Мужик с испугу бросился в ближний двор, а счастливая дама поймала такси и благополучно улетела.

Была и первая любовь. Она ежедневно появлялась в окне на третьем этаже примерно в семь вечера. Выглядывала из окна и закрывала шторы. Как он понимал, девушка только приходила с работы и начинала переодеваться. В окне напротив трудно разглядеть детали. Он приближал лицо к стеклу, напрягал зрение… Молодая, лет двадцать. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты гребешком. Саша знал, что она его, разумеется, не видит, но всегда ей улыбался.

И однажды — о чудо! — она, кажется, заметила его… несколько раз — справа налево, слева направо — помахала ладошкой… Тогда он, сжав кулак, выставил большой палец: мол, ты прекрасна! А она похлопала себя пальцами по уху: дескать, не вешай лапшу на уши. И засмеялась. Так между ними установилось безмолвное общение. Теперь каждый вечер они разговаривали знаками. Жесты выразительней и ярче, чем слова. Сашу давно притягивало немое кино. Чарли Чаплин, Джоан Кроуфорд, Джин Харлоу, Пола Негри, Рудольфо Валентино без помощи слов и спецэффектов вызывают такую бурю чувств, какую не в состоянии передать ни один современный актёр.

Вечером, после семи, приходил с работы отец, ужинал, и начиналась самое увлекательное время — прогулка. Инвалидная коляска не входит в лифт, отец спускал её по лестнице на руках. Тяжело и неудобно. Но Саша ничем не мог ему помочь. Переживал — молча.

Они гуляли по вечернему городу, смотрели на светящиеся окна, где за шторами мелькали контуры людей. Вместе придумывали истории о том, кто может жить за занавесками и чем жильцы занимаются. Вспыхнет за шторами голубой свет — значит, включился телевизор, и, уютно устроившись на диване, семья смотрит фильм. Улыбаются, шутят. Вспыхивает свет на кухне — значит, семья садится пить чай. Каждый по очереди рассказывает, как прошёл день. Получаются маленькие истории. На прохожих Саша старался не смотреть, боясь встретить сочувствующий взгляд или удовлетворённую улыбку собственного превосходства.

И вот настал тот вечер, когда, к удивлению и ужасу, парень увидел метрах в десяти от своей коляски девушку из окна! Саша опустил голову и, стараясь не повышать голоса, сдавленно крикнул отцу:

— Пап, давай обратно!

Но отец не понял, и коляска продолжала катиться навстречу… чему?

Очень хотелось понять, узнали его или нет.

Узнали!

Он не понял, что выражается в устремлённых на него недоумевающих глазах, и снова крикнул:

— Папа, обратно!

Это было их единственное свидание — первое и последнее. Девушка продолжала появляться в окне напротив, иногда они даже обменивались жестами, но что-то неуловимое исчезло из этих безмолвных бесед…

…А потом наступила зима. Окна покрылись льдом, в них уже ничего не увидишь. Холодно. Много не погуляешь. А дома тепло, уютно и радужно от солнца, переливающегося в заледеневшем стекле. Саша как-то подышал на стекло — получилась проталина. Потёр проталину пальцем — кружок. Пусть это будет солнце! Провёл прямые линии-лучи…

Можно рисовать на стекле! Появились два сердца, одно плачущее, другое улыбающееся. Когда рисуешь, ты искренен. Рисунок отражает состояние души: уныние или радость, грусть или веселье. Но изображение на стекле недолговечно: полчаса — и оно исчезает, обрастая льдом.

Что ж… можно взять лист бумаги и карандаш. Выберем место для первого штриха. Карандаш шуршит по листу. Что получится, то и получится. В конце концов, лист всегда можно порвать и выбросить в мусорное ведро. Белое пространство листа стало быстро покрываться линиями, тенями… Саша, как фехтовальщик, делал выпады на лист бумаги, создавая образы, затем отъезжал, смотрел на своё творение со стороны и вновь, выставив карандаш, как шпагу, нападал.

У него появился девиз: «Либо ты боишься рисунка, либо он подчиняется твоей воле и фантазии!»

Он нарисовал себя спускающимся из квартиры по лестнице. Вот старые разношенные кроссовки — он именно такие любил когда-то… вот ступеньки лестницы в подъезде… Распахивается дверь, и ноги — раз-два, левой-правой — шагают по двору навстречу солнцу и людям!

Ещё движение карандаша — и он на велосипеде. Сумка покачивается и хлопает по ногам. Крутятся спицы. Ещё, ещё… Рисунок стал отчётливее, зазвенел, как струна.

Столько способов работы карандашом и кистью! Такие возможности сочетания красок…

Такая свобода, такая вселенская власть!

И вот он уже вылетает из окна, парит над крышами. Внизу одинокие прохожие зябко кутаются в пальто. Он летит дальше, не касаясь крыш. Небо уходит вглубь. Мелкий дождь сыплет, и воздух словно трепещет. Душа играет скрипкой сказочного счастья и робко улыбается.

Рисунков становилось всё больше и больше.

Долгожданная весна, как всегда, прорвалась внезапно… Хлынула потоком красок, оттенков, разноцветных бликов. Каждый день он получал бесценный подарок — то розовый отблеск на коричневом глянце берёзовой ветки, то серебристые гирлянды серёжек осины. Рисуя, он понял, что небо может быть не только голубым, но и пасмурным, серым; золотистым на рассвете, красным на закате, лиловым перед грозой. Купола небес бывают не только в вышине, но и под тобой, отражаясь в лужах; они могут путешествовать по окнам, по крышам домов! И луна бывает серебряной, багровой и даже чёрной. Незнакомка из дома напротив уже соткана из лёгких живых мазков. Прозрачный взгляд. Еле заметный румянец теплится на щеках. Облик её изменился. Перед ним другой человек. Будто женщина повзрослела за зиму.

И вообще — жизнь прекрасна!

Что будет дальше? Саша нарисует мир. Это будет земля, где нет жестокости и зла, где царят добро и счастье. Людям, по большому счёту, всё равно, на коляске ты или нет, если ты подарил им надежду. И кто знает, может быть, именно от твоего усилия зависит, как сложится их общая судьба. Ведь мир, в котором все мы живём, создан Тем, кто одолел одиночество.

ДиН ревю

Павел Рыков

Излом

Москва: «Вест-Консалтинг», 2014

Песенка о доле-недоле

А доля — вся та же недоля,
Когда не вожжа, так шлея,
И словно по мокрому полю
Раздолбанная колея —

Не вправо, не влево, не прямо:
Иди да башкой не мотай.
А вязко-то, мамочка-мама!
А долго-то! Где же тот край,

Где та — обнадёжьте — обитель,
Где хоть бы на четверть часа
Был чайник-начальник-спаситель
И лошади — мера овса?

Но всё невпопад и не впору,
Ни зги, ни на ней бубенца.
Всё в гору, да в гору, да в гору,
Да кнут по спине без конца.

* * *

У песни русской есть начало;
Она рождается, когда
О доски старого причала
Речная плещется вода.

Когда в причудливость созвучий
Река нечаянно вплела
И скрипы лодочных уключин,
И капли с лопасти весла.

И колокольный звон заречный,
И по-над берегом сады.
И тишину. И этот вечный
Ток убегающей воды.

И если сможешь ты смиренно
Предстать пред этой красотой,
Услышишь боговдохновенный
Напев земли своей родной.

Иса Айтукаев

Сублимация

Душан

Отдохнув пару дней на пляже Красного моря после тяжёлого перелёта, мы поинтересовались на reception, как обстоят дела с экскурсиями.

Что на пирамиды поедем обязательно — решили ещё дома, когда запланировали лететь в Египет: жена со школьных лет мечтала увидеть это «чудо света». Она выбрала маршрут практически без моего участия и сама определилась с датами. А я без особой надежды, что она согласится, предложил:

— Может, махнём в Израиль? Мёртвое море, Иерусалим…

Нас предупредили, что поездка будет утомительной, но моё желание побывать на земле, по которой ходили царь Давид, Соломон, Иисус Христос, Салах ад-Дин, Ричард Львиное Сердце… в стране, о которой я прочитал десятки книг и где мне заочно знаком каждый километр… это желание оказалось сильнее всех опасений.

От Хургады до Табы, пограничного с Израилем египетского города, лететь около часа. И в первый на нашем пути израильский город Эйлат мы приехали в четвёртом часу утра.

Здешние формальности пересечения границы нам, побывавшим во многих странах мира, показались просто кошмаром. Осталось такое впечатление, что потомки Моисея нарочно демонстрируют гостям, какие мытарства испытали их никем не принимаемые предки в своих сорокалетних скитаниях. Так и хотелось ухмыльнуться каждому из десятков пограничников: «Э, ребята, мы-то заплатили пошлину, чтобы посетить вашу страну. Нам куска хлеба не надо, нам зрелище подавай!»

После изнурительного двухчасового таможенного досмотра мы — еле живые — добрались до своего автобуса и почти сразу начали засыпать. Поэтому, когда нам представили гида по Израилю, никто в ответ даже слова не сказал.

— Меня зовут Душан, — сквозь дремоту услышал я спокойный мужской голос. — Я понимаю, вы не спали ночь, и я не прошу и тем более не требую, чтобы вы слушали меня внимательно. Но я буду непрерывно говорить и рассказывать всё, что я знаю об Израиле и о тех местах, где мы побываем. Вы, возможно, многое забудете из того, что я вам расскажу, но меня вы не забудете наверняка!

«Ого, — подумал я, — ничего себе заявки». С трудом открыв один глаз, я посмотрел на стоявшего рядом с водителем мужчину. Сразу было видно, что ему лет под семьдесят, хотя он и выглядел моложаво, я бы даже сказал — молодецки. От всех его движений, от жестикуляции и улыбки, от голоса веяло какой-то лёгкостью. Несмотря на то, что мой мозг уже абсолютно ничего не воспринимал, а этот голос скорее убаюкивал, нежели будоражил, я не захотел больше закрывать глаза и уставился на него. Одет он был даже слишком простецки: тёмно-серая футболка, чёрные брюки и зеленоватая панама. Складывалось впечатление, что он их не снимал уже несколько дней, но это не отталкивало, а даже, наоборот, притягивало, как будто этим он давал понять, что он тут дома, а мы — внезапно заглянувшие к нему гости.

— Имя моё Душан — производное от «душа». Я серб, и у нас много подобных имён. Вы, наверное, их слышали: Златан, Драган, Милан, Слободан и так далее, — с добродушной улыбкой, как будто он разговаривает с маленькими детьми, продолжал гид, чуть наклонив голову.

Через некоторое время, покинув кресло, чтобы окончательно прогнать сон и размять затёкшие ноги, я оглядел салон автобуса и приятно удивился: никто не спал. Хмурые и злые ещё полчаса назад лица как-то по-детски сияли. Туристы во все глаза смотрели на гида, и каждый подмигивал ему, будто он общался только с ним.

Душан рассказывал об искренне любимом Израиле, о войне, вынудившей его двадцать лет назад покинуть дорогую Сербию, о своей семье… Мы заслушались и не заметили, как забелел день. К Мёртвому морю приехали на рассвете. Нам объявили, что у нас есть час на купание, потом завтрак — и дальше отправляемся в Иерусалим.

Солнце, как огненный шар, медленно поднималось, отражаясь на воде сотнями всполохов, и казалось, что море вот-вот загорится. А тёмные песчаные горы вмиг приобрели густо-красный оттенок.

«Красное море — не оттого, что там водоросли красные, — мелькнуло у меня в голове, — а из-за того, что горы красные. Прямо как Красноярск — Красный Яр».

…Едва расселись по креслам после приятных солёно-солнечных ванн и лёгкого завтрака в придорожном кафе, почти вся группа мгновенно засопела, чему не стал противиться даже наш добрый весёлый Душан.

Я невольно пожалел нашего водителя, он ведь тоже, скорее всего, ночь провёл не в постели. Обычно в таких поездках всегда имеется напарник, но Душан рассказал, что наш водитель—потомственный проводник. Его предки—бедуины—служили в этих краях проводниками караванов, и тот может без устали, сутки напролёт, находиться за рулём.

Сколько я ни сопротивлялся—не хотелось ничего пропустить,—но и у меня веки налились свинцом, и голова стала падать на плечо…

Проснулся я, когда объявили, что скоро Иерусалим, и по всему салону началось лёгкое шуршание. Но особого шума не было: никто не шебаршил, как обычно, ручной кладью. Все, затаив дыхание, слушали увлекательные истории о древнем городе. Было заметно, что каждый живёт своими впечатлениями от этих историй и, уставившись на серую полоску дороги между бело-голубым небом и тёмно-жёлтой землёй, с вожделением ждёт свой город, свой Иерусалим.

Через несколько километров Святой город открылся перед нами!

Древнейший город мира, город трёх мировых религий, где прекрасно уживаются христиане, иудеи и мусульмане. Сюда приезжают евреи всего мира почтить гробницу Давида, мусульмане—посетить мечеть Омара и скалу, с которой Мухаммед вознёсся в небо, христиане—поклониться Гробу Господню. И ещё утверждают, что здесь находится место погребения первого человека—Адама.

Душан начал экскурсию с Елеонской горы, или горы Маслин, как ещё её называют, откуда Иисус на белой ослице въезжал в город. Гид делал акцент на религиозном характере легендарных событий, а меня всегда интересует исторический аспект, вплоть до мелочей. Например, почему Иисус въехал в Иерусалим на белой ослице? Ведь триумфальные шествия обычно совершали на белых конях. Почему люди, встречавшие Иисуса торжественно, подстилали под ноги ослицы цветы и ветви, радовались ему как Мессии, потом хором требовали его казни? Где брали корм для ослов и лошадей те же крестоносцы или воины армии Саладина, когда во все времена тут кругом были одни песчаные горы и практически ничего не растёт? Почему Ричард Львиное Сердце, осадив город, не стал его штурмовать? Как случилось после смерти мудрого царя Соломона, который царствовал сорок лет, что богатейшее и сильное государство Израиль распалось на две части?

Между тем наша группа приблизилась к Гефсиманскому саду. За металлической оградой—восемь маслин с каменными стволами, остатки некогда большого оливкового сада.

Далее—путь на Голгофу. Если бы не Душан, который продолжал захватывающий рассказ и вместе с тем следил, чтобы никто из нас не потерялся, я бы подумал, что нас ведут по грязному восточному базару. Крестный путь, или Путь скорби, или третье, приятное для нашего слуха название—Виа Долороза, я бы назвал «Проходом через строй». Помните у Тараса Шевченко? Со всех сторон, на каждом метре—торговые лавки, мусор, грязь, старые, с облупленной краской окна, ветхие, обшарпанные двери, перекошенные ржавые ворота. Наверное, единственное, что сохранилось на этом пути за две тысячи лет,—эти магазинчики, склады и подсобки торгашей. Воистину прав Экклезиаст: «Что было, то и теперь есть, что будет, то уже было».

Как только мы вырвались из этого коридора, сразу очутились во дворе, где народу было… ну если не весь мир, то представители всех стран—это точно. Ну, я понимаю—христиане, евреи, мусульмане тоже, но что у храма Гроба Господня делают японцы?

Душан улыбнулся:

—Ты ведь тоже не христианин, но хочешь попасть ко Гробу Иисуса!

—Э, Душан, у меня-то хоть есть причина, я же Иса, то есть по-русски—Иисус.

—А почему у тебя еврейское имя?

—Нет, это древнее чеченское имя, переводится «небесная душа».

—О,—рассмеялся Душан,—так мы с тобой тёзки?

Пока Душан где-то уточнял график очерёдности, я с любопытством стал рассматривать храм. Два входа, но один почему-то заложен. Карнизы над входом и стены—в убогом состоянии, всюду чернота—наверное, лет пятьдесят никто не чистил, каменная кладка кое-где осыпалась…

Любопытный факт: возвёл его Константин Великий, он же объявил христианство государственной религией Римской империи, а сам до самой смерти оставался язычником, хотя церковь признала его святым.

Храм Гроба Господня разделён между шестью конфессиями христианской церкви: католической, армянской, коптской, греческой, сирийской и эфиопской,—и у каждой свои места и часы молитв. А из-за того, что они постоянно конфликтуют между собой (и что их мир не берёт?), ключи от храма хранятся у двух мусульманских семейств. Хм, может, Ричард Львиное Сердце предвидел это и поэтому не стал штурмовать Иерусалим?

Да ладно, Бог им судья! А нас Душан торопит внутрь, он там договорился, кажется, с греческим гидом, что мы идём вместе с его группой. Молодец Душан, везде свой!

Рано было радоваться. И здесь очередь. Сказали, минут сорок придётся стоять. Металлические

стойки-ограждения образуют проход ко Гробу Господню — в метр шириной. Давка — как у нас в советские времена за водкой. Вспомнился сюжет, показанный по тв несколько лет назад: на Пасху здесь подрались армяне и греки. Но мы не армяне, и греки к нам вполне толерантны.

Меня не особенно беспокоило, попаду я туда или нет, поэтому, оставив жену в очереди, я решил посмотреть другие помещения. Потом это очень пригодилось: возможности Душана внутри храма ограничивались, и каждый сам ориентировался, куда ему идти. Душан, конечно, мог выйти на улицу и ждать нас там, но он стойко пребывал всё время рядом с группой и своей обаятельной улыбкой поддерживал подопечных.

Освещение всюду очень слабое, полумрак… будто специально поддерживают атмосферу религиозного таинства или приближают к жизни двухтысячелетней давности. Но почему-то на ум приходит только: «темно, как в гробу»…

Странно, никогда прежде не обращал внимания на телосложение священников. Здесь те, что следят за порядком, — высокие и крупные, прямо гренадеры, поэтому, наверное, и полицейских нет, как у нас: чуть какой церковной праздник или событие — на каждом шагу страж порядка.

Но больше всего меня поразила другая картина. За несколько минут до очереди моей жены я подошёл ко входу к Гробу Господню, чтобы уточнить, как и откуда фотографировать её, когда она будет молиться. Я встал как вкопанный, увидев, как священнослужители обращаются с паломниками. Здоровенный детина стоял над теми, кто опускался к камню — приложиться губами и перекреститься, и наказывал каждому: «Четыре секунды, четыре секунды». А если кто задерживался хоть на секунду, хватал за волосы и натуральным образом вышвыривал долой.

Я был так ошарашен, что уже хотел вывести жену из очереди. Но, придя в себя, поймал момент и заявил этому ловцу душ человеческих:
— Скоро пойдёт моя жена, я буду её фотографировать, не вздумай даже пальцем к ней прикоснуться.

Он ничего не ответил и, отвернувшись от меня, продолжал своё «богоугодное» занятие.

Жена, увидев всю эту суматоху, растерянно посмотрела на меня. Я шепнул ей, чтобы не беспокоилась и не торопилась; она, войдя, совершенно успокоилась и неспешно — секунд двадцать — под щёлканье фотоаппарата совершила необходимые ритуальные действия. «Цербер», как я про себя его назвал, куда-то исчез и появился, когда мы выходили.

Ступеньки на Голгофу очень крутые и узкие. Одновременно двоим подняться практически невозможно. Так что и здесь образовалось столпотворение. Полутьма и чернота стен создавали эффект скорее мрачности, чем святости, несмотря на мозаичные сюжеты распятия и снятия тела Иисуса с Креста.

У камня миропомазания, на котором лежал Иисус после снятия с Креста, тоже стояли два «цербера», запрещавшие фотографировать.

На улице собралась уже вся группа.
— Ну как вам? Понравилось? — спросила спутница, с которой мы были знакомы ещё по экскурсии на пирамиды в Гизе.
— Бедный Иисус, — съязвил я, — боролся с идолопоклонниками, а из него самого сделали идола.

Жена посмотрела на меня осуждающе, и я решил молчать, чтобы не омрачать торжественность ситуации: ведь она теперь паломница Гроба Господня! Чрезмерно религиозной она никогда не была. Но тут, как ребёнок с новой игрушкой, стала показывать тем, кто не поднимался на Голгофу, платок, которым обтёрла камень миропомазания, утверждая, что он пахнет миром. Я тоже понюхал, но ничего не унюхал…

У входа на территорию Стены Плача, или, как её евреи называют, Западной стены, стоят полицейские. Выглядят они и ведут себя весьма устрашающе. Фотографировать, как и везде здесь, строго запрещено. Но полицейские каким-то непонятным образом больше располагают к себе, чем отталкивают. На посту их трое: двое высоких, хорошего телосложения, парней и молодая девушка. Я не удержался, чтобы не воспользоваться моментом, и попросил разрешения сфотографироваться с ней. Она была прекрасна и фигурой, и лицом. «Наверное, Ревекка выглядела так же», — промелькнуло в голове, лишь вспомнил я жену Исаака, которую он, когда пришёл к филистимлянам, представил как свою сестру, испугавшись, что из-за её красоты его убьют.

То, что Душан рассказывал о Стене Плача, оставшейся от храма Соломона, относилось, конечно, к религии, но меня всегда интересует история. Да, храм построил царь Соломон, и это было грандиозное сооружение тех времён. Внутренние стены, пол и потолок были покрыты пластинами из чистого золота. Храм полностью был разрушен вавилонским царём Навуходоносором, и почти все богатые люди были угнаны в плен. Здесь оставили только работников для ухода за виноградниками и других работ.

Когда персидский царь Кир Великий захватил Вавилон, он освободил евреев, вернул им их золото и серебро и отпустил обратно в Израиль. Только непонятно, за какие заслуги Кир оказал им такие почести, — ведь последнего царя Лидии Креза он держал в плену при себе и всё его богатство присвоил.

Так вот, храм восстановил царь Ирод Великий, вернее, даже не восстановил, а отстроил заново. И стена эта осталась от храма Ирода, когда в семидесятые годы нашей эры римляне по приказу

Тита, о котором говорят как о самом милосердном императоре Рима, воскликнувшем, вспомнив, что за день не совершил ни одного благодеяния: «Друзья, я потерял день!» — окончательно его разрушили. И уже почти две тысячи лет евреи всего мира приезжают сюда с молитвами и записками и суют их в расщелины между камнями.

Невольно приходит на ум: «Если бы все, кто приходит к этой стене, оставили бы вместо записок по одному доллару — давно бы восстановили храм и молились бы и плакали себе внутри».

Стена разделена на две части: женщины идут направо, мужчины налево. Не отсюда ли пошло выражение «ходить налево»?

Записок в расщелинах множество — спичку не просунуть. Я забеспокоился, как жена втиснет более десятка записок, что передали друзья и знакомые. Интересно, что они там понаписали?!

Вообще — интересно наблюдать за людьми. Многие, кто семьями, кто поодиночке, сидели за столами и читали молитвенники, некоторые просто общались, иные молча сидели, уставившись в невидимую точку. По разнообразию одежды можно было угадывать, откуда кто приехал. Подойти к самой святыне было не очень просто, пришлось подождать, когда где-то образуется «окно». Пройдя вдоль стены, в правом углу я обнаружил свободное место и приложил руки к стене. Постояв пару минут с закрытыми глазами, не зная, что просить и у кого просить, я, вспомнив слова Экклезиаста, что «всё на свете суета сует», отошёл. И тут моё внимание привлёк одиноко стоящий мужчина. Не знаю, есть ли в Израиле бомжи, но даже если и есть, в любом случае они не такие, как наши… климат другой. А этот бродяга был одет как наши бичи, которые живут у мусорных баков и в подвалах. Близко к нему я не подходил, но почему-то понял, что от него нет такой вони, как от наших бомжей, несмотря на то, что он одет был в длинное драповое пальто, тёплые брюки, зимние кроссовки, и на голове плотная шляпа. Всё это было в такой грязи и пыли, будто он ползком добирался до Иерусалима по пустыне. Но я готов утверждать и верить, что его молитва дошла до адресата в первую очередь, оставив далеко позади слёзные просьбы тех, кто здесь сегодня молился. Он не плакал, как некоторые, стуча лбом об стену, не качался, сложив руки у груди, и не стоял на коленях, упёршись головой в камни. Медленно и нежно перебирая пальцами, он облизывал стену. Нет, нет, не языком — лбом, носом, подбородком и щеками. И на лице у него было такое умиление, такая нежность и удовлетворённость, что я не в силах сравнить это с чем-то человеческим. Уходя, я ещё раз оглянулся на него и подумал: «Дай ему Бог то, чего он желает».

Немного за полдень нас повезли на обед в ресторан. Я был уверен, что в меню свинины нет, так как Библия её категорически запрещает, и очень удивился, что в Израиле свинина водится.
— А как же закон, что нога свиньи не коснётся Святой земли? — спросил я у Душана.
— Она и не касается, — рассмеялся он. — Евреи нашли выход. Они строят свинарники на метровой высоте от земли.
— Хитро! — рассмеялся и я, но решил не сдаваться. — А как тогда глава четырнадцатая, стих восьмой «Второзакония» и глава одиннадцатая, стих восьмой из «Левита», что свинина нечиста?
— Ну, не все святые на Святой земле, — улыбнулся Душан.

Слегка перекусив, мы с женой вышли на улицу. Я оставил её поболтать с женщинами, а сам подошёл покурить к мужчинам, игравшим в домино за длинным столом под навесом.
— О, как у нас в России во дворах! — сказал я Душану, указав на доминошников.
— Ага, увидишь ты нынче, чтобы в России во дворах играли в домино, — одесским говорком отозвался один из игроков. — Там сейчас только пиво и водку пьют в гаражах.
— Значит, старые русские традиции сохранились только в Израиле, — хмыкнул я, вспомнив, что действительно давно не видел, чтобы, как в советские времена, мужики собирались по вечерам «забивать козла».

Несмотря на нашу усталость, обратный путь, благодаря увлекательным рассказам Душана, оказался лёгок и не утомителен. За день Душан действительно стал для нас родным. Когда автобус остановился у Мёртвого моря, где он должен был распрощаться с нами, вся группа кинулась к нему обниматься.

Улучив момент, когда Душан остался один за столиком на улице, я с чашкой кофе подсел к нему. Мы разговорились о его семье, о Сербии, о сербском языке. Двадцать пять лет назад я изучал сербский на филологическом факультете — в памяти остались некоторые слова и выражения… я даже по-сербски напел Душану песенку «О, Марианна»… Он был совершенно растроган, пожал мне руку:
— Приятно, что в далёкой Сибири есть человек, которому так интересна культура Сербии.

И всё же по-настоящему Душан удивил, когда наш автобус только тронулся. Он догнал нас при выезде на трассу. Мы подумали, что он что-то оставил в автобусе, и все как один обрадованно закричали, когда он, войдя в салон, выпалил:
— Друзья, я же обещал вам показать жену Лота…

Остаток пути вся группа наперебой задавала вопросы, болтала с Душаном как с человеком, по которому все успели соскучиться. Автобус остановился на берегу моря, на изгибе дороги, когда Душан закончил притчу о Содоме, Лоте и его жене.

— И вот что получается, если жена не слушается своего мужа,— шутливо воскликнул он и указал рукой на гору справа от нас.

Все прильнули к окнам и заахали. У самой вершины песчаной горы к нам спиной стояла одинокая человеческая фигура, действительно похожая на оглянувшуюся женщину.

— А теперь, друзья мои,— печально оглядев всех, объявил Душан,— я вас… покидаю! И не заставляйте меня оглядываться назад. Иначе я превращусь в соляной столб.

Никто не вымолвил ни слова, все дружно зааплодировали…

На следующий день, когда в полдень мы с женой появились на пляже, нас обступили друзья:

— Ну, как там Израиль? Интересно? Что понравилось?

Мы, будто сговорившись, в один голос ответили:

— Очень понравился гид!

Я усмехнулся и откинулся на лежаке.

— Что ты смеёшься?— удивлённо спросила жена.

— Нет, ничего… Просто вспомнил первые слова Душана: «Вы, возможно, всё забудете, что видели и слышали, но меня вы не забудете наверняка».

Сублимация

Несмотря на то, что в родном селе я бываю ежегодно, в свою школу, где учился с первого по десятый класс, более тридцати лет ни разу не заходил. Не получалось как-то. Если я приезжал летом, там никого не было, кроме строителей, которые в основном красили полы и белили стены. А если приезжал осенью, то не видел смысла идти туда: учителям всё равно не до меня. Но на этот раз любимая племянница Имашка попросила, чтобы я зашёл за ней после уроков. Лучше бы я этого не делал.

Во-первых, я был потрясён состоянием школы. Повидавший десятки учебных заведений, оборудованных по последнему слову современности, я увидел классы семидесятых годов прошлого века. Всё те же парты и доски. Всё те же обшарпанные полы и сыплющие извёстку стены.

А во-вторых… Только я взял за ручку первоклашку-племянницу и направился к выходу, мой взгляд привлекла кудрявая, с озорными глазами девчонка лет четырнадцати-пятнадцати. Это была… Она. Я зажмурил глаза и тряхнул головой, чтобы отогнать наваждение. Конечно, этого не могло быть, ведь прошло столько лет, Она уже бабушка. Возможно, эта девочка — просто какая-то Её родственница… да-да, конечно, скорее всего… Всю дорогу до дома племянница, не умолкая, о чём-то болтала, спрашивала, но я… я уже был далеко…

Как получилось, что в восьмом классе мы с ней оказались за одной партой, не помню совсем. Не могу вспомнить даже, какая она была с первого класса: как училась, с кем сидела. Но, оказавшись с ней рядом, я стал уделять ей больше внимания, чем другим девчонкам. И был приятно удивлён, узнав её поближе. Тамара была отличницей, но при этом — на редкость весёлым и обаятельным человеком. А я… мне даже нравилось, когда приятели называли меня «двоечником».

Бывало, вызовут к доске — а я встаю и громко заявляю:

— Я сегодня не готов!

— Садись, два!— разводили руками учителя.

— Ничего другого и не ожидал,— шутил я.

Если честно, я почти всегда был готов к уроку, но очень не любил «выставляться» перед всем классом. Удивлялся «ботаникам», которые тянули руки, чтобы выйти к доске. Что у них за страсть такая — заучивать домашнее задание и вымаливать одобрение учителя, чтобы назавтра едва вспомнить хоть слово из того, за что получили вожделенную пятёрку?!.. Другое дело, когда начинался так называемый «фронтальный опрос» и можно было отвечать с места. Тут уж я бывал на высоте! Тома тоже никогда не тянула руку, но если её вызывали, раскладывала всё по полочкам на «отлично». Кажется, именно я отучил её проситься к доске. По крайней мере, в начале учебного года, увидев, как она изо всех сил старается попасть на глаза учительнице, я усмехнулся:

— Вызубрила?! Рвёшься отзубрить?

Так повелось и дальше: я нарочно ёрничал, дразнил её, она отвечала мне тем же. Но как-то во время осенних каникул я почувствовал, что рвусь скорее в школу, чем прежде похвастаться не мог… Да-да, жду с нетерпением окончания каникул, чтобы снова оказаться с ней за одной партой. Поймав себя на этих мыслях, я, конечно, первым делом постарался отогнать их… «Ерунда,— объяснял я свои переживания,— просто скучаю по одноклассникам». Но это было не так.

Я непрестанно думал о ней. Каждый день хотелось видеть её, быть с ней рядом, слышать её звонкий заразительный смех — так никто не смеялся из наших девчонок.

В последний вечер каникул я сам не заметил, как оказался возле её дома. Ещё час назад я твердил себе, что завтра в школу и я её увижу. До глубокой ночи, трепеща от волнения, ходил я под единственным окном, которое в её доме выходило на улицу, в надежде, что это её окошко и она там появится. Мои надежды оправдались. Тома промелькнула в комнате… Всего несколько секунд, но я едва удержался, чтобы не постучаться. Мною овладело какое-то эйфорическое чувство. Я побрёл домой с лёгким туманом в голове, чтобы завалиться в постель и предаться идиллической истоме…

Мы учились с обеда, но ещё за два часа до занятий я уже бродил вокруг школы, прекрасно зная, что она приходит за десять-пятнадцать минут до начала уроков. Устроившись за партой, я буквально замер в ожидании, но когда она вошла и села рядом, я будто погрузился в сон. На душе стало легко и спокойно, словно я не в классе, а где-нибудь на лесной поляне… шум листвы, пение далёких птиц… До самого конца занятий я был — неожиданно для самого себя — задумчив и молчалив, будто боялся, что она догадается о моих чувствах. Я не знал, что делать, как вести себя, как ей сказать, как сделать первый шаг. Ведь столько прочитано книг про всё это! Но почему-то всё казалось не то. В книгах — другое! А тут — воздуха не хватает. Мыслей — океан, а голова пустая.

Тамара тоже молчала, и мы практически ни о чём не поговорили. Только зыркнет своими озорными глазами, улыбнувшись, уткнётся в тетрадь — и всё.

Вечером, когда стали расходиться по домам, она — уже у двери — оглянулась и шепнула:

— А я тебя видела вчера вечером, — и, подмигнув вызывающе, удалилась быстрыми шагами.

Я был сражён! Ну не могла она видеть меня ночью! Вся улица была темна. Не горел ни один фонарь у её дома. И никто меня не видел!

После ужина я побрёл к другу: может, у него отвлекусь чуть-чуть, развеюсь. Вчера ещё не мог дождаться, когда с ней встречусь, а сегодня вёл себя как идиот. Может, друг что подскажет, посоветует. Они, некоторые друзья мои, с седьмого класса с девчонками дружат, переписываются.

Но, чёрт подери, друг живёт на другой улице, а я… Я у её дома!

Как хорошо, что сельский электрик так халатно относится к своим обязанностям, и фонари на её улице никогда не горят! Стою у её ограды, в двух шагах от заветного окна. Свет в комнате горит, шторы не задвинуты, и обзор отличный, только её в комнате нет. Наверное, сидит с родными на кухне. Я долго стоял, безотрывно глядя на входную дверь, и наслаждался своими фантазиями… Примерно через час, когда она, наконец, появилась и, взяв книгу со стола, пошла к выходу, я бросил камушек в стекло. Стук был очень слабый, но она остановилась, повернулась к окну, покрутила пальцем у виска, сделала рукой «пока», выключила свет и ушла.

Присаживаясь к ней на следующий день, я постучал себе пальцем по лбу и шутливо шепнул:

— Сама ты товось!

Она беззвучно расхохоталась и, отвернувшись, просидела так пол-урока.

— И чего молчишь целый день? — не выдержал я.

— У тебя вчера научилась. Мы же в молчанку играем?!

Две недели прошли как в тумане. Я так и не решился сказать ей о своих чувствах. Вместо нежных слов мы кидались друг в друга безобидными колкостями. И вот однажды мне передали записку…

«Прошу тебя, — писала Тома, — не ходи у моего дома по вечерам. Я боюсь, что узнают родные».

Я был ошарашен. Я ей ещё ничего не сказал, а она уже…

По глупости я показал записку друзьям, и они с мальчишечьим азартом начали советовать мне… ответить какой-нибудь грубостью. Да, советовать легко, написать слова просто, но что делать с душой, которая трепещет от одного её взгляда?

Я долго не мог успокоиться и перед сном написал свою первую записку: «Мы с тобой никому, тем более твоим родным, не давали основания подумать что-то непристойное. Да, я помню наши кавказские обычаи: честь девушки превыше всего. Но что мне делать со своим сердцем? Я не в силах ему что-то приказывать и запрещать. И как мы сможем — из-за каких-то предрассудков — отказаться друг от друга?»

Конечно, Тамара, как любая девочка-подросток, которая никогда, кроме как по телевизору, не слышала о высоких сердечных чувствах, не смогла прервать, в сущности, ещё и не начавшиеся отношения, чему я обрадовался безмерно и витал от счастья в облаках. Я был готов ради неё совершить что-то необыкновенное, какое-то чудо, героический поступок. Но всё вокруг шло своим чередом. Обыденно. Как всегда.

В классе стали замечать наши отношения, Тамару это пугало и расстраивало. А я, наоборот, готов был кричать на весь класс, на всю школу и на всё село, как я её обожаю и как она прекрасна! Как я мечтаю носить её ежеминутно на руках, целовать её самые прекрасные на свете глаза!

Теперь мы были почти неразлучны. Всегда вместе, как два голубка, нежны друг к другу и ласковы. Наша наигранная сдержанность куда-то улетучилась. Уроки пролетали как одна минута. Мы никого не видели и не слышали, жили в своём волшебном мирке. Даже учёбу забросили оба. Учебники приходилось читать по нескольку раз, потому что ничего, кроме мыслей о Тамаре, в голове не задерживалось. Хорошо хоть, сама она умудрялась как-то сосредоточиться на заданных предметах и выручать меня своими подсказками. И однажды всё-таки вспылила:

— Ну хватит, перестань окружать меня всюду собой. Мне уже стыдно перед девчонками.

Вспылил и я. Заставил себя не ходить вечерами на её улицу, общаться с ней только в школе или случайно встретившись на улице. Это было невыносимо, но я терпел.

И вдруг… Первого мая мы всем классом устроили на поляне у реки небольшой пикник. Разговор зашёл о том, кто и что будет делать после восьмилетки. Когда несколько одноклассников сказали, что поедут учиться в город, Тамара заявила:
— А я поеду поступать в педучилище…

Гром среди ясного неба! Как? Каких-то пара месяцев — и её не будет в селе? И я два года буду сидеть за нашей партой один? Или, не дай боже, с другой девчонкой? Не буду нежно гладить под партой её руку? Не будет тайных «поцелуев»… когда незаметно для других, но так, чтобы она увидела и почувствовала, прикоснёшься губами к кончику своего пальца — а потом проведёшь им по её пальчику и настаиваешь просящим взглядом, чтобы она приложила его к своим губам… Не слышать её волшебный голос! Не видеть её глаза! Глаза, в которых я читал всё, что она хотела сказать, без единого слова. Глаза, которые научился понимать!

Я вдруг осознал: надо что-то делать! Если я и дальше буду, как в эти несколько месяцев, сдерживать свои чувства, то могу потерять её навсегда. Я не мог допустить этого. Я знал, что люблю её, хотя никогда ей этого не говорил и не писал. Сам не знаю, почему я ни разу не признавался ей в любви. Может, сказывались наши чеченские обычаи, чеченский язык, где нет слов любви. Вместо: «Я тебя люблю», — здесь говорят: «Ты мне нужна». Считается, что это больше значит!

В тот же вечер мы встретились и долго объяснялись. Вернее, объяснялся я. Чуть ли не умолял её не уезжать, убеждал, что нельзя этого делать, что я не смогу без неё.
— Да, я тоже тебя сильно люблю. Но мы ещё молоды, нам нужно учиться в первую очередь, а потом думать о любви, — отвечала она и, наконец, всхлипнув, убежала домой.

Уснул я под утро, но всё равно проснулся рано. В голове только одна мысль: как её остановить, удержать возле себя ещё два года? Потом, после десятилетки, поехали бы поступать вместе. Где найти такие слова? Я долго сидел над тетрадью и писал, зачёркивал, рвал и снова начинал, а когда закончил, поразился сам. Это были стихи!

> В глазах ночная тьма,
> И где-то бродит голова…
> И нету в мире слов,
> Чтоб описать мою любовь.
>
> Как милы в небе облака!
> И на полях цветёт трава!
> Всё это я не замечал,
> Пока тебя я не узнал.
> Сегодня мы ещё юны,
> И не по-взрослому нежны,
> И слышим музыку любви,
> Что сохранить в годах должны.

…Тетрадный листок с моими первыми стихами я положил на парту перед ней:
— Прочти!

Она внимательно оглядела листок и начала читать. Я незаметно следил за её лицом… Тамара читала и… постепенно краснела… «Если похвалит стихи, — подумал я, — значит, ничего не поняла».

Некоторое время она не поднимала голову, затем резко повернулась и посмотрела на меня. Вот так, наверное, и сияют глаза — от восхищения. Слава Богу, она — поняла. С тех пор у меня появилась исключительная возможность объясняться с ней стихами, и я каждый день приносил ей новое стихотворение. Через неделю общая тетрадь была исписана полностью. Как-то, прочитав очередной стишок, она призналась мне:
— А я всегда знала, что ты увлекаешься поэзией. Я это чувствовала — по твоим глазам…

Я осторожно, чтобы никто не заметил, взял под партой и нежно сжал её руку. Как мне прекрасно с ней! Как сладко кружится голова, и так хочется, чтобы это было вечно, навсегда. Так хотелось крепко-крепко прижать её к себе и поцеловать. Целовать её глаза, щёки, губы, но… я не мог себе этого позволить…

Однажды я рассказал ей об этом, но она отшутилась:
— Мы ещё маленькие для таких вещей.
— Какие там «ещё маленькие»?! — сердился я. — Пятнадцать лет — нормальный возраст.

В середине мая, когда до конца учебного года оставались считанные дни, войдя в класс, я застал свою любимую в каком-то необычном возбуждении. Раскрасневшаяся, она, пожалуй, слишком громко болтала с подружками, слишком звонко смеялась… Я не удосужился узнать, в чём дело, и, не догадываясь ни о чём, быстро написал длинное стихотворение, которое заканчивалось так:

> Твои глаза сегодня так горят,
> Биение сердца не унять.
> И если вдруг оно взорвётся,
> Готова ль ты со мной проститься?

Она прочитала, посмотрела на меня странным, до сей поры незнакомым взглядом — сквозь меня, в какую-то даль, затем вернула мне тетрадь и вышла из класса. Сердце у меня действительно кольнуло, но я решил не придавать значения всем этим странностям. Так не хотелось мне выходить из своей лирической эйфории, где любая приятная мелочь сублимировалась до божественности.

Но в тот же день я получил удар… Как говорят в боксе, полный нокдаун! Оказалось, как я узнал, она согласилась на дружбу с другим парнем из девятого класса. Я был раздавлен и потерян. Ночью меня била лихорадка. Только закрою глаза — Тамара

передо мною с этим своим странным, сквозящим взглядом. Как будто смотрит на меня, а видит его…

Наступал опять полдень. Полдень, который я целый год каждодневно лелеял и приближал как мог. Полдень—воспетый в моих первых, полудетских, наивных, но таких чистых, искренних стихах!.. Впервые я не желал его наступления. Я мечтал о ночи, где покой и тихие страдания. О ночи, которая покрывает всё, и ничто не отвлекает тебя от сладких мыслей, только гулкое биение сердца… его сигналы, от которых на тёмном стекле окна появляется её лик. Ты хочешь размазать, развеять этот облик, но не в состоянии этого сделать. Мысли уносят в неведомые дали, а сердце возвращает туда, где боль и мучения. И не верьте, что мозг сильнее сердца, что мозг может заставить сердце подчиняться ему. Никогда этому не бывать! Сердце заставляет разум предавать забвению тысячу людей и сосредотачиваться на одном человеке, порою—на всю жизнь…

И сегодня, в этот ненавистный полдень, я должен быть в школе. Не хочется попадаться ей на глаза. Ужасно, противно видеть её, слышать её голос и этот смех, от которого ещё недавно я сходил с ума. Меня раздражало в ней всё, её случайные прикосновения могли довести меня до бешенства. Через пару дней, хладнокровно отсидев с ней за одной партой, я не выдержал и пересел на пустующую «камчатку». Во мне кипела злоба, и, чтобы выплеснуть всю эту желчь, я написал ей, по моим понятиям, оскорбительную записку… С ответом она не заставила ждать. Написала какую-то несуразицу: «Я люблю тебя и буду любить всегда, но этот парень… он тоже мне нравится. Я каждый вечер читаю твои стихи, посвящённые мне, и ночами думаю о тебе. Жду, как в твоём стихотворении, когда наступит полдень. Да, кстати, зачем ты показывал девчонкам стихи, написанные мне? Если хочешь, порви их, так как они ни к чему теперь». Вот так вот! Сердце разбила, как фарфоровую чашку, а теперь и стихи—на мусорку? О женщины, как мир вас терпит до сих пор?!

Прошло несколько дней. Я немного успокоился и, как маленький ребёнок, которого обидели и наказали, а через пару минут приласкали, опять возгорелся желанием видеть её. Ненависть куда-то исчезла, злоба утихла, как внезапный ветер, побушевавший несколько минут и умчавшийся в далёкую степь. Правильно гласит народная поговорка: «От любви до ненависти один шаг»,—а у меня—наоборот: от ненависти до любви—одно ласковое слово. И я, как преступник, которого тянет на место преступления, опять оказался у её дома. Изначально настроил себя: издали посмотрю на неё и уйду. Затем начал тешить себя соображениями, что раз любит, значит, не всё потеряно и у меня есть шанс всё вернуть. Она наверняка согласится. Вот и окно не зашторено: точно, ждёт! Подошёл ближе… стоит моя Тамара и рассматривает фотографию нашего класса, снятую недавно. Почти независимо от моей воли рука моя сама собой подняла камушек с земли… негромко звякнуло стекло… Тома отложила альбом, посидела несколько секунд в раздумье и шагнула к двери. Я бросился к калитке и, всеми силами стараясь сдержать волнение, прислонился к столбу. Она вышла, молча встала в двух шагах от меня. Мы смотрели друг на друга. При лунном свете она была ещё прекраснее, я не мог отвести глаза.
—Тома, Тома…—тяжко вздохнул я.—Как я устал…
—До завтра,—прошептала она и, тихо прикрыв калитку, удалилась в дом.

На следующий день, тридцать первого мая, мы всем классом отправились в лес за цветами для учителей к завтрашнему первому экзамену. Углубляясь всё дальше в чащу, разделились на маленькие группы. Я шёл впереди.
—Идите сюда. Со мной не пропадёте,—позвал я остальных, уверенный, что товарищи идут следом.
—Не пропадёшь,—услышал я за собой голос Томы.

Оглянувшись, я обнаружил, что мы с Томой действительно здесь одни, остальные пошли другой тропинкой. Я непроизвольно шагнул к ней, но она, улыбаясь, скомандовала:
—Идём-идём…

Я нехотя побрёл по извилистой дорожке среди деревьев и через полсотни шагов вышел к небольшой поляне, усеянной ромашками и фиалками.
—Вот, я же знал, куда идти!..

Тома тоже обрадовалась, начала рвать цветы и складывать их на траву в одну большую охапку. А я опустился на упавший сухостой, обвитый зелёным мхом, и наблюдал за ней. Когда она оказалась в паре шагов от меня, я привлёк её к себе и водрузил ей на голову только что сплетённый пышный венок из ромашек. Она изумлённо посмотрела на меня. А я взял её за локти, приподняв, подсадил на валежник и восторженно уставился на её глаза, сияющие из-под венка за охапкой лесных цветов. Не в силах больше сдерживать нахлынувшие чувства, я медленно потянулся к её губам.
—Нельзя,—строго сказала она и закрыла лицо букетом.
—Любви без поцелуев не бывает,—выпалил я и отвернулся.
—Дурачок ты мой,—ласково прошептала Тома, потеребив мои волосы и погладив по голове.

Я знал, что эти слова—высочайшее проявление её нежности, и поэтому закрыл от удовольствия глаза… земля поплыла у меня под ногами…

Но тут послышались голоса наших товарищей. Тома соскочила с дерева и, послав мне воздушный поцелуй, побежала к ним. Я постоял ещё немного, разглядывая всё вокруг: деревья, цветы, траву и

облака,—как будто хотел сохранить в памяти этот миг, и неохотно направился к опушке леса, где уже собрался весь класс.

Первый экзамен мы сдали на четвёрки, но Тому это очень огорчило, и мы сильно повздорили.
— Я из-за твоей любви забросила учёбу,—не могла успокоиться она.
— Почему из-за моей любви? Почему не из-за нашей любви?—возмутился я.
— Всё, хватит! Оставь меня в покое! Мне надо учиться! Я люблю тебя, но говорю «нет»! А после постараюсь всё забыть. Всё, всё…

Я понимал, что она более всего боялась всяких кривотолков, боялась, что родители не отпустят её учиться в город. Да и я изрядно измучил её своими ухаживаниями—вместо того чтобы готовиться к экзаменам. Но к тому, чтобы так жёстко и окончательно рвать отношения, я был не готов. С тем старшеклассником у неё тоже не сложилось. Конечно, не без моего участия. Я не собирался затевать с ним разборки, но как-то на уроке физкультуры, когда наши классы играли в футбол, у меня невзначай вышел с ним конфликт, и я на виду у Томы разбил ему нос… С тех пор он больше к ней не подходил. И Тома быстро забыла о нём.

Последней надеждой для меня был выпускной вечер. Я рассчитывал, что на выпускном у нас опять всё наладится. Оказалось, тешил себя зря. Тома только один раз танцевала со мной медленный танец и потом всякий раз находила повод избегать меня.

С тех пор прошёл год. Тамара уехала в город и только по воскресеньям и на каникулы приезжала в село. Я видел её очень редко и чувствовал в себе заметное охлаждение; не было тех неистовых желаний, и я больше не добивался встреч с ней.

Не знаю, любил ли я её ещё, но каждый раз, когда я видел её, у меня тревожно сжималось сердце и тело охватывала лёгкая дрожь.

Однажды ко мне зашёл одноклассник, который жил с Томой по соседству, и, показывая письмо, сказал:
— Угадай, от кого?

Я глянул на конверт: адресовано было мне, но без обратного адреса. Сомнений не было: оно от Тамары. Её почерк я узнал бы из тысячи. Но сделал вид, что мне безразлично:
— Откуда мне знать, от кого. Я писем не жду.
— Зато я знаю! От неё!—не называя имени, воскликнул тот.

Я хладнокровно бросил письмо в ящик стола, всем видом стараясь показать приятелю, что его визит для меня важнее, чем послания Томы.

Конечно, я с нетерпением ждал, когда он уйдёт. И только он переступил порог—ринулся к столу. Я взял письмо двумя руками, будто боялся, что оно улетит, долго смотрел на конверт, не решаясь его открыть. Я сам не мог понять, чего я жду от этого послания. Что хочу там прочитать?

Письмецо было небольшое… даже не письмо—короткая записка… Тома просила отдать ей тетрадь со стихами, посвящёнными ей. И больше ни слова?!

Я, со злостью скомкав, швырнул письмо в печку и зарёкся отвечать. Однако через несколько дней, успокоившись, я сухо написал ей, что стихи, по её же просьбе, сжёг ещё год назад… Тетрадь по-прежнему лежала у меня среди книг, но зачем теперь-то ей знать об этом?

«Ты же сама сказала тогда, что „они теперь ни к чему“,—писал я.—Или хочешь похвастаться перед городскими подругами?»

Каюсь, меня так и тянуло нахамить, сделать ей больно.

«Разорвав с тобой, я сделала свою жизнь и странной, и скучной,—написала она через несколько дней.—Недавно была в кинотеатре, смотрела фильм «Почтовый роман» и плакала. Как ты думаешь, почему? Помнишь, как мы сидели за одной партой и как мне тогда было хорошо и весело? Как ты писал, я ждала? Ждала, когда наступит полдень, как у тебя в стихах. Как бы там ни было, но я тебя тогда любила, а сейчас тем более люблю. Как ты думаешь, почему, когда я приезжаю домой, хожу к своей тётке, что живёт недалеко от вашего дома? Потому что хочу увидеть тебя. В надежде, что встречусь случайно с тобой. Хотя при встречах мы практически и не общаемся, но мне всё же становится легче. Думаешь, что забыла тебя и дружу здесь с кем-нибудь? Нет. Я никого не замечаю и не желаю замечать. И если кто-то из парней старается поухаживать за мной, я становлюсь грустной и молча ухожу, так как перед глазами всегда стоишь ты. Правильно говорят мудрые люди: первая любовь остаётся в памяти на всю жизнь. А ты—моя первая и самая светлая любовь».

О чём это она? На волне ностальгии ударилась в воспоминания или решила возобновить конченное, ушедшее безвозвратно? А может, причина этого всплеска чувств—кино о лейтенанте Шмидте, который, пообщавшись с женщиной полчаса в поезде, влюбился в неё и много лет писал ей письма, так что они уже не могли жить без этих писем? Но вот парадокс: лейтенанту Шмидту оставалось совсем немного времени до казни, он встретился в тюрьме со своей возлюбленной, и оказалось, что у них нет ничего общего. Что они любили не друг друга, а только свои письма. Вот и Тома, видимо, жила моими стихами и письмами, и когда их не стало, жизнь перестала быть интересной. Просто—почтовый роман.

С Тамарой я больше не встречался и не переписывался.

Ну вот мы с племяшкой и дома… Она побежала к матери, а я налил себе в фужер коньяка и долго

сидел на диване во дворе под навесом. Брат, заметив мою задумчивость, поинтересовался, не случилось ли чего. Вместо ответа я спросил у него:
— Ты помнишь мою одноклассницу Тамару? Первую любовь?
— Конечно, помню. Она живёт в городе. Странно,— удивился брат.— Ты никогда о ней не спрашивал, не интересовался ею.
— Да,—задумчиво ответил я после долгого молчания скорее себе, чем брату,—то-то и странно, что никогда…

Евгений Чигрин

Неспящая бухта

Москва: «Время», 2014

Диковинные образы

«Читая и перечитывая стихи Евгения Чигрина, сталкиваешься с особым, только ему присущим поэтическим миром. Чигрин—поэт подробный и очень внимательный. Любые суждения о данном поэте я бы начал с языка его стихов. Это язык живой, богатый, пластичный и очень разнообразный. У поэта Евгения Чигрина в стихах лицо, а не маска. Талант его несомненен. В его стихотворениях есть что-то совсем детское, яркое, щебечущее, как тропические птицы. Эта книга похожа на коллекцию почтовых марок, на игру с географическими картами.

Фиолетовый цвет Феодосии—сумерки… Свет
Симпатичной кофейни вблизи айвазовского моря.
Бесноватые чайки кричат с передышками бред,
Белопенные волны подобны осколкам фарфора.
В Киммерии нетрудной так правильно пить не спеша
Эти красные вина за жёлто-блакитные гривны,
По глотку поднимайся по строфам поэтов, душа,
Обретавшихся здесь, сочинивших нескучные гимны,

А вернее—упрятавших в слово живинку-тоску,
Обогретые камни да бьющие колером степи,
Чебуречную жизнь да цирюльника скрипку… Смогу
Что припомнить ещё? Ну какие искусные сцепы?
Этой улочкой брёл фантазёр и обманщиков брат,
Самый светлый алкаш, мореход сухопутных видений—
Молчаливый Гриневский в свой парусный солнечный ад:
Галерейная, 10, где только четыре ступени…

Но детское и яркое—безусловные признаки настоящей поэзии. У Чигрина своя, незаёмная лирическая дерзость. Быть может, от его нестоличного, провинциального происхождения, а может быть, оттого, что он сохранил в душе удивление мальчика перед картинкой в книге о путешествии, перед бабочкой в сачке, перед птицей, распевающей на ветке. Словарь Чигрина пёстр и свеж, эпитеты похожи на коктебельскую гальку, облитую волной прилива…

Колыбельного места осенний надлом,
В жёлтых жалобах мокнет листва.
Из бороздок пластинки опять Сент-Коломб,
С этим галлом в печаль голова
Окунается, ровно в густой кальвадос,
Зарывается в молодость так,
Что опять и разлука, и страсти всерьёз,
И в кино—фантомасами страх…
(Из стихотворения «Воспоминание под музыку Сент-Коломба»)

…Евгений Чигрин пришёл в поэзию в холостое и катастрофически пустое время. Кончены пути авангарда, реализма, модерна… И мы на пустыре: непонятно, что делать! Но остаётся «стиха виноградное мясо», как сказал Осип Мандельштам. И это есть в поэзии Чигрина. Он безусловный поэт. Ему являются собственные диковинные образы.

Давид Самойлов как-то пошутил, что поэты, которые хотят писать стихи, но не знают, как за это приняться, называют себя авангардистами. Евгений Чигрин, безусловно, знает, как за это приняться».

Евгений Рейн

Юлия Матушанская

Лена из Гейдельберга

В сумрачной чаще сердца рог протрубил
Там шла охота на ланей воспоминаний
Гийом Аполлинер

Я приехала в Гейдельберг на стажировку на три месяца. Мне сразу понравился этот сказочный город: пряничные домики, замок, от которого осталась лишь стена (сквозь окна этой стены было видно то синее, то серое небо), старинный университет… Говорят, в XIX веке здесь было русское землячество, состоявшее из студентов и преподавателей Гейдельбергского университета. Выходцев из России было тогда так много, что они создали свою русскую общину. Я поселилась в самом центре, в Альтштадте, и каждый вечер, пока не стемнеет, могла гулять, рассматривая его знаменитые красоты. Знакомые мне нашли место в забавном общежитии. Дело в том, что общежитие содержал пастор евангельской церкви из Южной Кореи. Комната стоила недорого, но к ней прилагался комендантский час в одиннадцать вечера и обязанность посещать богослужения. Компания в общежитии была разношёрстная: американец, англичанка, две девушки из Казахстана и корейские братья. В принципе, лишняя практика в немецком (а богослужение проходило на немецком языке) меня не слишком раздражала, но казарменное положение вскоре начало надоедать. Я искала воли.

В университете я в основном сидела в библиотеке, изредка встречаясь с профессором. За всю стажировку я встретилась с ним два-три раза. В остальное время я была предоставлена самой себе. Общежитие было в Старом городе, а библиотека—в Нонгеймер Фельд, поэтому я ежедневно добиралась туда на автобусе. И вот однажды на автобусной остановке я увидела худенькую женщину с очень смуглым, почти чёрным, мальчиком лет пяти. Фигура женщины была изогнута латинской буквой «S», как на средневековых картинах. На ней были длинные замшевые сапоги без каблуков и простенькая красная куртка. Волосы женщины были собраны в «конский хвост». Неожиданно она заговорила с мальчиком по-русски. «Вы русская немка?»—спросила я. «Нет,—ответила она с лёгким акцентом,—я просто немка, меня зовут Лена, я переводчица». Оказалась, она видела меня на остановке несколько раз и поняла, что я из России. Да, слиться с местными я ещё не успела. Возможно, всё дело в татарской бабушке, или в том, как неуверенно я смотрела по сторонам, или в отчётливом акценте, да это и не важно. Мне было даже удобнее оставаться иностранкой, чтобы не принимать в свою жизнь множество правил, которыми переполнена Deutsche Vita. А мальчика звали Раджа, его папа из Индии, как выяснилось—настоящий кшатрий. Семья отца малыша не приняла ни Лену, ни ребёнка. В результате Лена вернулась в Германию и начала устраивать жизнь заново.

Лену звали Леной из-за дедушки. Тот воевал во время Второй мировой на Восточном фронте, и там его от смерти спасла русская женщина по имени Лена. Поэтому он назвал внучку Леной и уговорил учиться на переводчицу. Но вскоре в страну приехали выходцы из России, и их русский оказался более востребованным. Лена перебивалась случайными заработками, которых едва хватало на квартиру и жизнь. Она снимала квартиру в двухэтажном доме в небольшом посёлке на окраине города. Первый этаж был её, а на втором жила древняя старушка—хозяйка дома. Старушка периодически слышала, как у неё в ду́ше моется незнакомый мужчина. Вода в Германии дорогая, и бабушка то и дело вызывала полицию. Полиция приезжала, пила чай с печеньями и уезжала. Когда Лена спрашивала, зачем они приезжают, ведь они же уже знают эту бабушку, полицейские отвечали что-то про холод и дождь, а тут тепло, и вызов-то действительно был. В начале второго месяца моего пребывания в Гейдельберге я перебралась в тот самый дом. Надо сказать, не бесплатно. Но это были запланированные расходы, и я, в общем-то, приняла это как данность.

И началась наша бурная жизнь! Как-то раз Лена повезла меня на новоселье к местным хиппи. Это были очень немецкие хиппи. Они звали Лену жить вместе с ними, но она отказалась, так как, по её словам, «они не моют посуду». Зато они играют на барабанах, танцуют восточные танцы, делают видеоинсталляции. Да и дома у них было вполне себе чистенько. Народ всё время спрашивал Лену: не вместе ли мы? В смысле, не пара ли? Я делала страшные глаза, и она отвечала: «Нет-нет, мы просто подруги». Однако домой нас подвезла на

«мерседесе» пара лесбиянок. «Вот и социализировалась,— подумала я.— Чёрт!»

Ориентация Лены ни у кого не вызывала сомнения. Вокруг неё роились, бегали, летали и ползали толпы мужчин. Она в основном предпочитала экзотику, индусов там или монголов. А потом пыталась перевоспитать их в немцев. Был, правда, среди её поклонников один немец, но он не вызывал у неё интереса. Как-то она повела меня в гости к одному афганцу. Это был её университетский друг. Он продавал антиквариат и коллекционный фарфор, из которого поил нас чаем. Чай был вкусный, а чашки — как у моей бабушки, тёмно-синие с золотой каёмочкой. Я ему так и сказала: «Ой! Как у бабушки!» Он даже обиделся. У него тут драгоценные редкости, а у меня какая-то советская бабушка. Ну, конечно, у бабушки фарфоровые чашки были ленинградского завода, но цвет и узор похожи. И вообще, бабушка восточная, и вкус у неё тоже восточный. Когда мы изредка с Леной переговаривались по-русски, афганец внимательно прислушивался к звукам, по-видимому, знакомой ему речи, а у меня от его взглядов пробегал холодок по спине. Хотелось взять в руки кинжал из его «сокровищницы» — это комната, в которой хранились антикварное оружие и украшения (даже меч Великих Моголов),— и не выпускать до того момента, пока я не покину этот гостеприимный дом.

Что было с Леной хорошо, так это то, что она могла внятно объяснить некоторые особенности немецкой культуры. Например, на прощанье немцы дарят друг другу красивые открытки с благодарностями. А ещё как-то раз я пошла на встречу с профессором и надела длинную джинсовую юбку. Надо сказать, немецкие женщины настолько эмансипированы, что, когда женщина выглядит по-женски, у мужчин на лице отражается улыбка счастья. И вот в университетском коридоре мимо меня проходит молодой человек и приподнимает шляпу со словами: «Fräulein». Я подумала, что что-то тут не так, и спросила у Лены. Она сказала, что так не говорят, невежливо. Немецкая женщина всегда Frau, даже когда она не замужем. Но есть такие семьи, со старым воспитанием, там взрослых незамужних женщин называют Fräulein. И я подумала, что это мой случай.

А был ещё один английский дальнобойщик. Он приехал к Лене в гости, когда наши отношения уже начали ухудшаться из-за Раджика, в комнате которого я жила. Хотя ребёнок в той комнате раньше никогда не спал (потому что он спал с мамой), Раджика раздражало моё такое долгое присутствие в их семье, и он скандалил, а мама с ним не очень-то справлялась. Я даже хотела переехать обратно в общежитие, но Лена меня отговорила. Однако в этот вечер мы все жалели малыша. Дело в том, что на детском празднике, что проводят в Германии шестого декабря, он узнал в Николаусе (это немецкий Дед Мороз) папу одного из своих друзей и понял, что Деда Мороза не существует. Стив, так звали англичанина, сказал, что это неправда, что Николаус на самом деле есть, просто его сбил грузовик, и, когда его отвозили в больницу, он попросил папу того мальчика, друга Раджика, провести утренник вместо него. Мы со Стивом весело хохотали над этой замечательной шуткой, а Лена смотрела на нас как на монстров.

А ещё был Париж. Родители у меня учёные, тоже в загранкомандировки ездят. Мама вот в Париж приехала. И я решила с ней встретиться. Лена тоже захотела ехать в Париж вместе со мной. Я ей объясняла, что это невозможно, что я буду жить у мамы в номере в гостинице, возможно, мне придётся ночевать на полу (так оно и было). Но Лена не унималась. Она говорила, что они с Раджиком будут жить в другой гостинице и мы будем встречаться в кафе. «Но я же поеду встречаться с мамой!» — возражала я. «Вы, русские,— возмущалась Лена,— слишком большое значение придаёте семье! У нас семья — это папа, мама и ребёнок. А у вас ещё бабушки, дедушки, дяди и тёти. Ты уже совершеннолетняя и не должна быть так привязана к матери!» Я ничего не ответила и просто уехала. Когда я вернулась, в моей комнате было отключено отопление. Через какое-то время Лена тепло включила, но я успела простыть и заболеть. Рождество я встречала больная.

Немецкое Рождество — это особый порядок. Дедушка Раджика, папа Лены, привёз оленину. Мы её приготовили с немецкой самодельной лапшой и маринованными грушами. Из подвала достали пиво, Раджику безалкогольное, остальным обычное. Мама Лены умерла, у отца была другая семья. Обычно на Рождество Лена с Раджиком куда-нибудь уезжала, а тут решила провести его дома со мной (просто меня девать было некуда). Вечером повалил снег. Не всякое Рождество теперь в Европе со снегом. Но в этот раз было красиво. Мы украсили ёлку золотыми и красными шарами. Только золотыми и красными. Немецкая ёлка по сравнению с нашей очень сдержанная. Под ёлку положили подарки, завёрнутые в красивые фантики. В полночь пошли в поселковую церковь. На улице возле церкви играл духовой оркестр. Лена часто ходила с сыном в индийскую общину, чтобы ребёнок знал свои корни. И ему больше нравилась яркая индийская религия, с благовониями, слонами и гирляндами цветов. Раджик какое-то время постоял с нами в толпе возле оркестра, сказал: «Вы скучные»,— и ушёл домой.

Утро следующего дня началось поздно. Все спали, и я не знала куда деваться. Двадцать пятого декабря Германия вымирает. Я вышла на улицу. Мимо проезжал случайный автобус. Я забралась в него и поехала в горячо любимый мной

Альтштадт. Медленно бредя по заснеженному городу, я забрела в церковь Провидения. Там играл орган. Я зашла послушать. Было холодно. Я совсем замёрзла. Итальянское кафе на обратном пути оказалось почему-то открытым. У себя дома в Италии итальянцы по воскресеньям и праздникам не работают. А здесь только они и работали. Я выпила стакан глинтвейна. Мобильник был отключён: батарейка села, я забыла её подзарядить. Шёл мокрый снег. Транспорта не было. Дорога через Старый мост была особенно мучительной. Однако часа через три я всё же добралась до дома. Лена была в ярости. «Где ты была?!» — кричала она. А, надо сказать, кричат немцы как в старых советских фильмах про войну. Только я знала, что Лена кричит от слабости: «У нас же должен был быть рождественский обед в час!» В ответ я хрипло спросила: «Откуда я могла это знать?» — «Это знают все!» — не унималась Лена. «Хорошо, — отвечала я, — в следующий раз я приду на рождественский обед вовремя». Глаза Лены застилали слёзы. Чёрная тушь размазалась по щекам. Она попыталась взять себя в руки. «Следующего раза не будет!» — отчётливо проговорила она. А я подумала, что хорошо, что сегодня в церкви я купила маленькую открытку с ангелом — видимо для Лены.

Евгений Минин

Конь под неврозом

Овощное

Ну надо же, как всё устроено ловко:
Всегда где-то рядом маячит морковка.
Лариса Миллер

Везде откровенно пишу, без намёков,
Что не принимаю различных упрёков.
А если и думает кто-то не так —
Пусть помнит: лежит под рукою бурак.
Я овощи ем постоянно со смаком,
В обед уплетаю салат с пастернаком,
И только маячит всегда где-то близко
Сатир-пародист, этот точно — редиска.

Неопределённое

я родился другим а не этим
но не стал объяснять и меня
приравняв к человеческим детям
воспитала чужая родня
Алексей Цветков

прожил жизнь свою так а не эдак
и родился я там а не тут
под язвительный шёпот соседок
что всегда под ногами снуют

не любой понимает поэта
но страдаю всегда в маете
сочиняется то а не это
а читают не эти а те

Литистеричное

Да, мама, я обычный литистерик:
невроз ко мне въезжает на коне.
Борис Кутенков

Я литистерю нынче, скажем прямо,
Ответить на любой готов вопрос.
И на коне — об этом знает мама —
Въезжает гордым всадником невроз.
Вы улыбнётесь: мол, диагноз ясный,
Но вдохновенья пламень не угас.
Страдаю: под неврозом конь прекрасный,
Но это, к сожаленью, не Пегас!

Размечтательное

Я скоро начну, как Некрасов,
последние песни слагать…
Владимир Салимон

Даю всем торжественно слово,
что буду слагать только так,
как было у Н. Гумилёва,
и так, как писал Пастернак.
Я справлюсь с проблемой успешно,
и равных не будет мне тут.
Не все пародисты, конечно,
до этого дня доживут.

Вера Зубарева

Собакиада

Сценки из русского безрубежья (записки соседки)

Вошла прекрасная собака
С душой, исполненной добра.
Белла Ахмадулина

Их нравы

Припекало. Отделяясь от суши,
Трясли задами к воде два нудиста.
Собака смотрела, как болтались их уши,
Где шерсть кучерявилась, и тихо присвистывала.
Потом она развернула мороженое,
Прикрывшись салфеткой, чтоб не заляпать блузку,
Но полицейский гаркнул: — В одежде не положено!
Её раздели и забрали в кутузку.

Культурный барьер

Собака стояла в очереди за сардельками
В бакалейном отделе универсама.
Перед ней обнюхивала мужчину в телогрейке
И чесала за ухом какая-то дама.
— Две сосиски — говяжью и баранью, —
Сделав реверанс, Собака попросила,
Прибавив: — Будьте добры, сударыня!
Её не поняли и вышвырнули из магазина.

Возвращение

Сосед причащался две недели,
Алкал кагор, закусывал на грядке.
Потом его долго отрезвляли в купели,
А он порывался булькать колядки.
Очнулся в церкви со строгим режимом.
— Как окрестили? — орал эскулап ему.
Позвали Собаку. Ответила: — Джимом.
И сосед в знак согласия дал ей лапу.

Утешение

Он поскуливал, подёргивался, плакал.
Ему снились проклятые кошки.
— Спи, — шептала ему Собака. —
Тебе осталось совсем немножко.
Вот дослушаем Берлиоза вместе,
Дочитаем последний том Бальзака,
Ты сдашь экзамен на аттестат зрелости
И станешь большим и умным. Как собака.

Разрыв

На всём лежала тень запустенья.
Комната была полна мрака.
Сосед вспоминал то чудное мгновенье,
Когда в дверях появилась Собака.
Он подошёл к ней несмело, боком,
Смерил её недоверчивым взглядом.
Она прошептала что-то из Блока,
Типа: «Чудовище», — и он лёг рядом.
Она внесла свои чемоданы.
Он тыкался мордой в её вещи.
А дальше всё было точь-в-точь по Данте:
Чем дальше в лес, тем просвета меньше.
Он грыз учебники, рвал пособия,
В её отсутствие их листая,
И бурь мятежных злые подобия
В нём поднимались, как блошиная стая.
Он долго и рьяно сопротивлялся,
Но, невзирая на все усилия,
Его закрутил ураган из Канзаса,
И Собака сказала ему: — Или — или!
Он ждал, что она вернётся, вперясь
В останки книг, изодранных в клочья,
И только обрывок с «in vino veritas»
Открыл ему всю глубину его горечи.

Диктант

Скрипело перо, стонала бумага.
Сосед пыхтел у настольной лампы.
— «Я к вам пишу», — диктовала Собака.
Он приписывал: «Встретиться нам бы…»
Муха что-то ехидно жужжала.
Сосед огрызнулся: — Заткнись ты, холера!
— «Когда б надежду», — Собака продолжала.
Он приписывал: «И Любу с Верой».
Вплыли сумерки звёздной предтечей.
Сосед закусил и растёкся мыслями.
— «Чтоб только слышать ваши речи», —
Собака диктовала. Он не приписывал.
Диктант затянулся. Звучало из мрака:
— «Я жду тебя!»
Он прибавил: «Ну же!»
— «Кончаю», — продиктовала Собака.
«Страшно перечесть», — приписал Пушкин.

Ссора

Всё утро сосед лаял на Собаку,
Она шикала, грозила хвостом, поучала.
Он отбегал, кружил по парку,
Потом возвращался и начинал всё сначала.
— Проклятье! — стонала Собака. — Наказание!
Позор перед всем собачьим околотком! —
Садилась в кресло и бралась за вязание,
Пока он свирепо драл себе глотку.
«Нужно просто набраться терпения, —
Собака думала. — Он остепенится».
— Сидеть! — говорила ему время от времени,
Но он лишь скулил и бросался на спицы.
— Что может быть хуже этих беспородных?! —
Собака вскричала и, не довязав свитера,
Сложила в коробку ошейник, намордник
И велела поискать ему другого бебиситтера.

Мечты

За окнами ветер завывал адажио.
Снег крошил облака навылет.
Погода стояла такая, что даже
Собака хозяина на улицу не выгонит.
Светила небесные были в отключке.
Читали Булгакова «Собачье сердце».
Сосед вертел шариковой ручкой,
Не понимая ни бельмеса.
Собака знакомила его с азами.
Подходили к концу вторые сутки.
Сосед смотрел на неё умными глазами
И втайне мечтал о рае в будке.

Фантасмагория в полицейском участке

Соседа взяли с переломом лапы.
Накануне он выдавливал раба из перцовки.
Раб кочевряжился, бил лампы,
Все попытки унять его были с той же концовкой.
Собака взволнованно набирала участок,
Дежурный полицейский рычал ей в трубку.
Она уверяла, что сосед непричастен,
Бежала на помощь, потеряла туфельку.
На проходной бульдоги в форменных фуражках
Бросались на неё, как на амбразуру,
В клетках задержанные куражились,
Телефон выкрикивал что-то нецензурное.
Полночь чудúла. В тыквах автомобилей
Крысы-таксисты накручивали счётчики.
Два зубастых прокурора вплыли,
Раздавая хвостами всем пощёчины.
Приползли поняты́е, шевеля усами,
Обнюхивали на столе каждую крошку.
Полицейские, бывшие днём псами,
Узнали в потерпевшей соседскую кошку.
Участок выл, мяукал и крякал.
Конвой обводил всех глазом циклопа.
Сунув соседа в мешок, Собака
В одном башмаке по лестницам шлёпала.
В колючую проволоку заколдовывались розы.
Туфельку за мзду принесла нищенка.
Был объявлен уголовный розыск,
И принц постепенно превращался в сыщика.

Синяя тетрадь

Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами…
Ахматова

Ася Пузанова

Красноярский литературный лицей, 11 класс

Стучит по окнам запотелым,
Как нарисован, неживой,
Тяжёлым выдуманным телом,
Но не пугает нас с тобой,
Всё громче завывает ветер—
Как будто призывает вождь,
Бьёт в барабаны: дети! дети!—
Далёкий деревянный дождь.

Евгений Савенков

Красноярский литературный лицей, 11 класс

Дорога меня утомила,
Но нужно вперёд идти.
Я взял перо и чернила,
Чтоб правду до всех довести.

И путь мой—выбран недаром.
Мне Пушкин его освятил,
Чтоб мог я напомнить хазарам,
Как князь им Олег отомстил!

Катя Яновец

лицей №2, 4 класс

Скупой рыцарь

Давным-давно, когда рыцари были бессмертными, жил жадный рыцарь.

Он спасал людей, а потом говорил: «А где награда?» И все люди давали ему деньги и то, что у них было.

Однажды рыцарь прогуливался по парку и вдруг увидел денежку. У рыцаря аж глаз заблестел; оглянувшись по сторонам, он схватил монетку.

Вдруг ему захотелось спать. Во сне он увидел, что в космосе висит гигантская Денежка. «Ты зачем просишь у людей награду всякий раз, как совершишь подвиг?—заговорила Денежка.—Ты и так богат—богаче всех, а ещё просишь у бедных людей их последние деньги! Даю тебе шанс измениться. Если до полуночи ты не раздашь людям их вещи и деньги, то будет тебе наказание».

Проснувшись, рыцарь схватил найденную монетку и вернулся в свой за́мок. Там он собрал все свои богатства в огромный сундук, обнял его и со словами: «Моя прелесть»,—поместил в золотой сейф, который закрыл золотым ключом.

Наступила полночь. Пришла Денежка и сказала рыцарю: «Ты не послушался меня! За это будет тебе наказание! Отныне все рыцари станут смертными, а тебя я отправлю в будущее—в музее будешь стоять».

И отправила его в будущее.

С тех пор рыцари стали щедрыми и смертными.

Лера Абрамова

гимназия №10, 8 класс

Мечта Монты

Рождественская сказочка

Жил-был в далёкой Африке негритёнок, и звали его Монта. Был он послушным мальчиком—помогал папе на охоте, маме по дому, с братиком со своим играл каждый день, а в свободное время лазил по пальмам и резвился под палящим солнцем со своими друзьями.

Так медленно шли его дни.

Но вот пришло время праздновать волшебный праздник—Новый год. Вся Африка готовилась к нему: обезьянки украшали цветочными гирляндами высокие пальмы и баобабы, а также шеи жирафов, попугаи весело распевали песни, негритянское племя готовило разные вкусности. Подошла к Монте его мама и спросила:

— Сынок, что ты хочешь себе в подарок? Может быть, новую одежду из красивой шкуры? Или костяное копьё, как у папы? Может быть, ты бы хотел завести своего собственного говорящего попугая?
— Спасибо, мамочка, но лучше оставь шкуру себе, копьё новенькое прибереги для папы, а попугайчика подари моему брату.
— А что же тогда подарить тебе?—удивилась мама.
— Помнишь, к нам приезжал путешественник? Рассказывал он чудные истории о Северном полюсе. Теперь я хочу лишь увидеть настоящий снег. Такой белый и холодный…—вздыхая, сказал Монта.

Мама кивнула ему и молча отошла. Она очень расстроилась, так как не могла даже представить, где взять снег в жаркой Африке.

Но услышал просьбу мальчика наш русский краснощёкий Дедушка Мороз.

— Эй, тучки хмурые, тучки пухлые, отправляйтесь-ка вы в далёкую Африку и принесите туда снега для негритёнка Монты!

В Новый год должны сбываться все заветные желания хороших мальчиков.

Послушались тучки и поплыли тихонечко к негритёнку в гости. Одна тучка растерялась и высыпала весь свой снег на Казахстан, другая случайно улетела в Азию и удивила там китайцев, а третья продолжила путь в Африку. Совсем скоро она почувствовала ужасную усталость и стала терять по дороге снежинки. Становилось всё жарче, тучка волновалась…

А тем временем празднование Нового года приближалось, всё негритянское племя собралось у большого костра. Монта ждал свой снег и продолжал верить, что он придёт, но снега всё не было и не было. Вот уже начинал вождь бить в барабан двенадцать ударов…

— Эх, нет, не бывает в Африке снега. Значит, я никогда его не увижу?—вновь вздохнул негритёнок.

И тут подоспела последняя тучка и уронила в ладошки Монты последние свои три снежинки. От прикосновения они не растаяли, так как были на самом деле волшебными.

— Белый и холодный снег, как мне когда-то и рассказывал гостивший у нас путешественник!

Мальчик успел показать снег всему племени и зверям, а после волшебство испарилось. Все стали петь и танцевать около костра, а радостнее всех выплясывал Монта.

Наташа Семёнова

лицей № 2, 10 класс

Слушая лекцию…

В этом году мне посчастливилось принять участие в одном конкурсе. Честно говоря, я не очень охотно согласилась писать эссе на одну из предложенных тем. На выходные у меня были совершенно другие планы, абсолютно не хотелось думать над тем, что бы такое гениальное написать. Но прошла суббота, подходило к концу воскресенье. А мне так не хотелось что-либо делать. И вот я написала, дабы просто сдать и не мучиться. Вскоре от меня отстали, и я даже не думала, что займу какое-нибудь приличное место. Конкурс этот проводится не первый год, говорят, что в жюри его входят очень серьёзные люди, и отбор очень жёсткий. В общем, с моим злополучным текстом у меня не было никаких шансов.

Но, как назло, перед началом каникул мне объявили, что я и моя одноклассница стали финалистами этого конкурса. Первый вопрос в голове: «Ка-а-а-ак?!» А потом уже у меня вовсе испортилось настроение. В качестве приза предлагалось поехать на базу отдыха и послушать лекции умных людей. Это означало потратить три дня своих долгожданных каникул, по сути, на ту же самую учёбу!

«Не-е-ет уж, не поеду»,—подумала я. Но как только я направилась к выходу из школы, меня перехватили учителя и со строгой укоризной сказали: «Надо ехать. Ты даже не представляешь, от чего хочешь отказаться…» Мне назвали столько плюсов этой поездки, говорили, как это полезно—послушать лекции, что это уникальный шанс познакомиться с новыми людьми. Мне не оставили выбора, пришлось смириться. Я в ужасе ожидала: что же мне предстояло вытерпеть?

Всё было не так уж плохо, но сказать, что я провела время с пользой для себя, тоже нельзя. Все три дня мы упорно обсуждали слово «выбор», которое я теперь ненавижу. По два часа на протяжении всех трёх дней мы говорили о критериях выбора, о том, что с ним делать. Зачем? Я так и не поняла.

Был у нас руководитель. Человек высокого роста, с широкими плечами, кудрявый весёлый дяденька. Он так и не представился за всё время, так что имени я его даже не знаю. Этот человек проповедовал нам какую-то свою философию жизни. Он упорно доказывал нам, что всё есть всё. Стул есть я, а я есть стул. В общем, я даже почти поверила, так как уж больно много он приводил аргументов.

Также он заявил нам, что во всём есть плюсы, минусов нет вообще. Ему задавали вопросы о смерти, о разводе, о потере друга, но он говорил так убедительно, что ощущение бесконечного оптимизма преследовало нас все три дня. Он часто разговаривал со своим «пузом». Зачем? Этого тоже так никто и не понял, а он не захотел объяснять.

Но самое главное, что я теперь буду помнить всю жизнь,—это его фразу, ставшую крылатой среди моего окружения. «В мире есть только два вида вещей, ценностей и мыслей: няшность и бабуйня. Всё, что не есть няшность, есть бабуйня.

И наоборот»,—сказал наш сэнсэй. И до чего верной истиной нам всем показались его слова!

Было ещё много весёлых моментов, которые до сих пор остались в моей памяти. Например, я познакомилась с очень позитивными и весёлыми людьми. Однажды в нашей комнате на шкаф, высота которого была нешуточной, залез один мальчик. Он сидел там до тех пор, пока мы не заметили его и не выгнали, а он взял и спрыгнул как ни в чём не бывало! Я бы ногу, наверное, сломала! А ему ничего, как будто прыгать со шкафов для него—обычное дело.

А лекции тем временем продолжались. Помню, как мы ужаснулись, когда прочитали в программке их названия. Например: «Апробация новых знаний. Опыты на кроликах».

Из всего разнообразия успокаивали и утешали душу только слова «завтрак», «обед», «полдник», «ужин». Первый вопрос, который был задан нашему сэнсэю: «Когда нас уже покормят?» Одна девочка вообще заявила, что еда—это её единственный лучший друг, который никогда не предаст, не осудит, парня не уведёт…

Но на лекциях я, откровенно говоря, засыпала, они были слишком скучные. Мы всё так же обсуждали понятие «выбор», зелёные, красные уровни сознания человека. В это время я думала про себя: «Женщина, ты о чём вообще говоришь? Я и без этих знаний прекрасно живу! Зачем мне это?!»

Смысл этой поездки?

Ольга Титова

Красноярский литературный лицей, 11 класс

Падать в небо

Однажды вы будете гулять по парку, проходить мимо киосков, бежать по главной городской площади, опаздывая на встречу. Однажды, в такой мирный сентябрьский день, Земля потеряет своё притяжение, и люди начнут падать в небо.

И ты будешь падать в небо. Вниз головой, сначала спасая свою макушку руками от веток деревьев, потом расставив руки как крылья, удивлённо рассматривая носки своих ног, которые впервые оказались выше головы. Смотреть на землю с высоты птичьего полёта.

Ты будешь смотреть на перевёрнутый с ног на голову мир.

Ты с усилием поднимаешь голову и смотришь на деревья, которые держатся только благодаря корням. Но это только пока. Потом и леса будут падать вершинами вниз.

Реки освобождаются от берегов, и теперь ты летишь под дождём. Мимо тебя пролетают зубастые рыбы из чёрных глубин, лесные животные. Где-то вдали ты видишь двух рыдающих женщин, держащихся за руки. Медленно-медленно до тебя долетает лягушка, цепляется за твою ногу и, оттолкнувшись, летит куда-то на восток. Ты до нитки промок от речного дождя.

Внезапно над тобой и над всем, что составляет тебе компанию при полёте, появляется тень. Ревущий кит, огромный, как пятиэтажный дом, как раз проносится между тобой и рыдающими женщинами. Воздушное пространство затягивает вас, и вы летите в небо ещё быстрее.

Мир под ногами становится всё меньше. Начинают лететь деревья, ты даже не думаешь хвататься за них. Зато за сосну уцепился когтями ни живой ни мёртвый от страха лев, он как раз промчался от тебя в десяти метрах.

У тебя одежда мокрая, а небо впереди холодное.

Ты всегда желал узнать, как выглядят облака, попробовать их на вкус, такие золотистые и красные под лучами солнца и почти чёрные перед грозой. Они тошнотворно сырые. Попадая в облака, становится кошмарно промозгло.

Ты уже почти ничего не чувствуешь, не шевелишься, на твоей одежде тоненькая корка льда. Земля, на которой ты жил, которая всю жизнь казалась великой, а последние несколько часов—ничтожной, уже совсем распалась. Вдали ты видишь красные звёзды магмы. Мимо тебя пролетают огромные чёрные камни. Уже не любопытно и не страшно, к распаду земной оболочки удивление уже кончилось.

Наконец перед тобой появляется открытый космос. Галактики, созвездия—и чёрная пустота, что разделяет всё живое и мёртвое, огромное и микроскопическое. Только в этот миг ты испускаешь дух. Ты видел свою планету с недосягаемой высоты, мимо тебя пролетали те существа, которых бы никогда не увидел при жизни. Последним ты узрел космос и обломки грандиозной планеты.

Ты упал в небо.

Ода пластиковым пакетам

Пакеты стали частью нашей жизни. Это они, гонимые ветром, провожают вас до автобусной остановки. Это они, как друзья детства, тоскливо летают под вашими окнами, словно говоря: «Ну когда же ты выйдешь погулять?» Когда вы возвращаетесь с работы и вокруг так темно, что хоть глаз выколи, вы видите, как ветер играется лохмотьями целлофанового пакета на ветке—это он приветствует вас.

Когда я только переехала в Красноярск, пакеты приводили меня в ужас. Привыкшая к листьям и инею на деревьях, я не могла спокойно воспринимать тот факт, что в большом городе их заменили старые, никому не нужные пакеты. Я вздрагивала, когда кусок целлофана с нежным шуршанием

проскальзывал рядом со мной. Меня удручала стайка летучих пакетов, направляющихся к пруду рядом с домом.

А теперь мне от всего этого только смешно. Пакеты, шины, банки и бутылки смотрятся в городе так же гармонично, как и крысы в канализациях, голуби на площадях. А главное — горожанам, похоже, нравятся.

…Дедушка подмигивает своему внуку, держа раскрытый пакет против ветра. Мальчик смеётся и чего-то требует. Вдруг дедушка отпускает пакет, и он взлетает выше всех крыш. Малыш смеётся и бежит за своей летучей игрушкой, которую, к ужасу, ветер уносит за высокую бетонную стену завода. Мальчик расстраивается, но у дедушки есть ещё пакет…

Артём Трофимов

Красноярский литературный лицей, 11 класс

Гуманитарий

…Тригонометрия, «любимая» страстно большинством школьников, медленно выворачивала голову наизнанку. Кругляшки тут, понимаешь, какието, циферки, градусики, дробки — ух! Хоть и говорил Ломоносов: дескать, «математику хотя бы за то любить нужно, что она ум в порядок приводит», — но… как же она порой расшатывает обыкновенное, здоровое человеческое сознание! Выйдешь с экзамена, моргнёшь — в темноте плюсы с минусами перед глазами вертятся; идёшь потом домой, пошатываясь и людей пугая.

Захлопнул я учебник. Правое и левое полушария мозга заскрежетали, как столкнувшиеся куски арматуры. Сижу, зачумлённый, посреди холодного грязно-зелёного школьного коридора. Урока у меня нет, на следующем будет контрольная, так что прерывать напряжённую умственную работу не следовало бы. Тем не менее, разговор на соседней лавочке всё-таки вызывает моё любопытство. Оборачиваюсь, и — ба! Классный руководитель физико-математического класса, высокая коротковолосая женщина, облачённая во взъерошенную шаль и футлярную юбку, отчитывает не кого иного, как самого Забубенько, которого грех не знать, если проводишь большую часть жизни в школе. В роли ученика товарищ Забубенько, прямо скажем, не ахти какой. Вот и сейчас учительница сурово сжимает губы, листая классный журнал.

— Тамара Фёдоровна, ну я ж вам ещё полгода назад, после контрольной по функциям, сказал, что я гуманитарий, — говорит ученик.

— Оно и видно, — в зрачках классного руководителя сверкнул сарказм.

— На физмат пошёл случайно, просто вот… родители… да, батя хотел, чтобы я хоть немного подтянул точные науки.

— «Батины» желания, Забубенько, конечно, веская причина… Ты вот скажи мне лучше, гуманитарий, — Тамара Фёдоровна тычет длинным пальцем в журнал, — по истории-то у тебя отчего тройка?

Школьник всплёскивает руками:

— Ну очевидно же, Тамара Фёдоровна! В ней, в истории-то, одни же цифры, цифры, цифры… Даты сражений, периоды правления царей-королей — это же всё цифры! А я ведь гуманитарий, не дружу я с цифрами. Да и где их все запомнить? Вы вот помните годы жизни царя… царя… Владимира Мономаха?

— Мономах не был царём.

Забубенько радостно откидывается на стуле.

— Ну вот видите, как там всё сложно! А императоры, начиная с Рюрика, — они тоже ведь все «пронумерованы»: Василий Первый, Василий Второй, Василий Третий… А Василий Десятый чего стоит! А? Ух какой правитель был!.. Да там сам чёрт с ними голову сломит! А я ж гуманитарий.

Где-то в глубине коридора нервно хлопают двери.

— Ну хорошо. А с обществознанием что?

— А что там?

— Три, с натяжкой…

— А, так там, там экономика у нас сейчас идёт, представляете?

— Нет, не представляю.

— Ну, там цифры всякие: графики рыночных цен, которые то повышаются, то понижаются; законы спроса и предложения… Мрак, одним словом!.. А я ж гуманитарий.

— Смотри-ка, Забубенько, какое открытие, — учительница указывает на тройку по русскому языку.

— Оправданно, Тамара Фёдоровна. Вы вот видели, чего от нас требуют на этом русском? Учим, дескать, правила и применяем их на практике — и никакого произвола! И каждый раз, как не поставишь где-нибудь запятую, Анна Степановна утверждает, что «лингвистическая логика требует выделять с двух сторон обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами». Вот, слыхали слово: «логика»! Да ещё и лингвистическая… А я ж гуманитарий.

— А английский чего?

— У-у-у… А там вообще, Тамара Фёдоровна, тёмный лес для меня. Английский, в Интернете написано, язык аналитический, а куда уж мне до анализов-то? Я ж гуманитарий.

Стул, ворчливо поскрипывающий под натиском вертлявого тела Забубенько, так и норовил вот-вот сломаться. Смотря в одну точку, где-то между журналом и своим внутренним пространством, Тамара Фёдоровна нервно теребила уголок странички.

—Эх, Забубенько, Забубенько, горе ты моё луковое. Скажи мне хоть,—взяв школьника за подбородок, она поворачивает его лицо к себе,—но по литературе-то у тебя троечка почему?
—Это же очевидно!—Забубенько сделал наивно-непонимающие глаза.—Вы хотя бы, нет, ну вы знаете, да, вы видели, вы, конечно, видели…—перебирал горе-ученик, думая, что б ему ещё такого ляпнуть.—Вы видели, как дети… дети… стихи наизусть читают?

Растянулось мгновение молчания.
—И что в этом такого?
—Что такого? Так это ж, это ж надо, это надо, чтобы, чтобы прям… Когда вот ты стишок, значит, рассказываешь, нужно так уметь… так уметь… встать возле доски, чтоб весь диапазон класса был как на ладони. Тут нужно, чтоб каждый видел тебя, чтобы и ты мог уловить малейшее движение со стороны присутствующих. Оптика тут нужна, требуется измерить ширину и длину класса. А потом, для лучшей акустики, нужно подобрать силу собственного голоса, чтобы сочеталось всё с акустическими параметрами помещения. Да ещё и чтоб учителю было видно и слышно лучше всех…

Внезапно, взглянув на висевшие рядом настенные часы, я обнаружил, что осталось пять минут до конца свободного урока, и, нырнув в учебник, оставил товарища Забубенько с Тамарой Фёдоровной наедине. Куда уж мне до них! Как-никак я ж гуманитарий…

Екатерина Самусенко

Красноярский литературный лицей, 10 класс

Битва экстрасенса

Кабинет химии. На стене висит новая интерактивная доска, с которой ученики терпеливо переписывают уравнения. Это не просто учебное пособие, а настоящая гордость класса—ради неё даже пришлось выбросить обычную меловую доску. О прогресс, хвала тебе!

Однако школьники отчего-то не чувствуют гордости за родную школу, совершившую столь великолепную покупку, и кабинет химии в частности. У них своя забота: вот-вот кому-нибудь из них придётся выйти к чуду прогресса и описать на нём реакции ионного обмена между бромидом калия и нитритом… вернее, нитратом… ах, разве это важно? Лишь бы не спросили, лишь бы не спросили!

Брови учительницы угрожающе нахмуриваются: она обнаруживает, что школьник за задней партой с недостаточным усердием соединяет бром и азот. Крик её рикошетит от всех стен кабинета и прицельно вонзается в уши отвлёкшегося ученика:
—Мухин! К доске! И дневник мне на стол!

Ученик поспешно вскакивает и с ужасом подползает к электронному чудовищу, светящемуся чёрными символами химических реакций. Кажется, если бы они были на марсианском языке—и то было бы понятней.

Мухин берёт в руки сенсор, заносит его над доской… и она мгновенно отключается.
—Что за…—учительница удивлённо обозревает погрузившийся в темноту класс и погасшую доску.—Ах, вот жалость, электричество отключили, а старой-то доски у нас нет… Ладно, садись, Миша.

Ручка-сенсор ещё не успевает упасть на стол, а ученик Мухин уже сидит на своём месте, тяжело дыша и мысленно благодаря все существующие на свете силы Фортуны. Но… не проходит и минуты, как свет зажигается снова.
—Вот и прекрасно,—с белозубой улыбкой объявляет учительница, включая интерактивную доску.—А теперь Мухин продолжит свою работу. Миша, вставай.

Разочарованно отзывая свою благодарность от переменчивой госпожи Фортуны, Мухин с видом приговорённого идёт к гильотине… то есть к электронной доске. Но не успевает он дойти и до середины класса, как свет выключается снова.
—Вот ведь гады электрики: не могли, что ли, работать во внеурочное время?..—бормочет учительница и со вздохом отсылает Мухина обратно.

Класс, давно забросивший свои уравнения, с увлечением наблюдает за странствиями Мухина, сопровождая каждый его круг всё нарастающим хохотом. Наконец, после десяти минут полной темноты, свет всё же включается. Учительница считает до тридцати—перебоев в электричестве как не бывало.
—Ну, Мухин,—весело объявляет она,—пора! Быстро к доске, а не то пару поставлю!

Но едва Мухин, в глазах класса уже приобретший славу супермена, встаёт из-за парты, напряжённую атмосферу кабинета вдруг взрывает звонок.

Мухин хватает портфель, кидает туда тетрадку и—кхм—мухой вылетает из класса, не дожидаясь даже объявления домашнего задания.
—Стой! Миша, ты куда? А как же… Передайте ему,—учительница пожимает плечами и вручает однокласснику Мухина дневник.

…А что Мухин? Да ничего. Он даже не смог внятно объяснить родителям, почему в его дневнике напротив строчки «Химия» написано красной ручкой: «Паранормальные способности—5/5. Родители, срочно отвезите своего сына на телевидение!»

стр. 174
Айтукаев Иса Билалович
Красноярск, 1961 г. р.

Родился в Дагестане. В 1984 году, после окончания Ачинского сельскохозяйственного техникума, поступил на отделение журналистики филологического факультета КГУ. Публиковался в журналах и альманахах на Кавказе, Дальнем Востоке и в Сибири. В 2013 году вышла в свет книга стихов и прозы «Душан». Работает начальником отдела ФГУП «Охрана» МВД РФ.

стр. 46
Александрова Ксения
Одесса, Украина

Родилась в Одессе. Пишет с 2006 года. Стихотворения публиковались в литературных журналах «Южное сияние» (Одесса), «ОМК» (Одесса), «Октябрь» (Москва), «Меценат и Мир» (Москва), «Контр@банда» (Москва), «Rebellios» (Киев), поэтических сборниках «Золотая Ника», «Пушкинская осень в Одессе», «Согласование времён», «Провинция у моря» (2013, 2014), «5», «Нам не дано предугадать…» (Нью-Йорк), интернет-журналах «Авророполис» (Одесса), «45-я параллель» (Ставрополь), «Гостиная» (Филадельфия), «Ликбез» (Барнаул), «Великороссъ» (Москва) и других изданиях. Член Южнорусского союза писателей. Финалист нескольких международных литературных конкурсов, победитель поэтического конкурса «И ляжет путь мой через этот город…» арт-фестиваля «Провинция у моря-2014» (3-е место).

стр. 33
Алешков Николай Петрович
Набережные Челны, 1945 г. р.

Поэт, журналист, издатель. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Работал на строительстве КАМАЗа рабочим-строителем, руководителем пресс-центра, инженером-диспетчером, журналистом. Был редактором городской газеты «Время» в Набережных Челнах, редактором межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». Автор поэтических сборников «Запомни меня счастливым» (1983), «Орловское кольцо» (1988), «Ночной разговор: Лимит» (1993), «Дальние луга» (1995), «Сын Петра и Мариши» (2005), «С любовью и нежностью» (2010), «От сердца к сердцу» (2012) и др. Лауреат премий имени Г. Державина, имени А. Прокофьева в городе Набережные Челны. Редактор литературного альманаха «Аргамак». Член Союза писателей СССР.

стр. 48
Астраханцев Александр Иванович
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др. Автор девяти книг прозы. Последние книги — «Антимужчина» (Москва, «Голос-пресс», 2011), «Портреты. Красноярск, XX век» (Красноярск, «КАСС», 2011). Член Союза российских писателей. Председатель правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Зам. главного редактора журнала «День и ночь».

стр. 14
Базун Анатолий Филиппович
Зеленогорск, 1947 г. р.

Учился в Уральском политехникуме в городе Свердловск-44. После получения диплома был распределён в город Заозёрный-13 (ныне Зеленогорск) на электрохимический завод. В 1977 году без отрыва от производства окончил Сибирский технологический институт (факультет «Машины и оборудование химических производств»). Работал аппаратчиком, начальником технологического участка цеха разделения изотопов урана, заместителем начальника приборостроительного цеха. Ветеран ПО «ЭХЗ», ветеран труда, ветеран атомной промышленности. В 2010 году участвовал в отраслевом конкурсе «65 славных лет» на лучшую историческую публикацию, посвящённую 65-летнему юбилею атомной отрасли, объявленном газетой «Атом-пресса» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Победитель конкурса в номинации «Как закалялась сталь» (очерк «Прощай, диффузия»).

стр. 10
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой» и «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль

поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013) и общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён Орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 26
Биазарти Дзерасса Кромвельевна
Владикавказ, 1981 г. р.

Родилась во Владикавказе. Окончила Владикавказское училище искусств имени В. А. Гергиева, факультет журналистики Северо-Осетинского государственного университета. С момента поступления в университет сотрудничала с республиканскими и общероссийскими СМИ. Работала внештатным корреспондентом «Радио Свобода», газеты «Южный репортёр». Колумнист на сайте гражданской журналистики «Gradus.pro», специалист по связям с общественностью Художественного музея имени М. С. Туганова.

стр. 130
Бутнару Лео
Бухарест, Румыния, 1949 г. р.

Родился в Молдавии, в селе Негурень. Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. В 1972 году окончил Кишинёвский университет по специальности «Филология и журналистика», работал редактором в «Tinerimea Moldovei», затем заведовал отделом в еженедельнике «Literatura şi arta»; был главным редактором журнала «Молдова». Дебютировал книгой стихов «Крыло на свету» в 1976 году. Автор около 70 книг разных жанров. Составитель и издатель ряда антологий, в том числе антологии «Русский авангард»; отдельными книгами в своих переводах выпустил произведения Велимира Хлебникова, Алексея Кручёных, Яна Сатуновского, Геннадия Айги, Евгения Степанова, Александра Вепрёва и др. Лауреат литературных премий Союзов писателей Молдовы и Румынии, Национальной премии Республики Молдова. Является членом Консилиума Союза писателей Румынии. Член Союза писателей XXI века.

стр. 24
Вучина Екатерина Анатольевна
Москва, 1989 г. р.

Родилась, живёт и работает в Москве. Выпускница Литературного института имени А. М. Горького 2014 года (семинары Р. С. Сефа и А. П. Торопцева).

стр. 141
Гейдэ Нина
Дания

Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Живёт в Дании с 1998 года. Была главным редактором журнала «Берег», занималась радиожурналистикой. Печаталась как поэт в журналах и альманахах «LiteraruS», «Хронометр», «Роза ветров», «Звезда», в сетевых изданиях «Самиздат», «Вечерний гондольер».

стр. 44
Главацкий Сергей Александрович
Одесса, Украина, 1983 г. р.

Родился в Одессе. Поэт, драматург, музыкант. Председатель Южнорусского союза писателей (Одесская областная организация Конгресса литераторов Украины, Одесская областная организация Межрегионального союза писателей Украины), член правления Конгресса литераторов Украины. Выпускающий редактор литературного журнала «Южное сияние». С 2002 года — главный редактор литературного интернет-проекта «Авророполис». Составитель одесской антологии поэзии «Кайнозойские сумерки» (2008). Организатор Международного поэтического фестиваля «Межгород-2009» в Одессе. Лауреат Всеукраинской литературной премии имени М. Матусовского (2008). Произведения публиковались в антологии «Украина. Русская поэзия. XX век» (2008, Киев), альманахах «Меценат и Мир. Одесские страницы» (Москва), «Дерибасовская — Ришельевская» (Одесса), «ОМК» (Одесса), «Ковчег» (Житомир), «Свой вариант» (Луганск), «Провинция» (Запорожье), журналах «Российский колокол» (Москва), «Ренессанс» (Киев), газетах «Отражение» (Донецк), «Литературная газета» (Москва), «Литература и жизнь» (Киев), в интернет-журналах «Пролог», «Новая литература», «Точка зрения» и др. В 2006 году вышла книга стихотворений «Неоновые Пожары», а в 2008-м свет увидела книга драматургии «Апокалипсис Улыбки Джоконды», написанная в соавторстве с Евгенией Краснояровой.

стр. 165
Гордиевский Сергей Владимирович
Челябинск, 1989 г. р.

Окончил Челябинскую государственную академию культуры и искусств. Режиссёр театрализованных представлений и праздников, преподаватель. Лауреат XI Пушкинского молодёжного фестиваля

«С веком наравне» (Москва, 2009), лауреат интернет-фестиваля молодых читателей России «Сочи-мост-2008» и «Сочи-мост-2011». Публиковался в коллективных поэтических сборниках «Электрический снег» и «На достаточных основаниях».

стр. 143

Грантс Янис Илмарович
Челябинск, 1968 г. р.

Родился во Владивостоке. Учился в Киевском государственном университете, Киевском высшем военном училище связи. Проходил срочную службу на большом десантном корабле Северного флота. После службы остался в Заполярье и работал на рыболовецких и торговых судах, буксирах, приписанных к Мурманску и Архангельску. Лауреат Независимой поэтической премии «П» (Челябинск, 2008). Награждён специальным призом Южно-Уральской литературной премии (2011)—«За взрослое отношение к детским стихам». Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Урал», «Крещатик», «День и ночь» и др. Автор книг поэм и стихотворений «Мужчина репродуктивного возраста» (2007), «Бумень. Кажницы. Номага» (2012) и детского сборника «Стихи на вырост» (совместно с Дмитрием Сиротиным, Челябинск, 2011). Автор рубрики «Молодые голоса» в телепрограмме «Новости культуры—Южный Урал», руководитель поэтической секции литературного объединения чтз имени Михаила Львова.

стр. 34

Ерёмин Николай Николаевич
Красноярск, 1943 г. р.

Родился в городе Свободном Амурской области. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Автор ряда поэтических сборников и книг прозы «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья». Лауреат премии «Хинган». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института-2011» в номинации «Классическая лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» имени Н. А. Некрасова. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Бийский вестник», «Вертикаль» (Нижний Новгород), «Огни Кузбасса», «Провинциальный интеллигент», «Интеллигент» (Санкт-Петербург), «Русский берег» (Благовещенск), «Флорида» (Майами, сша), «Лексикон» (Чикаго, сша) и др. Член Союза писателей ссср, Союза российских писателей.

стр. 187

Зубарева Вера Кимовна
Филадельфия, сша

Родилась в Одессе. Доктор филологических наук, поэт, писатель, литературовед, режиссёр. Главный редактор журнала «Гостиная». Президент Объединения русских литераторов Америки (орлита). Преподаёт в Пенсильванском университете искусство принятия решений в литературе, кино и шахматах. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики, режиссёр художественного фильма по мотивам пьес Чехова «Четыре незадачливых семейства». Лауреат международных литературных премий, в том числе Муниципальной премии имени Константина Паустовского (2010). Пишет и публикуется на русском и английском языках. Первый поэтический сборник «Аура» (1990) вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной.

стр. 22

Иващенко Дмитрий Анатольевич
Ангарск, 1967 г. р.

Родился в Железногорске-Илимском. После окончания десятилетки поступил в Иркутский политехнический институт, но был призван в ряды са. Службу проходил в Чехословакии, в пехотном полку. Учился в Иркутском госуниверситете на отделении журналистики, в Литературном институте имени А. М. Горького. Член Союза писателей России. Автор книг «На ветру» (2006), «Встречи и разлуки» (2010).

обл.

Исаенкова Алина Андреевна
Красноярск, 1991 г. р.

Родилась в Красноярске. Училась в Художественном училище им. В. И. Сурикова, Институте архитектуры и дизайна сфу. Художник, дизайнер, преподаватель студии детского художественного творчества в клубе «Светозар».

стр. 40

Ковда Вадим Викторович
Ганновер, Германия, 1936 г. р.

Родился в Москве. Отец, Виктор Абрамович Ковда,—один из крупнейших почвоведов страны, лауреат Сталинской и Государственной премий, создатель факультета почвоведения мгу. Окончил механико-математический факультет мгу, кинооператорский факультет вгика и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Первая книга стихов «Будни» вышла в 1971 году в Москве. Автор восьми сборников стихов. Живёт в Ганновере.

стр. 5

Козловский Алексей Дмитриевич
Хакасия, 1947 г. р.

Родился в селе Строганово Минусинского района Красноярского края. Окончил географический факультет Красноярского пединститута. С 1970 года работает учителем в Новотроицкой средней школе Бейского района Хакасии. Автор нескольких поэтических и прозаических сборников. Член Союза писателей России, заслуженный учитель России. Публикации в краевых периодических изданиях «Енисей», «День и ночь», «Стрежень» и др.

стр. 3

Лазарчук Андрей Геннадьевич

Санкт-Петербург, 1958 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт, по профессии — врач-реаниматолог, работал в различных медицинских учреждениях. Первые удачные литературные опыты относит к 1983 году. С 1990-го — профессиональный писатель, автор известных романов «Все, способные держать оружие», «Транквилиум», трилогии «Посмотри в глаза чудовищ» (в соавторстве Михаилом Успенским) и других. В 1992 году окончил Московский литературный институт. Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-клуба. Участник Малеевских и Дубултинских семинаров. Перевёл на русский язык произведения Филипа Дика, Роберта Хайнлайна («Не убоюсь я зла»), Люциуса Шепарда. Лауреат ряда литературных премий.

стр. 19

Мамлина Наталья

Москва, 1988 г. р.

Родилась в Москве. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького (семинар поэзии Сергея Арутюнова). Публиковалась в журналах «Православное книжное обозрение», «Зинзивер», «Дети Ра», «Артбухта», «День и ночь» и др. Автор сборника стихотворений «Себе наперерез» (2011).

стр. 95

Матвеичев Александр Васильевич

Красноярск, 1933 г. р.

Родился в Татарстане, в деревне Букени Мамадышского района. Окончил суворовское и пехотное училища. Лейтенантом командовал пулемётным и стрелковым взводами в Китае и в Прибалтике. После демобилизации учился в Казанском авиационном и Красноярском политехническом институтах (1956–1962). Получил диплом инженера-электромеханика. С 1993 года работал журналистом в редакциях газет, переводчиком с английского и испанского языков. Преподавал английский детям и взрослым. Президент Английского клуба при Красноярской научной библиотеке и почётный председатель «Кадетского собрания Красноярья». Первые рассказы опубликовал в 1959 году. С тех пор стихи и рассказы публиковались в журналах, газетах, альманахах, антологиях и коллективных сборниках. Автор нескольких книг прозы, поэтических сборников и публицистических статей: «Вода из Большого ключа» (сборник рассказов), «El Infierno Rojo — Красный Ад» (роман), «Три войны солдата и маршала» (проза), «Благозвучие» (стихи и проза), «КазановА. в Поднебесной» (роман), «Возврат к истокам» (проза), «Признания в любви» (любовная лирика), «АЗА-ЕЗА. Прошлое. Настоящее. Будущее» (публицистика) и др. Член Союза российских писателей. Первый заместитель председателя Красноярского представительства Союза российских писателей.

стр. 184

Матушанская Юлия Григорьевна

Казань

Поэт, прозаик, эссеист. Работает на кафедре философии и истории науки Казанского национального инновационного технологического университета. Кандидат философских наук. Изучает Библию как философский текст. Несколько раз выигрывала исследовательские гранты на стажировку в Тюбингенском университете (Германия). Много путешествует. Была в Париже, Амстердаме, Берлине, Милане, Венеции. По собственному признанию автора, «из российских городов больше всего впечатлил Красноярск».

стр. 136

Минаков Станислав Александрович

Харьков, Украина, 1959 г. р.

Родился в Харькове. Поэт, переводчик, эссеист, прозаик, публицист, журналист. Член Национального союза писателей Украины, Союза писателей России, Международного фонда памяти Б. Чичибабина, Всемирной ассоциации писателей International PEN Club (Московский центр). Автор книг «Имярек», «Вервь», «Листобой», «Хожение», «Где живёт ветер». Лауреат Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских (Киев — Москва, 2008). Лауреат Всероссийской премии имени братьев Киреевских (Москва — Калуга, 2009). За книгу «Листобой» удостоен литературной премии имени Б. Слуцкого (1998). Лауреат конкурса-фестиваля «Культурный герой XX века» (Киев, 2002). Лауреат конкурса духовной поэзии в Интернете, проводимого Свято-Филаретовским институтом (Москва, 2002). Победитель Всеукраинского конкурса «Русское слово Украины» (Киев, 2003) в номинации «Публицистика». Победитель турнира поэтов «Коктебель-2004» (в рамках Международного Волошинского литературного фестиваля). Лауреат премии «Народное признание» (Харьков, 2005) за книгу стихотворений и переводов «Хожение». Автор-составитель энциклопедии «Храмы России» (Москва, 2008). Был соредактором журнала «Бурсацкий спуск», редактором многих поэтических книг, а также альманаха «ДвуРечье. Харьков — Санкт-Петербург» (2004). Занимается журналистикой, публикуется на Украине, в России и за рубежом.

стр. 18, 186

Минин Евгений Аронович

Иерусалим, 1949 г. р.

Известный поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах, а также вошли в альманахи и журналы «Знамя», «Дети Ра», «Иерусалимский журнал», «Семья и школа», «Зарубежные записки», «Слово\Word», «День и ночь», «Дон», «День поэзии-2009», «Кольцо „А“», «Побережье»,

«Галилея», «Литературная учёба», «Литературный Иерусалим», «Флорида», «22», «Литературная газета», издаваемые в США, России, Израиле и Европе. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» (Россия) и «Флорида» (США), а также в газетах «Литературная газета» и «Литературная Россия» (Россия) и «Секрет» (Израиль). Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманахам «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения Союза писателей Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (APIA) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), лауреат премии «Поэт года-2007» Международного союза литераторов и журналистов (APIA). Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр. 134
Молодый Вадим
Чикаго, США, 1947 г. р.

Родился в Москве. Поэт, эссеист. По образованию врач-психиатр. Совмещал лечебную, научную и литературную деятельность, занимался психопатологией художественного творчества, был сотрудником и автором ежемесячника «Совершенно секретно», вёл на московском телевидении передачу «Из мастерской художника». Печатался в СССР и на Западе. С 1990 года живёт в Чикаго. Член Парламента сайта «Век перевода», член редколлегии журнала «Зарубежные задворки», редактор-консультант, основатель и автор рубрик «Антология мировой поэзии» и «Антология мировой прозы» в одной из крупнейших русскоязычных газет США «Реклама», ответственный за связи с авторами Западного полушария, директор американского отделения Международного института социального и психологического здоровья. Публикуется в американской периодике, ведёт на чикагском радио «Народная волна» еженедельную авторскую программу. В 2010 году в чикагском издательстве «Art 40» вышла книга стихов автора с иллюстрациями Бориса Заборова. Автор книги «Споры с Мнемозиной» (2013).

стр. 132
Пеньков Владислав
Таллинн, Эстония, 1969 г. р.

Родился во Владивостоке. Сменил несколько мест жительства и работ. Автор книг «Ладонь ангела» (2004), «Гефкер» (2006). Печатался в российской и эстонской периодике. Член Союза российских писателей.

стр. 170
Петров Сергей Владимирович
Москва, 1960 г. р.

Член Московского отделения Союза писателей России. Публикации в литературных журналах «Юность», «Невский альманах», «Наша молодёжь», «День и ночь», «Млечный путь», «Север», «Контр@банда», «Пограничник». Автор исторического детектива «Всё когда-нибудь заканчивается».

стр. 39
Рождественский Игнатий
Москва, 1970 г. р.

Внук известного сибирского поэта Игнатия Рождественского (1910–1969), одного из основоположников современной литературы Красноярского края. Автор стихов для детей и взрослых. Окончил филологический факультет МГУ.

стр. 20
Сафарова Тамара Александровна
Биробиджан, 1954 г. р.

Родилась в Саратовской области. В 1973 году окончила Хабаровское культпросветучилище. В 2011 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Жила в Одессе, Приморье. Публиковалась в журналах «Дальний Восток», «Московский вестник», сибирской антологии «Слово о матери», антологии и хрестоматии писателей ЕАО. В 2007 году вышел поэтический сборник «Экватор дня». С 2008 года — член Союза писателей России.

стр. 37
Скиф (Смирнов) Владимир Петрович
Иркутск, 1945 г. р.

Родился на станции Куйтун Иркутской области. Автор книг «Зимняя мозаика», «Журавлиная азбука», «Грибной дождь», «Живу печалью и надеждой», «Копьё Пересвета», «Над русским перепутьем», «Галерея», «Золотая пора листопада», «Письма современникам», «Новые стихи», «Русский крест», «Молчаливая воля небес», «Все боли века я в себе ношу», «Скифотворения» и др. Постоянный автор журналов «Наш современник», «Москва», «Роман-журнал XXI век», «Родная Ладога», «Подъём», «Простор», «Сибирь», «Дальний Восток». Печатался в журналах «Юность», «Молодая гвардия», «Всерусскiй соборъ», «Кубань», «Сибирские огни», «Гостиный Двор», «Врата Сибири», «Байкал», «Енисей», «День и ночь» и др. Член Союза писателей России, председатель Иркутского регионального отделения Союза писателей России, секретарь правления Союза писателей России. Лауреат Международной литературной премии имени П.П. Ершова, Всероссийской литературной премии «Белуха» имени Г.Д. Гребенщикова, Международной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина, дважды лауреат Губернаторской премии Иркутской области (2010, 2011).

стр. 168 **Струков Константин**
Москва/Казань/Санкт-Петербург

Окончил журфак МГУ, работал на радио и телевидении, в настоящее время профессионально занимается рекламой. В недавнем прошлом автор идеи и ведущий арт-проекта «Оранжевый троллейбус» в Казани. Организатор и ведущий «Поэтической лиги» в Петербурге (сезон 2013–2014). Лауреат фестиваля «Живое слово» в Большом Болдино (2012). Победитель поэтических слэмов в Санкт-Петербурге (2011, 2013). Победитель прозослэма в Казани (2014). Публикации в журналах «Казань», «Квадратное колесо», «Север», в сборниках «Когда падёт последний бастион», «Солнечное подполье» (участники литературного рок-кабаре А. Дидурова, Москва).

стр. 122 **Сутулов-Катеринич Сергей Владимирович**
Ставрополь, 1952 г. р.

Родился в Петропавловске. Поэт, журналист, киносценарист, издатель, главный редактор поэтического интернет-альманаха «45-я параллель». Окончил филологический факультет Ставропольского государственного педагогического института и сценарный факультет ВГИКА. Автор книг «Дождь в январе», «Азбука Морзе», «Русский рефрен», «Полная невероять», «Райскій адъ. Лю-блюзы» (совместно с Борисом Юдиным). Участник проекта Юрия Беликова «Приют неизвестных поэтов. Дикороссы». Публиковался в российских и зарубежных изданиях: «День и ночь», «У», «Альбион», «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Новое русское слово», «Новый берег», «Континент», «Трибуна», «Ковчег», «Острова», «Южная звезда». Член Союза писателей XXI века, Союза российских писателей, Южнорусского союза писателей и Союза журналистов России. Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2007), премии журнала «Зинзивер» (2008), Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2010), конкурса имени Петра Вегина (2010). Трижды становился лауреатом премии имени Германа Лопатина, учреждённой Ставропольским краевым отделением Союза журналистов России. Награждён медалью Императорского ордена Святой Анны — в ознаменование заслуг перед отечественной культурой.

стр. 126 **Тюрин Вячеслав Игоревич**
Иркутская область, 1967 г. р.

Родился в Якутии. Жил и учился в Красноярске и посёлке Лесогорск Иркутской области. Лауреат Гран-при конкурса «Илья-Премия» по СНГ (2001). Автор двух поэтических книг: «Всегда поблизости» (2001), «Розы в стране гипербол» (2006). Публиковался в журналах «Знамя», «Сибирские огни», «День и ночь», «Сибирь», «Дети Ра», в различных газетах и альманахах. Член Союза писателей России.

стр. 128 **Хромова Светлана**
Москва, 1982 г. р.

Окончила среднюю школу в Красноярске, а затем Литературный институт им. А. М. Горького и Московскую государственную юридическую академию. Публиковалась в журналах «Литературная учёба», «Пролог», «Дети Ра», «Алконостъ», «День и ночь» и др.

стр. 124 **Хугаев Ирлан Сергеевич**
Владикавказ, 1965 г. р.

Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. Коста Хетагурова; преподавал в школах Северной Осетии-Алании, на филологическом факультете СОГУ, в Новом гуманитарном университете Н. Нестеровой (Москва). Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Владикавказского научного центра РАН и РСО-А. Публикации в журналах «Дарьял», «День и ночь».

стр. 42 **Янишевская Екатерина**
Салоники, Греция, 1990 г. р.

Родилась в Одессе. Поэт. Автор публикаций в изданиях «Южное сияние» (Одесса), «Дерибасовская — Ришельевская» (Одесса), «Дети Ра» (Москва), «Меценат и Мир» (Москва), «Новая реальность» (Челябинск), «45-я параллель» (Ставрополь) и ряде других. Член Южнорусского союза писателей. Лауреат поэтического конкурса IV Международного арт-фестиваля «Провинция у моря-2014».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе
Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов

по поэзии
Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Андрей Леонтьев

СЕКРЕТАРИАТ
Юлия Вятчина
Артём Яковлев

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Николай Алешков
Набережные Челны
Сергей Арутюнов
Москва
Юрий Беликов
Пермь
Вера Зубарева
Филадельфия
Анатолий Кирилин
Барнаул
Владимир Костылев
Арсеньев
Валентин Курбатов
Псков
Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург
Евгений Минин
Иерусалим
Виталий Молчанов
Оренбург
Дмитрий Мурзин
Кемерово
Миясат Муслимова
Махачкала
Александр Петрушкин
Кыштым
Лев Роднов
Ижевск
Евгений Степанов
Москва
Михаил Тарковский
Бахта
Вероника Шелленберг
Омск

В оформлении обложки использованы рисунки Алины Исаенковой.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «День и ночь».
ИНН 246 304 2749
Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186
в Новосибирском филиале
ОАО «Банк Москвы»
в г. Новосибирске
БИК 045 004 762
Корреспондентский счёт
3010 1810 9000 0000 0762

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а,
офис «День и ночь»
Телефон редакции: (391) 2 43 06 38
Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 16.02.2015
Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 294 15 77

Алина Исаенкова | Spirit way *На обложке:* Inner (фрагмент)